

ДЖОВАННИ  
БОККАЧЧО  
ДЕКАМЕРОН



ДЖОВАННИ  
БОККАЧЧО

# ДЕКАМЕРОН





МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1988

КНИГА  
ИДЕКА

*Перевод с итальянского  
Н. Любимова*

*Иллюстрации художника  
Ю. Тершкoviча*

ДЖОВАННИ  
БОККАЧЧО

МЕРОНИ



*Начинается книга,  
называемая*

**ДЕКАМЕРОН,**

*прозываемая*

**ПРИНЦ  
ГАЛЕОТТО,**

*в коей, содержится  
сто повестей,  
рассказанных  
на протяжении десяти дней,  
семью дамами  
и тремя молодыми  
людьми,*

И(Итал)

Б78

Оформление художника

Ю. БОЯРСКОГО

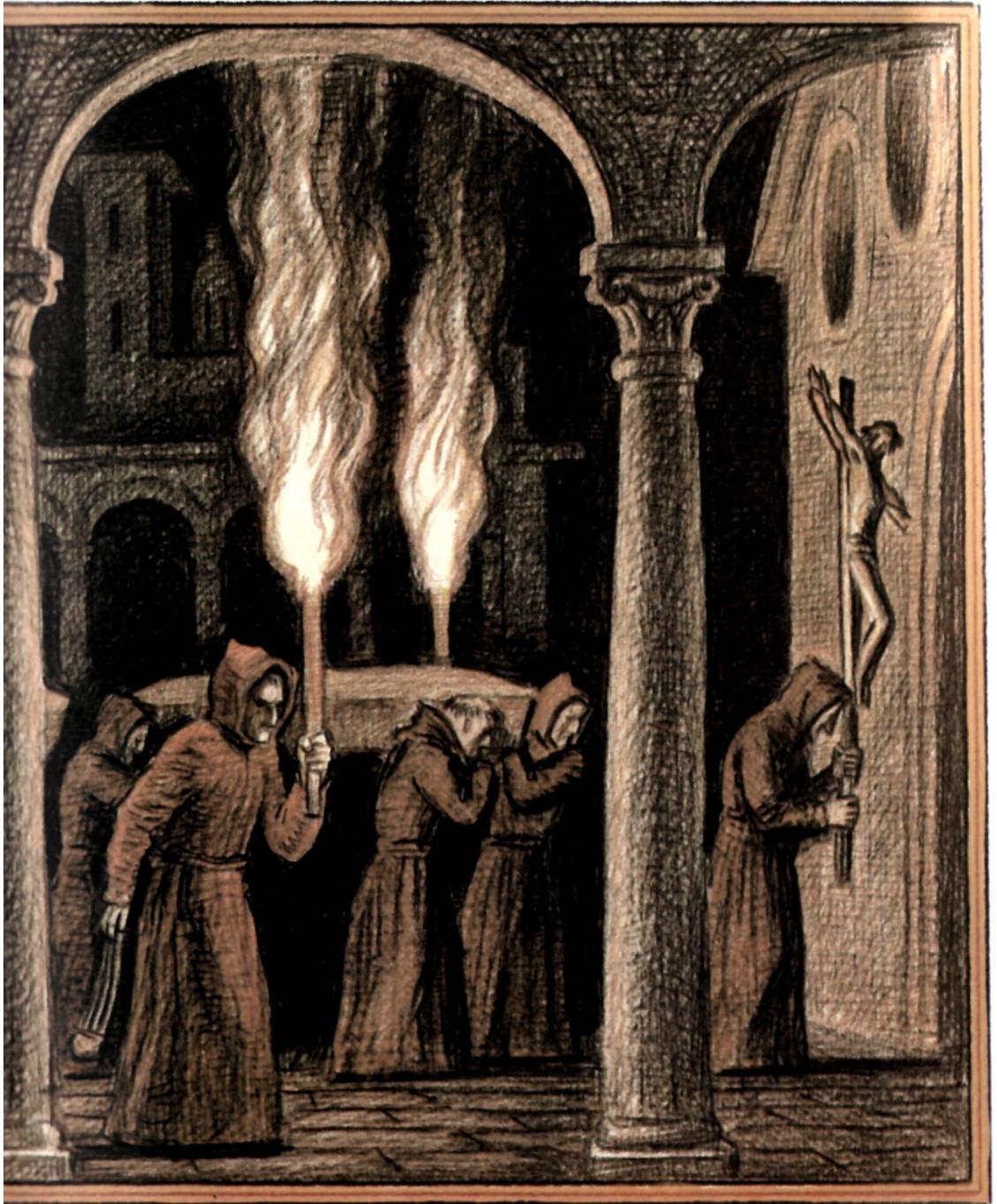
Б 4703000000-304 165-87  
028(01)-88

© Иллюстрации, оформление. Издательство  
«Художественная литература», 1987 г.

# ВСТУПЛЕНИЕ









оболезновать страждущим — черта истинно человеческая, и хотя это должно быть свойственно каждому из нас, однако ж в первую очередь мы вправе требовать участия от тех, кто сам его чаял и в ком-либо его находил. Я как раз принадлежу к числу людей, испытывающих в нем потребность, к числу людей, кому оно дорого, кого оно радует. С юных лет и до последнего времени я пылал необычайною, возвышеннейшею и благородною любовью, на первый взгляд, пожалуй, не соответствовавшей низкой моей доле, и хотя

умные люди, которым это было известно, хвалили меня и весьма одобряли, со всем тем мне довелось претерпеть лютейшую муку, и не из-за жестокости возлюбленной, а из-за моей же горячности, чрезмерность коей порождалась неутоленною страстью, которая своею безнадежностью причиняла мне боль нестерпимую. И вот, когда я так горевал, веселые речи и утешения друга принесли мне столь великую пользу, что, по крайнему моему разумению, я только благодаря этому и не умер. Однако по воле того, кто, будучи сам бесконечен, установил неизблемый закон, согласно которому все существующее на свете должно иметь конец, пламенная любовь моя, которую не в силах были угасить или хотя бы утишить ни мое стремление побороть ее, ни дружеские увещания, ни боязнь позора, ни грозившая мне опасность, с течением времени сама собой сошла на нет, и теперь в душе моей осталось от нее лишь то блаженное чувство, какое она

обыкновенно вызывает у людей, особенно далеко не заплывающих в бездны ее вод, и насколько мучительной была она для меня прежде, настолько же ныне, когда боль прошла, воспоминания о ней мне отрадны.

Но хотя кручина моя унялась, участие, которое приняли во мне те, кто из доброго ко мне расположения болели за меня душой, не изгладилось из моей памяти, и я твердо уверен, что перестану об этом помнить, только когда умру. А так как, по моему разумению, благодарность есть самая похвальная из всех добродетелей, неблагодарность же заслуживает самого сурового порицания, то я, дабы никто не мог обвинить меня в неблагодарности, порешил, раз я теперь свободен, возратить долг и по мере возможности развлечь если не тех, кто меня поддерживал, — они-то, может статья, в силу своего благоразумия или по воле судьбы как раз в том и не нуждаются, — то, по крайности, тех, кто испытывает в том потребность. И хотя моя поддержка и мое утешение будут, наверное, слабы, все же мне думается, что поддерживать и утешать надлежит главным образом тех, кто особливую в том имеет нужду: пользы им это принесет больше, чем кому бы то ни было, они же это больше, чем кто-либо другой, оценят.

А кто станет отрицать, что подобного рода утешение, сколько бы ни было оно слабо, требуется не так мужчинам, как милым женщинам? Женщины от стыда и страха затаивают любовный пламень в нежной груди своей, а кто через это прошел и на себе испытал, те могут подтвердить, что огонь внутренний сильнее наружного. К тому же, скованные хотеньем, причудами, вельнями отцов, матерей, братьев, мужей, они почти все время проводят в четырех стенах, томятся от безделья, и в голову им лезут разные мысли, далеко не всегда отрадны. И если от этих мыслей, вызванных томлением духа, им иногда взгрустнется, то грусть эта, на великое их несчастье, не покидает их потом до тех пор, пока что-нибудь ее не рассеет. Что же касается влюбленных мужчин, то они не столь хрупки: с ними этого, как известно, не бывает. Они располагают всевозможными средствами, чтобы развеять грусть и отогнать мрачные мысли: захотят — прогуляются, поглядят, послушают, захотят — зачнут птицу бить, зверя травить, рыбу ловить, на коне гарцевать, в карты играть, торговать. В каждое из этих занятий мужчина волен вложить всю свою душу или, по крайности, часть ее и, хотя бы на некоторое время, от печальных мыслей избавиться, и тогда он успокаивается, а если и горюет, то уже не столь сильно.

Так вот, с целью хотя бы частично загладить несправедливость судьбы, слабо поддерживающей как раз наименее крепких, что мы видим на примере нежного пола, я хочу приободрить и развлечь любящих женщин, — прочие довольствуются иглой, веретеном или же мотовилом, — и для того предложить их вниманию сто повестей, или, если хотите, побасенок, притч, историй, которые, как вы увидите, на протяжении десяти дней рассказывались в почтенном обществе семи дам и трех молодых людей во время последнего чумного поветрия, а также несколько песенок, которые пели дамы для собственного удовольствия. В этих

повестях встретятся как занятные, так равно и плачевные любовные похождения и другого рода злоключения, имевшие место и в древности, и в наше время. Читательницы получают удовольствие, — столь забавны приключения, о коих здесь идет речь, и в то же время извлекут для себя полезный урок: они узнают, чего им надлежит избегать, а к чему стремиться. И я надеюсь, что на душе у них станет легче. Если же так оно, бог даст, и случится, то пусть они возблагодарят Амура, который, избавив меня от своих цепей, тем самым дал мне возможность порадовать их.



*Начинается первый, день*  
**ДЕКАМЕРОНА,**

---



*в продолжение коего,  
после того как автор сообщит,  
по какому поводу собрались  
и о чем говорили между собою лица,  
которые будут действовать дальше,  
сбравшиеся в день правления Пампинеи  
толкуют о том,  
что каждому больше по душе*









бворожительнейшие дамы! Зная ваше врожденное мягкосердечие, я убежден, что предисловие к моему труду покажется вам тяжелым и печальным, ибо таково воспоминание, с которого оно начинается, — воспоминание о последнем чумном поветрии, бедственном и прискорбном для всех, кто его наблюдал и кого оно так или иначе коснулось. Не подумайте, однако ж, что вся книга состоит из рыданий и стон о в, — я вовсе не намерен отбивать у вас охоту читать дальше. Страшное начало — это для вас все равно, что для путников

высокая, крутая гора, за которой открывается роскошная, приветная долина, тем больше отрады являющая взорам путников, чем тяжелее достались им восхождение и спуск. Подобно как бурная радость сменяется горем, так же точно вслед за испытаньями приходит веселье. Минет краткая эта невзгода (краткая потому, что я описываю ее в немногих словах), и настанет блаженная пора у т е х, — я вам их предрекаю, а то после такого вступления вряд ли можно было бы их ожидать. Откровенно говоря, если б у меня была возможность более удобным путем, а не по крутой тропинке, привести вас к желанной цели, я бы охотно это сделал, но если не начать с воспоминания, то будет непонятно, как произошло то, о чем вам предстоит прочесть, — словом, мне без него не обойтись.

Итак, со времен спасительного вочеловеченья сына божия прошло уже тысяча триста сорок восемь лет, когда славную Флоренцию, лучший город во всей Италии, посетила губительная чума; возникла же она, быть может, под влиянием небесных тел, а быть может, ее наслал на нас за грехи правый гнев божий, дабы мы их искупили, но только за несколько

лет до этого она появилась на Востоке и унесла бесчисленное число жизней, а затем, беспрестанно двигаясь с места на место и разросшись до размеров умопомрачительных, добралась наконец и до Запада. Ничего не могли с ней поделаться догадливость и предусмотрительность человеческая, очистившая город от скопившихся нечистот руками людей, для этой цели употребленных, воспевавшая въезд больным, распространившая советы медиков, как уберечься от заразы; ничего не могли с ней поделаться и частые усердные моления богобоязненных жителей, принимавших участие как в процессиях, так равно и в других видах молебствий, — приблизительно в начале весны вышеуказанного года страшная болезнь начала оказывать пагубное свое действие и изумлять необыкновенными своими проявлениями. Если на Востоке непреложным знаком скорой смерти было кровотечение из носа, то здесь начало заболевания ознаменовывалось и у мужчин и у женщин опухолями под мышками и в паху, разраставшимися до размеров яблока средней величины или же я й ц а , — у кого к а к , — народ называл их бубонами. В самом непродолжительном времени злокачественные бубоны появлялись и возникали у больных и в других местах. Потом у многих обнаружился новый признак вышеуказанной болезни: у этих на руках, на бедрах, а равно и на остальных частях тела проступали черные или же синие пятна — у иных большие и кое-где, у иных маленькие, но зато сплошь. У тех вначале, да и впоследствии, вернейшим признаком скорого конца являлись бубоны, а у этих — пятна. От этой болезни не помогали и не излечивали ни врачи, ни снадобья. То ли сама эта болезнь неизлечима, то ли виной тому невежество врачевавших (тут были и сведущие лекари, однако ж преобладали многочисленные невежды как мужеского, так равно и женского пола), но только никому не удалось постигнуть причину заболевания и, следовательно, сыскать от нее средство, вот почему выздоравливали немногие, большинство умирало на третий день после появления вышеуказанных признаков, — разница была в час а х , — при этом болезнь не сопровождалась ни лихорадкой, ни какими-либо другими дополнительными недомоганиями.

Чума распространялась тем быстрее, что больные, общаясь со здоровыми, их заражали, — так пламя охватывает находящиеся поблизости сухие или жирные предметы. Весь ужас был в том, что здоровые заболевали и гибли не только после беседы и общения с больными, — заражались этою болезнью однажды дотронувшиеся до одежды или же еще до какой-либо вещи, до которой дотрагивался и которой пользовался больной. То, что я сейчас скажу, может сойти за небылицу, и когда бы этому не было множества свидетелей и когда бы я сам этого не наблюдал, ни за что бы я этому не поверил, даже если б узнал из достоверного источника, и, уж конечно, не стал бы о том писать. Так вот, заразительность чумы была столь сильна, что передавалась зараза не только от человека к человеку к чело в е к у , — наблюдались еще более поразительные случаи: если к вещи, принадлежащей больному чумой или же умершему от чумы, прикасалось живое существо не из рода человеческого, то оно не только заражалось, но и в самом недолгом времени гибло. В этом я, повторяю, уверился во о ч и ю , — между прочим, на таком примере: однажды кто-то выбросил на

улицу рубище бедняка, скончавшегося от этой болезни, а две свиньи, по своему обыкновению, давай его наподдавать пятакком и рвать зубами, немного же спустя, точно наевшись отравы, они стали корчиться, а в конце концов повалились на злполучное тряпье и издохли.

Таковые, им подобные и еще более ужасные случаи порождали всевозможные страхи и бредовые видения у тех, которые, уцелев, в большинстве своем стремились к единственной и бесчеловечной цели: держаться подальше от заболевших, избегать общения с ними и не притрагиваться к их вещам, — они надеялись при этом условии не заболеть. Иные стояли на том, что жизнь умеренная и воздержная предохраняет человека от заразы. Объединившись с единомышленниками своими, они жили обособленно от прочих, укрывались и запирались в таких домах, где не было больных и где им больше нравилось, в умеренном количестве потребляли изысканную пищу и наилучшие вина, не допускали излишеств, предпочитали не вступать в разговоры с людьми не их круга, боясь, как бы до них не дошли вести о смертях и болезнях, слушали музыку и, сколько могли, развлекались. Другие, придерживавшиеся мнения противоположного, напротив того, утверждали, что вином упиваться, наслаждаться, петь, гулять, веселиться, по возможности исполнять свои прихоти, что бы ни случилось — все встречать смешком да шуточкой, — вот, мол, самое верное средство от недуга. И они заботились о том, чтобы слово у них не расходилось с делом: днем и ночью шатались по тавернам, пили без конца и без счета, чаще всего в чужих домах — в тех, где, как им становилось известно, их ожидало что-нибудь такое, что было им по вкусу и по нраву. Вести подобный образ жизни было им тем легче, что они махнули рукой и на самих себя, и на свое достояние — все равно, мол, скоро умрем, — вот почему почти все дома в городе сделались общими: человек, войдя в чужой дом, распорядился там, как в своем собственном. Со всем тем эти по-скотски жившие люди любыми способами избегали больных. Весь город пребывал в глубоком унынии и отчаянии, ореол, озарявший законы божеские и человеческие, померк, оттого что служители и исполнители таковых разделили общую участь: либо померли, либо хворали, подчиненные же их — те, что остались в живых, — не обладали надлежащими полномочиями, и оттого всякий что хотел, то и делал. Многие придерживались середины: не ограничивая себя в пище, подобно первым, не пьянствуя и не позволяя себе прочих излишеств, подобно вторым, они во всем знали меру, через силу не ели и не пили, не запирались, а гуляли с цветами, с душистыми травами или же с какими-либо ароматными веществами в руках и, дабы освежить голову, часто нюхали их, так как воздух был заражен и пропитан запахом, исходившим от трупов, от больных и от снадобий. У иных был более суровый, но зато, пожалуй, более верный взгляд на вещи: эти утверждали, что нет более действительного средства уберечься от заразы, как спастись от нее бегством. В сих мыслях, думая только о себе, многие мужчины и женщины бросили родной город, дома и жилища, родных и все имущество свое и устремились кто в окрестности Флоренции, кто в окрестности других городов, как будто гнев божий не покарал бы грешников, куда бы они ни

попрятались, но обрушился бы лишь на тех, кто остался в стенах города; а быть может, они полагали, что городу пробил последний час и все его жители, как один человек, перемрут.

Из этих людей, придерживавшихся самых различных мнений, не все погибали, но и не все выжили, — напротив того: жители умирали всюду и во множестве, вне зависимости от направления их ума, и пока они были здоровы, они подавали пример бодрости другим здоровым, а как скоро заболели, то, почти всеми покинутые, падали духом. Нечего и говорить, что горожане избегали друг друга, соседи не помогали друг другу, родственники редко, а иные и совсем не ходили друг к другу, если же виделись, то издали. Бедствие вселило в сердца мужчин и женщин столь великий страх, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата, а бывали случаи, что и жена мужа, и, что может показаться совсем уже невероятным, родители избегали навещать детей своих и ходить за ними, как если бы то не были родные их дети. Вследствие этого заболевшие мужчины и женщины, — а таких было неисчислимое множество, — могли рассчитывать лишь на милосердие истинных друзей, каковых было наперечет, либо на корыстолюбие слуг, коих привлекало непомерно большое жалованье, да и тех становилось все меньше и меньше, то были мужчины и женщины грубые по натуре, не привыкшие ухаживать за больными, годные только на то, чтобы подать что-нибудь больному да не пропустить той минуты, когда он кончится; и нередко на таковой службе вместе с заработком терявшие жизнь. Итак, больных бросали соседи, родственники, друзья, слуг не хватало, — вот чем объясняется никогда прежде не наблюдавшееся явление: прекрасные, обворожительные, благородные дамы, заболев, не стеснялись прибегать к услугам мужчин, хотя бы и молодых, и не стыдились, если того требовало лечение, заглядывать при них, как при женщинах, любую часть тела, каковое обстоятельство, может стать, явилось причиной тому, что, выздоровев, они были уже менее целомудренны. Должно заметить, что многие, быть может, и выжили бы, если бы им была оказана помощь. Вследствие всего этого, а также из-за плохого ухода и в силу заразительности болезни, число умиравших и днем и ночью было столь велико, что страшно было даже слышать об этом, а не то что смотреть на мертвых. Сама жизнь коренным образом изменила нравы горожан.

Прежде у нас был такой обычай (теперь он возродился): в доме покойника собирались родственницы и соседки и плакали вместе с его близкими, у дома покойника собирались родственники, соседи, другие горожане, а если он был знатного рода, то и духовные лица, равно как и сверстники усопшего, и торжественно, со свечами и с пением, выносили его тело в ту церковь, где он завещал отпевать его. Когда же начала свирепствовать чума, обычай этот почти исчез, зато появился новый. Теперь люди умирали не только без плакальщиц, но часто и без свидетелей, и лишь у гроба весьма немногочисленных горожан сходилась родня, и тогда слышались скорбные пени и проливались горячие слезы, — теперь принято было смеяться, шутить, веселиться, каковой обычай имел особенный успех у женщин, которые, опасаясь за свое здоровье, подавляли

в себе присущую им сердобольность. Мало было таких, которых провожали в церковь человек десять — двенадцать соседей, да и те были не именитые, почтенные граждане — несли тело престолюдины, которые за это получали вознаграждение и сами себя называли похоронщиками: они внезапно вырастали у гроба, затем, подняв его, скорым шагом направлялись в церковь, — при этом чаще всего не в ту, где умерший еще при жизни завещал отпевать его, а в ближайшую, — и несли они покойника при небольшом количестве свечей, иногда и вовсе без всяких свечей, а впереди шли духовные лица — человек пять-шесть, — и в храме эти последние не утруждали себя долгим и особо торжественным отпеванием, а потом с помощью похоронщиков опускали тело в первую попавшуюся еще никем не занятую гробницу. Мелкота и большинство людей со средним достатком являли собой еще более прискорбное зрелище: надежда на выздоровление или же бедность удерживали их у себя дома, среди соседей, и заболели они ежедневно тысячами, а так как никто за ними не ухаживал и никто им не помогал, то почти все они умирали. Иные кончались прямо на улице, кто — днем, кто — ночью, большинство же хотя и умирало дома, однако соседи узнавали об их кончине только по запаху, который исходил от их разлагавшихся трупов. Весь город полон был мертвецов. Соседи, побуждаемые страхом заразиться от трупов, а равно и сочувствием к умершим, поступали по большей части одинаково: либо сами, либо руками носильщиков, если только их можно было достать, выносили мертвые тела из домов и клали у порога, где их, выставленных во множестве, мог видеть, особливо утром, любой прохожий, затем посылали за носилками, а если таковых не оказывалось, то клали трупы на доски. Бывало, на одних носилках несли два, а то и три тела, и весьма нередко можно было видеть на одних носилках жену и мужа, двух, а то и трех братьев, отца и сына — и так далее. Постоянно наблюдались случаи, когда за спиной двух священников, шедших с распятием впереди покойника, к похоронной процессии приставало еще несколько носилок, так что священники, намеревавшиеся хоронить одного покойника, в конце концов хоронили шесть, восемь, а то и больше. И никто, бывало, не почтит усопших ни слезами, ни свечой, ни проводами — какое там: умерший человек вызывал тогда столько же участия, сколько издохшая коза. Тогда было очевидно для всех, что если обычное течение вещей не научает и мудрецов терпеливо сносить незначительные и редкие утраты, то в дни великих испытаний даже недалекие люди становятся предусмотрительными и невозмутимыми. Так как для великого множества мертвых тел, которые каждый день и чуть ли не каждый час подносили к церквам, не хватало освященной земли, необходимой для совершения похоронного обряда, — а ведь старый обычай требовал, чтобы для каждого покойника было отведено особое место, — то на переполненных кладбищах при церквях рыли преогромные ямы и туда опускали целыми сотнями трупы, которые только успевали подносить к храмам. Клали их в ряд, словно тюки с товаром в корабельном трюме, потом посыпали землей, потом клали еще один ряд — и так до тех пор, пока яма не заполнялась доверху.

Не вдаваясь более в подробности, относящиеся к постигнутому наш город несчастью, я должен заметить, что эта губительная для него пора была нисколько не менее ужасна и для его окрестностей. Не говорю уже о замках, ибо замок есть тот же город, только меньших размеров, но и в раскиданных там и сям усадьбах и в селах крестьяне с семьями, все эти бедняки, голяки, оставленные без лечения и ухода, днем и ночью умирали на дорогах, в поле и дома — умирали так, как умирают не люди, а животные. Вследствие этого у сельчан, как и у горожан, наблюдалось ослабление нравов; они запустили свое хозяйство, запустили все свои дела и, каждый день ожидая смерти, не только не заботились о приумножении доходов, которые они могли получить и от скота и от земли, о пожинании плодов своего собственного труда, но, напротив того, старались все имеющееся у них тем или иным способом уничтожить. Волы, ослы, овцы, козы, свиньи, куры, даже верные друзья человека — собаки, изгнанные из своих помещений, безвозбранно бродили по заброшенным нивам, на которых хлеб был не только не убран, но даже не сжат. И многие из них, точно это были существа разумные, за день вволю наевшись, насытившись, на ночь, одни, без пастуха, возвращались в свои помещения. Если оставить окрестности и возвратиться к городу, то что может быть красноречивее этих чисел: то ли небеса были к нам так немилостивы, то ли до некоторой степени повинно в том бессердечие человеческое, как бы то ни было — с марта по июль, отчасти в силу заразительности самой болезни, отчасти потому, что здоровые из боязни заразы не ухаживали за больными и бросали их на произвол судьбы, в стенах города Флоренции умерло, как уверяют, сто с лишним тысяч человек, а между тем до этого мора никто, уж верно, и предполагать не мог, что город насчитывает столько жителей. Сколько у нас опустело пышных дворцов, красивых домов, изящных пристроек, — еще так недавно там было полным-полно слуг, дам и господ, и все они вымерли, все до последнего кучеренка! Сколько знатных родов, богатых наследств, огромных состояний осталось без законных наследников! Сколько сильных мужчин, красивых женщин, прелестных юношей, которых даже Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы совершенно здоровыми, утром завтракало с родными, товарищами и друзьями, а вечером ужинало со своими предками на том свете!

Продолжать описывать все эти ужасы слишком тяжело, а потому, опустив все, что почитаю возможным, спешу сообщить, что в то время как город в силу указанных обстоятельств почти опустел, однажды, о чем мне после рассказывал человек, заслуживающий доверия, во вторник утром, в чтимом храме Санта Мария Новелла, где на ту пору почти никого не было, семь молодых женщин в соответствовавших мрачной той године траурных одеждах, связанные между собою дружбой, соседством, родством, в возрасте от восемнадцати до двадцати восьми лет, рассудительные, родовитые, красивые, благонравные, пленительные в своей скромности, прослушав божественную литургию, приблизились друг к дружке. Я мог бы сообщить подлинные их имена, но у меня есть основание от этого воздержаться, а именно: я не хочу, чтобы кому-нибудь из

них стало стыдно за предлагаемые повести, которые они или сами рассказывали, или же слушали, ибо теперь насчет увеселений стало строже, нежели в то время, когда по вышеуказанным причинам даже гораздо более зрелого возраста люди пользовались в этом отношении несравненно большей свободой. Еще мне бы не хотелось, чтобы у завистников, всегда готовых очернить человека уважаемого, явился повод хоть как-нибудь затронуть поносными словами доброе имя достойных женщин. А чтобы их нельзя было спутать, я каждой из них дам такое имя, которое всецело или хотя бы отчасти будет соответствовать душевным ее качествам: первую, самую из них старшую, мы назовем Пампинеей, вторую — Фьямметтой, третью — Филоменой, четвертую — Эмилией, Лауреттой — пятую, шестую — Нейфилой, а последнюю — не без основания — Элиссой.

Случайно, а не преднамеренно сойдясь в одном из приделов храма, они сели в кружок, прочли «Отче наш» и, повздыхав, начали беседовать о многообразных предметах, имевших касательство к злобе дня. Когда же воцарилось молчание, заговорила Пампинея:

— Милые дамы! Мне, как, вероятно, и вам, не раз приходилось слышать, что если человек с благими намерениями пользуется своим правом, то это никому не причиняет вреда. Естественное право каждого появляющегося на свет — защищать, оберегать и ограждать свою жизнь. Бывали даже такие случаи, когда ради того, чтобы обезопасить себя, люди шли на убийство, хотя бы тот, кого они убивали, был пред ними ни в чем не повинен. И раз это не воспрещено законами, споспешествующими благоденствию смертных, то должны же мы, как и все прочие, не в ущерб кому-либо принять все возможные меры предосторожности к спасению своей жизни! Вспомнив, как мы вели себя нынче утром, да и все последнее время, вспомнив, о чем и как мы между собой говорили, я, как, вероятно, и вы, прихожу к заключению, что все мы опасаемся за свою жизнь. Но не это меня удивляет — меня до крайности удивляет, что при нашей-то женской чувствительности мы не оказываем ни малейшего противодействия тому, чего каждая из нас имеет все основания страшиться. Невольно создается впечатление, что мы здесь находимся потому, что нам самим хочется, или же потому, что нам вменили в обязанность быть свидетельницами того, сколько мертвецов предано земле, проверять, совершают ли духовные особы, которых, кстати сказать, почти уже не осталось, в положенные часы богослуженья, и своим одеванием показывать каждому входящему, сколь велика и сколь ужасна постигшая нас беда. А вот что является нашему взору, стоит нам выйти из церкви: взад-вперед ходят люди и перетаскивают мертвых и больных; преступники, по закону приговоренные к изгнанию, бесчинствуют, попирая закон, ибо они отлично знают, что исполнители такового или мертвы, или больны; так называемые похоронщики, эти отбросы общества, наживающиеся на нашем несчастье, всюду разъезжают и расхаживают, одним своим видом терзая нам душу, и в непристойных песнях глаумятся над нашим горем. Мы только и слышим: «Такие-то умерли», «Те-то и те-то умирают», — и если бы было кому плакать, мы всюду слышали бы жа-

лобный плач. Наверно, это и с вами бывало: я прихожу домой, вижу, что от моей большой семьи никого не осталось — во всем доме одна-единственная служанка, и чувствую, как у меня от ужаса волосы становятся дыбом. И куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, всюду мне мерещатся призраки умерших, но я уже не узнаю знакомые черты: покойники по непонятной для меня причине приняли новое, ужасное, пугающее обличье. Вот почему мне везде страшно: и здесь, и дома, и где бы то ни было. А ведь, если я не ошибаюсь, только мы во всем городе располагаем средствами, и только нам есть куда удалиться. Мне часто приходилось слышать и даже видеть, как л ю д и , — не знаю, впрочем, живы ли они е щ е , — утратив представление о том, что благопристойно и что неблагопристойно, сделавшись рабами своих похотей, и одни и на людях, и днем и ночью резвятся в свое удовольствие. И поступают так не только миряне, но и монастырские затворники: эти себя убедили, что им пристало и подобает делать то же, что делают другие; в надежде на то, что благодаря этому смерть их не тронет, они, нарушив обет послушания, стали ублажать свою плоть, стали распутниками и развратниками. А когда так, то зачем же мы здесь? Чего ждем? О чем думаем? Почему мы безразличнее и равнодушнее относимся к собственному здоровью, нежели прочие горожане? Считаем ли мы себя хуже других? Или мы полагаем, что жизнь наша прикреплена к телу более прочной цепью, нежели у других, и у нас нет оснований опасаться, что есть такая сила, которая способна порвать ее? Когда так, то мы заблуждаемся, мы сами себя обманываем. Если мы и впрямь склонны так думать, значит, как же мы безрассудны! Вспомним, как много прекрасных юношей и девушек унесла неумолимая ч у м а , — это самое наглядное доказательство нашего безрассудства. Не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению, а все же я, для того чтобы наше упрямство или же самонадеянность не завели нас в тупик, предлагаю следующее: по-моему, самое лучшее, что мы можем сделать, — это последовать примеру тех, кто уже так поступил, а равно и тех, кто и сейчас еще так поступает, то есть — оставить город и, страшась пуще смерти дурного общества, благопристойным образом удалиться в загородные и м е н ь я , — а ведь у каждой из нас таких имений много м н о ж е с т в о , — и в тех именьях, ни в чем не переходя границы благоразумия, заполнить свой досуг всякого рода развлечениями — веселостями и удовольствиями. Там поют птички, зеленеют холмы и доли, на нивах волнуется море хлебов, и каких только нет там деревьев, и небо там более открытое, нежели здесь, и хоть оно и гневается на нас, а все же вечной своей красы не скрывает, — все это куда больше ласкает взор, нежели опустевший наш город. Да и воздух там чище, и все, что в такое время особенно необходимо для поддержания сил, мы там найдем в изобилии, а вот огорчений там меньше. Хлебопашцы там тоже мрут, как здесь горожане, однако смерть не производит там такого тяжелого впечатления, как в городе, оттого что домов и жителей там меньше, чем в городе. С другой стороны, здесь, если не ошибаюсь, мы никого не покидаем; если уж на то пошло, так скорее мы можем считать, что мы всеми покинуты, ибо наши близкие или умерли, или бежали от смерти и бросили нас в беде, словно мы им

чужие. Коротко говоря, если мы так поступим, то упрекнуть нас будет не в чем. Если же мы поступим по-иному, то нас ожидают скорбь, горе, а может статься, и смерть. Так вот, коли мое предложение всем вам по нраву, давайте возьмем с собой служанок и все, что может понадобиться в дороге, а за городом давайте проводить время сегодня здесь, завтра там и устраивать празднества и увеселения, какие в наше время устраивать дозволяется, — по-моему, так будет лучше всего. Пробудем же мы там, пока не увидим, — если только мы до этого не умрем, — что нам в конце концов уготовало небо. Примите еще и то в соображение, что похвальнее поступим мы, удаляясь отсюда достойно, нежели те, которые ведут себя здесь недостойно.

Выслушав Пампинею, дамы одобрили ее совет и, вознамерившись последовать ему, начали между собой толковать, как лучше всего поменять его к делу, словно по выходе из храма им предстояло незамедлительно отправиться в путь. Однако ж Филомена, женщина в высшей степени благоразумная, молвила:

— Сударыни! Пампинея говорила дело, со всем тем зря вы так спешите. Вспомните, что все мы — женщины, и даже юнейшие из нас прекрасно знают, каково женщине жить своим умом, как необходимы ей советы мужчины. Мы непостоянны, взбалмошны, подозрительны, малодушны, трусливы, и я очень боюсь, как бы без мужского надзора наш кружок не распался, и притом — в самом непродолжительном времени, да еще к немалому урону для нашей чести, так что сперва нужно позаботиться о таком надзоре, а потом уже приступить к исполнению нашего замысла.

Элисса ей на это сказала:

— Мужчина — владыка для женщины, то правда; без руководства, осуществляемого мужчинами, начинания наши редко приходят к достохвальному концу, но где мы сыщем таких мужчин? Почти все наши близкие умерли, те же, что остались в живых, разлетаются целыми стаями неизвестно куда, и бегут они от того же, от чего стремимся укрыться и мы. Обращаться к чужим неприлично, — значит, нужно искать другой, благопристойный путь к спасению, иначе вместо веселья и отдохновенья уделом нашим пребудут горе и смута.

Меж тем как девушки все еще вели этот разговор, в церковь вошли трое молодых людей, самому младшему из которых было, однако ж, не менее двадцати пяти лет. У всех троих ни бедственная година, ни утрата друзей и родных, ни боязнь за себя не угасили и не охладили любовный пламень. Одного из них звали Панфило, другого — Филострато, третьего — Дионео. Все трое были юноши миловидные и благовоспитанные, и все трое как наивысшего утешения среди превратностей жизни жаждали встречи с дамами их сердца, каковые случайно оказались в числе семи упомянутых, остальные же четыре дамы состояли с юношами в родстве.

Юноши и девушки заметили друг друга одновременно.

— Судьба, как видно, благоприятствует нашему намерению, — улыбаясь, заговорила Пампинея, — коль скоро она посылает нам сих рассудительных и достойных юношей, каковые охотно примут на себя

обязанности наших наставников и наших слуг, если только мы решимся эти обязанности им поручить.

При этих словах по лицу Нейфилы, в которую один из юношей был влюблен, разлилась краска стыда.

— Что ты, Пампинейя! — воскликнула она. — Ни о ком из них ничего, кроме хорошего, сказать нельзя, это я знаю наверное, они справились бы и с более трудными обязанностями, их общество доставило бы удовольствие и послужило бы к чести более привлекательным и достойным девушкам, нежели мы. Вот только они в некоторых из нас влюблены, и об этом все уже знают, — если мы возьмем их с собой, то как бы это, не по нашей и не по их вине, не бросило на нас тень и не вызвало нареканий?

— Пустое! — молвила Филомена. — Мое дело — жить честно, так, чтобы не в чем было себя упрекнуть, а там пусть говорят что хотят, — господь бог и справедливость за меня вступятся. Если б только молодые люди согласились, мы бы тогда могли сказать вслед за Пампинеей: судьба благоприятствует нашему путешествию.

Слова Филомены подействовали на всех успокоительно, и тут же было решено подозвать молодых людей, сказать о своих намерениях и попросить об одолжении составить им компанию. Пампинейя, приходившаяся одному из молодых людей родственницей, нимало не медля встала, направилась к юношам, стоявшим поодаль и смотревшим на девушек, приветливо с ними поздоровалась и, сообщив о своем решении, от имени всех своих подруг обратилась с просьбой — из самых чистых, братских побуждений составить им, если возможно, компанию.

Молодые люди подумали сперва, что она над ними смеется; как же скоро они уверились, что это не шутки, то с радостью изъявили свою готовность и, чтобы не откладывать этого дела, условились, прежде чем разойтись, что нужно взять с собою в дорогу. Приказав начать сборы и послав нарочного туда, где они намерены были расположиться, на рассвете следующего дня, а именно — в среду, девушки в сопровождении нескольких служанок и трое молодых людей с тремя слугами оставили город. Какие-нибудь две мили — и вот они уже в том месте, где их ожидали. В стороне от проезжей дороги глазам их представилась горка, поросшая разнообразною растительностью, увеселявшею взор яркою своею зеленью. На горке стоял дворец с красивым, просторным внутренним двором, с лоджиями, с анфиладой зал и комнат, являвших собой — каждая в своем роде — чудо искусства и украшенных радовавшими глаз дивными картинами, с лужайками и роскошными садами, разбитыми вокруг, с колодцами, откуда брали чистую воду, с погребями, где было полно дорогих вин, что, впрочем, более приличествовало записным кутилам, нежели трезвым и благонравным девицам. Прибывшие обнаружили, к немалому своему удовольствию, что во всех комнатах подметено, в спальнях постелены постели, все убрано цветами, какими в это время года были обильны сады, полы устланы тростником.

Когда, тотчас по прибытии, девушки и юноши сели по местам, заговорил Дионео, изо всей компании самый веселый и остроумный:

— Тем, что мы здесь, мы обязаны, сударыни, вашему благоразумию, мы же оказались недостаточно сообразительны. Мне неизвестно, каково в настоящее время течение ваших мыслей, я же свои мысли оставил за воротами города, едва вышел из них вместе с вами. А потому либо давайте вместе со мной развлекаться, петь, забавляться, в зависимости от того, что каждой из вас по душе, либо отпустите меня к моим мыслям в несчастный наш город.

На это Пампинейя, тоже как бы отогнавшая от себя мрачные мысли, с веселым видом ответила ему так:

— Ты хорошо сказал, Дионео. Давайте жить в свое удовольствие — для чего же мы тогда бежали от скорбей? Однако все выходящее из границ длится недолго, а потому я, которая и завела разговор, приведший к образованию столь приятного общества, — я почитаю необходимым, дабы веселье наше было продолжительным, сойтись на том, чтобы кто-нибудь у нас был за главного, которого мы все уважали бы, слушались как старшего и который думал бы только о том, чтобы нам жилось веселее. Но дабы каждый из нас познал и бремя забот, и радости, сопряженные с главенством, и в то же время дабы никто не питал зависти к тем, кто познал и заботы и радости, я предлагаю возлагать почетное это бремя на каждого из нас по очереди. И первый пусть будет всеми нами избран, а следующих пусть каждый раз перед вечерней назначают по своему благоусмотрению тот или та, кто в этот день был нашим повелителем. И этому вновь назначенному, пока длятся его полномочия, надлежит устанавливать и определять для нас местопребывание и распорядок дня, как ему заблагорассудится.

Это предложение все очень одобрили, и на первый день единогласно была избрана Пампинейя, после чего Филомена, от многих слышавшая, сколь почетен лавровый венок для тех, кто его удостоен, и сколь великую честь принесит он тем, кто увенчан им по заслугам, подбежала к лавру, сорвала несколько веточек, сплела пышный почетный венок, возложила его Пампинее на голову, и с этого дня лавровый венок служил в этом обществе, покуда оно существовало, отличительным знаком главенства и королевской власти.

Став королевою, Пампинейя велела всем умолкнуть, послала за тремя слугами юношей и за четырьмя служанками и при всеобщем молчании молвила:

— Желая подать вам пример того, как должно способствовать процветанию нашего общества, дабы оно, крепкое своими устоями и безупречное, жило и здравствовало на радость всем нам, пока мы этого хотим, я прежде всего назначаю слугу Дионео Пармено моим дворецким и вверяю его заботам и попечениям всю нашу прислугу, равно как и все, что касается наших трапез. Слуга Панфило Сириско пусть будет нашим счетчиком и казначеем, помощником Пармено. Тиндаро надлежит состоять при Филострато и других молодых людях: ему вменяется в обязанность прислуживать им в покоях в то время, когда прочие слуги будут заняты другим делом. Моя служанка Мизия и служанка Филомены Личиска должны неотлучно находиться в кухне и со всеусердием готовить

кушанья, какие им закажет Пармено. На обязанности служанки Лауретты — Кимеры и служанки Фьямметты — Стратилии будет лежать уборка женских спален и тех комнат, где мы будем собираться. Мы просим, и даже требуем, чтобы каждый, кому дорого наше благоволение, куда бы он ни направился и откуда бы ни возвратился, что бы ни услышал и ни увидел, поостерегся от сообщения новостей, принесенных извне, за исключением приятных.

Наскоро отдав эти распоряжения, всеми встреченные сочувственно, Пампинейя с веселым видом поднялась и сказала:

— Тут у нас и сады, и лужайки, и другие приветные места, — гуляйте сколько хотите, но в девять часов утра, когда еще прохладно, все должны явиться к завтраку.

Как скоро новая королева отпустила веселое общество, юноши и прелестные дамы вышли в сад, и, гуляя, они заговорили о разных приятных вещах, стали плести венки и нежными голосами запели. Так они провели время до установленного королевою часа, а придя домой, увидели, что Пармено рьяно взялся за дело: внизу, в столовой, столы были накрыты белоснежными скатертями, бокалы отливали серебром, всюду благоухал дрок. После того как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук, все расселись по местам, которые указал Пармено. Мигом внесли тонкие кушанья и изысканные вина, трое слуг молча прислуживали за столом. Наблюдавший за завтраком образцовый порядок привел общество в отменное расположение духа, все мило пошучивали, и завтрак прошел оживленно. Девушки и юноши умели танцевать, некоторые — играть и петь, а потому, как скоро убрали со столов, королева велела принести музыкальные инструменты. Затем, по ее распоряжению, Дионео — на лютне, а Фьямметта — на виоле заиграли медленный танец. Королева отослала прислугу поесть, а затем она, другие дамы и два молодых человека стали в круг, и начался плавный круговой танец. После этого все стали петь прелестные веселые песенки. Наконец королева решила, что пора соснуть. Когда она всех отпустила, трое молодых людей удалились на свою половину, — в покоях, где их ожидали отлично постеленные постели, было так же много цветов, как и в зале. Ушли на свою половину и дамы; разделись и легли отдохнуть.

Едва пробило три часа, как королева, уверяя, что днем долго спать вредно, сама поднялась и подняла других дам, а затем молодых людей. Все пошли на лесную лужайку, где росла высокая зеленая трава и куда не проникал ни единый луч солнца. Ощувив легкое дуновение ветерка, королева велела всем сесть в кружок прямо на мураву.

— Как видите, — заговорила она, — солнце еще высоко, жара палящая, слышен лишь треск цикад на ветвях олив. Идти куда-нибудь еще неразумно, а здесь, в холодке, хорошо, у нас есть шахматы, шашки, каждый может заняться тем, что ему больше по сердцу. Однако, если вы желаете знать мое мнение, я бы предложила посвятить самые жаркие часы не игре, потому что от нее неминуемо портится расположение духа у одних участников, а другим, равно как и зрителям, она тоже особого удовольствия не доставляет, — не игре, но рассказам, ибо один рассказчик

способен занять всех слушателей. Каждый из вас что-нибудь расскажет, а там уже солнце начнет склоняться к западу, станет не так жарко, и мы сможем отправиться куда угодно. Если вам мое предложение по д у ш е , — а я готова пойти навстречу любому вашему пожеланию, — то давайте так и поступим; если же нет — пусть до самого вечера все занимаются кто чем хочет.

И мужчины и дамы предпочли рассказывать.

— Ко л и т а к , — молвила королева, — я желаю, чтобы в первый день *каждый волен был рассказать о том, что ему по нраву.*

Тут она обратилась к сидевшему справа от нее Панфило и с очаровательною приятностью попросила его начать. Выслушав приказание, Панфило нимало не медля, меж тем как все общество превратилось в слух, начал свой рассказ так.





*Мессер Ченнаrello живою исповедью вводит в заблуждение святого отца и умирает; злочестивец при жизни, он после смерти был причислен к лику святых и наречен «святым Шапелето»*



сякое дело, милейшие дамы, какое только ни замыслит человек, должно совершать во имя того, кто положил начало всему сущему, имя же его чудотворно и свято. Вот почему и я, раз уж мне выпал жребий открыть наши собеседования, намерен поведать вам одно из его поразительных деяний, дабы мы, услышав о таковом, положились на него, как на нечто незыблемое, и вечно славили его имя.

Как известно, все временное преходяще и смертно; и оно само, и то, что его окружает, полно грусти, печали и тяготы и всечасным подвергается опасностям, которые нас неминуемо подстерегли бы и которых мы, в сей временной жизни пребывающие и составляющие ее часть, не властны были бы предотвратить и избежать, когда бы господь по великой своей милости не посылал нам сил и не наделил нас прозорливостью. Не следует думать, будто милость эту мы заслужили, — нет, господь ниспосылает ее нам, потому что он всеблаг, а равно и по молитвам тех, что когда-то были такими же смертными, как и мы, однако волю его при жизни соблюдали и ныне пребывают вместе с ним, бессмертные и блаженные. К ним-то мы и взываем, как к нашим заступникам, знающим по опыту, что такое человеческая слабость, — не дерзая, быть может, молиться всеправедному судие, мы со всеми нашими нуждами обращаемся к ним. И тем явственнее обнаруживаются его попечение о нас и милосердие, что, не в силах будучи смертным нашим оком прозревать в тайны божественного разума, мы, введенные в заблуждение молвою, нередко избираем себе такого заступника пред лицом его всемогущества, кото-

рый им же осужден на вечную муку, а ведь от него ничто не скроется, и все же он, принимая в соображение не столько осуждение того, к кому молитвы воссылаются, и не столько неосведомленность молящегося, сколько душевную его чистоту, приклоняет слух к мольбам так, как если бы осужденный удостоился вечного блаженства. Все это будет явствовать из того, что я собираюсь вам рассказать (когда я говорю «явствовать», то я имею в виду не божественную мудрость, а человеческое разумение).

Говорят, что когда именитый и богатейший купец Мушьятто Францези, получивший дворянство, отбыл в Тоскану вместе с братом французского короля Карлом Безземельным, которого туда вытребовал и вызвал папа Бонифаций, он обнаружил, что, как это нередко бывает с купцами, дела его и здесь и там сильно запутались и что скоро и просто их не распутаешь, а потому вести дела он поручил нескольким лицам, и таким образом все отлично устроилось. Одно лишь его беспокоило: где ему сыскать человека, который сумел бы взыскать долг с бургундцев? Поводом для беспокойства служило ему то, что бургундцы были ему известны как люди несговорчивые, злонравные и бесчестные, и он никак не мог припомнить, кто бы мог свое коварство с успехом противопоставить их коварству. Долго он над этим ломал себе голову, и наконец на память ему пришел некто мессер Чеппарелло из Прато, который частенько навещал его в Париже. Росту Чеппарелло был небольшого, одевался щеголевато; французы не имели понятия, что означает слово «Чеппарелло»: они полагали, что это соответствует их слову: «шапель», то есть, на их обиходном наречии, «венок», между тем росту он, как я уже заметил, был небольшого — вот почему они называли его не Шапело, а Шапелето. Всюду он был известен как Шапелето, и лишь немногие знали, что он мессер Шапело. Вот что собой представлял этот самый Шапелето: будучи нотариусом, он сгорал со стыда, если какой-либо из его актов, — а у него и было-то их немного, — оказывался не фальшивым, составлял же он их по первому требованию, составлял охотнее даром, нежели иной — за крупное вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием как по требованию, так и без всякого требования, а в те времена во Франции придавали громаднейшее значение присяге, ему же ничего не стоило солживить клятву, и так, нечестным путем, он выигрывал все дела, хотя давал присягу держать ответ по совести и говорить одну лишь истинную правду. Сеять между друзьями, родственниками и вообще между людьми рознь, вражду, ссорить их — это было для него великим удовольствием, это была его страсть, и чем больше его стараниями случалось несчастий, тем ему было приятнее. Если его приглашали принять участие в убийстве или же в каком-либо другом преступлении, он никогда не отказывался, напротив — с удовольствием соглашался и охотно своими собственными руками наносил ранения и убивал. Будучи человеком в высшей степени злобным, он по всякому поводу ругал бога и святых самыми скверными словами. В церковь не ходил, все ее таинства ни во что не ставил и глумился над ними в непристойных выражениях. А вот таверны и прочие злачные места посещал часто и

охотно. Женщин он любил, как собака — палку, зато противоположному пороку предавался с большим удовольствием, нежели иной развратник. Обокрасть и ограбить он мог с такой же спокойной совестью, с какою человек добродетельный подает милостыню. Он был страшнейший обжора и пьяница, что в иных случаях доставляло ему неприятности и навлекало на него бесчестье. Он был завзятый шулер и нечисто играл в кости. Но к чему я трачу слова? Лучше было бы этому человеку не родиться. Влияние, каким пользовался мессер Мушьятто, и его положение в обществе долгое время служили щитом для плутней Шапелето — вот почему и частные лица, которых он постоянно оскорблял, и судейские чины, которых он обливал грязью, спускали ему.

Мессер Мушьятто вспомнил про мессера Шапелето, коего образ жизни был ему хорошо известен, и решил, что это и есть тот человек, который требуется для коварных бургундцев; того ради он велел позвать его и обратился к нему с такою речью: «Мессер Шапелето! Тебе известно, что я уезжаю отсюда навсегда, между тем мне задолжали обманщики-бургундцы, взysкать же с них долг никто, кроме тебя, по моему разумению, не способен. Дел у тебя в настоящее время нет никаких, и вот, если ты поручение мое исполнить согласишься, я за тебя замолвлю словечко во дворце, а сверх того выдам тебе изрядную часть тех денег, которые ты стребуешь с бургундцев».

Мессер Шапелето был не у дел, земные блага подходили у него к концу, в довершение всего тот, кто в течение долгого времени служил ему прибежищем и оплотом, его покидал, так что в силу необходимости ему пришлось согласиться, и он, нимало не медля, изъявил полное свое согласие. Как сказано, так и сделано: получив доверенность мессера Мушьятто и рекомендательные письма короля, Шапелето тотчас по отбытии мессера Мушьятто отправился в Бургундию, где его никто почти не знал. Сверх обыкновения он взялся за дело и принялся взysкивать долги мягко и миролюбиво, словно поберегая силы к концу. Остановился он у двух братьев-флорентийцев, занимавшихся ростовщичеством, каковые ростовщики ради мессера Мушьятто оказывали ему все знаки внимания, и внезапно занемог. Братья тот же час послали за лекарями, нашли человека для ухода за ним, словом, приняли все меры для того, чтобы поставить его на ноги. Ничто, однако ж, не помогло, — по словам лекарей, этому доброму человеку, бывшему в преклонных летах, да к тому же еще ведшему беспорядочный образ жизни, день ото дня становилось все хуже и хуже, ибо то был смертельный недуг, что весьма огорчало братьев.

Однажды в комнате рядом с той, где лежал на одре болезни мессер Шапелето, братья завели такой разговор. «Что нам с ним делать? — молвил один другому. — Влипли мы с ним. Выгнать его, больного, из дому было бы в высшей степени постыдно и неблагоприятно: все видели, какое гостеприимство мы ему оказали, как заботливо потом за ним ухаживали и лечили, и вдруг теперь, когда он при смерти и не в состоянии чем-либо досадить нам, мы его выгоняем на улицу! С другой стороны, этот мерзавец не захочет исповедоваться и приобщаться святых тайн, а ежели он

умрет без покаяния, то ни одна церковь не станет его хоронить, — его, как собаку, швырнут в яму. А если даже он исповедается, то ведь у него столько тяжких грехов, что то же на то же и выйдет: ни один монах и ни один священник их ему не отпустит; если же он отпущения не получит, все равно лежать ему в яме. Коль же скоро это произойдет, местные жители, которые только и знают, что честить нас, — они считают, что мы занимаемся нехорошими делами, и не прочь нас ограбить, — поднимут шум и гам: «Этих ломбардских собак церковь отказывается хоронить, — чего же мы-то их терпим?» Ворвутся в наши дома и не только разграбят их дочиста, а еще, чего доброго, и пристукнут нас. Словом сказать, ежели он умрет, нам придется не сладко».

Как я уже сказал, мессер Шапелето лежал в соседней комнате; между тем слух у многих больных бывает особенно тонок, и он расслышал все, что про него говорили братья. Он позвал их к себе и сказал: «Я не хочу, чтобы вы из-за меня тревожились, чтобы вы из-за меня самонадеянный потерпели урон. Я слышал все, что вы про меня говорили, и убежден, что когда бы дело приняло такой оборот, то так бы все и произошло, однако ж дело обернется иначе. При жизни я столь часто гневил бога, что если перед смертью я буду гневить его в течение часа, то прегрешения мои от того не умножатся и не уменьшатся. Посему призовите ко мне святой, праведной жизни монаха, самой что ни на есть святой жизни, если только такие есть на свете, и предоставьте действовать мне: я и ваши и свои дела устрою наилучшим образом, так что вы останетесь довольны».

Хотя братья ничего хорошего не ожидали, со всем тем направили стопы свои в монастырь и обратились с просьбою, чтобы какой-либо благочестивый и мудрый иннок исповедал ломбардца, захворавшего у них в доме. Им дали старца святой и строгой жизни, начитанного от Писания, человека весьма почтенного, пользовавшегося у горожан особым и превеликим уважением, и братья повели его к себе. Войдя в комнату, где лежал мессер Шапелето, и приблизившись к умирающему, он принялся ласково утешать его, а затем спросил, когда он в последний раз исповедовался.

Мессер Шапелето хоть и никогда не исповедовался, однако ж ответил ему так: «Отец мой! Раз в неделю я уж непременно исповедуюсь, а иногда и чаще, но на этой неделе я по болезни ни разу не исповедовался — так меня скрутило».

Монах ему на это сказал: «Похвально, сын мой, поступай так и впредь. Раз ты так часто исповедываешься, стало быть, ничего особенного я от тебя не услышу и не о чем мне тебя особенно расспрашивать».

Мессер Шапелето возразил: «Не скажите, честной отец. Сколько и как часто я бы ни исповедовался, я не оставлял намерения принести покаяние во всех грехах, какие я только сумею припомнить, во всех грехах, совершенных мною со дня моего рождения и по день последней исповеди. Того ради прошу вас, святой отец: спрашивайте меня так подробно, как если бы я никогда в жизни не исповедовался. На мой недуг не обращайтесь внимания — я предпочитаю чем-либо досадить своей плоти, нежели,

ублажая ее, содействовать гибели моей души, которую Искупитель спас, пролив пречистую кровь свою».

Такие речи пришли по нраву святому отцу, ибо он принял их за знак благонамеренности болящего. Весьма одобряя таковое его устроение, он обратился к нему с вопросом, не впал ли он в блуд, согрешив с какою-либо женщиной.

Мессер Шапелето со вздохом молвил: «Отец мой! Тут я стыжусь сказать вам правду — боюсь, как бы не впасть в грех тщеславия».

А святой отец ему на это: «Говори с м е л о , — сказать правду никогда не грех: как на исповеди, так и при любых других обстоятельствах».

Тогда мессер Шапелето ему сказал: «Ну, коли так, то я вам откроюсь: я такой же точно девственник, каким вышел из чрева моей матери».

«Да благословит тебя господь! — воскликнул монах. — Похвально это с твоей стороны! И заслуга твоя тем больше, что при желании тебе легче было бы жить иначе, нежели нам, а равно и всем, кто связан каким-нибудь обетом».

Затем духовник спросил негодующего, не прогневил ли он бога чревоугодием. Тот же ему с тяжелым вздохом на это ответил, что гневил, и притом многократно, ибо если уж говорить по чистой совести, то хотя он соблюдал в течение года все посты, соблюдаемые людьми богобоязненными, и, по крайней мере, три дня в неделю сидел на хлебе и воде, однако ж воду он пил, в особенности — устав от долгой молитвы и от хождения по святым местам, с таким же точно наслаждением и удовольствием, с каким пьяницы пьют вино. Частенько он соблазнялся салатом из трав, который сельчанки делают, собираясь на полевые работы, а иной раз ему казалось, что он вкушает пищу с аппетитом, который, как ему кажется, не должны выказывать постящиеся в силу своей богобоязненности, а он именно так и постится.

Монах же ему сказал: «Сын мой! Это все грехи не тяжкие, сродные человеку, — особенно отягощать ими совесть не следует. Каждому человеку, сколько бы он ни был свят, яствие кажется особенно вкусным после долгого поста, питье — с устатку».

«Ах, отец мой, не утешайте меня! — воскликнул мессер Шапелето. — Ведь вы же знаете не хуже меня, что все, что мы делаем для бога, надлежит делать чистыми руками и без единого пятнышка на совести, а иначе мы берем на душу грех».

Монах возрадовался и сказал: «Ах, как меня радует направление твоих мыслей! Как приятно видеть человека с такой чистой, с такой доброй совестью! Скажи мне, однако ж: не впадал ли ты в грех сребролюбия, не стремился ли приобрести больше, чем тебе полагалось, не удерживал ли того, что тебе не подобало удерживать?»

Мессер Шапелето ему на это ответил: «Отец мой! Мне бы не хотелось, чтобы вы судили обо мне на основании того, что я нахожусь в доме ростовщиков: у меня с ними ничего общего нет, настолько, что я и приехал-то сюда единственно для того, чтобы обличить их, осудить и уговорить бросить этот постыдный способ наживы, и, может статься, я бы в том и преуспел, когда бы господь меня не посетил. Да будет вам ведомо,

что отец мой оставил мне богатое наследство, я же, как скоро он преставился, большую часть пожертвовал на бедных. А дабы прокормиться самому и помогать тем, кто живет Христовым именем, я стал немножко приторговывать ради хлеба насущного, однако ж неукоснительно делил прибыль пополам: половину тратил на свои собственные нужды, половину отдавал божьим людям. И за это господь мне так явно помогал, что дела мои шли все лучше и лучше».

«Добро! — молвил монах. — Однако ж как часто ты гневался?»

«Ох! — воскликнул мессер Шапелето. — Надобно признаться, довольно-таки часто. Да и кто бы на моем месте сумел бы себя преобороть при виде того, как люди ежедневно чинят непотребства, не соблюдают заповедей господних и суда божьего не боятся? Нескільки раз на дню говорил я себе, что лучше умереть, нежели жить и видеть юношей, промышляющих токмо о тщете земной, клянущихся и преступающих клятвы, шляющихся по кабакам и не бывающих в церкви, предпочитающих стезю мирскую стезе господней».

Монах же ему на это сказал: «Сын мой! То гнев священный, и за него я на тебя епитимьи не наложу. Не было ли, однако ж, такого случая, когда бы гнев толкнул тебя на смертоубийство, подстрекнул оскорбил человека или же какую-либо другую обиду причинить?»

Тут мессер Шапелето вскричал: «Горе мне, грешному! Ведь я же вас чту как святого, а вы такие вещи говорите! Да если б я только помыслил совершить одно из тех преступлений, которые вы перечислили, — неужели вы думаете, что всевышний тотчас не послал бы по мою душу? На такие вещи способны разбойники, лихие люди; я же всякий раз, когда мне приходилось с кем-либо из них сталкиваться, говорил: «Ступай! Да обратит тебя господь!»

Монах же ему сказал: «Благословение божие да пребудет с тобою, сын мой; поведай мне, однако ж: не лжесвидетельствовал ли ты, не зловил ли, не отбирал ли чужое добро?»

«Так, ваше высокопреподобие, я зловил, — признался мессер Шапелето. — Был у меня сосед, изверг естества, то и дело избивавший свою жену. Однажды я дурно о нем отозвался в разговоре с ее родственниками — так жаль мне стало бедняжку: он, бывало, хватит лишнего — и давай колотить ее чем ни попадя».

Монах же ему сказал: «Добро! Ты мне, однако ж, признался, что был купцом. Так вот, не обманывал ли ты покупателей, как то водится за купцами?»

«Грешен, ваше высокопреподобие, — отвечал мессер Шапелето, — вот только я не знаю, кого именно я обсчитал: кто-то принес мне деньги за проданное сукно, и я, не пересчитав, запер их в сундук, а месяц спустя обнаружил в сундуке на четыре гроша больше, чем должно было быть. Целый год я хранил эти деньги в надежде возвратить покупателю, но покупатель исчез, и в конце концов я употребил их на богоугодные дела».

Монах же на это сказал: «Сумма незначительная, и ты распорядился ею разумно».

Помимо этого, святой отец расспрашивал и о многом другом, а мессер Шапелето на все отвечал в том же духе. Духовник совсем уж было собрался отпустить ему все его прегрешения, как вдруг мессер Шапелето обратился к нему с такими словами: «Ваше высокопреподобие! Я вам еще про один грех не сказал».

Монах осведомился, про какой именно, и тот ему сказал: «Я припоминаю, что однажды велел моему слуге подмести пол в субботу по истечении третьего часа, — тем самым я выказал неуважение к воскресному дню».

«А, сын мой, это пустяки!» — молвил монах.

«Не скажите, — возразил мессер Шапелето, — воскресный день должно особенно чтить, поелику он установлен в память воскресения господина нашего Иисуса Христа».

Монах же его спросил: «Не совершил ли ты какого-либо другого греха?»

«Как же, совершил, ваше высокопреподобие, — отвечал мессер Шапелето. — Однажды я по рассеянности плюнул в божьем храме».

Монах усмехнулся и сказал: «Об этом не сокрушайся, сын мой. Мы — монахи, и то каждодневно плюем в церкви».

Мессер Шапелето ему на это сказал: «И прескверно делаете: святой храм надлежит держать в совершенной чистоте, понеже в нем приносится жертва богу».

Подобных грешков у мессера Шапелето набралось многое множество, а под конец он принялся вздыхать и горько плакать, вздохи же и плач он изображал отлично, как скоро ему в том представлялась надобность.

Святой отец спросил его: «Что с тобою, сын мой?»

А мессер Шапелето ему ответил: «Увы мне, ваше высокопреподобие! Есть еще один грех на моей душе, я в нем никогда не каялся, оттого что мне было очень стыдно. Стоит мне вспомнить о нем — и я, как видите, обливаюсь слезами, ибо я убежден, что господь не простит его мне».

Святой отец же ему на это сказал: «Полно, сын мой, что ты говоришь? Если бы даже все грехи, до сих пор совершенные людьми, а равно и те, которые будут совершены до скончания века, совершил один человек, и человек тот каялся бы и сокрушался, как ты, то господь по великому милосердию и человеколюбию своему охотно простил бы его — при условии, что тот ничего бы от него не утаил. Говори, не бойся».

Но мессер Шапелето, все так же громко стеля, ему сказал: «Увы мне, честной отец! Велико мое согрешение, и если только вы за меня не помолитесь, то господь, пожалуй, меня не простит».

А монах ему на это: «Говори, не бойся, я за тебя помолюсь».

Мессер Шапелето, однако ж, рыдал и не произносил ни слова, а монах уговаривал его. Долго рыдал мессер Шапелето и наконец, доведя монаха до томленья, с глубоким вздохом молвил: «Отец мой! Коль скоро вы обещали за меня помолиться, я вам скажу все. Знайте же, что в дет-



стве я однажды обругал мать». И, сказавши это, он еще громче заплакал.

А монах ему: «Сын мой! И это тебе представляется великим грехом? Другие с утра до ночи богохульствуют, и господь охотно их прощает, если только они раскаялись. Неужели же ты думаешь, что он не простит тебя? Не плачь, утешься! Можешь мне поверить, что если даже ты был бы одним из тех, кто распял его на кресте, все равно он бы тебя простил — я вижу твое искреннее раскаяние».

А мессер Шапелето ему возразил: «Увы мне, отец мой! Что вы говорите! Моя милая маменька в продолжение девяти месяцев денно и ночью носила меня во чреве своем, а затем сто раз носила меня на руках! Как не совестно было мне бранить ее, какой это тяжкий грех! Если вы за меня не помолитесь, он мне никогда не простится».

Когда монах увидел, что мессеру Шапелето больше сказать нечего, он отпустил ему грехи и благословил его, — он вполне поверил, что мессер Шапелето говорил сущую правду, и признал его за святого человека. Да и кто бы не поверил исповеди умирающего?

Итак, выслушав его, монах сказал: «Мессер Шапелето! С божьей помощью вы скоро поправитесь. Однако ж, если бы так случилось, что господь призвал к себе вашу чистую, готовую предстать перед ним душу, не рассудите ли вы за благо, чтобы тело ваше было погребено в нашей обители?»

Мессер Шапелето ответил ему так: «Да, ваше высокопреподобие. Лучшего места упокоения я и желать бы не мог: ведь вы обещали молиться за меня, а кроме того, я всегда испытывал особое уважение к вашему Ордену. Посему прошу вас: как скоро вы возвратитесь в священную вашу обитель, соблаговолите распорядиться, чтобы мне принесли самое пречистое тело Христово, которое вы ежеутренне освящаете на престоле, ибо хотя я и сознаю свое недостойнство, а все же надеюсь с вашего благословения причаститься и собороваться, — при жизни я немало нагрешил, а умереть хочу по-христиански».

Честной отец с превеликой охотой согласился, одобрил его намерение и обещал, что святые дары будут ему незамедлительно доставлены. Как сказано, так и сделано.

Меж тем братья, боясь, как бы мессер Шапелето не надул их, расположились за переборкой, отделявшей их комнату от той, где лежал мессер Шапелето, начали подслушивать и без труда уловили и уразумели все, о чем мессер Шапелето говорил монаху. Слушая его исповедь, они давились хохотом и говорили друг дружке: «Каков! Ни старость, ни болезнь, ни ужас близкой кончины, ни страх от сознания, что через какой-нибудь час он предстанет пред судом Божиим, — ничто не в состоянии исправить порочный его нрав: злодеем прожил всю свою жизнь, злодеем и умирает». Узнав, однако же, что его обещали похоронить в монастыре, братья успокоились.

Малое время спустя мессер Шапелето причастился, а когда ему стало совсем плохо — соборовался. Отошел он вскоре после вечерни в тот самый день, когда он так чистосердечно покался в грехах. По сему случаю

брatья, заранее позаботившись о торжественных похоронах — на его же деньги — и послав за монахами, чтобы они, как полагаются, вечером отслужили панихиду, а утром отпели покойного, приготовили все, что для этого требуется. Исповедовавший усопшего честной отец, узнав об его кончине, переговорил с настоятелем монастыря и, колокольным звоном созвав всю братию на капитул, объявил, что, судя по тому, как мессер Шапелето исповедовался, этот человек святой. Вдобавок он выразил надежду, что вседержитель через него множество явит чудес и что братия примет его останки с превеликою честью и благоговением. Настоятель и легковверные иноки изъявили согласие. Вечеру они отправились в дом, где лежало тело мессера Шапелето, отслужили по нем длинную торжественную панихиду, а утром облачились в стихари и ризы и с крестом и Евангелием, распевая зауспокойные песнопения, двинулись за телом и с превеликою пышностью и торжественностью, сопровождаемые почти всеми жителями города, как мужского, так равно и женского пола, перенесли прах в церковь. Когда же гроб поставили в церкви, духовник с амвона начал рассказывать чудеса о покойном и об его житии, об его постничестве, девственности, простоте, чистосердечии, святости и между прочим сообщил, в чем мессер Шапелето, обливаясь слезами, каялся как в самом тяжком своем грехе и как он, духовник, насилу втолковал ему, что господь этот грех простит, а затем, обратившись с укором к внимавшим ему, воскликнул: «А вы, окаянные, из-за какой-нибудь несчастной соломинки, попавшей вам под ноги, хулите бога, мать божью и весь чин ангельский!» Долго еще говорил он о непорочности и душевной чистоте усопшего. И вскоре он своею проповедью, которую прихожане приняли на веру, внушил им такое благоговение к покойному, что по окончании службы началась неопиcуемая давка: все бросились лобызать ноги и руке усопшего, разорвали на нем одежду, и кому достался клочок ее, тот почитал себя за счастливца. Пришлось на день оставить гроб в церкви, дабы все могли прийти и лицезреть покойного. Когда же настала ночь, его с подобающими почестями похоронили в склепе, в мраморной гробнице, а на другой день к гробнице начал притекать народ: ставили свечи, молились, давали обеты, вешали по обещанью восковые изображения. И так быстро разнеслась молва о святости новопреставленного, так его начали чтить, что почти не осталось человека, который в беде обращался бы к другому святому, а не к нему. И назвали его и зовут до сих пор «святой Шапелето» и утверждают, что господь через него явил уже много чудес и продолжает ежедневно являть их всем, кто с верою прибегает к нему.

Так жил, умер и был, как вы знаете, причислен к лику святых мессер Чеппарелло из Прато. Я допускаю, что он удостоился вечного блаженства и вошел в рай, ибо хотя и вел он жизнь порочную и беспутную, однако ж перед смертью он, может статься, так сокрушался о грехах своих, что господь умилился и не лишил его небесного своего царствия. Но сие есть тайна; если же исходить из того, что разумению нашему доступно, я стою на том, что ему скорее подобает быть в когтях дьявола, на вечную муку осужденным, нежели находиться в раю. А когда

так, то господь являет к нам великую милость, ибо, возрев не на наше заблуждение, а на чистоту веры нашей, и не вменив нам во грех, что мы сделали нашим заступником его врага, коего мы приняли за друга, он внемлет нашим мольбам с таким же участием, как если бы мы избрали своим молитвенником истинного святого. А посему, дабы по его милосердию мы в сию годину бедствий пребывали здоровыми и невредимыми в веселом этом обществе, восхвалим того, в чье имя мы здесь собрались, восславим его и предадим себя его воле, твердо уповая, что он нас услышит.

И тут рассказчик умолк.





*Иудей Абрам, сдавшись на уговоры Джаннотто ди Чивиньи,  
отбывает к римскому двору,  
а затем, удостоверившись в порочности тамошнего гуховенства,  
возвращается в Париж и становится христианином*



рассказ Панфило, порою смешивший дам, был выслушан со вниманием и, в общем, одобрен; как же скоро Панфило его досказал, королева объявила сидевшей рядом Нейфиле, что очередь за ней. Нейфила, отличавшаяся кротостью нрава в не меньшей степени, нежели красотой, охотно согласилась и начала свой рассказ так:

— Панфило свою повестью доказал, что господь по милосердию своему не ставит нам в вину заблуждения, в которые мы впадаем по неведению; я же намереваюсь доказать, что господь, по милосердию своему терпящий пороки людей, которые всеми своими поступками и речами должны бы неложно свидетельствовать о нем, а поступают как раз наоборот, тем самым подает нам знак несомненности своего милосердия, дабы мы еще неуклоннее шествовали путем, предначертанным для нас нашею верою.

По дошедшим до меня слухам, обворожительные дамы, в Париже проживал богатый купец Джаннотто ди Чивиньи; человек он был добрый, наичестнейший и справедливый, вел крупную торговлю сукнами и был в большой дружбе с иудеем по имени Абрам, тоже купцом, богачом, человеком справедливым и честным. Зная справедливость его и честность, Джаннотто сильно сокрушался, что душа этого достойного, рассудительного и хорошего человека из-за его неправой веры погибнет. Дабы этого не случилось, Джаннотто на правах друга начал уговаривать его отойти от заблуждений веры иудейской и перейти в истинную веру христианскую, которая, именно потому что это вера святая и правая, на его глазах процветает и все шире распространяется, тогда как его, Абра-

ма, вера, напротив того, оскудевает и сходит на нет, в чем он также имеет возможность убедиться.

Иудей отвечал, что, по его разумению, вера иудейская — самая святая и самая правая, что в ней он рожден, в ней намерен жить и умереть и что нет такой силы, которая могла бы его принудить отказаться от своего намерения. Джаннотто, однако же, на том не успокоился и несколько дней спустя вновь повел с иудеем такую же точно речь и начал в грубоватой форме, как то водится у купцов, доказывать ему, чем наша вера лучше иудейской. Иудей отлично знал догматы своей веры, однако ж то ли из лучших чувств, которые он питал к Джаннотто, то ли на него подействовали слова, вложенные святым духом в уста простого человека, но только он начал очень и очень прислушиваться к доводам Джаннотто, хотя по-прежнему твердо держался своей веры и не желал оставлять ее.

Итак, иудей упорствовал, а Джаннотто заседал на него до тех пор, пока наконец иудей, сдавшись на уговоры, сказал: «Ин ладно, Джаннотто. Тебе хочется, чтобы я стал христианином, — я готов, с условием, однако ж, что прежде я отправлюсь в Рим и погляжу на того, кто, по твоим словам, является наместником бога на земле, понаблюдаю, каков нрав и обычай у него самого, а также у его кардиналов. Если они таковы, что я на их примере познаю, равно как заключу из твоих слов, что ваша вера лучше моей, — а ведь ты именно это старался мне доказать, — я поступлю согласно данному тебе обещанию; если ж нет, то я как был иудеем, так иудеем и останусь».

Послушав такие речи, Джаннотто сильно приуныл и сказал себе: «Тщетны все мои усилия, а между тем мне казалось, что они не напрасны, я был убежден, что уже обратил его. И то сказать: если Абрам съездит в Рим и там насмотрится на окаянство и злонравие духовных лиц, то ни за что не перейдет в христианскую веру, — какое там: если б даже он и стал христианином, то потом все равно вернулся бы в лоно веры иудейской». Затем, обратясь к иудею, молвил: «Послушай, дружище: поездка в Рим утомительна и сопряжена с большими расходами — зачем тебе туда ездить? Я уже не говорю об опасностях, подстерегающих такого богача, как ты, на суше и на море. Неужто здесь некому тебя окрестить? Пусть даже у тебя остались сомнения в христианской вере, хотя я тебе, кажется, все растолковал, — где же еще, как не здесь, найдешь ты столь великих ученых и таких мудрецов, которые разъяснят тебе все твои недоумения и ответят на все твои вопросы? По мне, ехать тебе не след. Поверь: прелаты там такие же точно, как здесь, а если и лучше, то разве лишь тем, что они ближе к верховному вождю. Словом, советую тебе побережь силы для путешествия за индульгенцией — тогда, может статься, и я составлю тебе компанию».

Иудей же ему на это сказал: «Я верю тебе, Джаннотто, однако ж, коротко говоря, я решил ехать ради того, чтобы исполнить твое желание; в противном случае я не обращаюсь».

Джаннотто, видя его непреклонность, молвил: «Ну что ж, счастливого пути», — а про себя подумал, что если только он поглядит на рим-



ский двор, то христианином ему не быть, однако, поняв, что его не уломать, порешил больше его не отговаривать.

Иудей сел на коня и с великою поспешностью поехал в Рим, а как скоро он туда прибыл, тамошние иудеи приняли его с честью. Он никому ни слова не сказал о цели своего путешествия и стал украдкой наблюдать, какой образ жизни ведут папа, кардиналы, другие прелаты и все придворные. Из того, что он заметил с а м , — а он был человек весьма наблюдательный, — равно как из того, что ему довелось услышать, он вывел заключение, что все они, от мала до велика, открыто распутничают, предаются не только разврату естественному, но и впадают в грех содомский, что ни у кого из них нет ни стыда, ни совести, что немалым влиянием пользуются здесь непотребные девки, а равно и мальчишки и что ежели кто пожелает испросить себе великую милость, то без их посредничества не обойтись. Еще он заметил, что здесь все поголовно обжоры, пьянчуги, забуддыги, чревоугодники, ничем не отличающиеся от скотов, да еще и откровенные потаскуны. И чем пристальнее он в них вглядывался, тем больше убеждался в их алчности и корыстолюбии, доходившем до того, что они продавали и покупали кровь человеческую, даже христианскую, и всякого рода церковное имущество, будь то утварь или же obligation, всем этим они бойко торговали, посредников по этой части было у них больше, чем в Париже торговцев сукном или же еще чем-либо, и открытая симония называлась у них испрашиванием, обжорство — подкреплением, как будто богу не ясны значения с л о в , — да он видит и намерения злых душ, так что наименованиями его не обманешь! Все это, вместе взятое, а равно и многое другое, о чем мы лучше умолчим, было противно иудею, ибо он был человек воздержанный и скромный, и, полагая, что насмотрелся вдоволь, он порешил возвратиться в Париж, что и было им исполнено. Джаннотто, как скоро узнал об его приезде, поспешил к нему, хотя меньше всего рассчитывал на его обращение в христианство, и они очень друг другу обрадовались. Джаннотто дал иудею несколько дней отдохнуть, а затем приступил к нему с вопросом, как ему понравились святейший владыка, кардиналы и другие придворные.

Иудей не задумываясь ответил: «Совсем не понравились, разрази их господь! И вот почему: по моим наблюдениям, ни одно из тамошних духовных лиц не отличается ни святостью, ни богобоязненностью, никто из них не благотворит, никто не подает доброго примера, словом, ничего похожего я не усмотрел, а вот любострастие, алчность, чревоугодие, корыстолюбие, зависть, гордыня и тому подобные и еще худшие пороки , — если только могут быть худшие пороки , — процветают, так что Рим показался мне горнилом адских козней, а не горнилом богоугодных дел. Сколько я понимаю, ваш владыка, а глядя на него, и все прочие стремятся свести на нет и стереть с лица земли веру христианскую, и делают это они необычайно старательно, необычайно хитроумно и необычайно искусно, меж тем как им надлежит быть оплотом ее и опорой. А выходит-то не по-ихнему: ваша вера все шире распространяется и все ярче и призывней с и я е т , — вот почему для меня не подлежит

сомнению, что оплотом ее и опорой является дух святой, ибо эта вера истиннее и святее всякой другой. Я долго и упорно не желал стать христианином и противился твоим увещаниям, а теперь я прямо говорю, что непременно стану христианином. Идем же в церковь, и там ты, как велит обряд святой вашей веры, меня окрестишь».

Джаннотто ожидал совсем иной развязки; когда же он услышал эти слова, то радости его не было границ. Он пошел с иудеем в Собор Парижской богоматери и попросил священнослужителей окрестить Абрама. Те исполнили его просьбу незамедлительно. Джаннотто был его восприемником и дал ему имя — Джованни, а затем поручил достойным людям наставить его в нашей вере, и тот в скором времени вполне ею проникся и всегда потом был добрым, достойным, святой жизни человеком.





*Еврей Мельхиседек рассказом о трех перстнях  
преговращает опаснейшую каверзу, которую подстроил ему Саладин*



рассказ Нейфила заслужил всеобщее одобрение, а затем по желанию королевы начала Филомена:

— Рассказ Нейфила привел мне на память опасное происшествие, случившееся с одним евреем. Здесь уже было сказано много прекрасных слов и о боге, и об истинности нашей веры, так что если мы теперь снизойдем к делам и поступкам смертных, то в этом не будет ничего предосудительного, — вот я и хочу рассказать вам об этом, вы же, выслушав меня, станете осторожнее

в ответах на вопросы, с коими могут к вам обратиться.

Надобно вам знать, любезные подруги, что глупость часто выводит людей из блаженного состояния и низвергает в пучину зол, тогда как разум вывозит мудрого из пучины бедствий и дарует ему совершенный и ненарушимый покой. Что из-за глупости человек, благополучием наслаждавшийся, впадает в ничтожество, это явствует из множества примеров, однако ж приводить их за нынешней нашей беседой нет смысла, оттого что мы ежедневно наблюдаем тысячи подобных случаев, а вот что разум приходит на выручку — это, как я и обещала, будет видно из короткого моего рассказа.

Доблесть Саладина была столь велика, что он, некогда прозябавший в безвестности, стал султаном вавилонским, более того: он одержал над королями христианскими и сарацинскими немало побед, однако же частые войны и та роскошь, какую он себя окружал, истощили его казну, а тут ему вдруг понадобилась изрядная сумма, и он долго ломал себе голову, где бы достать деньги, которые нужны были ему позарез, и нако-

нец вспомнил про одного богатого еврея по имени Мельхиседек, проживавшего в Александрии и занимавшегося ростовщичеством. «Вот к т о , — подумал о н , — при желании мог бы ссудить нужную сумму». Ростовщик, однако, был скуп, по доброй воле не дал бы ему взаймы, чинить же над ним насилие Саладину не хотелось, но, вынужденный к тому крайнею необходимостью, раскидывая умом, как бы заставить еврея прийти ему на помощь, он в конце концов порешил прибегнуть к насилию, но под маской пытливости своего ума.

Саладин послал за евреем, встретил его радушно и, усадив рядом с собою, сказал: «Доблестный муж! Мне говорили, что ты мудрец, что в богопознании ты опередил многих, и мне бы хотелось от тебя услышать: какой из трех законов считаешь ты за истинный — иудейский, сарацинский или же христианский?»

Еврей и в самом деле был человек мудрый, и он, живо смекнув, что Саладин хочет поймать его на слове, дабы прицепиться к нему, порешил ни одной из трех вер предпочтению не оказывать, — тогда, мол, Саладин цели своей не достигнет. Он напряг мысль в поисках такого ответа, который бы его не подвел, быстро нашелся и сказал: «Государь мой! Вопрос, который вы мне задали, глубокомыслен. Дабы изъяснить вам, что я на сей предмет думаю, я почитаю не излишним предложить вашему вниманию одну историю. Если память мне не изменяет, мне часто приходилось слышать об одном знатном и богатом человеке, в чьей сокровищнице среди прочих дорогих вещей хранился дивный и дорогой перстень. Желая отличить сей перстень за его доброту и красоту, желая, чтобы перстень переходил из рода в род, он сделал следующее распоряжение: тот из его сыновей, которому он завещает перстень, должен быть признан за его наследника, и всем остальным надлежит почитать и уважать его как старшего в роде. Тот, у кого оказался перстень, поступил по отношению к своим потомкам так же точно, как его предшественник. За короткое время перстень сменил многих владельцев и в конце концов достался человеку, у которого было три прекрасных и благонравных сына, во всем послушных своему отцу, за что отец и любил их всех трех одинаково. Молодым людям был известен порядок наследования перстня, принятый у них в семье, и потому каждый, желая быть отмеченным перед другими, просил-молил уже престарелого отца, чтобы тот по завещанию оставил перстень ему. Добрый человек любил их всех одинаково и не знал, на ком остановить выбор; он каждому из них дал слово завещать перстень и теперь не знал, кому же все-таки его оставить, но в конце концов рассудил за благо устроить так, чтобы все трое были довольны: он тайно заказал одному искусному ювелиру изготовить два таких же точно перстня, и они до того оказались похожи на первый, что сам заказчик после с трудом их различал. Перед смертью он каждому сыну, втайне от других, вручил по перстню. После кончины отца все трое притязали на его наследство и почет, и каждый, отводя домогательства другого, как доказательство неотъемлемости своих прав предъявлял перстень. Перстни были так похожи, что никто не мог определить, какой же из них подлинный, и вопрос о том, кто наследует отцу, остался откры-

тым и таковым остается он даже до сего дня. То же самое, государь мой, да будет мне позволено сказать и о трех законах, которые бог-отец дал трем народам и о которых ты обратился ко мне с вопросом: каждый народ почитает себя наследником, обладателем и исполнителем истинного закона, открывающего перед ним путь правый, но кто из них им владеет — этот вопрос, подобно вопросу о трех перстнях, остается открытым».

Саладин вынужден был признать, что еврей отличнейшим образом сумел выбраться из западни, расставленной у самых его ног, и порешил прямо сказать ему о своей крайности и попросить о помощи. Так он и сделал, не утаив от еврея, что он, Саладин, замышлял над ним учинить, если бы еврей не ответил столь хитроумно. Еврей охотно ему требуемую суммою услужил, а Саладин потом вернул ее сполна, да еще по-царски еврея одарил, водил с ним дружбу и приблизил к себе, предоставив ему высокий и почетный пост.





*Некий монах совершает грех, достойный строжайшего наказания,  
однако ж, неопровержимо уличив своего аббата в таком же точно проступке,  
избегает кары*



ак скоро Филомена умолкла, сидевший рядом с ней Дионео, не дожидаясь особого распоряжения королевы, ибо знал, что по заведенному порядку теперь его очередь, начал свой рассказ так:

— Любезные дамы! Если я правильно понял общее желание, мы собрались сюда для того, чтобы развлекать друг друга рассказами. Следовательно, я полагаю, что всякому, кто условия этого не нарушает, позволительно, — и об этом нам только что сказала королева, — рассказать о том, что, как ему кажется, доставило бы нам особое

наслаждение. Мы слышали, как Абрам спас свою душу благодаря добрым советам Джаннотто ди Чивиньи и как проницательность Мельхиседека уберегла его богатство от силков Саладиновых, а теперь я намерен в коротких словах рассказать, как один монах, выказав находчивость, избежал строжайшего наказания, и ласкаю себя надеждой, что упреков с вашей стороны не заслужу.

Неподалеку отсюда, в Луниджане, находится монастырь, где прежде было больше благочестия и больше монахов, чем теперь, и жил там молодой монах, крепость и пылкость которого ни посты, ни ночные бдения не могли умертвить. И вот как-то раз в полдень, когда все монахи спали и только он один бродил вокруг церкви, случайно увидел он хорошенькую девушку, — по всей вероятности, дочь хлебопашца, местного уроженца, — она собирала на лугу травы. Как скоро он ее увидел, тотчас распалился плотскою похотью. Он приблизился к ней, заговорил, слово за слово — они пришли к соглашению, и он неприметно увел ее к себе в келью.

Случилось, однако ж, что в то время, как он, охваченный страстью, беззаботно с девушкою забавлялся, восставший от сна аббат неслышною стопою проходил мимо его кельи, и ушей его достигнул шум, ими обоими производимый. Дабы различить голоса, аббат подкрался к дверям кельи, прислушался и, совершенно удостоверившись, что в келье находится женщина, чуть было не поддался великому искушению крикнуть, чтобы ему отворили, однако ж передумал и, возвратившись к себе в келью, стал ждать, когда монах выйдет. Монах же, утопая в неге и блаженстве с девицею, все время был начеку, и когда ему послышались в коридоре шаги, он, прильнув к щелочке, явственно увидел подслушивающего аббата и пришел к непреложному заключению, что аббат не мог не догадаться, что в келье находится женщина. При мысли, что ему не миновать тяжкой кары, он в глубине души сильно приуныл, однако девушке вида не показал, а начал перебирать в уме различные средства, не найдется ли меж ними средства спасительного; тут ему пришла в голову хитроумная уловка, и вот она-то и привела его прямым путем к желанной цели.

Сделав вид, будто он достаточно наслаждался обществом девицы, он сказал ей: «Пойду погляжу, нет ли к о г о , — как бы тебя не увидели, — а ты сиди смирно, пока я не вернусь».

Выйдя из кельи и замкнув ее на ключ, он пошел прямо к аббату и, отдав ему ключ от своей кельи, как всегда делали монахи перед уходом, сказал, не моргнув глазом: «Ваше высокопреподобие! Нынче утром я не успел распорядиться, чтобы вам доставили дрова, которые я велел для вас нарубить, — по сему случаю, благословите меня пойти сейчас в лес».

Аббат, желая воочию убедиться в поступке, который был совершен монахом, и будучи уверен, что монах находится в блаженном неведении, такому обстоятельству обрадовался, охотно взял у него ключ и не менее охотно отпустил его в лес. Когда же монах удалился, аббат стал думать, что лучше: при всей братии отпереть келью и вывести монаха на чистую воду, дабы потом, когда он подвергнет его наказанию, у них не было повода роптать на своего аббата, или же сначала выпытать у девицы, как обстояло дело. Поразмыслив, он заколебался: а вдруг это такая женщина либо дочь такого человека, которую он вовсе не желал бы осрамить, выставив на поглядение монахам? И положил аббат сперва узнать, кто она такая, а потом уже принять то или иное решение. На цыпочках приблизившись к келье, он отпер дверь, а войдя, тотчас запер ее за собой. Увидав аббата, девушка обомлела, и от одной мысли, что ей грозит позор, из глаз у нее хлынули слезы.

Его высокопреподобие окинул ее взглядом и, уверившись, до чего она свежа и хороша собой, ощутил, несмотря на преклонный возраст, не менее сильное плотское влечение, чем юный монах; ощутив же, он про себя подумал: «Неприятностей и огорчений у нас сколько угодно, так почему бы мне не изведать наслаждение, коль скоро я могу себе его доставить? Девушка премиленькая, о том, что она здесь, не знает ни одна д у ш а , — что же мне мешает насладиться ею, если только мне удастся ее уговорить? Кто про это узнает? Никто никогда не узнает, а грех утаенный — наполовину прощенный. Подобный случай может больше и не



представиться; если же творец ниспосылает благо, было бы величайшим безумием не воспользоваться таковым».

В сих мыслях аббат, окончательно изменив первоначальному своему решению, приблизился к девице и, ласково заговорив с нею, принялся утешать ее, успокаивать и в конце концов объяснил, чего он от нее хочет. Девица была сделана не из железа и не из алмаза, а потому довольно скоро покорилась аббату. Заключив ее в объятия и вдоволь нацеловавшись, аббат взгромоздился на кровать монаха и, приняв в соображение свою весомость, соответствовавшую тому высокому сану, в каком он находился, а равно и нежный возраст девицы, боясь, по всей вероятности, задавить ее своим весом, не возлег на нее, а ее возложил на себя и так в течение долгого времени ею тешился.

Монах, якобы ушедший в лес, на самом деле спрятался в коридоре, и как скоро он увидел, что аббат вошел в келью один, то, убедившись, что его расчет оправдывается, вполне успокоился; когда же он услышал, что аббат запер за собою дверь, то у него не осталось никаких сомнений, что расчет его верен. Выйдя из тайника, он прокрался к двери своей кельи, и через щель ему было видно и слышно все, что аббат делал и говорил. Между тем аббат, почувствовав, что на сей раз с него довольно, запер в келье девушку и удалился к себе. А немного погодя он услышал шаги монаха и, решив, что тот явился из лесу, положил разбранить его и заключить в темницу, с тем чтобы безраздельно владеть добычей. Послав за ним, он с высоты своего величия, грозно сверкая очами, на него обрушился и велел идти в темницу.

Монах же незамедлительно ему на это сказал: «Ваше высокопреподобие! Я совсем недавно вступил в Бенедектинский орден и все его особенности превзойти не успел, вы же мне до сих пор наглядно не показывали, что монаху подобает не только быть под началом у старшего, но и быть под женщиной. Нынче вы мне это показали наглядно, и если вы меня простите, то я вам обещаю больше никогда правило это не преступать и действовать так, как на моих глазах действовали вы».

Аббат, будучи человеком сообразительным, живо смекнул, что монах не только его перехитрил, но и видел все, что он вытворял. Устыдившись своего проступка, аббат поостерегся подвергать монаха наказанию, которое он и сам заслужил. Он простил его, велел не болтать о том, что ему довелось увидеть, а затем они неприметно вывели девушку и потом, должно думать, не раз ее к себе приводили.





*Маркиза Монферратская обедом, изготовленным из куриного мяса,  
а равно и благоуветливыми речами укрощает безумную страсть  
французского короля*



рассказ Дионео поначалу слегка смутил слушательниц, о чем свидетельствовала краска стыда, проступившая на их лицах; однако ж, переглядываясь, фыркая и давясь хохотом, они его кое-как дослушали. Когда же Дионео досказал, они ласково пожурили его, что-де, мол, дамам рассказывать такие вещи негоже, а королева обратилась к Фьямметте, сидевшей на травке подле нее, и сказала, что теперь ее очередь. Фьямметта с очаровательной приятностью начала свой рассказ так:

— Во-первых, повести наши доставляют мне особое удовольствие тем, что они доказывают, как много значит остроумный и быстрый ответ; во-вторых, я убеждена, что если высшая мудрость мужчины заключается в том, чтобы неукоснительно добиваться благосклонности женщины более знатной, нежели он, то наивысшая осмотрительность женщины состоит в том, чтобы суметь уберечься от любви к мужчине, который по своему положению стоит выше ее, — это-то и навело меня на мысль, приятные дамы, рассказать вам повесть, из коей будет явствовать, как именно, с помощью каких поступков и речей некая благородная дама сумела от чего-то уберечься, а что-то притушить.

Маркиз Монферратский, доблестный муж, гонфалоньер церкви, приняв участие в крестовом походе, вместе с другими христианами отправился воевать в страны заморские. Когда речь о его доблести зашла при дворе Филиппа Кривого, также собиравшегося в поход, один из рыцарей высказал мнение, что во всей подсолнечной не сыскать другой такой четы, как маркиз и его супруга, ибо он выделяется среди прочих рыцарей

своею доблестью, она же — самая красивая и самая достойная женщина в мире. Слова эти так глубоко запали в душу французского короля, что, никогда в жизни маркизы не видев, он воспылал к ней внезапною страстью и положил нимало не медля выступить в поход, для чего сесть на корабль в Генуе, до Генуи же следовать сухопутьем, дабы иметь благовидный предлог посетить маркизу, а так как маркиз отсутствовал, то король был уверен в успехе. Замысел свой он не преминул привести в исполнение. Приказав войску двигаться вперед, он двинулся в путь с небольшою свитой и, приблизившись к поместью маркиза, послал сказать его супруге, чтобы она ждала его завтра к обеду.

Рассудительная и сметливая маркиза велела в самых учтивых выражениях ответить ему, что, мол, добро пожаловать, что это для нее честь неслыханная. Но потом ей все-таки показалось странным: что бы это значило, что король вознамерился посетить ее в отсутствие мужа? Она пришла к мысли, что его привела к ней молва об ее красоте, и в своем предположении не ошиблась. Со всем тем, будучи женщиною бесстрашною, порешила она принять короля с честью и, послав за добрыми людьми, не пошедшими на войну, по их совету отдала надлежащие распоряжения; что же касается обеда и съестных припасов, то это она взяла на себя. Она велела изловить всех кур в округе, а поварам своим наказала приготовить блюда для королевского стола только из этих самых кур. Итак, в назначенный день прибыл король, и маркиза встретила его с великою торжественностью и честью. Как же скоро король увидел ее, она показалась ему несравненно прекраснее, добронравнее и благовоспитаннее, нежели он представлял ее себе со слов рыцаря, и он не мог налюбоваться ею и превозносил ее до небес, чувство же его к ней тем быстрее росло, чем яснее ему становилось, что маркиза превзошла все его ожидания. Отдохнувши в покоях, разубранных ради такого почетного гостя, король вышел к обеду и сел рядом с маркизой, прочие же сели за другие столы, заняв места соответственно своему званию.

Король, в восторге от многочисленных перемен блюд, а равно и от тонких, дорогих вин, бросал на прекраснейшую маркизу восхищенные взоры. Блюда тем временем сменялись одно другим, и в конце концов король подивился тому обстоятельству, что хоть они и разные, но все до одного — из кур. Между тем король знал, что эти места обильны всякого рода дичью; коль же скоро он заранее упредил маркизу о своем прибытии, — значит, у нее было время послать людей поохотиться; однако, сколь ни был король изумлен, а все ж порешил завести разговор с маркизой касательно одних только кур. Того ради, обратясь к маркизе, он с улыбкой спросил ее: «Госпожа моя! Разве здесь у вас водятся только куры, а петухов нет?»

Маркизе был вполне понятен вопрос короля, однако ж, сообразив, что сам господь предоставляет ей сейчас возможность высказаться, она, не моргнув глазом, ответила королю: «Как же, государь, петухи у нас водятся, — вот потому-то наши курочки в чужих петухах и не нуждаются».

Послушав такие речи, король тотчас уразумел сокровенный их смысл; убедившись же, что уговаривать такую женщину — значит бросать слова на ветер, а силой с ней тоже ничего не поделаешь, король склонился к мысли, что если он безрассудно воспылил к маркизе страстью, зато он поступит мудро и к вящей своей чести, если безумный ее пламень погасит. Оставив всякую надежду и убоявшись ответов маркизы, он, уже не подшучивая над нею, продолжал обедать. Как же скоро обед пришел к концу, король, дабы скорым отъездом прикрыть неблагоприятную цель своего прибытия, поспешил поблагодарить маркизу за оказанный ему прием, она поручила его воле божией, и он проследовал в Геную.





*Некий достойный человек остроумною речью  
обличает преступное лицемерие монахов*



осле того как все похвалили маркизу за непорочность ее нрава и за тот урок, который она в такой изящной форме преподавала королю французскому, сидевшая подле Фьямметты Эмилия по знаку королевы с непринужденным видом повела свой рассказ:

— Теперь я расскажу вам о том, как один почтенный мирянин поддел сребролюбивого монаха речью столь же забавною, сколь и похвальною.

Не так давно, милые девушки, в нашем городе жил-был некий минорит, гонитель нечестивых еретиков, и хоть и тщился он, как все они, сойти за святого и за неутомимого поборника веры христианской, однако столь же усердно пытал обладателей тугой мошны, как и тех, кто был нетверд в вере. Этот самый ревнитель благочестия напал на одного достойного человека, который, однако ж, мог похвалиться не столько смекалкой, сколько мошной, и вот он-то однажды, находясь в тесном кругу друзей, — не потому, чтобы он был богохульник, а, по всей вероятности, просто потому, что выпил лишнего и пребывал в веселом расположении духа, — сболтнул, что у него такое славное вино, какого и сам Христос не отказался бы испить. Как скоро о том донесли инквизитору, он, узнав, что мирянин — обладатель обширных владений и несметной казны, *cum gladiis et fustibus*<sup>1</sup> и с великою поспешностью повел по его делу строжайший розыск в расчете не на обращение грешника, а на то, что у него у самого прибудет флоринов, и так оно и вышло. Потянув мирянина к допросу, он спросил, правда ли то,

<sup>1</sup> С мечами и кольями (лат.).

что против него показывают. Добрый человек сказал, что правда, и поведал, как обстояло дело.

На это святейший инквизитор, особо чтивший святого Иоанна Златоуста, ему сказал: «Ты что же это, делаешь из Христа любителя выпить, охотника до тонких вин, как будто это Возлияни или же еще кто-либо из вашей пьяной компании гуляк и забулдыг? А теперь смиренным прикидываешься, делаешь вид, что ничего тут такого нет? Ошибаешься: коли мы решимся поступить с тобой, как ты того заслуживаешь, то отправим тебя на костер».

Такие и тому подобные речи инквизитор произносил с видом угрожающим, как если бы перед ним был сам Эпикур, отрицавший бессмертие души. В короткий срок он так его запугал, что бедняга, дабы умиловать инквизитора, поручил неким посредникам умастить его руки изрядным количеством мази святого Иоанна Златоуста, каковая мазь хорошо помогает от заразной болезни, именуемой алчностью, коей страдают священнослужители, наипаче же — братья минориты, которым воспрещено прикасаться к деньгам. Сию мазь в качестве мази целебной, хотя Гален ни в одном из своих медицинских трудов ни словом о ней не обмолвился, он применил до того щедро, что огонь, коим ему грозили, был милостиво заменен знаком креста, а дабы стяг тешил в з о р ы , — как будто бедняга собирался идти в крестовый поход! — порешили нашить желтый крест на черное поле. Сверх того, инквизитор, получив денежки, оставил его на несколько дней при себе и наложил на него такого рода епитимью: каждый день выстаивать литургию в Санта Кроче, а в обеденный час являться к нему; остальное время он волен был проводить, как ему заблагорассудится.

Все это он исполнял исправно, но вот однажды за обедней услышал он стих из Евангелия: «Получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Запомнив стих этот в точности, он, как ему было повелено, в обеденный час явился к инквизитору и застал его за трапезой. Инквизитор же осведомился, был ли он у обедни.

Вопрошаемый не замедлил ответить: «Был, ваше высокопреподобие».

Инквизитор же ему сказал: «Не слышал ли ты за обедней чего-нибудь такого, что зародило в тебе сомнения и о чем бы ты желал меня спросить?»

«По совести, ничего сомнительного я не слышал, — отвечал добрый человек, — напротив того: я твердо верю во все. Правда, я услышал нечто такое, что возбудило во мне и сейчас еще возбуждает безмерное сострадание к вам и ко всему иноческому чину, стоит мне помыслить о том бедственном положении, в каком все вы очутитесь на том свете».

Инквизитор его спросил:

«Какое же слово вызвало у тебя столь сильное к нам сострадание?»

Добрый человек же ему на это ответил:

«То было, ваше высокопреподобие, слово Евангелия, гласящее: «Получит во сто крат».

Инквизитор подтвердил: «В Евангелии сказано именно так, но почему же это тебя опечалило?»

«Сейчас я вам объясню, ваше высокопреподобие, — отвечал добрый человек. — С тех пор как я начал ходить сюда к обедне, я обратил внимание, что здесь принято выносить многочисленной голытьбе иногда один, а иногда и два здоровенных чана с бурдой, которую отнимают у вас и у всей остальной братии под тем предлогом, что это излишки. Так вот, ежели на том свете за каждый чан воздастся вам во сто крат, то вы все утонете в этом море бурды».

Те, кто сидел за столом у инквизитора, не могли удержаться от смеха, инквизитор же, догадавшись, что стрела направлена против их бурдистого лицемерия, в крайнее пришел смятение, и если б не было ему стыдно за первое дело, которое он против этого человека возбудил, он начал бы второе — за меткую остроту, которую тот уязвил и его, и всех прочих тунеядцев.

С досады он велел ему убраться вон.





*Бергамино своим рассказом о Примассо и аббате из Ключи бичует несвойственную мессеру Кане делла Скала скупость*



строумный рассказ Эмилии насмешил королеву и всех остальных; необычайная находчивость «кrestoноса» вызвала всеобщее восхищение. Теперь настала очередь Филострато, и, когда все отсмеялись и успокоились, он начал свой рассказ так:

— Большая удача, достойные дамы, попасть в цель неподвижную, но если что-либо из ряду вон выходящее покажется внезапно и стрелок внезапно его поразит, то это уж можно почесть за чудо. Порочная и нечистая жизнь священнослужителей, в коей часто находит себе почти полное отражение

их душевная низость, сама напрашивается на пересуды, на нарекания и порицания. Конечно, хорошо поступил почтенный мирянин, что уличил инквизитора в притворной доброте, выказываемой монахами, которые жертвуют беднякам то, что следовало бы отдать свиньям, а то и вовсе выбросить, однако ж, по моему разумению, вящей похвалы заслуживает тот, кого мне привел на память только что выслушанный нами рассказ и о ком я и намереваюсь вам поведать: он поддел мессера Кане делла Скала, щедрого государя, за неожиданно и внезапно проявившуюся в нем скупость, предложив его вниманию изящную повесть, в коей он под другими именами вывел и его, и самого себя. Обращаюсь к своему рассказу.

Как о том по всему свету трубят найдобрейшая молва, мессер Кане делла Скала, коему судьба благоприятствовала почти всегда, был одним из самых выдающихся и щедрых правителей, каких только знала Италия со времен императора Фридриха Второго и до наших дней. Замыслив устроить в Вероне пышное, роскошное празднество, на которое собралось бы отовсюду множество народу, особливо — всякого рода затейников, он

вдруг, по непонятной причине, передумал и, наградив тех, кто уже прибыл, отпустил их. Один лишь Бергамино, о находчивости и красноречии которого мог составить себе точное понятие только тот, кто сам его слышал, все-таки остался, хотя его и не наградили: его не оставляла надежда, что все еще обернется к лучшему для него. Мессер же Кане вбил себе в голову, что лучше что-либо в печку выбросить, нежели подарить Бергамино, а потому и к себе его не призывал, и ничего ему передать не наказывал. Так прошло несколько дней, и наконец Бергамино, убедившись в том, что звать его не собираются, что его ремесло здесь не требуется, а равно и в том, как дорого ему обходится свой собственный постой, постой своих слуг и прокорм коней, закручинился, и все же он почел неудобным ехать и порешил ждать. Чтобы не ударить в грязь лицом на празднике, он захватил с собой три отличных, дорогих наряда, которые получил в подарок от других синьоров, но так как хозяин гостиницы требовал платы, то сначала он отдал ему один наряд, потом, задержавшись еще на некоторое время, — второй и, наконец, пожелав удостовериться, насколько ему хватит третьего, — а тогда, мол, и восвояси, — принялся проедать третий.

И вот однажды, когда он проедал уже третий наряд, с унылым видом предстал он в обеденное время перед мессером Кане. Увидев его, мессер Кане не столько для того, чтобы посмеяться какой-нибудь его шутке, сколько для того, чтобы поглумиться над ним самим, обратился к нему с вопросом: «Что с тобой, Бергамино? Что это ты так приуныл? Расскажи-ка нам что-нибудь».

И тут Бергамино, не долго думая, однако же сделав вид, что это плод его долгих раздумий, для поправки дел своих повел такую речь: «Государь мой! Вам, уж верно, известно, что Примассо был великим грамматиком, а также изрядным и преискусным стихотворцем, каковые его заслуги снискали ему такой почет и уважение, что даже до тех, кто в глаза его никогда не видал, доходила о нем молва и слава, и все знали, кто таков Примассо. Случилось, однако ж, так, что в Париже он сильно нуждался я, — а нуждался он почти всегда, оттого что достоинства его не высоко ценились людьми состоятельными, — и тут до него дошли толки о том, что, за исключением папы, никто из князей церкви божией не получает столько доходов, как аббат из Кюни. И еще ему рассказывали чудеса про то, что у аббата открытый дом и что всякий волен сесть с ним за стол — ешь, пей сколько влезет. Послушав такие речи, Примассо, любивший водить компанию с людьми вельможными и сановными, положил самолично удостовериться в щедрости помянутого аббата, и осведомился, далёко ли он живет. Ему ответили, что его монастырь милях в шести от Парижа. Примассо рассчитал, что если выйти спозаранку, то попадешь как раз к обеду. Он стал просить показать ему туда дорогу, однако ж попутчика ему не нашлось, и, боясь, как бы, не дай бог, не заблудиться и не забрести туда, где, пожалуй, голодом насидишься, он на всякий случай, чтобы не голодать, взял с собой в дорогу три куса хлеба, питья же не взял в расчете на то, что хотя он и небольшой любитель воды, но в случае надобности чего-чего, а уж воды-то где угодно достанет. И вот, сунув

хлеб за пазуху, двинулся он в путь-дорогу, и надобно же быть такой удаче, что он попал к аббату как раз в предобеденное время. Войдя, он огляделся по сторонам и, увидев великое множество накрытых столов, заметив, что на кухне идут спешные приготовления и прочее тому подобное, подумал: «А ведь он и правда человек гостеприимный». И так он оглядывался вплоть до той самой минуты, когда пришло время обедать и экононом велел принести воды для омовения рук. Как же скоро принесли воды, экононом всех рассадил. Нужно же было случиться так, чтобы Примассо указали место как раз напротив двери, откуда должен был выйти аббат. Здесь существовал такой обычай: пока аббат не сядет за стол, ни хлеба, ни вина, ниже других каких-либо яств и напитков не подавать. Как скоро экономом всех усадил, то послал сказать аббату, что обед готов и что он ждет дальнейших его распоряжений. Аббат велел отворить дверь в трапезную, вошел, глядя прямо перед собой, и первый, кто попался ему на глаза, был незнакомый ему и облаченный в ветхие одежды Примассо. И как скоро увидел его аббат, у него тотчас шевельнулась недобрая мысль, дотеле не приходившая ему в голову: «И кто только не кормится от моих щедрот!» Уйдя к себе, он велел запереть дверь и спросил своих приближенных, не знает ли кто-нибудь из них того проходимца, что сидит напротив двери в его покой. Все отвечали, что не знают. Между тем Примассо, проголодавшись с дороги и с непривычки к посту, подождал-подождал, а потом видит, что аббат все не выходит, достал из-за пазухи кусок хлеба — и давай уписывать. Аббат, выждав, послал одного из приближенных поглядеть, не ушел ли Примассо. Тот поглядел и сказал: «Нет, ваше высокопреподобие, какое там ушел, он ест х л е б , — это значит, что он принес его с собой». Аббат же ему на это: «Пусть ест свое, коли взял с собой, а нашего нынче он не отведаст». Выпрояживать Примассо аббат почитал неудобным — ему хотелось, чтобы тот сам ушел. Примассо съел кусок хлеба, аббат же все не выходил к столу, — тогда Примассо принялся за второй кусок, о чем было немедленно доложено аббату, вторично пославшему поглядеть, не ушел ли гость. Примассо съел и второй кусок, аббата все нет как н е т , — в конце концов он принял — ся за третий. Когда же о том доложили аббату, он подумал и сказал себе: «Что за чушь лезет мне нынче в голову? Чего я жадничаю? Чего я гнушаюсь? И кем? Сколько лет кормил всех подряд, не разбирая, благородный то человек или же худородный, бедняк или же богач, купец или же мошенник, на моих глазах тучи проходимцев меня обжирали, и ни к кому я не испытывал таких чувств, какие вызвал во мне этот человек. Верно, не простого человека я пожалел накормить: уж если душа моя сопротивлялась тому, чтобы я его почтил, стало быть, тот, кого я признал за проходимца, есть на самом деле человек необыкновенный». Подумав так, аббат изъявил желание узнать, кто он таков. Когда же ему сказали, что это Примассо, который явился самолично удостовериться в его гостеприимстве, о коем он был так много наслышан, и которого аббат с давних пор знал за человека достойного, он устыдился и, желая загладить вину, принялся всячески его задабривать. После обеда аббат приказал наряжать Примассо прилично его званию и, дав ему денег и коня в придачу,

предоставил на выбор: уехать или же остаться. Примассо был так доволен, что не знал, как и благодарить аббата; пришел он из Парижа пешком, а в Париж верхом на коне уехал».

Такому догадливому человеку, как мессер Кане, не надо было разъяснять, что хотел этим сказать Бергамино, — он и так все прекрасно понял и, усмехнувшись, сказал: «Ты, Бергамино, весьма искусно поведал мне свою обиду, показал, сколь ты добродетелен и до чего я скуп, и намекнул, чего ты от меня хочешь. То правда: я впервые выказал скупость нынче, по отношению к тебе, но я прогоню ее отсюда той самой палкой, которую вложил мне в руку ты». И тут он велел расплатиться с хозяином Бергамино, выкупить все три его наряда, одеть его в одно из самых богатых своих платьев, дал ему денег, коня в придачу и всецело предоставил на его благоусмотрение: отправиться в путь или побыть у него.





*Гвильельмо Борсьере в изысканных выражениях  
клеимит скупость мессера Эрмино де Гримальди*



ядом с Филострато сидела Лауретта; она знала, что ей тоже придется что-нибудь рассказать, а потому, выслушав похвалы хитроумию Бергамино, она, не дожидаясь повеления, с очаровательно приятностью повела свой рассказ:

— Предыдущее повествование, милые подруги, побуждает меня рассказать, как один почтенный человек таким же точно образом и небезуспешно ополчился на скаредность купца-богача. Хотя мой рассказ по содержанию напоминает предшествующий, удовольствие он вам должен

доставить не меньшее, если только вы примете в соображение счастливую его развязку.

Итак, давным-давно жил-был в Генуе знатный человек, мессер Эрмино де Гримальди, у которого, как о том все в один голос говорили, были самые обширные во всей Италии владения и самая тугая кошница. Но, будучи самым богатым человеком в Италии, он к тому же еще был намного скареднее и сквалыжнее всех скаредов и сквалыг, какие только есть на свете, ибо мало того, что он никому не помогал, но и себе, в отличие от прочих генуэзцев, любящих пофрантить, отказывал во всем, лишь бы не тратить денег, и даже ограничивал себя в еде и питье. Вот почему фамилия его — де Гримальди — была заслуженно забыта и все звали его мессер Эрмино Скопидомо.

И вот, меж тем как он, не расходуясь, приумножал достояние свое, в Генуе появился искусный затейник, учтивый и речистый, по имени Гвильельмо Борсьере, нимало не похожий на нынешних, которые, к стыду мерзких распутников, из кожи вон лезущих, чтобы считаться и именоваться людьми достойными и благородными, скорее заслуживают прозвище ослов, возвращенных не при дворе, а среди наигнуснейшего и презренного сброда. В былые времена прямым делом и обязанностью таких людей было улаживать миром распри и размолвки, возникавшие между господами, заключать брачные, родственные и дружеские союзы, красивы-

ми и приятными для слуха речами приободрять уставших, потешать дворян, отечески строгими внушениями исправлять пороки, и все это за небольшое вознаграждение. А теперь они только тем и занимаются, что переносят из дома в дом, сеют плевелы, распространяют всякие мерзости и гадости и, что самое скверное, говорят их при ком угодно, обвиняют друг дружку во всяких злых, непотребных и гнусных делах, не считаясь с тем, напраслина это или же не напраслина, и, подольщаясь к чистым душам, болтают про них всякие низости и пакости, — вот так они и убивают время. И кто всех подлее и на словах и на деле, тот в наибольшей чести у распущенных и порочных вельмож, того они превеликими наградами осыпают. Этот возмутительный позор нашего времени служит наглядным доказательством, что добродетели от нас удалились и предоставили несчастному человечеству погрязать в пороках.

Возвращаясь, однако ж, к тому, с чего я начала и от чего против воли моей меня отвлек правый гнев, почитаю не излишним заметить, что вся знать генуэзская помянутого Гвильельмо встретила с честью и принимала радушно. Гвильельмо же, пробыв несколько дней в Генуе и наслышавшись про скупость и скряжничество мессера Эрмино, вознамерился с ним повидаться. Мессер Эрмино прознал, что Гвильельмо Борсьере — человек достойный, а так как, несмотря на его скупость, в нем все же тлела искорка душевного благородства, то он встретил его радостными восклицаниями и с приветливым видом, долго и о многом беседовал с ним и, продолжая беседу, повел его, а равно и при сем присутствовавших генуэзцев, в новый красивый дом, который он себе выстроил.

Проведя же его по всем комнатам, он обратился к нему с вопросом: «Послушайте, мессер Гвильельмо: вы много видели на своем веку, о многом слышали, — не подскажете ли вы мне какую-нибудь невидаль, чтобы я мог ею расписать стену моего дома?»

Услышав такие несообразные речи, Гвильельмо молвил: «Вряд ли, мессер, я мог бы вам посоветовать изобразить какую-либо невидаль, разве чиханье или же что-нибудь в этом роде. Впрочем, если хотите, я подскажу вам нечто, по всей вероятности, совершенно вам неизвестное».

Мессер Эрмино, не ожидая услышать в ответ то, что он от него услышал, воскликнул: «Ах, скажите на милость, что же это такое?»

Гвильельмо не замедлил ему ответить: «Прикажите написать аллегорию Гостеприимства».

Как скоро мессер Эрмино услышал это слово, ему стало так стыдно, что он в ту же минуту почти совершенно переменялся и сказал: «Мессер Гвильельмо! Я велю написать эту аллегорию таким образом, что теперь уже ни у вас, ни у кого-либо другого не найдется повода сказать, что мне оно неведомо и незнакомо».

Речь Гвильельмо оказала на мессера Эрмино столь сильное действие, что с той поры и до конца своих дней он из всех дворян генуэзских был самым щедрым и самым любезным как с земляками, так равно и с приезжими.





*Король Кипра, задетый за живое некоей гасконкой,  
из бесхребетного превращается в решительного*



оследнее приказание королевы должна была получить Элисса, и, не дожидаясь его, она бойко начала рассказывать:

— Часто бывает так, юные жены, что чего не могут поделать с человеком всечасные упреки и всевозможные наказания, то способно осуществить одно слово, притом чаще всего случайное, а не преднамеренное. Это явствует из рассказа Лауретты, я же коротким своим повествованием лишний раз хочу вам это доказать. Хорошие рассказы всегда идут на пользу, так что, кто бы ни был по-

вестствователь, их должно слушать с великим вниманием.

Итак, надобно вам знать, что во времена первого кипрского короля, после завоевания Святой земли Готфридом Бульонским, случилось некоей знатной гасконской даме отправиться на поклонение гробу господиню, а на возвратном пути пристать к Кипру, и здесь какие-то негодяи гнусное нанесли ей оскорбление. Не имея возможности получить удовлетворение и крушась по сему поводу, она решилась пожаловаться королю, но кто-то сказал ей, что это напрасный труд, ибо король до того малодушен и труслив, что не только не наказывает по всей строгости закона за оскорбления, кому-либо другому нанесенные, но, будучи презренным трусом, покорно сносит бесчисленные оскорбления, наносимые ему самому, и оттого всякий на нем срыгает зло и на нем вымещает свой стыд и позор.

Услышав это и утратив надежду на отмщение, дама надумала, чтобы отвести душу, упрекнуть короля в том, что он — ничтожество, и, явившись к нему, со слезами заговорила: «Государь! Я предстала пред твои

очи, не ожидая получить удовлетворение за обиду, мне причиненную, — я намерена обратиться к тебе с просьбой: вместо этого научи меня терпеть оскорбления, как, если верить слухам, терпишь ты сам, дабы я, наставленная тобою, с кротостью претерпела то, которое нанесли м н е , — истинный господь, я с удовольствием уступила бы его тебе: ведь ты же на диво вынослив!»

Король, обыкновенно мешкотный и вялый, тут словно воспрянул от сна и, начав с учиненной той женщине обиды, за которую он строго взыскал, в дальнейшем стал жестоко преследовать всех, кто посягал на честь его короны.





*Магистр Альберто из Болоньи в учтивых выражениях стыдит женщину, которая пыталась пристыдить его тем, что он в нее влюбился*



лисса умолкла, а так как в последнюю очередь надлежало рассказывать королеве, то она и повела свой рассказ с чисто женским изяществом:

— Достойные дамы! Подобно как в ясные ночи украшением небесного свода служат звезды, а весною цветы красят зелень лугов, так же точно добрые нравы и приятную беседу красят острые слова. В силу своей краткости они в гораздо большей степени приличествуют женщинам, нежели мужчинам, ибо говорить без надобности много и долго еще менее пристало женщинам, нежели

мужчинам, хотя, к стыду нашему и к стыду всех на свете живущих, теперь уже мало, — а может статься, и вовсе не осталось, — женщин, способных понять остроту или, поняв, на нее ответить. Дело состоит в том, что способность, коей женский ум отличался прежде, нынешние женщины употребляют на украшение своего тела, и та франтиха и щеголиха, у которой платье пестрее, чем у других, воображает, что она заслуживает особого почета и уважения, и притом им и в голову не приходит, что если бы все их финтифлюшки и побрякушки навьючить на осла, то осел выдержал бы и неизмеримо более тяжелую ношу, чем любая из них, и все-таки его почитали бы всего-навсего за осла и ни за что более. Мне стыдно об этом говорить, потому что все это ведь и ко мне относится. Разряженные, подмалеванные, расфуфыренные, обычно они бесчувственны и немые, точно мраморные статуи, а когда к ним обратятся с вопросом, то уж так ответят, что, право, лучше было бы им промолчать. Между тем они себя убеждают, что их неуменье поддерживать разговор с дамами и благородными мужчинами проистекает из чистоты душевной,

свою глупость они выдают за скромность, как будто скромность женщины состоит в том, чтобы вести беседы только со служанкой, да с прачкой, да с булочницей. Ведь если бы того требовала природа, в чем они сами себя пытаются уверить, то она каким-нибудь другим способом умерила бы их болтливость. Разумеется, и здесь, как и во всех случаях жизни, необходимо принимать в соображение время, место, а равно и то, с кем ты говоришь, ибо иной раз случается, что женщина или мужчина острым словом хотят вогнать кого-либо в краску, но не рассчитают сил и вместо того, чтобы заставить покраснеть других, краснеют сами. Так вот, чтобы вы были осторожнее и чтобы на вас не оправдалась известная пословица: женщина всегда останется с носом, я намерена последней повестью сегодняшнего дня, которую надлежит рассказать мне, наставить вас, дабы подобно как вы отличаетесь душевным благородством, так же точно выделялись бы вы и приятностью светского обхождения.

Не так давно жил-был в Болонье, — а может статься, он и сейчас еще ж и в , — знаменитый лекарь, известный едва ли не всему миру, некто магистр Альберто. Этот невступно семидесятилетний старец был, однако ж, до того молод душой, что, хотя по его жилам естественный огонь почти уже не пробегал, со всем тем он от любовного пламени не уклонялся. Как-то раз на празднике он повстречал прелестную вдовушку, кажется — Мальгериду де Гизольери, она очень ему приглянулась, он с юношескою живостью влил сей пламень в старческую грудь свою и с той поры не мог спать спокойно, если днем не видел нежного и пригожего личика красотики. Того ради он каждодневно, то пешком, то верхом, как придется, показывался под ее окнами. В конце концов и она сама, и другие дамы догадались, что тому причиной, и начали между собой пошучивать, что вот, мол, человек в таких зрелых летах и такой зрелый ум — и вдруг влюбился! Как будто упоительная страсть любовная обитает и гнездится лишь в душе у безрассудных юнцов! Между тем магистр Альберто продолжал показываться перед домом своей возлюбленной, и вот однажды, в праздничный день, она и другие дамы сидели возле ее дома, и как скоро они магистра Альберто завидели, то порешили зазвать его, принять с честью, а затем посмеяться над его любовью. Как сказано, так и сделано: они встали, пригласили его, провели в прохладный двор, велели принести тонких вин и сластей и наконец в изящных и изысканных выражениях задали ему вопрос: как мог он влюбиться в эту красавицу, зная, что у нее такое множество красивых, обворожительных и стройных юных поклонников?

Уловив тонкий намек, магистр с улыбкой ответил: «Сударыня! Человека рассудительного не должно удивлять то обстоятельство, что я влюблен, да еще в вас, ибо вы вполне того заслуживаете. Правда, у людей преклонного возраста, естественно, не хватает сил для любовных упражнений, зато они не лишены ни потребности любить, ни понимания того, что значит быть любимым, и это они, естественно, еще лучше разумеют, нежели юноши, оттого что разумения у них больше. И хотя я и стар, а у вас столько юных вздыхателей, однако надежды на взаимность я не теряю, основана же она вот на чем: мне не раз приходилось видеть, как женщины, поддичая, ели лупин и порей. Порей весь не вкусен, и все-таки



головка у него съедобнее, аппетитнее, но у вас, женщин, до того испорчен вкус, что вы имеете обыкновение держать порей за головку, а есть ни на что решительно не годные, прескверные его листья. Как знать, сударыня? Может статься, вы и возлюбленных себе выбираете таким же точно образом? А когда так, то меня вы изберете, а других отвергнете».

Слова магистра Альберто слегка смутили знатную даму, равно как и ее приятельниц, и ответила она ему так: «Вы, магистр, очень мило и деликатно проучили нас за нашу дерзостную затею. Во всяком случае, ваше чувство дорого мне, как должно быть дорого чувство человека благоразумного и почтенного. Располагайте мною, как вам только заблагорассудится, не в ущерб, однако ж, для моей чести».

Тут магистр встал, — а за ним и его спутники, — поблагодарил даму, распрощался с нею и, весело смеясь, удалился. Так эта дама, не отдав себе отчета, над чем, собственно, она смеется, оказалась побежденной, хотя и рассчитывала на победу. Вы же вполне можете этого избежать, если только будете осмотрительны.

Девушки и трое молодых людей кончили рассказывать, когда солнце уже склонилось к закату и жар свалил.

Того ради королева с очаровательной приятностью молвила:

— Милые подруги! В этот день моего царствования мне уже ничего иного не остается, как только дать вам новую королеву, и пусть она завтра по своему усмотрению распорядится собою и нами таким образом, чтобы мы могли благопристойному предаться развлечению. Ночь, правда, еще не скоро, но ведь если заблаговременно не распорядиться, то уж в будущем порядка не жди, и вот, дабы люди успели приготовить все, что новая королева соизволит заказать на завтрашнее утро, я повелеваю считать грядущий день уже наступившим. Итак, во славу Жизнедавца, а всем нам на утешение, пусть на следующий день королевством нашим правит юная и благоразумная Филомена.

С этими словами королева встала, сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая поклонилась ей как королеве, а ее примеру, добровольно признав над собою власть Филомены, последовали девушки и юноши.

Филомена зарделась, когда ее венчали на царство, однако ж, вспомнив давешние слова Пампинеи, взяла себя в руки и, дабы не ударить лицом в грязь, прежде всего утвердила в должностях всех, кого назначила Пампинея, отдала распоряжения, что приготовить на этом самом месте к завтрашним трапезам, а затем повела такую речь:

— Милейшие подруги! Хотя Пампинея и назначила меня вашею королевою, — впрочем, не столько за мои достоинства, сколько из вежливости, — однако ж в предначертании распорядка нашей жизни я намерена руководствоваться не только моим, а и нашим общим разумением. И вот, дабы довести до вашего сведения, что мне представляется необходимым претворить в жизнь, и дабы вы имели возможность по своему благоусмотрению что-то добавить или же, напротив того, отбавить, я хочу

в двух словах изложить вам свой замысел. Если я не ошибаюсь, все, что Пампинее удалось сегодня осуществить, было и занятно и приятно, — вот почему до тех пор, пока ее приказания, от частого ли повторения или же по какой-либо иной причине, нам не наскучат, я не намерена их отменять. Итак, во исполнение ранее нами замысленного, давайте встанем, немного порезвимся, а когда солнце зайдет, поужинаем в холодочке, после ужина попоем, повеселимся — и на покой! Завтра встанем, пока еще прохладно, пойдем опять позабудемся, кто чем желает, и, по примеру нынешнего дня, к обеду вернемся, затем потанцуем, потом отдохнем. Восстав же от сна, мы, как это имело место сегодня, опять соберемся здесь и начнем рассказывать, а ведь, по моему крайнему разумению, ничто не может доставить столько удовольствия и одновременно принести столько пользы, как именно рассказы. Я лишь собираюсь предложить некое новшество, на которое Пампинее не могла пойти, так как была слишком поздно возведена на престол: я хочу ограничить рассказчиков одним предметом и объявить вам его заранее, чтобы у каждого было время придумать на заданную тему забавный рассказ. Словом, если вы со мной согласитесь, то тема у нас будет такова: от начала мира люди подвержены превратностям судьбы и будут им подвержены до конца света, а когда так, то пусть каждый что-нибудь расскажет на тему *О том, как для людей, подвергавшихся многообразным испытаниям, в конце концов, сверх всякого ожидания, все хорошо кончалось.*

И мужчины и дамы единодушно одобрили это установление и обещали его придерживаться. Но когда все уже умолкли, неожиданно заговорил Дионео:

— Ваше величество! Я присоединяюсь к общему мнению: новшество ваше похвально и остроумно. Однако ж в виде особой милости я прошу у вас некоей льготы, каковою да будет мне разрешено пользоваться до тех пор, пока общество наше не распадется, а именно — на меня введенный вами порядок не распространяется: если мне не захочется рассказывать на заданную тему, то приневоливать меня не след; что захочу, то и расскажу. А чтобы никто не подумал, будто я испрашиваю этой милости, оттого что у меня нет в запасе рассказов, я согласен всегда рассказывать после всех.

Королева, зная Дионео за человека занятого и веселого, сейчас догадалась, что он обратился с этою просьбою единственно для того, чтобы позабавить общество каким-нибудь смешным рассказом в том случае, если оно устанет от умствований, и с видимым удовольствием и при всеобщем одобрении просимую льготу ему предоставила. Тут все встали и неспешным шагом направились к прозрачному потоку, низвергавшемуся с горки в тенистую долину и протекавшему меж частых деревьев, обломков скал и зеленых лугов. Дамы разулись, засучили рукава и, войдя в воду, принялись резвиться. Когда же пришла пора ужина, все возвратились во дворец и с удовольствием отужинали. После ужина принесли музыкальные инструменты, и королева велела начать танец, причем вести за собою танцоров было поручено Лауретте, а Эмилии — спеть песню под звуки лютни, на которой должен был играть Дионео. Лауретта, поспе-

шив исполнить приказ королевы, тотчас открыла танец и повела за собой остальных, Эмилия же голосом, исполненным страстной неги, спела песню:

Моя краса дарит мне столько счастья,  
Что ни к кому вовек  
Уже не в силах воспылать я страстью.

Увидев в зеркале свои черты,  
Я прихожу в такое восхищенье,  
Что ни воспоминанья, ни мечты  
Острее дать не могут наслажденья.  
Я не ищу другого увлеченья:  
Ничто меня вовек  
Не преисполнит столь безмерной страстью.

Меня мое блаженство не бежит.  
Когда хочу утешиться им снова,  
Оно само навстречу мне спешит,  
Суля минуту торжества такого,  
Что выразить его не властно слово  
И что его вовек  
Тот не поймет, кто не сгорает страстью.

Чем пристальней в себя вперяю взгляд,  
Тем для меня дороже и милее  
Ниспосланный мне от рожденья клад,  
Тем пламенной надежду я лелею,  
Что взыскана судьбою всех щедрее,  
Что никому вовек  
Не довелось такой упиться страстью <sup>1</sup>.

Этой песне все весело подпевали, хотя кое-кого она и заставила призадуматься над ее словами, а затем, когда пение кончилось, было исполнено еще несколько быстрых танцев, и так незаметно пролетела часть и без того короткой ночи, что заставило королеву положить конец первому дню. Распорядившись зажечь факелы, она велела мужчинам и дамам пойти отдохнуть до утра, и все разошлись по своим покоям.



---

<sup>1</sup> Здесь и далее стихи в переводе Ю. Корнеева.

*Кончился первый день*  
**ДЕКАМЕРОНА,**  
*начинается второй*

---



*В день правления Филомены  
предлагаются вниманию рассказы о том,  
как для людей,  
подвергавшихся многообразным испытаниям,  
в конце концов, сверх всякого ожидания,  
все хорошо кончалось*









же солнце все залило светом нового дня и птицы, распевая на зеленых ветках радостные песни, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое молодых людей встали, пошли в сад и там долго гуляли по росистой траве, развлекаясь плетеньем красивых венков. А затем все пошло по заведенному вчера обычаю: пока еще было прохладно, закусили, потанцевали, отдохнули, около трех часов встали, отправились по указанию королевы на зеленый лужок и расселись вокруг нее.

Прелестная, исполненная очарования, с лавровым венком на голове, королева постояла в раздумье, а затем, окинув взглядом собравшихся, велела начать Нейфиле, и та, не заставив себя упрашивать, с веселым видом повела рассказ.





*Мартеллино, прикинувшись убогим, делает вид,  
будто его исцелили мощи святого Арриго;  
обман обнаружен, его схватывают, избивают, ему грозит виселица,  
но в конце концов все кончается для него благополучно*



илейшие дамы! Нередко тот, кто пытается насмеяться над другими, особенно над предметами священными, смеется себе же во вред и сам же бывает осмеян. В сих мыслях, исполняя повеление королевы — рассказать что-либо на заданную ею тему, я хочу сообщить вам, какая беда стряслась с одним нашим земляком и как потом, сверх всякого его ожидания, все обернулось довольно счастливо для него.

Не так давно жил-был в Тревизо немец по имени Арриго, бедняк, по роду своих занятий — носильщик; при всем при том все знали его за честнейшего, святой жизни человека. Правда ль, нет ли, а только тревизцы уверяли, будто ради его праведности, когда он преставился, в час его кончины все колокола тревизского собора сами собой зазвонили. Сочтя это чудом, все признали его за святого. Когда же народ со всех концов города притек к дому, где лежало его тело, то оно с почестями, приличествующими мощам святого, было перенесено в собор, и туда начали приводить калек, хромцов, слепцов, всех болящих и порченных, как будто одно прикосновение к его телу должно было исцелить их.

Случилось, однако ж, так, что во время всей этой сутолоки и столпотворения в Тревизо прибыли трое наших земляков, из коих одного звали Стекки, другого — Мартеллино, а третьего — Маркезе; все трое занимались тем, что ходили к знатым господам и необычайным своим искусством кого угодно передразнивать забавляли зрителей. Здесь они никогда прежде не были, подивились всей этой кутерьме и, узнав, что тому причиной, решили, что им самим надобно туда пойти и посмотреть.

Остановились они в гостинице, и Маркезе сказал: «Пойдем посмотрим на этого святого. Не знаю только, как мы туда проберемся, — сказывали, что всю площадь заполонили немцы и воины, воинов же градоправитель туда послал во избежание беспорядков, да и церковь, слышать, битком набита, так что не протолкаешься».

Мартеллино страх как хотелось на все это поглядеть, и он сказал: «Подумаешь, какое дело! Чтобы я да не побился к мощам? Быть того не может».

«Каким образом?» — осведомился Маркезе.

Мартеллино же ему ответил: «Сейчас скажу. Я притворюсь убогим, а ты и Стежки поддерживайте меня с двух сторон, как будто я сам ходить не могу, и делайте вид, что ведете меня к тем мощам за исцелением, и тогда всякий, увидев нас, пропустит и даст дорогу».

Маркезе и Стежки одобрили эту затею. Не долго думая, все трое вышли из гостиницы, и в укромном месте Мартеллино ухитрился так вывернуть себе кисти рук, ладони, пальцы, ноги, скосить глаза, искривить рот и все лицо, что на него страшно было смотреть. Никто бы при взгляде на него не усомнился, что это убогий калека. Маркезе и Стежки, подхватив его в этаком виде под руки и напустив на себя крайнее благочестие, повели в собор, кротко, Христовым именем прося расступиться, и все охотно уступали им дорогу. Не в долгом времени, во всех возбуждая участие и под дружные крики: «Посторонитесь! Посторонитесь!» — добрались они до собора, где покоились останки святого Арриго. Дворяне, теснившиеся вокруг раки, подняли Мартеллино и положили на мощи, дабы на него излилась благодать исцеления. Все на него воззрились, а он немного погодя начал со свойственным ему искусством делать вид, будто разжимает скрюченный палец, потом распрямляет ладонь, потом всю кисть, и, наконец, весь выпрямился. При виде этого народ так восславил святого Арриго, что и удар грома не был бы слышен.

Случайно здесь оказался некий флорентиец, отлично знавший Мартеллино, но не узнавший его сразу, когда тот предстал перед ним этаким страшилищем. Как же скоро Мартеллино распрямился, флорентиец сейчас же узнал его и со смехом вскричал: «Ах, чтоб ему пусто было! Ну кто бы, глядя на него, не поверил, что он и впрямь калека!»

Услышав такие речи, иные из толпы спросили: «Как! Разве он не калека?»

Флорентиец же им на это ответил: «Да нет же, черт побери! всю жизнь он был так же прям, как мы с вами, — он только, в чем вы сами сейчас могли удостовериться, владеет несравненным искусством изображать из себя кого угодно».

Услышав это, народ без дальних разговоров ринулся напролом с криком: «Держи этого злодея! Он глумится над богом и святыми! Никакой он не калека — он только прикинулся калекой, чтобы насмеяться над нашим святым, и над нами!» Тут они схватили его, столкнули с гробницы, сорвали те одежды, что на нем были, схватили за волосы — и давай угощать его пинками да тумаками. Кто не принял бы в этом деле участия, тот перестал бы почитать себя за мужчину. Мартеллино вопил: «Смилуйтесь,

Христа ради!» — сколько мог, отбивался, но безуспешно: толпа вокруг него все росла. При виде всего этого Стекки и Маркезе шепнули друг другу, что, мол, дело плохо, но, боясь за себя, не отважились вступить за товарища, напротив того: вместе со всеми орали, что его надо убить, однако же втайне шевелили мозгами, как бы это вырвать его из рук толпы, а толпа наверняка доконала бы его, когда бы Маркезе внезапно не осенило. Бросившись, не помня себя, к страже, оцепившей собор, и обратясь к тому, кто замещал градоправителя, Маркезе крикнул: «Караул! Какой-то мошенник срезал у меня кошелек с доброй сотней золотых флоринов — велите задержать его и вернуть мне мои деньги».

При этих словах двенадцать стражников, нимало не медля, устремились туда, где злосчастного Мартеллино чесали без помощи гребня, и, ценою нечеловеческих усилий протиснувшись, вырвали его, избитого и измолоченного, из рук мучителей и отвели во дворец градоправителя. Сюда же проследовали многие из тех, которые считали, что он их одурачил, и, услышав, что его схватили как воришку, за неимением более подходящего предлога насолить ему, также начали показывать, что он и у них срезал кошелек. Выслушав показания, жестокосердный судья отвел Мартеллино в сторону и тут же учинил ему допрос. Мартеллино, однако, отшучивался, как будто бы с ним в игрушки играли. Судья рассвирипел и велел поднять его на дыбу, отсчитать столько-то лихих ударов, с тем чтобы вынудить у него признание, а засим вздернуть на виселицу.

Как же скоро Мартеллино спустили с дыбы наземь, судья вновь обратился к нему с вопросом, правду ли показывают против него потерпевшие, и тогда Мартеллино, видя, что заpiresательство ни к чему не ведет, ответил так: «Государь мой! Я готов повиниться, однако ж прежде пусть каждый укажет, когда и где я срезал у него кошелек, а я вам тогда скажу, что правда, а что неправда».

«Быть по сему», — объявил судья и велел вызвать нескольких истцов, и тут один из них показал, что Мартеллино срезал у него кошелек неделю тому назад, другой — что шесть дней, третий — что четыре дня, а иные — что не далее как сегодня.

Послушав такие речи, Мартеллино сказал: «Государь мой! Все они нагло врут, а вот что я говорю правду, тому у меня есть доказательство: не бывать мне больше в этом городе, если я до нынешнего дня когда-нибудь здесь был. Как же скоро я сюда прибыл, я, себе на горе, тот же час пошел в собор поглядеть на мощи, и там меня, как видите, и отхолили. А что я не лгу, это могут засвидетельствовать состоящее при градоправителе должностное лицо, к которому обязаны являться все вновь прибывшие, его книга и, наконец, хозяин той гостиницы, где я остановился. Так вот, если все это подтвердится, то уж, будьте настолько добры, не истязайте меня и не лишайте жизни по настоянию этих мерзавцев».

Между тем Маркезе и Стекки, прослышав, что судья допрашивает Мартеллино с пристрастием, не на шутку испугались и сказали: «Дали мы маху: сняли его со сковороды, а кинули в огонь». В сих мыслях они пустились на розыски хозяина гостиницы и, сыскав его, все ему обсказали.



Тот посмеялся и повел их к некоему Сандро Аголанти, проживавшему в Тревизо и находившемуся в большой чести у градоправителя. Рассказав ему все по порядку, он и его спутники обратились к нему с просьбой заступиться за Мартеллино. Сандро, вволю нахотавшись, отправился к градоправителю и попросил послать за Мартеллино, что и было исполнено. Посланцы увидели, что Мартеллино стоит перед судьей в одной сорочке, потерянный и уstraшенный, ибо судья и слышать не хотел его оправданий; напротив того: питая, как на грех, некоторую неприязнь к флорентийцам, он вознамерился во что бы то ни стало вздернуть Мартеллино на виселицу, а чтобы отослать его к градоправителю — этого он и в мыслях не держал, отослал же он его в конце концов не по доброй воле, а по принуждению. Явившись к градоправителю, Мартеллино все рассказал ему по порядку, а затем попросил в виде особой милости позволить ему отсюда отбыть, и б о , — пояснил о н , — пока он не попадет в родную Флоренцию, ему все будет мерещиться петля на шее. От души посмеявшись над этим приключением, градоправитель всем троим подарил по платью, и флорентийцы, сверх всякого ожидания избежав величайшей опасности, целы и невредимы вернулись домой.





*Ринальдо д'Эсти, подвергшись ограблению,  
добирается до Капель Гвильельмо и там обретает приют у некоей вдовы;  
будучи вознагражден за понесенные потери,  
он цел и невредим возвращается домой*



амы до упаду хохотали над приключением Мар-  
теллино, о коем рассказала Нейфила; что же до  
юношей, то всех более рассказ ее насмешил Фило-  
страто, и как раз ему-то, сидевшему подле Нейфи-  
лы, королева и велела рассказывать. Он же, даром  
времени не теряя, начал так:

— Приятные дамы! У меня вертится на языке  
повесть о предметах священных, отчасти сопря-  
женных со злочлечениями и с делами сердечны-  
ми, и, может статься, выслушать ее небесполезно,  
особливо тем, кто плавает по бурным морям люб-

ви, а кто по ним плавает, молитвы же святому Юлиану не прочел, того  
даже и на мягком ложе плохая ожидает ночевка.

Итак, во времена маркиза Аццо Феррарского некий купец по имени  
Ринальдо д'Эсти приехал по своим делам в Болонью. Случилось, одна-  
ко ж, что, устроив дела свои, он на возвратном пути, между Феррарой и  
Вероной, повстречал незнакомых ему людей, которые смахивали на куп-  
цов, тогда как в действительности были разбойники, злодеи и душегубы,  
а повстречав, имел неосторожность с ними разговориться и к ним при-  
мкнуть. Убедившись, что это купец и что он при деньгах, лихие люди по-  
ложили при первом же удобном случае его ограбить, а дабы у него не  
возникло ни малейшего подозрения, они вели себя скромно и благопри-  
стойно, толковали все только о предметах возвышенных и благородных  
и, как могли и умели, были по отношению к нему предупредительны и  
благожелательны, так что Ринальдо почел эту встречу за великую для  
себя удачу, ибо дотоле он путешествовал в сопровождении одного-един-  
ственного верхового слуги. Так, продолжая свой путь, слово за слово,

как это часто бывает, они разговорились, и зашла у них речь о том, как люди молятся богу.

И тут один из разбойников, — а было их всего т р о е , — обратился к Ринальдо с вопросом: «Ну, а ты, почтеннейший, какую молитву читаешь дорогой?»

Ринальдо же ему на это ответил так: «Откровенно говоря, я человек неотесанный, невежественный, молитв знаю мало, живу по старинке, по-просту, звезд с неба не хватаю; со всем тем обычай мой таков: утречком, когда я съезжаю с постоялого двора, я непременно читаю за упокой души родителей святого Юлиана Странноприимца «Отче наш» и «Богородицу», а потом уже молю бога и святого Юлиана о том, чтобы на следующую ночь они даровали мне добрый ночлег. Со мной в пути не раз случались великие напасти — ан глядь: на ночь тебе готовы уютный кров и спокойный ночлег. Вот почему я молюсь святому Юлиану — я твердо верю, что это он испрашивает мне милость у бога. И уж у меня такая примета: ежели я утречком ему не помолюсь, то и пути мне не будет, и ночевки хорошей не жди».

Все тот же разбойник задал ему еще один вопрос: «А нынче-то утром ты молился?»

«А как же!» — отвечал Ринальдо.

Тут разбойник, предугадывавший, какой оборот примет дело, подумал: «Не мешало бы тебе вдругорядь помолиться, а то, если только мы не оплошаем, ночлег у тебя, сдается мне, будет неважный». К нему же он обратился с такими словами: «Я также немало странствовал, однако молитвы той не читал, несмотря что от многих слыхивал, что она хорошо помогает, и все-таки от беспокойного ночлега меня до сего времени бог миловал. Ужо вечером сам убедишься, кто из нас лучше заночует: ты ли, несмотря что сотворил молитву, или же я, несмотря что не сотворил. Правда, я вместо нее читаю другие молитвы: «Вскую, Боже, отринул еси до конца», «Под твою милость» и «Из глубины воззвах», — моя покойная бабушка говорила, что они много помогают».

В таких и тому подобных разговорах продолжали лиходеи свой путь, выбирая подходящее место и время для выполнения злого умысла, и наконец, когда уже смерклось, у переправы через реку, пересекающую дорогу, которая идет от Капель Гвильельмо, они, сообразив, что время позднее, а место безлюдное и глухое, напали на купца, ограбили, отобрали у него коня, оставили в одной сорочке и, удаляясь, крикнули: «Вот ты теперь увидишь, как тебя приютит на ночь твой святой Юлиан, а наш святой Юлиан приютит нас со всеми удобствами!» И тут они, переправившись через реку, скрылись из виду.

Слуга Ринальдо, как последний трус, видя, что хозяина грабят, не только не пришел ему на помощь, но поворотил коня, гнал его во весь мах до самого Капель Гвильельмо, въехал туда уже вечером и, позабыв обо всем на свете, заночевал. Меж тем Ринальдо не знал, как быть: темь, холодище, вьюга, а он босой и в одной сорочке, от холода у него зуб на зуб не попадает, и вот начал он оглядываться по сторонам, нет ли какого пристанища, где бы он мог переночевать и не заоченеть от холода. Ниче-

го такого не обнаружив, ибо во время недавней войны все как есть в том краю было выжжено, он, гонимый стужей, припустился бегом в Кагель Гвильельмо: он не чаял найти там своего слугу, ибо не знал, куда тот девался, — он надеялся только на милость божью.

Непроглядная ночь застигла его, однако ж, еще в миле от Кагель Гвильельмо. В столь поздний час ворота были уже заперты, мосты подняты, так что проникнуть туда не представлялось возможным. Удрученный и безутешный, Ринальдо со слезами высматривал, где бы хоть от снега укрыться. И тут-то по счастливой случайности взгляд его уперся в дом с навесом, слегка выступавшим за городскую стену; вот Ринальдо и решился спрятаться под навес и пробыть там до рассвета. Под навесом он нащупал дверь, впрочем запертую изнутри, подостлал у порога валявшейся тут же соломки и, страждущий и унылый, на ней расположился, беспрестанно ропща на святого Юлиана и говоря себе, что по своей вере в него он заслуживает лучшей участи. Между тем святой Юлиан пекся о нем и вскорости уготовал ему уютный кров.

В том пригороде проживала некая вдовушка, красавица писаная, в которой маркиз Аццо души не чаял и которую он здесь держал для своей надобности. А проживала помянутая вдовушка в том самом доме, на крыльце коего приютился Ринальдо. Нужно же было случиться так, что накануне сюда заехал сам маркиз, дабы провести со вдовою ночь, и отдал тайные распоряжения приготовить ванну и отменный ужин. Когда же все было готово и вдовушка с минуты на минуту ожидала маркиза, прискакал гонец и сообщил такие вести, которые принудили маркиза внезапно отбыть. По сему обстоятельству, велев сказать вдовушке, чтобы она не ждала его, он не мешкая тронулся в путь. Вдовушка слегка опечалилась, подумала, подумала и решилась сама принять ванну, приготовленную для маркиза, а засим отужинать и лечь спать. С этим намерением она села в ванну.

Ванная комната находилась недалеко от двери, у которой примостился снаружи злосчастный Ринальдо, — вот почему вдовушка, сидя в ванне, слышала, как тот рыдал и стучал зубами, словно аист — клювом. Наконец хозяйка кликнула служанку и сказала: «Пойди выгляни, кто это там за дверью и что он делает». Служанка пошла, а так как небо к тому времени расчистилось, то она явственно увидела Ринальдо, сидевшего, как уже было сказано, в одной сорочке, босого и дрожмя дрожавшего. Служанка спросила, кто он таков. Ринальдо не в силах был унять дрожь и оттого изъяснялся нечленораздельно, и все же он постарался в коротких словах объяснить служанке, что, как и почему, а засим стал просить ее жалобным голосом впустить его под кров, иначе-де он тут замерзнет. Служанка, растроганная, пошла к своей госпоже и все ей рассказала. Госпожа также прониклась к нему жалостью и, вспомнив, что у нее есть ключ от той двери, через которую маркиз иной раз тайно проникал к ней в дом, молвила: «Пойди и тихонько отопри ему. Ужин остался нетронутым, да и места для него хватит».

Служанка, расхвалив госпожу за выказанное ею человеколюбие, пошла отворять. Когда же она впустила Ринальдо, то вдовушка, обратив

внимание, что он совсем заоченел, сказала: «Полезай, дружок, в ванну — она еще не остыла». Ринальдо не заставил себя долго упрашивать и, согрившись, почувствовал, что оживает. Вдовушка велела приготовить ему платье своего мужа, незадолго перед тем скончавшегося, и когда Ринальдо в него влез, то оказалось, что оно как будто на него шито, и тут, в ожидании дальнейших распоряжений хозяйки дома, он возблагодарил бога и святого Юлиана за то, что они избавили его от грозившей ему тягостной ночи и привели к тихому, как ему казалось, пристанищу. Немного отдохнув после ванны, госпожа приказала пожарче натопить залу и, войдя в нее, осведомилась, как себя чувствует пришелец.

Служанка же ей на это ответила: «Сударыня! Он уже оделся, собой он хорош и, видать, человек порядочный и обходительный».

«Поди позови его, — молвила вдовушка, — пусть погрееется у камелька и поужинает, а то ведь он голодный».

Войдя в залу и увидев даму, которую он принял за даму знатную, Ринальдо низко ей поклонился и горячо поблагодарил за оказанное ему гостеприимство. Увидев и услышав прищельца и уверившись, что служанка ей не солгала, вдовушка радостно приветствовала его и, без церемоний усадив его рядом с собой у огня, начала расспрашивать, что его сюда привело, Ринальдо же рассказал ей все по порядку. До слуха вдовушки кое-что уже дошло, как скоро в городе появился слуга Ринальдо, и, поверив всему, что Ринальдо ей сообщил, она, в свою очередь, довела до его сведения то, что было ей известно о слуге, присовокупив, что наутро слугу без труда разыщут. Как скоро накрыли на стол, Ринальдо вымыл руки и по желанию хозяйки сел с нею рядом. Росту он был высокого, красив, приятной наружности, статен, изящен, средних лет. Хозяйка несколько раз окинула его взором, и он вполне пришелся ей по нраву, а так как несостоявшееся свидание с маркизом возбудило в ней сладострастные вожделения, то после ужина, когда они встали из-за стола, она спросила служанку, не осудит ли та ее, если она, будучи обманута в своих ожиданиях маркизом, воспользуется благоприятным случаем, ниспосланным ей судьбою.

Служанка, угадав желание госпожи своей, постаралась, как могла и умела, уговорить ее не препятствовать своему желанию. Хозяйка возвратилась в залу, где Ринальдо пребывал в одиночестве, и, поглядывая на него игриво, повела с ним такую речь: «Послушай, Ринальдо: о чем ты задумался? Не о том ли, что тебе не вернуть ни коня, ни платья? Полно, не кручинься, встряхнись и будь как дома. Я тебе больше скажу: как скоро я увидела тебя в платье моего покойного мужа, мне почудилось, что это он, и весь вечер мне, мочи нет, хотелось обнять и поцеловать тебя, и я бы, верно уж, так и сделала, но меня удерживала боязнь прогневить тебя».

Услышав это и заметив, что глаза хозяйки блестят, Ринальдо, не будь дурак, раскрыл объятия и, приблизившись к ней, сказал: «Сударыня! Я всегда буду помнить, что вы меня спасли, что я остался жив только благодаря вам, а посему было бы с моей стороны черной неблагодарностью, ежели бы я в чем-либо вам не угодил. Обнимите же и рас-

целуйте меня, раз вам того хочется, а уж я вас — с препоим удовольствием».

Оба тут же перешли от слов к делу. Вдовушка, вся пылавшая огнем страсти, так и кинулась к Ринальдо в объятия. Тесно прижавшись друг к дружке и всласть нацеловавшись, они перешли отсюда в спальню, нима-ло не медля улеглись и до утра успели многократно и досыта друг дружкой угобзиться. Когда же занялась заря, они, по желанию хозяйки, встали, а дабы никто про это не разнюхал, она снабдила Ринальдо кое-какой рухлядишкой, набила его кошелек деньгами и, взяв с него слово не проболтаться и показав, как пройти в Капель Гвильельмо, дабы разыскать слугу, выпустила его в ту же самую потайную дверцу, через которую он проник к ней в дом.

Как скоро развиднело, Ринальдо, притворившись, что прибрел издалека, вошел в город, коего ворота были уже растворены, и нашел своего слугу. Только успел он переодеться в свое запасное платье, лежавшее в переметной суме, и собрался сесть на коня слуги, каким-то чудом привели именно в этот город троих разбойников, которые обчистили его накануне и которых вскоре после этого схватили уже за другое преступление. Они во всем повинились, и тогда Ринальдо возвратили и коня, и платье, и деньги, так что он все получил обратно, за исключением подвязок, оттого что разбойники запомнили, куда они их дели. Возблагодарив за все бога и святого Юлиана, Ринальдо вскочил на коня и цел и невредим возвратился домой. А три разбойника отправились на другой день давать пинки ветру.





*Трое молодых людей, промотав гостяние свое, обеднели;  
их племянник, в отчаянии возвращаясь домой,  
знакомится дорогой с неким аббатом и обнаруживает, что то не аббат,  
а дочь короля английского; она выходит за него замуж,  
он же восполняет родственникам своим убыль в деньгах,  
благодаря чему они снова разбогатели*



Одивились дамы и молодые люди приключениям Ринальдо д'Эсти, похвалили его за набожность и восславили господу бога и святого Юлиана за то, что они спасли его от неминуемой гибели. Оценили они также и находчивость женщины, — слыла бестолковой, а сумела-таки воспользоваться тем, что ей бог послал; впрочем, о ней говорилось полупотом. Меж тем как они, посмеиваясь, толковали о том, как весело провела она ночь, Пампинья, сидевшая подле Филострато, сообразив, что теперь ее очередь рассказывать, в чем она и не ошиблась, углубилась в размышления, а затем, дождавшись повеления королевы, весело и бойко начала рассказывать:

— Достойные дамы! Если мы внимательно приглядимся к колесу Фортуны, то окажется, что чем чаще толкуем мы о ее превратностях, тем больше остается у нас поводов для разговора о ней. И в этом нет ничего удивительного, если только мы примем в рассуждение, что все, что мы имеем глупость считать своею собственностью, на самом деле принадлежит ей и что, следственно, она по таинственному своему соизволению беспрестанно у одного отнимает, другого оделяет, у этого отнимает, того оделяет — в порядке, для нас непостижимом, и так до бесконечности. Хотя это ясно для всех, хотя это подтверждается каждодневно и хотя это уже составило предмет иных из прослушанных нами повестей, со всем тем, коль скоро королева изъявила желание, чтобы мы продолжали рассуждать об этом предмете, то я,

может стать, не без пользы для слушателей, прибавлю к ранее рассказанному и свою повесть, в надежде, что она придется вам по душе.

Жил-был некогда в нашем городе дворянин, мессер Тебальдо, как утверждают некоторые — из рода Ламберти, другие же стоят на том, что он — из рода Аголанте, а исходят они в своем умозаключении, по всей вероятности, из того, чем занимались впоследствии его сыновья, чем занимались все Аголанте прежде и чем занимаются они и поныне, нежели из чего-либо другого. Оставим, однако ж, в стороне вопрос о том, какому из двух родов обязан своим происхождением мессер Тебальдо; надобно вам знать, что у Тебальдо, преизрядного богача, было три сына: старшего звали Ламберто, среднего — Тебальдо, а младшего — Аголанте, все трое — пригожие, статные юноши, из коих старшему не исполнилось еще восемнадцати, когда умер богач мессер Тебальдо, завещав сыновьям, законным своим наследникам, все имущество, как движимое, так равно и недвижимое. Оказавшись владельцами несчетной казны и богатейших поместий, они, ни в чем себе не отказывая, принялись направо и налево сорить деньгами: окружили себя многочисленную челядь, держали множество знатных коней, собак, птиц, вели жизнь открытую, делали подарки, устраивали турниры, вели себя не так, как подобает людям благородного происхождения, а как ведут себя взбалмошные юнцы. Продолжалось это, впрочем, недолго, отцовские денюжки начали таять, расходы превышали доход, а потому они начали продавать и закладывать свои поместья. Нынче продадут одно, завтра — другое, не успели оглянуться, как у них почти ничего не осталось, и наконец нищета сняла с их очей повязку, которую наложило на них богатство.

В сих обстоятельствах Ламберто позвал однажды обоих братьев и заговорил о том, в каком почете пребывал их отец и до чего дошли они, как он был богат и до какого оскудения довело их безрассудное мотовство. И сумел он уговорить их, прежде нежели бедственное их положение обнаружится, распродать остатки и уехать. Так они и сделали: ни с кем не простившись, тайно покинули Флоренцию и, по дороге нигде не задерживаясь, прибыли в Англию. В Лондоне они сняли домишко и, во всем себя урезая, заделались завзятыми ростовщиками. И Фортуна столь им благоприятствовала, что в короткий срок они изрядно нажились. Благодаря этому они смогли один за другим возвратиться во Флоренцию и мало того, что выкупили большую часть своих имений, но еще и новые прикупили, и все трое женились. Не желая прикрывать свою контору в Англии, они вверили ее попечением юного своего племянника по имени Алессандро, сами же остались во Флоренции и, позабыв, до какой крайности довел их однажды беспорядочный образ жизни, и не думая о том, что теперь они уже люди семейные, принялись транжирить пуще прежнего, благо любой купец поверил бы им теперь в долг какую угодно сумму. Покрывать расходы помогал им несколько лет подряд Алессандро, с большою для себя выгодой дававший баронам деньги в рост под залог их замков, а равно и других доходов. Итак, три

брата жили широко и при нехватке денег, уповая на Англию, брали займы, как вдруг в Англии неожиданно для всех вспыхнула война между королем и его сыном, вследствие чего весь остров был раздираем междоусобием: одни стояли за короля, другие — за его сына, все баронские замки были у Алессандро отобраны, и ему нечем стало жить. В надежде на то, что отец с сыном не нынче-завтра замирятся и что ему возвратят и капитал и рост, Алессандро острова не покидал, меж тем как дяди его продолжали тратить на себя во Флоренции уйму денег, а долги их с каждым днем все росли. События, происшедшие в Англии, их надежд не оправдали, и все три брата не только утратили кредит, но и были внезапно схвачены, ибо работодатели требовали удовлетворения. Имени на уплату долгов не хватило, а потому братья как несостоятельные должники остались сидеть в тюрьме, а их жены с малолетними детьми совсем захудали и, не чая выбиться из нужды, разбрелись по деревням.

Алессандро много лет ждал, что в Англии настанет наконец мир, однако ж, видя, что мира все нет как нет, и рассудив, что оставаться ему здесь долее и небезопасно и бесполезно, положил возвратиться в Италию и один, без спутников, пустился в дорогу. Случилось, однако ж, так, что когда он выезжал из Брюгге, внимание его обратил на себя аббат-бенедиктинец, также выезжавший из Брюгге в сопровождении множества монахов, множества слуг и с длинным обозом, ехавшим впереди. Следом за аббатом ехали два престарелых рыцаря, находившихся в родстве с королем; Алессандро с ними познакомился, и они любезно предложили Алессандро сопутствовать им. Дорогою Алессандро вежливо обратился к ним с вопросом, что это за монахи едут впереди в сопровождении стольких слуг и куда они путь держат. На это ему один из рыцарей ответил так: «Тот, что впереди едет, — это юный наш родственник, его недавно назначили настоятелем одного из самых больших монастырей во всей Англии. Дело, однако ж, состоит в том, что он моложе, чем полагается по уставу, и вот мы едем с ним в Рим просить святейшего владыку, невзирая на молодые лета нашего сродника, в должности настоятеля его утвердить. Но об этом никому не нужно сказывать».

Вновь назначенный аббат ехал то впереди, то позади своей свиты, как это обыкновенно водится у господ, что мы имеем возможность наблюдать ежедневно, и вдруг увидел Алессандро, юного, статного, пригожего, в высшей степени приятного, привлекательного, обворожительного. С первого взгляда он так очаровал аббата, как это никому еще доселе не удавалось. Подозвав же его, аббат любезно заговорил с ним и осветовил, что он таков, откуда, куда путь держит. Алессандро, удивленный его любопытством, рассказал ему про себя все без утайки и изъявил готовность по мере скромных сил своих ему служить. Послушав его прекрасные и разумные речи, уверившись в его обходительности и придя к заключению, что род занятий у него постыдный, а самто он человек благородный, аббат исполнился к нему еще более пылкой приязни. Он посочувствовал его горю, утешал его, как друг, и угова-

ривал не терять надежды, ибо он-де человек достойный, и господь вновь вознесет его туда, откуда судьба его низвергла, и даже еще выше. Узнав, что Алессандро едет в Тоскану, аббат попросил его об одолжении продолжить путь совместно, ибо и он направляется туда же. Алессандро поблагодарил его за сочувствие, примолвив, что готов к его услугам.

Аббат поехал дальше, и дорогой сердечное влечение его к Алессандро все росло, а несколько дней спустя прибыли они в некое селение, где насчет приюта дело обстояло неважно. Аббат, однако ж, порешил здесь заночевать; Алессандро устроил его в доме одного своего приятеля и попросил отвести аббату наиболее удобное помещение. Приняв на себя обязанности аббата эконома, он по знакомству разместил по разным домам всех, кто состоял при аббате, а когда аббат отужинал и все за поздним временем пошли спать, Алессандро спросил хозяина, где ему лечь.

Хозяин ему на это ответил: «Право, не знаю. Сам видишь: у нас тут все полно, я и мои домочадцы будем нынче спать на голых досках. Впрочем, в той горнице, где аббат, стоят л а р и , — я тебя туда отведу и что-нибудь найду постелить, а уж ты не обессудь, ведь всего одна ночька, как-нибудь да переспишь».

Алессандро же ему на это возразил: «Как я пройду к аббату в горницу? Ты же знаешь, как она м а л а , — из-за тесноты мы никого из монахов не могли туда поместить. Кабы знатно дело, я, когда все располагались на ночлег, уложил бы монахов на ларях, а сам пошел бы спать в их помещение».

Хозяин же ему сказал: «Это мы уладим. Ты только не упрямясь, а расположиться ты там сможешь как нельзя лучше. Аббат спит, полог спущен, я туда прошмыгну, тюфячок тебе положу — ложись и спи».

Убедившись, что все это можно проделать, никак не обеспокоив аббата, Алессандро изъясил согласие и тихохонько улегся. Аббат между тем не спал — ему не давала покою внезапно овладевшая им страсть, по каковой причине он слышал весь разговор хозяина с Алессандро и из него узнал, где Алессандро устроился на ночлег. Взыграв духом, он сказал себе: «Сам господь благоприятствует исполнению моих желаний. Если сейчас этот случай упустить, то другого такого может и не представиться». Порешив во что бы то ни стало сим случаем воспользоваться, аббат прислушался и, уверившись, что в доме совершенная воцарилась тишина, он шепотом окликнул Алессандро и предложил ему лечь рядом с собою. Тот долго отнекивался, но в конце концов разделся и лег. Аббат положил ему руку на грудь и начал ее гладить, как обыкновенно ласкают влюбленные юноши своих подружек, отчего Алессандро в крайнее пришел изумление и заподозрил аббата в извращенности чувств, которая, мол, и побуждает его к такого рода ласкам. Аббат то ли сам догадался, то ли Алессандро выдал себя каким-либо движением, но только подозрения Алессандро от аббата не укрылись — он усмехнулся, в мгновение ока скинул сорочку, схватил Алессандро за руку и, по-

ложив ее себе на грудь, молвил: «Выкинь из головы вздор, Алессандро, потрогай вот тут — и тогда узнаешь, что я таю под покровами». Положив руку на грудь аббата, Алессандро нащупал две округлости, упругие и гладкие, словно выточенные из слоновой кости. Нашупав же их и тотчас догадавшись, что это женщина, Алессандро, не дожидаясь более понуждения, обнял ее и хотел было поцеловать, но она обратилась к нему с такими словами: «Выслушай меня, прежде чем сблизиться со мною. Как видишь, я — женщина, а не мужчина. Девичество выехав из дому, я поехала к папе с тем, чтобы он выдал меня замуж. На твое счастье или же на мое несчастье, стоило тебе впервые явиться моим очам, и я пленилась тобою так, как еще ни одна женщина не пленялась мужчиной. Ни за кого бы я так страстно не мечтала выйти замуж, как за тебя. Если же ты не хочешь на мне жениться, то сей же час оставь мое ложе и иди к себе». Алессандро не знал доподлинно, кто она, однако ж, судя по многочисленной свите, ее сопровождавшей, мог предположить, что она и богата и родовита, а что она красавица, это он видел явственно. Вот почему он без дальних размышлений ответил, что если ей так благоугодно, то уж ему-то лучшего и желать нечего. Тогда она села на своей постели и, надев ему на палец кольцо, велела поклясться, глядя на распятое, пред лицом Божиим, что он будет ее супругом. Засим они заключили друг друга в объятия и, к великому обоюдному удовольствию, остаток ночи предавались любовным утехам. Под утро, сговорившись с нею, как ему быть и вести себя в дальнейшем, Алессандро встал с постели, вышел из горницы крадучись, как и вошел, благодаря чему для всех так и осталось тайной, где он проспал эту ночь, а немного погодя, не чуя ног под собою от радости, поехал дальше совместно с аббатом и его свитой и спустя несколько дней прибыл в Рим.

Отдохнув после дороги, аббат с двумя рыцарями и Алессандро явился прямо к папе и, изъявив ему свое почтение, начал так: «Святейший владыка! Вам лучше, чем кому-либо еще, должно быть известно, что всякому человеку, желающему праведно и честно прожить свою жизнь, надлежит по возможности избегать малейшего повода, который мог бы принудить его сбиться с пути истинного. Вот почему я, намеревающаяся прожить свою жизнь честно, дабы исполнить свой нравственный долг во всей его полноте, сбежала в одежде, которую вы на мне видите, — сбежала, захватив с собою большую часть сокровищ моего отца, короля английского, собиравшегося отдать меня, совсем еще, как видите, юную, за дряхлого старика, короля шотландского, и направила путь свой к вам, дабы вы, ваше святейшество, выдали меня замуж. На побег же меня толкнула не столько дряхлость короля шотландского, сколько боязнь, в случае, если б я за него вышла, совершить по молодости лет что-либо противное закону господнему и пятнающее честь королевского рода моего отца. А так как един бог в точности знает, что каждому человеку надобно, то, когда я в сих мыслях направлялась к вам, он по милосердию своему представил моему взору юношу, которого ему, думается мне, и угодно назначить мне в супруги. Этот самый юноша стоит сейчас

рядом со мной. — Тут она указала на Алессандро. — Качества его души и его добродетели таковы, что он мог бы составить партию наизытнейшей даме, хотя, может статься, в жилах его течет и не королевская кровь. Я отдала ему предпочтение, я хочу, чтоб он был моим мужем, и ни за кого другого не пойду — наперекор воле родительской и чьей угодно. Таким образом, главный повод для моего путешествия отпал, но я все же решила достигнуть конечной его цели как для того, чтобы посетить святые и чтимые места, коих так много в этом городе, посетить вас, ваше святейшество, так и для того, чтобы брачный союз, который мы с Алессандро заключили лишь пред лицом Божиим, был дополнительно заключен в вашем присутствии, а равно и в присутствии других свидетелей. Вот почему я смиренно молю вас отнестись благосклонно к тому, что угодно богу и мне, и дать нам свое благословение, дабы с сим верным знаком благоволения к нам того, чьим наместником вы являетесь, мы неразлучно прожили положенные нам дни во славу Божию и во славу вашу».

Подивился Алессандро, узнав, что его супруга — дочь короля английского, и несказанно возрадовался духом; однако ж в еще большее изумление пришли оба рыцаря и до того разъярились, что если б тут не было папы, они нанесли бы оскорбление Алессандро, а может статься, и даме. Подивился, должно заметить, и папа — как наряду просительницы, так и ее выбору, однако ж, поняв, что упущенного не воротить, соблаговолил исполнить ее просьбу. Первым делом, видя, как ярятся рыцари, он поспешил их успокоить и помирить с дамой и Алессандро, а затем отдал надлежащие распоряжения. В назначенный им день, когда собрались по его приглашению на великое торжество кардиналы и многие другие знатные люди, он велел позвать даму, одетую по-царски и такую красивую и такую прелестную, что все не могли нахвалиться ею, а вместе с нею и Алессандро, также нарядно одетого, обличьем своим и обхождением напоминавшего не молодчика, занимавшегося ростовщичеством, а скорее похожего на королевича, тем более что оба рыцаря оказывали ему великий почет. Затем папа велел торжественно совершить бракосочетание, и после того как была отпразднована пышная свадьба, благословил новобрачных и отпустил их с миром.

По желанию Алессандро, а также и его супруги, они из Рима последовали во Флоренцию, куда слухи о них успели уже долететь. Здесь граждане воздали им великие почести. Жена Алессандро уплатила за троих братьев долги и велела выпустить их на свободу и вернуть им и их женам поместья. Вызвав этим всеобщее восхищение, Алессандро и его супруга взяли с собой Аголанте, выехали в Париж, и там король принял их с честью. Рыцари же возвратились в Англию и так сумели воздействовать на короля, что он простил дочь свою, и когда она и его зять прибыли в Англию, он по случаю их приезда устроил пышное празднество, а малое время спустя с необычайной торжественностью посвятил зятя в рыцари и пожаловал ему графство Корнуэллское. Зять же оказался человеком столь добропорядочным и

столь деятельным, что ему удалось примирить сына с отцом, после чего остров вновь стал благоденствовать, а он стяжал себе любовь и благоволение жителей; что же касается Аголанте, то ему вернули все, что было у него отобрано, и, после того как граф Алессандро посвятил его в рыцари, он возвратился во Флоренцию таким же богатым, как и был. Граф и его супруга зажили на славу, и, сказывают, граф, отчасти благодаря мудрости своей и отваге, отчасти благодаря содействию тестя, покорил Шотландию и был возведен на ее престол.





*Ландольфо Руфоло, впав в нищету, становится корсаром;  
будучи взят в плен генуэзцами, он терпит бедствие на море,  
спасается на ящике с драгоценностями,  
находит приют у одной женщины в Корфу,  
а затем богатым человеком возвращается домой*



рядом с Пампинеей сидела Лауретта; как скоро Пампинея дошла до благополучного конца своей повести, она, не дожидаясь особого приглашения, повела свой рассказ таким образом:

— Обворожительнейшие дамы! Ни на ком, по моему разумению, так наглядно не проявляется милость Фортуны, как на человеке, из крайней нищеты вознесшемся до титула королевского, — об этом свидетельствует участь Алессандро, о которой нам поведала Пампинея. Тем из нас, кому еще предстоит рассказывать, надлежит строго придерживаться установленных рамок, а потому я не постыжусь рассказать вам одну повесть, несмотря на то что она заключает в себе еще более тяжкие испытания, развязка же ее не столь счастлива. Я знаю, что, приняв это обстоятельство в соображение, вы будете не столь внимательно меня слушать, но ничего другого я вам предложить не могу, так что уж не взыщите.

Морское побережье от Реджо до Газты почитается едва ли не самой живописной частью Италии. На так называемом Амальфитанском берегу, начинающемся от Салерно, утопают в садах городки, текут ручьи; в городках проживают состоятельные люди, у которых торговля идет бойчее, чем где бы то ни было. Один из этих городков носит название Равелло, где и сейчас еще можно сыскать людей богатых и где в былые времена проживал страшный богач, по имени Ландольфо Руфоло, и ему все еще было мало, однако ж в погоне за крупной наживой он мало того что разорился, но и чуть было не погиб. Словом сказать, он, предварительно все рассчитав, как это водится у купцов, приобрел преогром-

ный корабль, накупил за наличные деньги разного товару, нагрузил его на корабль и отбыл на Кипр. Здесь он обнаружил суда с таким же точно товаром, как и у него, и по сему случаю, когда он попробовал сбыть свой товар, то сбыл он его даже не по дешевке, а прямо-таки за бесценок и близок был к совершенному разорению. Удрученный тем, что в короткий срок превратился из богатея почти что в бедняка, он пребывал в смятении, а затем порешил либо погибнуть, либо возместить убытки грабеджом, но только не возвращаться нищим туда, откуда выехал богатеем. Найдя покупателя на свой большой корабль, он на полученные деньги, а также на те, что ему удалось выручить за проданный товар, приобрел корсарское суденышко, снабдил его изрядным количеством оружия, а равно и всем, что необходимо для подобного рода занятий, и начал присваивать чужое имущество, главным образом — турецкое.

С корсарством ему повезло гораздо больше, чем с торговлей. За год он захватил и ограбил так много турецких кораблей, что благодаря этому с лихвой возместил убытки, понесенные им от дел торговых. Наученный горем первой утраты и настолько разбогатевший, чтобы уж больше не рисковать, а то, мол, как бы не потерпеть урон вторично, он себя убедил, что теперь с него хватит, больше ему, дескать, и желать нечего, и положил с награбленным добром возвратиться домой. Однако идти с товаром он почел делом небезопасным и поспешил распродать его, а деньги превратить в ценности, и, приказав ударить в весла, на том самом суденышке, на котором он разжился, отправился в родные края. Вечером, когда он уже находился вблизи архипелага, вдруг поднялся сирокко, не только ему противный, но и до того сильный, что море разбушевалось, и на своем утлом суденышке он бы долго не продержался, а потому рассудил за благо, в надежде дожидаться ветра попутного, зайти в бухту, образованную островком и укрытую от бурь. В непродолжительное время, преодолев сопротивление ветра, сюда вошли, спасаясь от того же, от чего спасался и Ландольфо, направлявшиеся из Константинополя две большие генуэзские барки. Увидев суденышко и сведав, кто его хозяин, — а про него ходила молва, что богат он несметно, — генуэзцы, народ хищный и жадный до денег, вознамерились преградить Ландольфову суденышку выход и захватить его. С этой целью они часть своей команды, вооруженной самострелами и хорошо защищенной, высадили на сушу и расставили так, что никто с Ландольфова судна не мог ступить на берег, не рискуя быть пронзенным стрелами. Прочие, в шлюпках, подгоняемые течением, приблизились к Ландольфову малому суденышку и малое время спустя ценою малых усилий, без всяких потерь им овладели, а команду, всю как есть, перебили; самого Ландольфо они переправили на одну из своих барок, судно же его обобрали дочиста и затопили, а Ландольфо оставили одно только плохенькое полукафтанье.

На другой день ветер переменился, барки вступили под паруса и пошли на запад, и весь тот день прошел для них благополучно. К вечеру, однако ж, задул буйный ветер, взволновал море и разбросал барки. И вот случилось так, что барка, на коей находился несчастный и злопо-

лучный Ландольфо, чуть повыше острова Кефалонии со всего маху налетела на отмель и, подобно стеклу, ударившемуся о стену, раскололась и разбилась на мелкие куски. Как обыкновенно в подобных случаях бывает, по морю поплыли разные товары, ящики, доски, и хотя ночь выдалась темная-претемная, а море кипело и бушевало, потерпевшие крушение горемыки, кто только умел плавать, пустились вплавь и начали хвататься за предметы, качавшиеся на волнах. Среди этих людей был и несчастный Ландольфо; он еще накануне просил себе смерти, ибо предпочитал умереть, нежели возвратиться домой нищим, но когда он увидел смерть лицом к лицу, то устранился и тоже уцепился за первую попавшуюся доску в надежде на то, что если он сразу не пойдет ко дну, то господь пошлет ему избавление. Оседлав доску и сделавшись игралищем морских валов и ветра, он кое-как продержался до зари. А когда рассвело и он посмотрел вокруг, то ничего, кроме облаков и моря, не увидал, да еще носившегося по волнам ящика, который время от времени к нему приближался, наводя на него своим приближением великий страх, ибо ящик, того и гляди, мог налететь на доску и потопить его, — вот почему всякий раз, когда ящик подплывал к Ландольфо, он слабеящею рукой старался как можно дальше его оттолкнуть. Меж тем как он предпринимал сверхъестественные усилия, в воздухе закружилась вихрь и, обрушившись на море, с такой силой налетел на ящик, что ящик, в свою очередь, ударился о доску, на которой держался Ландольфо, и она перевернулась, Ландольфо же, невольно выпустив ее из рук, скрылся под водой, но тут же не столько благодаря своим усилиям, сколько от страха вынырнул и обнаружил, что доска от него далеко-далеко; тогда он, видя, что ему ее не достать, подплыл к ящику, который был к нему ближе, лег ничком на его крышку, и теперь все его старания были направлены к тому, чтобы обеими руками поддерживать ящик в равновесии. В сих обстоятельствах, являя собою игралище волн, голодая, ибо есть ему было нечего, зато поминутно захлебываясь морской водой, не имея понятия, где он находится, и ничего не видя, кроме моря, провел он весь тот день и следующую ночь.

На другой день, то ли по милости божьей, то ли по воле ветра, Ландольфо, превратившегося почти что в губку и крепко державшегося обеими руками за край ящика, как то, сколько нам известно, делают все утопающие, которые ухватываются за что ни попало, в конце концов прибило к берегу острова Корфу, а в это время на берегу по счастливой случайности одна бедная женщина мыла морской водой посуду и чистила ее песком. Заметив его еще издали, но не признав за человека, она вскрикнула и попятилась назад. От слабости Ландольфо не мог окликнуть ее, видел он плохо, и так ничего и не сказал ей. Но когда волна погнала его к берегу, женщина разглядела, что это плывет ящик, а всмотревшись и вглядевшись пристальнее, прежде всего различила руки, распростертые на ящике, затем лицо и тут только догадалась, что же это такое. Движимая состраданием, она вошла в уже приутихшее море и, схватив Ландольфо за волосы, вместе с ящиком вытащила на берег, а затем, с трудом расцепив Ландольфовы руки, поставила ящик на го-

лову своей дочке, которая была при ней, Ландольфо же, как малого ребенка, понесла к себе домой, посадила в ванну и давай его тереть и мыть горячей водой, так что он скоро согрелся и ожил. Удостоверившись в том, она вынула его из ванны, попотчевала добрым вином и печеньем, а затем несколько дней держала у себя, стараясь укрепить его силы, пока он не восстановил их и не опамятовался. Тогда добрая женщина порешила возвратить ему в целости и сохранности ящик и сказать, что теперь он уже может сам позаботиться о себе. И так она и поступила.

Ландольфо успел позабыть про ящик, но когда добрая женщина принесла его, он все-таки его взял в расчете на то, что не может же быть в нем так мало ценностей, чтобы ему хотя бы несколько дней на них не просуществовать, однако же ящик был до того легковесен, что Ландольфо приуныл. Со всем тем в отсутствие хозяйки он вскрыл ящик, чтобы поглядеть, что там внутри, и обнаружил множество драгоценных камней, как отшлифованных, так и не отшлифованных, — в чем, в чем, а в камнях Ландольфо толк понимал. Итак, рассмотрев камни и определив, что они представляют собою ценность немалую, Ландольфо возблагодарил бога, не оставившего его в беде, и воспрянул духом. Но так как Ландольфо за короткое время дважды подвергался ударам судьбы, то, боясь третьего удара, он решился принять все меры предосторожности, дабы благополучно доставить драгоценности домой. Того ради он с крайним тщанием завернул их в тряпье, а доброй женщине сказал, что ящик ему не нужен, — пусть она, если хочет, возьмет его себе, а ему взамен даст мешок.

Добрая женщина охотно его просьбу исполнила, он же, поблагодарив ее от всего сердца за оказанное гостеприимство, взвалил мешок на плечи, вышел к морю, сел на корабль и добрался до Бриндизи, оттуда, в виду берега, до Трани и тут повстречал своих земляков, торговцев сукном, которые — после того как он поведал им все свои злоключения, умолчав лишь о ящике, — Христа ради одели его в свое платье, а кроме того, наделили конем и дали провожатых до самого Равелло, куда он непременно желал возвратиться.

Почувствовав себя здесь в совершенной безопасности и возблагодарив бога за то, что он привел его в родной город, Ландольфо развязал дома мешок и, еще внимательней все рассмотрев, пришел к заключению, что у него столько камней и таких дорогих, что если он продаст эти камни по их действительной стоимости и даже дешевле, то станет вдвое богаче, чем до отъезда. И как скоро ему представился случай продать драгоценные камни, он в благодарность за свое спасение послал изрядную сумму денег в Корфу той доброй женщине, что не дала ему потонуть в море, и так же точно поступил с теми, кто придел его в Трани, и, не захотев больше торговать, на остаток честно прожил остаток жизни.





*Андреуччо из Перуджи, приехав в Неаполь покупать лошадей,  
в течение одной ночи подвергся трем опасностям и,  
всех трех избежав, возвращается домой владельцем рубина*



е камни, что обнаружил Ландольфо, — так начала Фьямметта, до которой дошла очередь рассказывать, — привели мне на память повесть, заключающую в себе не меньше опасных приключений, нежели повесть Лауретты, но отличающуюся от нее тем, что в ее повести несчастья случались, должно полагать, на протяжении нескольких лет, а у меня они случаются на протяжении всего одной ночи, о чем вы сейчас и услышите.

Сколько мне известно, жил-был в Перудже некий юноша по имени Андреуччо ди Пьетро, по роду занятий своих — лошажник. Сведая, что в Неаполе кони дешевы, он, хоть и никогда прежде из дому не выезжал, положил в карман кошелек с пятьюстами золотых флоринов и вместе с другими купцами отправился в Неаполь. Прибыв туда в воскресенье под вечер и распросив обо всем своего хозяина, он наутро пошел на Рыночную площадь, увидел множество добрых коней, так что у него глаза разбежались, приценился к одному, к другому, но в цене не сошелся, а чтобы показать, что он в самом деле намерен купить коня, неопытный и неосторожный Андреуччо каждый раз доставал из кармана кошелек с флоринами напоказ сновавшему люду. Случилось, однако ж, так, что, пока он торговался и всем показывал свой кошелек, некая юная сицилийка, первейшая красавица, готовая, однако ж, всякому угодить за самое скромное вознаграждение, прошла мимо него, и он-то ее не заметил, а она-то его кошелек заметила, а заметив, тут же сказала себе: «Если б эти деньги достались мне, то уж я бы себе ни в чем отказу не знала!» И пошла дальше. С девицей шла ста-

рушка, тоже сицилийка, и как увидела она Андреуччо, тотчас бросила свою спутницу и крепко его обняла. Девушка же молча отошла в сторонку и начала поджидать ее. Андреуччо оглянулся и, узнав старушку, обрадовался ей чрезвычайно, она же, не тратя лишних слов и пообещав зайти к нему в гостиницу, пошла своей дорогой, после чего Андреуччо снова начал приторговывать себе коня, но в то утро все старания его остались безуспешны. Меж тем девушка, чье внимание привлек к себе сначала кошелек Андреуччо, а потом его знакомство со старушкой, задалась целью сыскать способ завладеть всеми его деньгами или, на худой конец, хотя бы их частью, и того ради принялась осторожно выведывать у старушки, кто он таков и откуда, что он здесь делает и где они познакомились. Старушка рассказала ей про Андреуччо почти так же подробно, как он сам мог бы о себе рассказать, оттого что она долго жила в услужении у его отца, сначала в Сицилии, а потом и в Перудже; сверх того, она сообщила ей, где он остановился и зачем прибыл.

Получив достоверные сведения обо всех родственниках его и о том, как их зовут, девушка именно на этом хитроумно и основала корыстолюбивый расчет свой. Возвратившись домой, она нарочно задала старушке работы на целый день, чтобы той некогда было сходить к Андреуччо, и, позвав служанку, великую мастерицу оказывать подобного рода услуги, под вечер послала ее в гостиницу, где остановился Андреуччо. Придя, наперсница случайно столкнулась с ним в дверях; он был один, и она у него же про него и спросила. Андреуччо ответил, что он, мол, самый и есть; тогда она отвела его в сторону и сказала: «Мессер! Если вы ничего не имеете против, одна здешняя знатная дама хотела бы с вами побеседовать». Услышав это, Андреуччо призадумался: будучи высокого мнения о своей наружности, он вообразил, что дама в него влюбилась, как будто на нем свет клином сошелся, и поспешил ответить, что рад был бы с нею встретиться, но только где и когда?

Служанка же ему на это сказала: «Не угодно ли вам, мессер, следовать за мною? Она ждет вас у себя».

Андреуччо ничего не сказал в гостинице и тотчас же обратился к служанке: «Иди, а я за тобой».

В конце концов служанка привела его к дому своей хозяйки, проживавшей на улице под названием Труба, хотя лучше было бы назвать ее не Труба, а Трущоба — такое это было злочное место. Ничего о том не ведая и ничего не подозревая, убежденный, что идет по самой что ни на есть барской улице к прелестной даме, Андреуччо, пропустив вперед служанку, доверчиво вошел к ней в дом, поднялся по лестнице и, когда служанка позвала свою госпожу и объявила: «А вот и Андреуччо!» — увидел ее, вышедшую к нему навстречу и остановившуюся в ожидании на верху лестницы.

То была еще совсем юная особа, статная, пригожая, одетая и убранная с благопристойною роскошью. Андреуччо двинулся к ней, она же, раскрыв объятия, спустилась на три ступеньки и, обвив его шею

руками, некоторое время стояла молча, как бы в избытке чувств; затем, со слезами на глазах, поцеловала его в лоб и прерывающимся от волнения голосом проговорила: «Добро пожаловать, мой Андреуччо!»

Озадаченный столь нежными ласками, Андреуччо в крайнем замешательстве вымолвил: «Рад вас видеть, сударыня».

Тогда она, взяв его за руку, повела наверх, к себе в залу, а оттуда, ни слова не говоря, в свою спальню, благоухавшую розами, помегранцами и всякими иными ароматами, и тут он увидел пышное ложе под пологом, множество платьев, висевших, по здешнему обычаю, на вешалках, и всяческое красивое и богатое убранство, — все это его, человека, не выдавшего света, должноствовало укрепить в мысли, что перед ним по малой мере важная дама. Как скоро они уселись рядом на скамье у кровати, она обратилась к нему с такими словами:

«Я убеждена, Андреуччо, что тебя приводят в изумление как ласки, которые я тебе расточаю, так и мои слезы, — ведь ты же меня не знаешь и вряд ли когда-либо обо мне слышал. Но сейчас ты услышишь нечто такое, что приведет тебя в еще большее изумление: знай же, что я — сестра твоя. Поверь: господь явил мне милость неизреченную, ибо я еще при жизни увиделась с одним из моих братьев (а как бы мне хотелось увидеть их всех!), и теперь я готова умереть в любую минуту — такое господь послал мне утешение. Если ты ничего не знаешь, то я тебе сейчас все расскажу. Как тебе должно быть ведомо, наш с тобой отец, Пьетро, долго жил в Палермо, и многие из живших там в ту пору и доныне там проживающих помнят его доброту и услужливость. Но из тех, кто любил его, всех более любила его мать моя, женщина из хорошей семьи и уже тогда вдова, — столь пылко, что, отринув страх перед своим отцом и братьями, не боясь запятнать честь свою, сошлась с ним так близко, что следствием этой их близости произошла на свет я, та самая, которую ты сейчас видишь перед собой. В дальнейшем Пьетро по некоторым обстоятельствам оставил Палермо и возвратился в Перуджу, бросив мою мать с малым ребенком и, сколько мне известно, ни разу ни о ней, ни обо мне и не вспомнив. Не будь он моим отцом, я бы горько его упрекнула за неблагодарность к моей матушке (я уж не говорю о том, как это странно, что он не испытывал никаких чувств ко мне, родной своей дочери, — ведь он же прижил меня не со служанкой и не с гулящей бабенкой), а мать моя отдала ему все, что у нее было, и себя самое, даже не зная, кто он таков, — единственно оттого, что она любила его преданнейшею любовью. Ну да что там говорить! Дурное, да еще давно минувшее, куда легче осудить, чем поправить. Что было, то было. Он бросил нас в Палермо, когда я была еще крошкой, ну, а потом я вошла в возраст и, чуть помоложе, чем теперь, по желанию матери, женщины состоятельной, вышла замуж за хорошего, происходящего от благородных родителей человека из Агридженто, который ради моей матушки и ради меня переехал на постоянное жительство в Палермо. Будучи ярым гвельфом, он вступил в тайные сношения с нашим королем Кар-

лом. Прежде чем эти сношения к чему-либо привели, про них дознался король Федерико, и вот, как раз когда я мечтала стать наизнатнейшей дамой на всем острове, нам пришлось бежать из Сицилии. Взяли мы с собой немного (сравнительно с тем, что у нас было), побросали имения и дворцы и нашли прибежище в этом городе, и тут король Карл в знак благодарности частично возместил убытки, которые мы из-за него потерпели, пожаловал нас поместьями и домами и постоянно оделяет моего супруга, а твоего зятя крупными суммами денег, в чем ты вскорости удостоверись. Вот так-то очутилась я здесь и по воле бо- жией, а не по твоей наконец-то увиделась с тобой, драгоценный мой братец!»

С этими словами она снова обняла его и, плача от радости, поцело- вала в лоб.

Андреуччо, выслушав сию небылицу, столь складно и искусно рассказанную хозяйкой дома, ни на одном слове не споткнувшейся и не поперхнувшейся, припомнив, что его отец и правда жил одно время в Палермо, зная по себе, сколь ветрены юноши, в цветущие лета ищущие любовных похощений, видя сладостные ее слезы, а равно и скромные поцелуи и объятия, все принял за самую что ни на есть чистую монету и, как скоро хозяйка дома умолкла, повел с ней такую речь: «Судары- ня! Было бы странно, если бы ваш рассказ не поверг меня в смущение: мой отец воистину и вправду никогда почему-то ни о вашей матушке, ни о вас не говорил, а если и говорил, то мне, во всяком случае, ничего о том не известно, и я даже не подозревал о вашем существовании. Встретить сестру в чужом городе — это для меня тем более приятная неожиданность. Вы любому высокопоставленному лицу сделали бы честь своим знакомством, а не то что мне, мелкому торговцу. Сделайте милость, однако ж, объясните мне: откуда вам стало известно, что я здесь?»

Она же ему ответила так: «Я услышала об этом нынче утром от одной бедной женщины, которая часто ко мне ходит, — она гово- рит, что долго пробыла в услужении у нашего отца в Палермо и в Перудже. Я рассудила, что если ты придешь в мой дом, а не я пойду к тебе в чужой, то так будет приличнее, а то бы я давно уж у тебя побывала».

Затем она начала подробно расспрашивать Андреуччо об его родст- венниках, перечисляя их всех поименно, и Андреуччо про всех ей рас- сказал, и эти ее расспросы окончательно укрепили его веру в то, во что ему не след было бы верить.

Беседа затянулась, между тем в спальне было очень жарко, и хо- зяйка велела принести вина, а к нему сластей и угостить Андреуччо. Когда же настала пора ужинать, Андреуччо собрался уходить, однако ж хозяйка не отпустила его; разыграв отчаяние, она обняла его и сказа- ла: «Какой ужас! Ты меня совсем не любишь — это ясно. Ты первый раз в жизни у сестры, у нее в доме, где тебе и надлежало бы остановиться по приезде, а ты отправляешься ужинать в гостиницу, — нет, это просто неслыханно! Послушай: отужинай со мной! Жаль, конечно, что мужа

моего нет дома, ну да уж я употреблю все свое женское уменье и постараюсь тебя ублажить».

Не зная, чем отговориться, Андреуччо сказал: «Я полюбил тебя так, как подобает любить сестру, но если я не вернусь в гостиницу, то меня прождут целый вечер, и это с моей стороны будет неучтиво».

Она же ему на это возразила: «Господи боже мой! Как будто мне некого послать в гостиницу сказать, чтобы тебя не ждали! Впрочем, с твоей стороны было бы любезнее — и даже это был бы прямой твой долг — пригласить своих приятелей отужинать сюда, вместе с нами, а после ужина вы бы все вместе и ушли».

Андреуччо ответил, что он и без приятелей охотно проведет вечерок и что пусть, дескать, она располагает им по своему благоусмотрению. Тогда она сделала вид, будто посылает в гостиницу сказать, чтобы к ужину его не ждали. Затем, поговорив о том о сем, они сели за отменный ужин, состоявший из нескольких блюд, и ужин этот она с помощью различных уловок затянула допоздна. Когда же оба встали из-за стола, Андреуччо изъявил желание удалиться, однако же хозяйка объявила, что она ни под каким видом этого не допустит, так как ночью ходить по улицам Неаполя небезопасно, особливо — приезжим, и что она велела сказать в гостинице, чтобы его не ждали не только к ужину, — он, мол, и ночевать не придет. Андреуччо ей поверил, а так как он принимал ее не за то, что она представляла собой на самом деле, то ему было с ней приятно, и он остался. После ужина она не без тайного умысла повела с ним долгую беседу о разных разностях. Беседа эта зашла у них далеко за полночь, и наконец хозяйка, предложив Андреуччо расположиться у нее в комнате и оставив при нем мальчишку, чтобы он показал гостю, если тому что понадобится, вместе со служанками ушла в другую комнату.

Жарища была такая, что Андреуччо тот же час снял с себя полукафтанье, штаны, чулки и остался в одной сорочке. Но тут у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, и он спросил мальчика, где это у них тут можно проделать, — мальчик показал на дверцу в углу комнаты и сказал: «Вон там». Андреуччо, ничего не подозревая, туда вошел и нечаянно наступил на конец доски, другой конец коей был оторван от перекладки, на которой он прежде держался, — доска рухнула, а с нею вместе загремел и Андреуччо, однако, по милости божией, не ушибся, хотя ему все-таки пришлось пролететь некоторое расстояние, зато весь как есть вымазался в нечистотах, коими место сие было обильно. А как оно было устроено, это я, чтобы вы яснее представили себе происшедшее и то, что за сим последовало, сейчас вам объясню. В узком проулке, как это нам нередко приходится наблюдать, от дома к дому были протянуты две перекладки, к ним были прибиты доски, а на досках сооружено сиденье; вот одна-то из этих досок и свалилась вместе с Андреуччо.

Удрученный случившимся, Андреуччо начал взывать из проулка к мальчику, однако ж мальчик, услышав стук падающего тела, опро-

метью помчался сообщить о происшествии своей госпоже, — та бросилась в комнату Андреуччо и начала шарить глазами, тут ли его платье; удостоверясь же, что тут и его платье, тут и его деньги, которые он, никому не доверяя, по глупости всюду таскал с собой и которыми она, превратясь из палермитанки в сестру перуджинца, расставила силки, взяла денежки, заперла дверцу, через которую Андреуччо проник в отхожее место, а потом и думать о нем забыла.

Мальчишка меж тем не отвечал, Андреуччо стал кричать громче — ответа вновь не последовало. Вот когда у Андреуччо наконец-то возникло подозрение, и он, хотя и поздно догадавшись, что его облапошили, взобрался на стенку, отделявшую проулок от улицы, а затем спустился, подошел к хорошо ему знакомой двери дома и здесь долго и тщетно кричал, дергал дверь и стучал. Горестно рыдая, как рыдает человек, постигший весь ужас своего положения, он вопил: «Что же я за несчастный! В мгновение ока лишился и пятисот флоринов, и сестры!»

Долго он стenal, а потом изо всех сил заколотил в дверь и так заорал, что многие из ближайших соседей, разбуженные дикими этими криками, вскочили, а одна из служанок хозяйки этого дома, приняв заспанный вид, приблизилась к окну и недовольным тоном спросила: «Кто там?»

«Ты что, не узнаешь? — отозвался Андреуччо. — Я — Андреуччо, брат госпожи Фьордализо».

А та ему: «Ты, милый мой, как видно, лишнего хватил. Ступай проспись, а утром приходи. Я знать не знаю никакого Андреуччо и не могу взять в толк, что ты там мелешь. Уходи подобру-поздорову, не мешай людям спать».

«Уж будто ты не догадываешься, о чем я толкую? — воскликнул Андреуччо. — Еще как догадываешься! Но уж если сицилийцы так скоро забывают родственников, верни мне, по крайности, платье, и я пойду себе с богом».

Служанка, давась хохотом, проговорила: «Да ты, никак, спятил, мой милый!» — захлопнула окно и скрылась в глубине комнаты.

Тут Андреуччо совершенно удостоверился, что его обобрали, горечь утраты едва не обратила великий его гнев в бешенство, и он решился взять силой то, чего не мог добыть добром; того ради он схватил большой камень и давай опять колошматить в дверь, нанося еще более мощные удары, чем прежде. Многие из соседей, которые уже проснулись и встали, вообразив, что это какой-нибудь грубиян выдумывает всякий вздор, чтобы досадить порядочной женщине, обозленные его стуком, высунулись в окна и залаяли на него, как лают собаки на ту, что забежала не на свою улицу: «Ты что, невежа эдакий, разорался в такой поздний час, честным женщинам покою не даешь своими враками? А ну, милый человек, ступай с богом, дай людям поспать! Коли есть у тебя до нее дело, так приходи завтра, а по ночам не буянь».

То ли эти слова подстрекнули мужчину, находившегося в доме у добропорядочной женщины, ее сводника, которого прежде было

видом не видать, слухом не слышать, но только он приблизился к окну и гласом громким, грозным и устрашающим возопил: «Кто там?»

Андреуччо поднял голову и, с трудом различив в темноте здорового детину с густой черной бородой, который словно только что спал крепким сном и теперь зевал спросонья и протирал глаза, не без тайной робости ему ответил: «Я брат хозяйки дома».

Однако же тот, не дав Андреуччо договорить, еще более злобным голосом промолвил: «А вот я сейчас спущусь и так тебя вздрючу, что ты забудешь, как тебя звали. Осел ты надоедливый, пьянчужка несчастный, всю ночь людям спать не даешь!» Тут он затворил окно и отошел.

Соседи, изучившие нрав этого человека, уже со страхом обратились к Андреуччо: «Ради Христа, милый человек, иди себе с богом, а не то тебя укокошат. Уходи, если тебе жизнь дорога».

Устрашенный и голосом и обличем этого человека, проникшись доводами соседей, казалось, искренне сочувствовавших ему, подавленный случившимся, утратив всякую надежду на то, что ему возвратят деньги, Андреуччо тою же дорогой, по которой его вела служанка, пошел в гостиницу. Так как ему самому неприятно было распространяемое им зловоние, то он вознамерился выйти к морю и вымыться и для того повернул налево и пошел по Каталонской улице. И вот когда он шел по направлению к морю, то вдруг увидел, что навстречу ему идут двое с фонарем, и подумал, что это сыщики или же какие-нибудь злоумышленники, и, чтобы не попасться им на глаза, незаметно юркнул в стоявший на отшибе необитаемый дом. Однако же двое, как будто их именно в этот дом и послали, вошли сюда же, и тут один из них свалил с плеч какие-то железные орудия, после чего он и его спутник принялись их рассматривать и обсуждать их достоинство.

Наконец один из вошедших не выдержал и сказал: «Что за черт? Тут так воняет — просто сил никаких нет!» Сказавши это, он приподнял фонарь, и тут они оба узрели беднягу Андреуччо и в изумлении окликнули его: «Ты здесь зачем?»

Андреуччо промолчал, они же, вплотную подойдя к нему с фонарем, спросили, где это он так перемазался и что он здесь делает. Тогда Андреуччо поведал им без утайки все свое злоключение. Те, живо смекнув, где это с ним могло приключиться, сказали друг другу: «Наверно, у мошенника Бутгафоко».

И тут один из них, обратясь к Андреуччо, молвил: «Хотя, милый человек, у тебя деньги украли, но ты еще должен денно и ночью бога благодарить, что ты провалился, а потом не мог в дом попасть. Можешь быть уверен: если б ты не свалился, то, как бы скоро ты заснул, тебя бы ухлопали, а тогда уж и денежки и жизнь — все прощай навеки. Слезами горю не поможешь. Легче звезду с неба достать, чем медный грош вернуть. Смотри: никому про это ни гугу, а то он тебя пристукнет».

Сказавши это, они друг с дружкой посовещались, а потом обратились к нему: «Понимаешь: нам тебя жалко стало. Так вот, если ты нам поможешь в одном дельце — даем голову на отсечение: ты с лихвой будешь вознагражден за то, что у тебя стащили».

Андреуччо больше терять было нечего, и он ответил согласием.

В тот день состоялись похороны архиепископа Неаполитанского, высокопреосвященнейшего Филиппо Минутоло; похоронили его в драгоценном облачении, с перстнем, в который был вделан рубин, стоивший пятьсот с лишним флоринов, — вот покойника-то эти двое и задумали ограбить и похитили в свой замысел Андреуччо, а того обуяла жадность, и он без дальних размышлений пошел с ними.

От Андреуччо нестерпимо воняло, и по дороге в архиерейский собор один из его спутников сказал: «Где бы это ему помыться? А то прямо с души воротит».

Другой ему: «Да тут близко колодец с валом и большой бадьей — пойдем и выкупаем его за мое почтение».

Приблизившись к колодцу, они увидели, что веревка на месте, а бадью кто-то унес; по сему обстоятельству они надумали привязать Андреуччо за веревку и спустить в колодец: отмоется — пусть, мол, только дернет за веревку, и они его вытянут. Как сказано, так и сделано.

Случилось, однако ж, что когда они спустили его в колодец, дозорные, которым захотелось пить то ли потому, что было жарко, то ли потому, что им пришлось за кем-нибудь погоняться, подошли к колодцу попить водички. Как скоро те двое увидели их, тотчас бросились наутек, так что дозорные, подошедшие напиться, не успели их заметить. Между тем Андреуччо вымылся и дернул за веревку. Мучимые жаждой дозорные, решив, что внизу полная до краев бадья, сложили свои щиты, оружие, плащи — и давай тянуть веревку. Когда Андреуччо убедился, что он уже вылезает, то отпустил веревку и обеими руками ухватился за стенку.

При виде Андреуччо дозорные, охваченные внезапным страхом, ни слова не говоря, бросили веревку — и врассыпную. Андреуччо немало тому подивился, так что если б он не держался изо всех сил, то, уж верно, от удивления полетел бы на дно колодца и покалечился бы, а то и убился. Когда же он спрыгнул наземь и остановил свой взгляд на оружии, которое, сколько ему было известно, товарищам его не принадлежало, то удивление его возросло. Теряясь в догадках, недоумевая и рошца на судьбу, он порешил уйти отсюда прочь и, ничего не тронув, пошел куда глаза глядят. По дороге встретились ему двое его сообщников, спешивших вытащить товарища из колодца. Столкнувшись с ним, они дались диву и спросили, кто же это его вызволил. Андреуччо ответил, что сам не знает, а затем рассказал все по порядку, не преминув добавить, что лежит подле колодца. Смекнув, как обстояло дело, те со смехом объяснили Андреуччо, почему они убежали и кто его извлек из колодца. Затем, не теряя драгоценного времени, так как давно уже било полночь, они пошли к собору, без труда в него проникли и, приблизив-

шись к громадной мраморной гробнице, железным ломом приподняли тяжеленную ее плиту настолько, чтобы можно было пролезть человеку, а затем подперли ее.

После этого один из тех двоих спросил: «Кто полезет?»

Другой сказал: «Только не я».

«И не я, — подхватил первый, — пусть-ка Андреуччо».

«Я не полезу», — объявил Андреуччо.

Тогда они оба на него насели: «То есть как это так не полезешь? Попробуй не полезть — истинный господь, мы тебя вот этим самым ломом так по башке треснем, что из тебя душа вон».

Угроза подействовала на Андреуччо, но, влезая, он сказал себе: «Это они для того, чтобы меня околпачить: я им все передам, а как стану вылезать, они тем временем уйдут, я же останусь с носом». И тут ему пришло на мысль взять себе причитающуюся ему долю добычи заблаговременно. Вспомнив их разговор о драгоценном перстне, он, едва спустившись, поспешил снять перстень с пальца архиепископа и надеть себе на палец. Затем передал им посох, митру, перчатки, раздел покойника и, отдав им все вплоть до сорочки, объявил, что больше ничего тут нет. Те настаивали, что должен быть еще и перстень, — пусть, мол, поищет хорошенько, — а он уверял, что перстня нет, и, делая вид, будто ищет его, некоторое время подержал их в ожидании. Но они были не глупей его: велели все как есть обыскать, а сами, улучив минутку, выдернули подпорку, которая поддерживала плиту, и дали тягу, Андреуччо же оставили заживо погребенным. Можете себе представить, что восчувствовал Андреуччо, услышав над собой стук падающей плиты.

Несколько раз пытался он то головой, то плечами приподнять плиту, но старания его были бесплодны. От ужаса лишившись чувств, он упал на труп архиепископа, и если б в это мгновение кто-нибудь посмотрел на них обоих, то затруднился бы определить, кто из них настоящий мертвец: архиепископ или же Андреуччо. А когда Андреуччо очнулся, то заплакал навзрыд при мысли, что ему, вне всякого сомнения, грозит одно из двух: либо, в том случае, если никто сюда не придет и не поднимет плиту, умереть в гробнице с голоду и от смрада, который исходил от разлагавшегося трупа, либо, в том случае, если придут и обнаружат его в гробнице, попасть на виселицу за грабеж. И он все еще предавался столь горестным размышлениям, как вдруг услышал шаги и голоса, и сейчас догадался, что сюда явились какие-то люди с тою же самою целью, с какою пришли в собор он и его сообщники, но от этого ему стало только еще страшней. Пришедшие подняли плиту, поставили подпорку и начали пререкаться, кому туда лезть, — охотников не нашлось. Наконец, после долгих перекоров, один священник сказал: «Да чего вы боитесь? Не съест же он вас! Мертвые живых не едят. Дайте я туда слазаю». С этими словами он, запрокинув голову, оперся грудью о край гробницы и начал спускать ноги. Андреуччо приподнялся — и хватъ священника за ногу, как бы с намерением стащить его вниз. Почувствовав, что кто-то его хватает, священник закричал не своим голо-

сом и проворно выскочил из гробницы. Прочие же были до того напуганы, что оставили гробницу открытой и дернули из собора так, как будто сто тысяч чертей устремились за ними в погоню.

Тут Андреуччо, обрадовавшись столь неожиданному избавлению, мигом выбрался из гробницы и вышел из собора так же точно, как и вошел в него. Уже при свете дня Андреуччо, с перстнем на пальце, побрел наугад и, выйдя к морю, наконец добрался до своей гостиницы, — оказалось, что его товарищи и хозяин всю ночь не спали от беспокойства за него. Когда же он рассказал, что с ним стряслось, хозяин посоветовал ему немедленно покинуть Неаполь, какого совета Андреуччо тотчас послушался, а возвратившись в Перуджу, продал перстень и поехал на вырученные деньги покупать лошадей.





*После того как Беритола потеряла двух сыновей,  
ее находят на острове в обществе двух ланей;  
она отбывает в Луниджану,  
и тут один из ее сыновей поступает на службу к правителю этого края и,  
слюбившись с его дочкой, попадает в тюрьму;  
Сицилия восстает против короля Карла;  
сын, которого мать наконец узнала, женится на дочери своего господина;  
брат его отыскался, и их обоих восстанавливают в прежнем высоком звании*



дамы, и молодые люди много смеялись над приключениями Андреуччо, о которых рассказывала Фьямметта; когда же ее повести пришел конец, то по повелению королевы начала рассказывать Эмилия:

— Многообразные превратности судьбы тягостны и несны, а так как речь о них обладает способностью пробуждать наш дух, на который ее баловство действует усыпляюще, то послушать об ее ударах, сдается мне, никому не вредно — и счастливым и обездоленным: счастливых это предостерегает, обездоленных утешает. Вот почему, несмотря на то что об этом уже было говорено, я хочу рассказать вам повесть о том же самом, повесть столь же правдивую, сколь и трогательную. Развязка у нее благополучная, однако ж горести столь люты и столь продолжительны, что пришедшая им на смену радость вряд ли окончательно изгладит их из памяти моих героев.

Надобно вам знать, милейшие дамы, что после смерти императора Фридриха Второго королем Сицилии был Манфред, и при Манфреде сильно возвысился некий знатный неаполитанец по имени Арригетто Капече, женатый также на неаполитанке, красивой и знатной, по имени Беритола Караччола. Как скоро правитель острова Арригетто сведал, что под Беневенте король Карл Первый одолел и умертвил Манфреда и все королевство ему покорилось, то, не рассчитывая на стойкость сицилийцев и не желая становиться подданным врага своего государя, замыслил бегство. Сицилийцы, однако ж, о том прознали, схватили его, перехватили многих друзей и верных слуг короля Манфреда и выдали их всех

головой королю Карлу, к которому вслед за тем отошел во владение остров. В это смутное время Беритола, не зная, что случилось с Арригетто, предчувствуя недоброе, какое предчувствие ее и не обмануло, опасаясь бешести, все бросила и, нищая, да к тому же еще и беременная, села вместе со своим первенцем лет восьми, по имени Джусфреди, в лодку и, удалясь на Липари, родила там второго сына и назвала его Скаччато. Здесь она нашла кормилицу и с нею и с двумя детьми села на небольшое суденышко, которое должно было доставить ее к родным в Неаполь.

Судьба, однако ж, решила иначе: судно, направлявшееся в Неаполь, ветром отнесло к острову Понцо, и тут команде удалось ввести его в бухту, с тем чтобы оно могло здесь отстояться до более благоприятного времени. Сойдя вместе со всеми на остров, Беритола нашла отдаленный и укромный уголок и здесь, в совершенном уединении, заплакала о своем Арригетто. И так она делала ежедневно, но вот однажды, когда она в своем уединении тужила, к острову пристала корсарская галера, приближения коей ни кормчий, ни кто-либо еще не приметил, преспокойно всех забрала и отошла. Погоревав, Беритола приблизилась к берегу, чтобы, по обыкновению, поглядеть на детей, но на берегу никого не оказалось. Это привело Беритолу в недоумение, но у нее тут же блеснула догадка: она посмотрела на море и увидела галеру, еще не успевшую далеко отойти и увлекавшую за собой ее суденышко. И тут Беритоле стало ясно, что она потеряла не только мужа, но и сыновей. Нищая, одинокая, всеми оставленная, не зная, суждено ли ей с кем-либо из них свидеться, она долго звала мужа, сыновей и наконец упала без чувств. Некому было холодной водой или же с помощью другого средства привести ее в сознание, — вот почему дух ее мог блуждать, где ему вздумается. Когда же изнемогшее ее тело окрепло, она, плача, стная, зовя детей, начала заглядывать во все пещеры. Убедившись в тщетности поисков и все же не утратив надежды, она с наступлением темноты невольно подумала, что следует позаботиться и о себе и, удалившись от берега, возвратилась в ту пещеру, где имела обыкновение скорбеть и плакать.

Всю ночь напролет Беритола пробыла в великом страхе и душевной муке; когда же наступило утро, она, не ужинавши накануне, часов в девять принялась от голода есть траву, а поев, сколько могла, вновь залилась слезами и раздумалась о своем будущем. И она все еще была погружена в размышления, как вдруг увидела, что в одну из ближних пещер вошла лань, а немного спустя вышла и направилась к лесу. Тогда Беритола поднялась и, войдя в пещеру, откуда вышла лань, обнаружила двух ланят, по-видимому только что родившихся, и они показались ей милыми и прехорошенькими. А так как после недавних родов молоко у нее еще не иссякло, то она осторожно поднесла ланят к груди. Ланята не отказались от ее услуг и начали сосать ее так, точно это была их родная мать, и с этого дня они не делали между ними различия. Утешившись тем, что нашла в пустыне хоть какое-то общество, достойная женщина питалась травой, утоляла жажду водой, давала волю слезам всякий раз, когда вспоминала мужа, детей, когда вспоминала ми-



нувшее, и в конце концов, привязавшись к ланятам, как к родным детям, решила здесь и скончать свои дни.

Но вот спустя несколько месяцев, в течение которых достойная женщина поневоле вела звериный образ жизни, бурей прибило Пизанский корабль туда же, куда в свое время причалило и судно Беритолы, и он несколько дней там простоял. На этом корабле находились знатный человек по имени Куррадо, из рода маркизов Малеспина, и его супруга, женщина почтенная и благочестивая; они только что посетили все святые места, какие только есть в королевстве Апулии, и теперь возвращались домой. Однажды, чтобы разогнать тоску, Куррадо и его жена, взяв с собою слуг и собак, пошли в глубь острова, и неподалеку от того места, где находилась Беритола, собака Куррадо погналась за ланятами, которые к этому времени уже подросли и паслись без присмотра. От собак они бросились не куда-нибудь, а в ту самую пещеру, где пребывала Беритола. Беритола вскочила и палкой замахнулась на собак, но в эту самую минуту сюда вошли Куррадо и его супруга, которых привели в пещеру собаки, и если один вид почерневшей, исхудавшей, с длинными волосами, женщины поверг их в изумление, то они своим появлением еще больше ее удивили. По ее просьбе Куррадо прогнал собак, после чего маркиз и его супруга долго ее уговаривали поведать им, кто она и что здесь делает, и она, сдавшись на уговоры, подробно рассказала им, в каком очутилась она положении, что суждено ей было изведать, и открыла им губительное свое решение. Куррадо близко знал Арригетто Капече, и когда услышал об его недоле, то заплакал от жалости, а затем долго убеждал Беритолу отказаться от губительного своего решения и, уверяя, что она будет им заместо родной сестры, заклинал ее переехать к ним в дом, где она вольна, мол, жить до тех пор, пока господь над нею не смиляется. Беритола была непреклонна, — тогда Куррадо удалился, оставив с ней свою жену, которой он велел принести ей поесть, надеть на нее одно из своих платьев, так как то, что было на ней, превратилось в лохмотья, и постараться сломить ее упорство. Добрая женщина, оплакав вместе с Беритолой ее злополучие, велела принести одежду и пищу, и величайших усилий стоило ей принудить Беритолу переодеться и поесть. Беритола наотрез отказалась ехать туда, где ее знали, и лишь после долгих увещаний изъявила согласие отправиться с ними в Луниджану, захватив с собою двух ланят и лань, которая тем временем возвратилась и, к великому изумлению почтенной дамы, начала бурно выражать свою любовь к Беритоле.

И вот, как скоро наступила хорошая погода, Беритола, Куррадо и его супруга сели на корабль, захватив с собою лань и двух ланят, а так как не всем было известно настоящее имя Беритолы, то ее стали звать «Ланиола». Ветер был попутный, так что они вскоре приблизились к устью Магры, ступили на сушу и направились к замку. Здесь-то, одевшись во вдовый наряд, и поселилась в качестве компаньонки донны Куррадо целомудренная, кроткая и покорная Беритола, и по-прежнему любила она своих ланят и все так же заботилась об их пропитании.

Корсары, захватившие у острова Понцо корабль, на борту коего находилась Беритола, оставили ее на острове единственно потому, что она не попала им на глаза, всех же остальных привезли в Геную. Здесь они поделили добычу между владельцами галеры, и при дележе кормилица, которую взяла себе Беритола, и двое ее сыновей случайно достались в числе прочего некоему мессеру Гаспаррино д'Ориа; Гаспаррино же отослал кормилицу с детьми к себе домой, с тем чтобы сделать из них прислужников. Кормилица, удрученная разлукою со своею госпожой и тем бедственным положением, в каком очутились она сама и двое малышей, плакала, не осушая глаз. Однако же в конце концов, поняв, что слезами горю не поможешь и что теперь и она и дети — невольники, кормилица, будучи женщиною хотя и бедною, но зато неглупою и сообразительною, прежде всего, сколько могла, приободрилась, а затем, уразумев, в каких крайних обстоятельствах они находятся, смекнула, что если как-нибудь случайно откроется, что мальчики — не простого звания, то от сего их жребий лишь ухудшится. Притом она не теряла надежды, что все еще может перемениться в лучшую для них сторону и что они еще доживут до того дня, когда их восстановят в прежнем звании, а потому дала себе зарок до поры до времени никому не сказывать, кто они такие, и в дальнейшем на все расспросы неизменно отвечала, что это ее дети. Старшего она называла не Джусфреди, а Джаннотто из Прочиды, меньшому же не стала менять имя. Что касается Джусфреди, то ей понадобилось много усилий, чтобы растолковать ему, что принудило ее переменить ему имя и как худо ему придется, если обман всплывет, — об этом она ему не уставала и не переставала напоминать. Джусфреди был мальчик смысленый, и он послушно следовал наказаниям благо-разумной кормилицы. Так, разутые, раздетые, исполняя всякую черную работу, мальчики, а с ними и кормилица, скрепя сердце прожили у мессера Гаспаррино много лет.

Со всем тем у Джаннотто, которому минуло уже шестнадцать, нрав был вольнолюбивый: презрев низкую долю раба, он отправился на галере в Александрию и, уйдя от мессера Гаспаррино, перепробовал разные занятия, но так и не преуспел. Наконец, года три-четыре спустя после того, как Джаннотто ушел от мессера Гаспаррино, — а к тому времени он уже стал пригожим, рослым юношей, — до него донесся слух, что его отец, которого он почитал усопшим, жив, но в тюрьме и в плену у короля К а р л а , — донесся, как раз когда Джаннотто, наскучив скитальческой своею жизнью, находился на краю отчаяния, и вот в Луниджане, куда его забросила судьба, случилось ему поступить в услужение к Куррадо, и служил он со всеусердием и сумел ему угодить. Изредка видел он свою мать, состоявшую при донне Куррадо, но не узнал ее, а она не узнала его, — так они оба изменились с тех пор, как виделись в последний раз.

Итак, Джаннотто находился на службе у Куррадо, а в это время одна из дочерей Куррадо, по имени Спина, оставшись вдовою после смерти Никколо да Гриньяно, возвратилась в отчий дом. Была она хороша собой, очаровательна, молода, — ей только-только исполнилось

шестнадцать, — и вот как-то раз случилось ей заглядеться на Джаннотто, ему — на нее, и оба пламенно полюбили друг друга. Страсть их недолго оставалась неутоленной, но люди сведали про то не скоро. Уверенные в том, что никто ни о чем не догадывается, влюбленные позабыли осторожность, необходимую в обстоятельствах сердечных. И вот однажды молодая женщина и Джаннотто, гуляя в красивом густом лесу, отделились от общества и пошли вперед; когда же им показалось, что они ушли далеко, то они расположились в прелестном уголке, под сенью древес, где росли мурава и цветы, и здесь вкусили радость взаимной склонности. И хотя пробыли они здесь долго, но так им было отрадно вдвоем, что время, которое они здесь провели, показалось им кратким и гом, — вот почему они и дали застигнуть себя врасплох сперва матери молодой женщины, а потом и самому Куррадо. До глубины души возмущенный случившимся, он без всяких объяснений велел трем своим слугам схватить обоих и заключить в одном из своих замков; весь дрожа от бешеной злобы, он вознамерился предать обоих позорной казни. Мать молодой женщины хоть и была разгневана и почитала проступок дочери достойным самого строгого наказания, однако, уразумев из слов Куррадо, что именно он собирается сделать с провинившимися, бросилась не помня себя к своему разъяренному мужу и начала молить его укротить бесчеловечное свое стремление — на старости лет стать убийцею родной дочери и обагрить руки в крови своего слуги — и сыскать иное средство утolenия своего гнева, как, например, потомить их некоторое время в темнице, чтобы они там терзались и оплакивали грех, ими совершенный. Такие и тому подобные речи произносила благочестивая женщина до тех пор, пока он решения своего не отменил и не приказал развести любовников по разным местам и, учинив над ними неуспынный надзор, впредь до особого его распоряжения держать их на хлебе и воде и ни в чем послаблений не делать, что и было исполнено.

Легко себе представить, каково им пришлось в заточении: неутешные слезы и непрерывный пост, которого Спине и Джаннотто было уже не под силу соблюдать, — вот из чего состояла их жизнь. И безотрадную эту жизнь влачили они целый год, а Куррадо про них и не вспоминал, как вдруг король Педро Арагонский, вступив в союз с мессером Джаном ди Прочида, поднял мятеж на острове Сицилии и отобрал его у короля Карла, чему Куррадо, как гибеллин, обрадовался чрезвычайно.

Когда Джаннотто услышал об этом от одного из тех, кто его сторожил, то испустил тяжкий вздох и воскликнул: «Что же я за несчастный! Четырнадцать лет скитался по белу свету, как последний бродяга, и только надеждой на это и жил, и вот теперь это событие совершилось словно для того, чтобы лишить меня проблеска надежды на лучшее будущее, ибо застало оно меня в темнице, откуда я не чаю выйти иначе как мертвым!»

«Что такое? — вскричал тюремщик. — Тебе-то какое дело до того, что вершат высочайшие особы? Ты разве жил в Сицилии?»

На это Джаннотто ему сказал: «При одном воспоминании о том, какое высокое положение занимал там мой отец, сердце мое готово ра-

зорваться на части. Правда, когда мне пришлось оттуда бежать, я был еще маленьким мальчиком, но я отлично помню, что при короле Манфреде он был там самым главным начальником».

«А кто же он был?» — снова обратился к нему с вопросом тюремщик.

«Теперь мне нечего бояться открыть, кто таков мой отец, — отвечал Джаннотто, — раз уж со мной все равно случилось то самое несчастье, которое могло произойти, если бы я назвал его имя. Его звали, — и сейчас еще зовут, если только он жив, — Арригетто Капече, а меня зовут не Джаннотто, а Джусфреди. И я нимало не сомневаюсь, что если бы я вышел из темницы и возвратился в Сицилию, то занял бы там высокое положение».

Тюремщик, не пускаясь в дальнейшие расспросы, при первом удобном случае все рассказал Куррадо. Выслушав тюремщика, но не подав виду, что любопытство его возбуждено, Куррадо пошел к Беритоле и в деликатных выражениях обратился к ней с вопросом, была ли у нее от Арригетто сын по имени Джусфреди. Та заплакала и сказала, что старшего из двух ее пропавших без вести сыновей звали именно так и что если бы он был жив, то ему было бы теперь двадцать два года.

Выслушав ее, Куррадо сообразил, что это он и есть, и тут ему пришла мысль, что если дело обстоит таким образом, то он может величайшее милосердие выказать и в то же время, выдав дочь за молодого человека, смыть позор и с себя и с нее. Того ради он велел тайно привести к нему Джаннотто и долго потом расспрашивал юношу об его прошлом. Уверившись по некоторым несомненным признакам, что перед ним, точно, Джусфреди, сын Арригетто Капече, он сказал: «Тебе ведомо, Джаннотто, сколь великое и сколь тяжкое оскорбление нанес ты мне в лице моей дочери, хотя я обходился с тобою ласково и дружелюбно, так, как и подобает господину обходиться со слугами, за что тебе надлежало охранять и оборонять как мою честь, так равно и честь моих близких. И многие на моем месте предали бы тебя позорной казни, когда бы ты обошелся с ними так же точно, как обошелся со мною; меня, однако, от этого удерживает человеколюбие. Узнав же от тебя, что ты сын благородных родителей, я намерен, если только ты и сам того желаешь, положить конец твоей невзгоде и твоим мучениям, выпустить тебя из темницы и вместе с тем обелить достоподобным образом и твое и мое доброе имя. Сколько тебе известно, Спина, которою ты овладел в порыве хотя, может статься, и искренней, но и тебя и ее порочащей страсти, — вдова, приданое у нее большое и хорошее, достоинства души ее тебе известны, отца и мать ее ты знаешь; о твоём же настоящем положении я умолчу. Так вот, если ты того желаешь, она, которая была твоею бесчестною полюбовницей, станет с моего согласия честною твоею супругой, и тогда ты в качестве моего сына можешь жить здесь со мною и с нею, сколько душе твоей угодно».

Темница иссушила тело Джаннотто, но нимало не отразилась ни на его врожденном душевном благородстве, ни на цельности чувства, которое он питал к владычице своего сердца. И хотя он страстно желал

того, что предлагал ему Куррадо, и хотя он находился всецело в его власти, он в своем ответе ни на йоту не уклонился от того, что подсказало ему величие его духа: «Куррадо! Ни властолюбие, ни корысть, ни какая-либо другая причина не понуждали меня предательски посягать на твою жизнь и на все, что принадлежит тебе. Я полюбил твою дочь, люблю и буду любить ее вечно, ибо почитаю ее достойной моей любви. На взгляд иных, недалежного ума, людей, я обошелся с нею нечестно, но это обычный грех молодости: если б не было подобного рода грехов, то не было бы и молодости; если бы старики потрудились вспомнить, что и они когда-то были молодыми, и если бы они к чужим проступкам прилагали свою мерку, а к своим — чужую, то и мой грех не показался бы таким тяжким, как считаешь его ты и как считают его многие, тем более что совершил я его как друг, а не как недруг. Ты предлагаешь мне то, о чем я всегда мечтал, и я бы давно уже стал просить у тебя дозволения, если бы надеялся на успех, и теперь это мне будет стократ дороже именно потому, что никакой надежды я до сего времени не питал. Если, однако ж, все это одни слова, а на самом деле у тебя такого намерения нет, то не завлекай меня обманчивою надеждою, вели препроводить обратно в темницу и томи меня там, сколько тебе заблагорассудится, я же, как бы ты со мною ни обошелся, вечно буду любить Спину, а ради нее буду любить и уважать тебя».

Подивился Куррадо речам юноши, в каковых живо обозначились как величие его духа, так равно и сила его чувства, и через то Джаннотто стал ему еще дороже. Он встал, обнял и поцеловал его, а затем, нимало не медля, велел сюда же тайно привести и Спину. Она исхудала, побледнела, ослабела в заточении, и вообще то была уже не прежняя Спина, да и Джаннотто был уже не тот. В присутствии Куррадо они, изъявив согласие, по существующему у нас обычаю заключили брачный союз.

После этого Куррадо распорядился ни в чем Спине и Джаннотто не отказывать, однако ж в течение нескольких дней помолвка держалась в тайне от всех, а затем он нашел, что пришла пора обрадовать их матерей; того ради позвал он свою жену и Ланиолу и обратился к последней с такими словами: «Что бы вы сказали, сударыня, если б я вернул вам старшего вашего сына мужем одной из моих дочерей?»

Ланиола же ему на это ответила так: «Что еще могла бы я вам сказать, кроме того, что если б я была в состоянии быть вам еще более благодарной, чем теперь, то у меня были бы тем большие для того основания, коль скоро вы возвратили бы мне то, что для меня дороже жизни, да еще так возвратили бы, как я и мечтать не смела?» Рыдания не дали ей договорить.

Тогда Куррадо обратился к своей супруге: «А как бы ты отнеслась к такому зятю, жена?»

А жена ему на это ответила так: «Мне бы пришлось по душе не только человек нашего круга, но и человек худородный, лишь бы вам он пришелся по нраву».

Тогда Куррадо сказал: «Надеюсь спустя несколько дней обрадовать вас обеих».

Как скоро он удостоверился, что молодые люди посвежели, он велел одеть обоих прилично их званию и спросил Джусфреди: «Ты был бы доволен, если бы к твоей радости прибавилась еще одна — радость свидеться здесь с твоею матерью?»

На это ему Джусфреди ответил так: «Мне не верится, чтобы при ее горькой доле она была в состоянии выжить, но если б она была жива, я был бы очень счастлив. Я полагаю, что ее советы помогли бы мне добиться почти полного восстановления моих прав в Сицилии».

Тогда Куррадо послал за обеими дамами. Обе с радостным изумлением приветствовали новобрачную и немало подивились также тому, что могло внушить Куррадо столь благодетельную мысль — соединить ее с Джаннотто. Беритола, вдохновленная словами Куррадо, стала вглядываться в Джаннотто и, под действием некоей таинственной силы восстановив в памяти младенческие черты лица своего сына и уже не доискиваясь иных доказательств, обвила ему шею руками. От прилива материнской любви и от радости она не могла выговорить ни слова — напротив того, она утратила способность что-либо чувствовать и замертво упала на руки сына. Он же, вспомнив, что столько раз видел ее в этом самом замке, но так и не узнал, пришел в удивление, однако ж чутье подсказало ему, что это его мать, и он, браня себя за беспечность, заключил ее в свои объятия и со слезами на глазах нежно поцеловал ее. Движимые состраданием, донна Куррадо и Спина при помощи холодной воды и других средств привели Беритолу в чувство, и тут она опять обняла сына, проливая обильные слезы и осыпая его ласковыми словами. Она была вся полна материнской нежности и целовала его без конца, он же не мог на нее наглядеться.

После того как, к великой радости и великому удовольствию присутствующих, «и трижды, и четырежды успели приветствия возникнуть на устах», после того как мать с сыном поведали друг другу свои приключения, а Куррадо, ко всеобщему удовольствию, объявил друзьям о новой своей родне и отдал распоряжение устроить пышное и великолепное празднество, Джусфреди обратился к нему с такими словами: «Куррадо! Вы многим обрадовали меня, вы продолжительное время оказывали гостеприимство моей матери. Теперь я прошу вас довершить благодеяние: осчастливьте и мою мать, и мой праздник, и меня самого — вызволите моего брата, которого держит у себя в услужении мессер Гаспаррино д'Ориа, тот самый, что и меня, как я вам уже рассказывал, захватил, когда напал на наш корабль. Затем пошлите кого-нибудь в Сицилию: пусть этот человек доподлинно узнает, каковы там обстоятельства и каково положение, разведает, что с моим отцом Арригетто, жив он или умер, а если жив, то в каком находится состоянии, и, наведя точные справки, возвратится к нам».

Просьба Джусфреди пришла Куррадо по сердцу, и он, нимало не медля, послал надежнейших людей в Геную и Сицилию. Тот, кто поехал в Геную, разыскав мессера Гаспаррино, обстоятельно рассказал ему все, что сделал Куррадо для Джусфреди и его матери, а потом от имени

Куррадо обратился к нему с настоятельной просьбою отдать Скаччато и его кормилицу.

Услышав это, мессер Гаспаррино пришел в немалое изумление и сказал: «Разумеется, я рад сделать для Куррадо все, что только от меня зависит и чего он только ни попросит. В доме у меня точно проживают лет этак четырнадцать мальчик, про которого ты спрашиваешь, и его мать, и я с удовольствием ему их отдам. Передай ему, однако ж, от меня, чтобы он не принимал на веру и не верил рассказам Джаннотто, который теперь выдает себя за Джусфреди, ибо он гораздо хитрее, чем полагает Куррадо».

Сказавши это, он велел своим слугам принять с честью именитого гостя, а сам тайно вызвал кормилицу и начал осторожно ее выспрашивать. Услышав о восстании в Сицилии и о том, что Арригетто жив, кормилица превозмогла наконец страх и, все обстоятельно ему рассказав, объяснила, что вынуждало ее действовать так, а не иначе. Убедившись, что кормилицыны рассказы вполне сходятся с рассказами посланца, мессер Гаспаррино ей поверил. Будучи человеком в высшей степени хитроумным, он несколько раз все это еще проверил и всякий раз получал новые подтверждения того, что кормилица его не обманывает; в конце концов ему стало стыдно, что он так плохо обходился с юношей, и, дабы вознаградить Скаччато, он отдал за него свою одиннадцатилетнюю красавицу дочь и дал за ней большое приданое, ибо ему было хорошо известно, кто таков и кем был Арригетто. Отпраздновав, как должно, свадьбу, он вместе с зятем и дочерью, с посланцем Куррадо и кормилицей сел на хорошо оснащенную галеру и прибыл в Леричи, а там его встретил Куррадо и повез гостей в один из своих находившихся неподалеку замков, где все было уже готово для роскошного пира.

Как обрадовалась мать, когда свиделась со своим сыном, как обрадовались братья и как все трое оценили преданность кормилицы, какими учтивостями обменялись мессер Гаспаррино и его дочь, с одной стороны, и все прочие, с другой, и как все чествовали Куррадо, его супругу, его детей и его друзей — этого словами не опишешь; тут, я надеюсь, подружки, на ваше воображение. А для полноты счастья господь бог, который если уж начнет изливать милости, то изливает их щедро, послал радостные вести о том, что Арригетто Капече здравствует благополучно.

Дело было так. В начале великого торжества, когда гости, мужчины и дамы, сидели за столом и ели еще только первое блюдо, явился тот, что был послан в Сицилию, и рассказал, в частности, следующее: король Карл держал Арригетто в катанской тюрьме; когда же в стране вспыхнуло восстание против короля, народ в ярости бросился к тюрьме и перебил тюремщиков, Арригетто же выпустил на свободу и, как непримиримого врага короля Карла, сделал своим вождем, дабы под его водительством бить и преследовать французов. Через то вошел он в великую милость к королю Педро, который вернул ему все его титулы и владения, так что он теперь в большом почете и благоденствует; посланца же о н , — как тот сам засвидетельствовал, — принял с великою честью, несказанно обрадовался известию о жене и сыне, о которых он ничего не знал с того

дня, как его заточили в темницу, и послал за ними на легком корабле нескольких знатных людей, которые должны сюда прибыть с минуты на минуту. Посланца приняли и выслушали с великим восторгом и в душевном веселии, а затем Куррадо и его друзья, нимало не медля, отправились встречать знатных людей, приехавших за Беритолой и Джусфредо, радостно приветствовали их и повели на пир, который был еще в самом разгаре. Беритола, Джусфредо и все остальные возликовали так, как никто еще на свете не ликова! сицилийцы же, прежде чем сесть за стол, от имени Арригетто приветствовали и благодарили, как могли и умели, Куррадо и его супругу за гостеприимство, которое те оказали его жене и сыну, и объявили, что к их услугам сам Арригетто и все, что только в его власти. Затем, обратясь к мессеру Гаспаррино, коего благодеяние явилось для них неожиданностью, они изъявили совершенную уверенность, что как скоро Арригетто узнает, что сделал тот для Скаччато, то отблагодарит его так же, а может стать, и еще щедрее. Затем свадебный пир возобновился — и пошло веселье!

Не один, а много дней пировал Куррадо со своим зятем и другими своими родственниками и друзьями. Когда же празднество кончилось и Беритола, Джусфредо и другие решили, что пора ехать, Куррадо, его супруга и мессер Гаспаррино со слезами простились с ними, а те, равно как и Спина, сели на корабль и отбыли. Дул попутный ветер, и по сему обстоятельству они скоро прибыли в Сицилию, а в Палермо сыновей и дам встретил Арригетто, радость которого не поддается описанию. Говорят, они потом долгое время жили счастливо и славили бога за его милость.





*Султан Вавилонский отдает свою дочь замуж за короля Алгарвского  
и отправляет ее к нему;  
по стечению обстоятельств она на протяжении четырех лет  
в разных местах попадает к девяти мужчинам,  
но в конце концов возвращается к отцу девственницей  
и во исполнение первоначального своего намерения едет к королю Алгарвскому,  
дабы стать его женой*



сли бы рассказ Эмилии затянулся, то молодые женщины, пожалуй, заплакали бы от жалости, которую у них вызвали приключения донны Беритолы. Когда же Эмилия кончила рассказывать, королева изъявила желание, чтобы повел рассказ Панфило, и тот, не заставив себя упрашивать, начал так:

— Очаровательные дамы! Нам не надо знать, к чему мы должны стремиться, и точно: нам известно много таких случаев, когда люди, полагая, что стоит им разбогатеть и для них настанет беззаботная и благополучная жизнь, не только молили о том бога, но и не жалели усилий и шли на риск, дабы стяжать богатство, и хотя это им в конце концов удавалось, однако ж находились люди, которые, возжаждав получить богатое наследство, умерщвляли их, а между тем прежде, когда те еще не были богачами, они их оберегали. Иные, подвергнув себя смертельной опасности во многих сражениях, ценою крови братьев своих и друзей из низкой доли восходили на вершину царской власти, в коей они наивысшее числили благо, а затем мало того, что увидели и почувствовали, сколь полон сей высокий жребий треволений и страхов, но и ценою собственной жизни познали, что на царский стол ставят золотой кубок с ядом. Многие страстно желали быть сильными и красивыми, другие мечтали об украшениях — и удостоверялись в тщете своих стремлений не прежде, чем исполнение их желаний отнимало у них жизнь или же оказывалось для них источником бедствий. Я не стану говорить о каждом человеческом желании порознь, — я утверждаю, что нет такого удела, который человек мог бы себе избрать, будучи твердо

уверен, что этот именно удел от превратностей судьбы огражден, и если б мы действовали разумно, мы должны были бы брать лишь то и владеть лишь тем, что ниспосылает нам Промыслитель, ибо одному ему ведомо, в чем мы нужду имеем, и он один властен нам это предоставить. Но так как греховные желания людей многообразны, вы же, обворожительные дамы, особенно грешны тем, что желаете быть красивыми, — так страстно желаете, что, не довольствуясь прелестями, дарованными вам природой, с ревностным искусством тщитесь их приумножить, — то я намерен вам рассказать о некоей сарацинке, которой из-за роковой ее красоты пришлось в течение каких-нибудь четырех лет девять раз выходить замуж.

Давным-давно жил-был в Вавилонии султан по имени Беминедаб, и султану тому в жизни везло. Было у него много детей, как мужского, так и женского полу, в том числе дочь по имени Алатиэль, о которой все, кто ее видел, говорили, что это первая красавица во всем подлунном мире. А так как тем великим разгромом, который султан учинил нападшим на него полчищам арабов, он был обязан чудодейственной помощи короля Алгарвского, то султан пообещал отдать ему свою дочь за него, о чем тот просил как об особой милости. Снабдив дочь драгоценными и роскошными подарками и посадив ее вместе с почетной свитой, в состав коей входили и мужчины и женщины, на хорошо вооруженный и оснащенный корабль, он поручил ее господу богу и отправил к королю. Моряки, воспользовавшись благоприятной погодой, вступили под паруса, отошли от Александрийской гавани и затем несколько дней шли благополучно. Они уже миновали Сардинию и, казалось, были близки к месту своего назначения, как вдруг однажды подул порывистый ветер и с такой яростью принялся трепать корабль, на котором находились девушка и моряки, что они уже не раз были на волосок от гибели. Со всем тем моряки, будучи людьми отважными, употребили отчаянные усилия, применили всю свою сноровку в борьбе с разбушевавшимся морем и продержались двое суток. Когда же настала третья ночь с начала бури, — а буря не утихала, напротив того: все неистовее становилась, — моряки, сбившиеся с курса и не имевшие возможности определить, где они находятся, ни с помощью морских приборов, ни на глазок, так как ночное небо было затянуто черными тучами, почувствовали не доходя Майорки, что корабль дал трещину. Не видя иного средства спасения, причем каждый из них помышлял только о себе, они спустили на воду шлюпку, и хозяин судна, решив, что лучше вверить свою жизнь ей, нежели треснувшему кораблю, спрыгнул в нее; за ним и другие давай туда же, даром что те, кто уже успел спрыгнуть в шлюпку, замахивались на них ножами, и вышло так, что, стремясь избежать гибели, они сами двинулись ей навстречу: шлюпка не могла выдержать в бурю столько народу и вместе со всеми, кто там находился, пошла ко дну. Между тем треснувший, гонимый неистовой бурей корабль, который заливала вода и на котором не осталось никого, кроме девушки и ее служанок (качка и оторопь свалили их с ног, и они замертво лежали на полу), шел с невероятной скоростью и ударился об отмель острова Майорки. И столь

стремителен был его ход, что он почти весь врезался в песок, — отсюда до берега можно было добросить камнем. Ветер уже не мог сдвинуть корабль с места, и всю ночь об него разбивались валы.

Когда настал ясный день и буря поутихла, девушка, ни жива ни мертва, подняла голову и, преодолевая слабость, начала звать то того, то другого из своей свиты; звала она, однако ж, напрасно, — те, которых она призывала на помощь, были далеко. Ни от кого не получив ответа и никого не видя, она далась диву и очень испугалась. Сделав над собой усилие, она встала и, увидев, что женщины из ее свиты, а равно и другие женщины лежат, начала ощупывать их и взывать к ним и в конце концов удостоверилась, что лишь немногие подают признаки жизни, прочие же, — кто оттяжелого желудочного заболевания, кто от страха, — скончались, и зрелище это повергло девушку в еще более сильный трепет. Со всем тем, не зная и не понимая, где она находится, побуждаемая, однако ж, необходимостью принять какое-либо решение, ибо она отдавала себе отчет, что помощи ей ждать не от кого, девушка сумела так приободрить оставшихся в живых, что они нашли в себе силы подняться. Удостоверившись же, что и они не знают, куда делись мужчины, увидев, что корабль врезался в отмель и на нем везде полно воды, она горько заплакала, а за ней и другие женщины. Был уже девятый час, но ни на берегу, ни еще где-либо не было видно никого, кому бы она могла внушить к себе жалость и побудить прийти ей на помощь.

Около трех часов пополудни в сопровождении нескольких слуг, ехавших верхами, проезжал по берегу, возвращаясь из своего поместья, дворянин по имени Перикон да Висальго. Заметив корабль, он в ту же минуту сообразил, в чем дело, и велел одному из слуг нимало не медля взобраться на корабль, а затем доложить ему, что он там увидит. Слуга не без труда поднялся на корабль и обнаружил молодую даму, от страха забившуюся в трюм, а с ней нескольких ее спутниц. Увидев слугу, они стали слезно молить его сжалиться над ними, а затем, убедившись, что он их не понимает, а они — его, принялись знаками пояснять, какая с ними стряслась беда. Осмотрев все, что только мог, слуга доложил Перикону о том, что делается на корабле. Перикон тут же распорядился снять с корабля женщин и забрать все наиболее ценные вещи, какие только там были и какие можно было увезти с собой, и с добычей проследовал к себе в замок. В замке женщины поели и отдохнули, Перикон же тотчас догадался по дорогим вещам, что девушка происходит из весьма знатной семьи, в чем он совершенно удостоверился, когда заметил, в каком она почете у других женщин. И хотя девушка побледнела и осунулась после морской болезни, все же она показалась Перикону красивой, и он тут же порешил, если только она не замужем, жениться на ней; если же ему нельзя на ней жениться, то добиться от нее взаимности.

Перикон был человек из себя видный, крепкого телосложения. Он приказал как можно лучше ухаживать за девушкой, благодаря чему по прошествии нескольких дней она вполне оправилась, и тут он увидел, что это девушка неопикуемой красоты, и очень ему было досадно, что он не понимает ее, а она — его и что, следственно, он никак не может узнать,

кто же она такая, однако, упоенный ее красотой, он старался приветливым и ласковым обхождением склонить ее на то, чтобы она беспрекословно исполнила его желание. Все было тщательно: она решительно отвергла его домогательства, но тем сильней разгорался любовный пыл Перикона. Как скоро девушка это заметила и спустя несколько дней по обычаям местных жителей догадалась, что она — у христиан, в такой стране, где, если бы даже ей и удалось объяснить, кто она такая, все равно толку ей от того было бы немного; когда она уразумела, что рано или поздно, уступая насилию или же по доброй воле, а все-таки придется ей исполнить желание Перикона, — то по душевному своему благородству порешила под ударами судьбы не склониться. Того ради велела она своим служанкам, которых и осталось-то у нее всего три, никому не открывать, кто она, разве уж они окажутся в таком месте, где им представится возможность обрести свободу; еще она призывала их блюсти чистоту свою и объявила о своем непреклонном решении, согласно которому никто, кроме мужа, не должен обладать ею. Женщины похвалили ее за это и обещали по мере сил исполнить ее повеление.

Перикон, день ото дня тем сильнее воспламеняясь, чем ближе и чем недоступнее был предел его мечтаний, и видя, что чары его бесцельны, прибегнул к уловкам и ухищрениям, насилие же решил прибегнуть к самому концу. Он не раз имел случай убедиться, что девушка, прежде не пившая вина, оттого что это ей было воспрещено ее законом, постепенно приохотилась к нему, и вот он, вспомнив, что вино есть верховный жрец в храме Венеры, рассудил за благо приманить ее на вино. Притворившись, будто не замечает, что она питает к нему отвращение, Перикон однажды вечером устроил отменный, как бы праздничный ужин, на который была приглашена и девушка. И вот, когда все сели за стол, ломившийся от яств, он приказал тому, кто ей прислуживал, потчевать ее смесью разных вин. Слуга так и сделал; девица же, не остерегшись и войдя во вкус, выпила больше, чем девичьей ее чести подобало, по каковой причине она, позабыв все свои невзгоды, развеселилась и, поглядев, как женщины пляшут на майоркский лад, пошла плясать на александрийский. И тут Перикон понял, что он близок к осуществлению своих желаний, и, нарочно затягивая ужин, велел подать еще яств и питья, так что веселье зашло за ночь. Наконец гости разошлись, и Перикон с девушкой проследовали в ее спальню. Девушку разобрало, и она, позабыв приличия, не постеснялась раздеться при Периконе, как если бы это была ее служанка, а затем легла в постель. Перикон не замедлил к ней присоединиться; потушив огни, он мигом оказался рядом с нею, сжал ее в объятиях и, не встречая с ее стороны ни малейшего сопротивления, затеял с нею любовные игры. Когда же она, до той минуты не имевшая понятия, как бодают мужской рог, его наконец почувствовала, то словно раскаялась, что долго не сдавалась на уговоры Перикона, и теперь уже, не дожидаясь с его стороны приглашения так же приятно провести ночь, частенько сама стала его приглашать, но только не при помощи слов, — объясниться с ним она бы не сумела, — а при помощи действий.

Судьба, как видно, не удовлетворялась тем, что она, вместо того чтобы стать супругою короля, стала любовницею рыцаря, ибо великому блаженству, которое испытывали Перикон и она, помешала другая, более жестокая страсть. У Перикона был брат лет двадцати пяти, по имени Марато, прекрасный и свежий, как роза. Марато полюбил ее с первого взгляда, а так как по ее с ним обхождению он заключил, что и он пришелся ей по сердцу и что единственное препятствие, которое стоит на его пути, это неусыпный надзор, установленный над нею Периконом, то в голове у него созрел преступный замысел, а замысел тут же повлек за собой злодейское его осуществление. Случилось так, что в гавань зашел направлявшийся в Кьяренцу, что в Романии, груженный товаром корабль, коего хозяевами были два молодых генуэзца, которые уже было подняли паруса в ожидании попутного ветра, и вот с ними-то и вступил в переговоры Марато и условился, что на следующую ночь он с женщиной сядет на их корабль. Уговорившись, Марато обдумал все до последней мелочи и, дождавшись ночи, вместе с вернейшими друзьями, которых он на это дело подбил, приблизился к дому ничего не подозревавшего Перикона, тайком туда проник и, как это у него с товарищами было задумано, спрятался. Глухою ночью он впустил сообщников; подойдя к комнате, где Перикон спал со своею возлюбленной, они отворили дверь, кинулись на спящего Перикона, убили его, а затем, пригрозив не спавшей и плакавшей женщине, что они и ее убьют, если только она поднимет шум, схватили ее. Похитив почти все драгоценные вещи Перикона, они, никем не замеченные, быстрым шагом направились к гавани, и там Марато и его пленница, нимало не медля, сели на корабль, сообщники же его возвратились восвояси. Воспользовавшись тем, что подул свежий попутный ветер, моряки вступили под паруса и отчалили.

Девушка долго и горько оплакивала как первое, так равно и второе случившееся с нею несчастье. Марато, однако ж, с помощью святого Стоятти, коим нас наделил господь, так славно принялся ее утешать, что она, привыкнув к нему, позабыла о Периконе. Но в то самое время, когда ей уже казалось, что все беды позади, судьба, как видно, не удовлетвовавшись былыми ее невзгодами, готовила ей новое испытание. Вот как было дело: мы уже говорили, что она была раскрасавица, к тому же еще очаровательна в обхождении, и оба юных корабельщика так ею пленились, что, позабыв обо всем на свете, думали только о том, как бы это ей услужить и доставить удовольствие, и в то же время были начеку, чтобы Марато не догадался, что тому причиной. Когда же один от другого узнал, что оба они влюблены, то стали они держать между собою тайный совет и уговорились добиться ее благосклонности сообща, как будто любовь — товар или же прибыль и ее можно между собой поделить. Удостоверившись, что Марато крепко ее сторожит и это служит препятствием к осуществлению их намерения, однажды, когда корабль шел под всеми парусами, а беспечный Марато стоял на корме и окидывал взглядом море, они по обоюдному согласию накинулись на него сзади и бросили за борт. Замечено было его исчезновение, когда корабль прошел уже больше мили. Как скоро женщина свела о его гибели и убедилась, что



его не вернуть, то на корабле вновь слышались ее стенания. Двое влюбленных поспешили утешить ее и успокоить ласковыми словами и наизаманчивейшими посулами, каковые, впрочем, не очень были ей понятны, она же оплакивала не столько гибель Марато, сколько свою собственную долю. После долгих и многократных увещаний влюбленные, полагая, что она как будто бы утешилась, друг с другом заспорили, кто первый с ней ляжет. Каждому хотелось быть первым, поэтому ни к какому соглашению они и не пришли: начали с оскорблений и лихой перебранки, — это их только ожесточило; тогда они взялись за ножи и в порыве ярости бросились друг на друга. Морякам не удалось их разнять, вследствие чего один из них тут же скончался от ран, а другой хотя и выжил, но все же получил тяжелые ранения. Это происшествие глубоко опечалило женщину: ведь теперь она была совсем одинока, ей не к кому было обратиться за советом и помощью, и она очень боялась, как бы на нее не обрушился гнев родных и друзей хозяев корабля; раненый, однако, ее успокаивал; к тому же они малое время спустя прибыли в Кьяренцу, и тут она скоро уверилась, что бояться ей нечего. Не успели она и раненый остановиться в гостинице, как молва об ее несказанной красоте облетела весь город и дошла до принца Морейского, на ту пору оказавшегося в Кьяренце. Он изъявил желание увидеть ее, а когда увидел, то нашел, что красота ее выше всяких похвал, и так страстно ее полюбил, что с той минуты ни о чем больше и думать не мог. Разведав, как она сюда попала, он решил, что для него не составит большого труда заполучить ее. И вот стал он изыскивать к тому способ, а родные раненого, прослышав о том, поспешили доставить ее к принцу. Принц был в восторге, женщина тоже: теперь она чувствовала себя в полной безопасности.

Лишенный возможности дознаться о ее происхождении, принц, убедившись, что она сочетает в себе красоту и царственное величие, пришел к заключению, что это знатная дама, и еще сильнее ее полюбил. Он оказывал ей всевозможные почести и обходился с нею не как с любовницей, а как с женою. Полагая, что былые невзгоды не возвратятся и что для нее настали благополучные дни, она воспряла духом, повеселела и так расцвела, что почти вся Романия только о ее красоте и говорила. Толки эти возбудили у герцога Афинского, отважного и юного красавца, друга и родственника принца, желание увидеть ее. Окруженный блестящею и благородною свитой, герцог под предлогом еще раз посетить Кьяренцу, где ему приходилось до этого бывать неоднократно, приехал в город, и здесь ему были возданы великие почести и устроена высокопоздравительная встреча. Когда же, спустя несколько дней, при нем зашла речь о красоте той женщины, он спросил, так ли она ослепительна, как ее описывают.

«Стократ более, — отвечал принц, — но только я бы хотел, чтобы ты поверил не моим словам, а своим глазам».

Герцог стал торопить с этим принца, и они отправились к ней, она же, заранее узнав, что они к ней собираются, встретила их с приветливым и веселым видом. Они усадили ее, сами сели справа и слева, однако ж

насладиться беседою с ней им не удалось, оттого что она плохо, а вернее сказать — совсем их не понимала. Оба смотрели на нее, как на чудо, особливо — герцог: он никак не мог себя убедить, что она — смертная; сам того не подозревая, он, глядя на нее, впивал очами любовный яд; ему казалось, что он просто-напросто тешит свой взор, на самом же деле он безумно в нее влюбился, он безнадежно запутался в любовной сети. Уйдя от нее вместе с принцем, а затем оставшись один на один с самим собою, герцог пришел к заключению, что принц — счастливейший из людей, коль скоро он владеет таким прелестным созданием. Долго лезли ему в голову самые разные мысли, наконец пламенная страсть взяла в нем верх над честностью, и он порешил во что бы то ни стало отнять эту радость у принца и обрадовать самого себя. Не внемля гласу рассудка и совести, отныне он был озабочен лишь тем, как бы поскорее осуществить свой замысел, как бы так подстроить, чтобы задуманное им злое дело не сорвалось. И вот однажды, подбив на преступление слугу принца, некоего Чуриачи, пользовавшегося неограниченным доверием своего господина, он велел своим людям запрягать лошадей и укладывать вещи, наказав держать это его распоряжение в строжайшей тайне. Ночью герцог и его приятель с оружием в руках подошли к дому принца, и Чуриачи на цыпочках провел их в комнату, где принц, совершенно голый по случаю сильной жары, стоял у раскрытого окна, выходящего на море, и дышал воздухом, возлюбленная же его спала. Заранее подучив сотоварища, как надобно действовать, герцог подкрался к принцу, прынул его в бок ножом и выбросил в окно. Дворец был расположен высоко над морем, а под окном, у которого дышал воздухом принц, стояли дома, разрушенные при боем, — словом, место было безлюдное, и, как и предполагал герцог, никто не видел, да и не мог видеть падение тела. Удостоверившись, что дело сделано, приятель герцога схватил веревку, которую он нарочно взял с собой, и, сделав вид, будто хочет приласкать Чуриачи, накинул ему петлю на шею и так затянул, что тот не мог проронить ни звука. Тут подоспел герцог, совместными усилиями они задушили Чуриачи и тоже выбросили в окно. Сделав свое дело и совершенно уверившись, что ни женщина, ни кто-либо еще ничего не слышали, герцог взял свечу и, поднеся к кровати, другою рукой тихонько раскрыл спавшую крепким сном женщину. Оглядев ее с головы до ног, он пришел в восхищение: нагая, она показалась ему несравненно прекраснее, нежели одетая. Распалившись страстью и не смущаясь тем, что он только что совершил преступление, герцог как был, с окровавленными руками, лег и овладел ею, сонной, пребывавшей в уверенности, что это принц.

Досыта ею насладившись, герцог встал, кликнул сообщников своих и велел им бесшумно вынести женщину. Когда же ее вынесли через потайную дверь, в которую он сюда вошел, он посадил ее на коня, неслышно тронулся в путь и возвратился в Афины. Он был женат, а потому тайно поместил убитую горем женщину не в самих Афинах, а в своем загородном чудном дворце, у самого моря, наказав слугам как можно лучше за нею ухаживать.

На другой день придворные ждали пробуждения принца до трех часов. В комнате у него было тихо; они открыли затворенные, но не запертые двери и, обнаружив, что комната пуста, решили, что принц тайно от всех уехал куда-нибудь на несколько дней, чтобы приятно провести время со своею красавицей, и на том успокоились. На другой день, однако ж, некий блаженненький, бродя среди развалин, где лежали тела Чуриачи и принца, наткнулся на труп Чуриачи, схватил его за веревку и потащил. Многие, к немалому своему изумлению, опознали труп и, лаской добившись от блаженненького, чтобы тот привел их на место, где был им найден труп, к великой печали для всего города, увидели тело принца, которое потом с подобающими почестями было погребено. Когда же, при выяснении того, кто мог совершить столь чудовищное злодеяние, оказалось, что герцога Афинского нигде нет, что он тайно уехал, все подумали на него: он-де совершил преступление, он и увез женщину, как оно и было на самом деле. Место убитого принца по воле горожан тут же заступил его брат, и теперь горожане всячески старались пробудить в нем чувство мести. Получив множество доказательств тому, что дело обстояло именно так, как они предполагали, брат убитого обратился за помощью к друзьям, родственникам и к своим подданным из разных краев, в недалгом времени собрал многочисленную, удалую, могучую рать и пошел на герцога Афинского войной.

Как скоро герцог об этом услышал, тот же час изготовился к обороне, и на помощь ему пришло много знатных людей, в том числе посланные императором Константинопольским сын его Константин и племянник Мануил с многочисленным и славным войском, герцог же принял их с честью, а с еще большею честью — герцогиня, приходившаяся им сестрою. Война приближалась с каждым днем, и вот как-то раз герцогиня, дождавшись благоприятной минуты, зазвала их обоих к себе в комнату и здесь, обливаясь слезами, подробно рассказала им всю историю, объяснила, из-за чего должна начаться война, и призналась, как оскорбительна для нее связь герцога с этой женщиной, — связь, которую, как ей казалось, герцог держал в тайне от всех. Горько жалуясь на свою судьбу, герцогиня просила своих родственников сделать все от них зависящее, чтобы снять пятно с чести герцога, а ей вернуть душевный покой. Молодым людям все уже было известно, а потому они, не пускаясь в дальнейшие расспросы, как могли ободрили герцогиню, вселили в нее надежду на лучшее будущее и, осведомившись, где живет эта дама, удалились. Будучи наслышаны о необычайной ее красоте, они порешили непременно увидеть ее и обратились к герцогу с просьбой о том, чтобы он ее показал и м, — герцог же, забыв, как поплатился принц за то, что показал ему свою возлюбленную, обещал. На другой день, велел накрыть на стол к роскошному обеду в дивном саду при замке, где жила его дама, он провел туда их и еще двух-трех человек. Сидя рядом с нею, Константин с изумлением взирал на нее и в глубине души вынужден был признать, что такой красивой женщины ему еще не приходилось видеть и что вполне можно оправдать герцога, да и всякого, кто ради такой красавицы совершил бы предательство или же еще какое-

либо злое дело. Он все чаще и чаще на нее заглядывался, и в конце концов с ним случилось то же, что и с герцогом. Ушел он от нее без памяти влюбленным, и теперь ему было уже не до войны, — все помыслы его были устремлены к тому, чтобы, не возбудив подозрений у герцога, похитить его возлюбленную.

Итак, страсть его все сильнее и сильнее кипела, а между тем подошло время ударить на принца, уже подступавшего к владениям герцога, и вот герцог, Константин и все остальные в боевом порядке выступили из Афин и двинулись к границе, чтобы не дать принцу ее перейти. Уже несколько дней стояли они у границы, как вдруг Константин, все мысли которого были с той дамой, сообразив, что в отсутствие герцога ему легче легкого будет исполнить свое желание, сказался тяжело больным, дабы под этим предлогом возвратиться в Афины. С соизволения герцога он отдал вверенных ему воинов под начало Мануилу и возвратился к сестре в Афины, а несколько дней спустя, возобновив с ней разговор о том оскорблении, которое, как она утверждала, наносил ей герцог тем, что держал любовницу, сказал, что ежели она хочет, то он может сослужить ей верную службу: он, мол, готов похитить герцогскую возлюбленную и увезти. Герцогиня, полагая, что это он из любви к ней, а не к той женщине, ответила, что она будет очень рада, но только если герцог не узнает, что увоз совершился с ее ведома и согласия, Константин же твердо ей это обещал, и тогда герцогиня предоставила ему полную свободу действий. Константин, отдав тайное распоряжение держать наготове шлюпку, однажды вечером пристал к берегу неподалеку от того сада и, научив своих сообщников, как нужно действовать, с другой частью сообщников направился ко дворцу. Слуги этой женщины и она сама радостно его приветствовали, а затем она по его просьбе вышла вместе со своими слугами и сообщниками Константина в сад.

Под тем предлогом, что герцог просил ей что-то передать, он направился с ней к калитке, через которую можно было выйти прямо к морю. Калитку заранее отпер один из сообщников Константина; выйдя к морю, Константин подал знак находившимся в шлюпке подойти поближе, велел схватить даму и посадить ее в шлюпку, а сам, обратившись к тем, кто прислуживал даме, сказал: «Стойте смирно — и ни звука, коли вам жизнь дорога! Я не отнимаю у герцога его возлюбленную — я смываю бесчестье, ею нанесенное моей сестре».

Никто не посмел что-либо ему возразить. Константин со своими людьми спрыгнул в шлюпку и, сев рядом с плакавшей дамой, приказал сообщникам взяться за весла и отчалить. Шлюпка полетела как на крыльях, и на рассвете следующего дня они были уже в Эгине. Сойдя на берег и отдохнув, Константин насладился дамой, проклинавшей злополучную свою красу, затем снова сел в шлюпку и несколько дней спустя прибыл в Хиос, где и положил остановиться: он боялся отцовского гнева, боялся, как бы у него не отбили похищенную женщину, а здесь он почувствовал себя в безопасности. Несколько дней оплакивала дама свое заключение; Константин, однако ж, сумел ее успокоить, так что она и на сей раз увидела хорошую сторону в том, что судил ей рок.

На ту пору находившийся в состоянии непрерывной войны с императором султан турецкий Осбек приехал в Смирну и, узнав, что в Хиосе Константин, не принимая никаких мер предосторожности, блудодействует с увезенной им женщиной, однажды ночью отправился туда на легких судах и, бесшумно со своими людьми высадившись, многих, прежде чем они успели опомниться и сообразить, что в город ворвался враг, захватил прямо в постели, а тех, кто, пробудившись, успел взяться за оружие, перебил, выжег весь остров, нагрузил суда пленниками и добычей и возвратился в Смирну. В Смирне Осбек, — а это был человек молодой, — учиняя осмотр своей добыче, увидел красавицу; узнав же, что это и есть наложница Константина, которую его люди стащили прямо с постели, он возликовал, не долго думая, женился на ней, отпраздновал свадьбу и несколько месяцев с нею блаженствовал.

Еще до этого император вступил в переговоры с королем каппадокийским Базаном касательно того, чтобы король двинул свое войско на Осбека с одной стороны, а он со своим войском напал бы на Осбека с другой, однако ж окончательно договориться с Базаном императору пока не удавалось, оттого что Базан предъявил ему такие требования, которые император поначалу счел неприемлемыми; но как скоро он узнал, что случилось с его сыном, то, отягченный печалью, не замедлил принять условия короля каппадокийского и добился от него согласия ударить на Осбека, сам же начал готовиться к нападению на Осбека с другой стороны. Сведав о том, Осбек собрал войско и, прежде чем два могущественных властителя сумели его обойти, выступил против короля каппадокийского, а красавицу жену оставил в Смирне под присмотром верного своего слуги и друга. Некоторое время спустя войско Осбека и войско короля встретились, и Осбек завязал с королем бой, сам Осбек пал в этом бою, войско же его было разгромлено и рассеяно. Одержав победу, Базан теперь беспрепятственно шел на Смирну, и все ему, как победителю, покорялось.

Осбеков слуга Антиох, под охраной которого находилась красавица, был уже в годах, что не помешало ему, презрев долг друга и верноподданного, плениться ее красотой и влюбиться, а так как она понимала его язык (это очень ее радовало — ведь она уже несколько лет была точно глухонемая: сама никого не понимала, и ее никто не понимал), то, воодушевляемый страстью, он за несколько дней так с нею сблизился, что, позабыв своего властелина, с оружием в руках выступившего в поход, они весьма скоро из друзей превратились в любовников и вволю услаждались друг дружкой под пологом. Когда же их слуха достигла весть о том, что Осбек побежден и убит, а Базан идет сюда и все на своем пути грабит, они пришли к единодушному решению не дожидаться его и, захватив почти все принадлежавшие Осбеку драгоценности, бежали в Родос, и в Родосе немного спустя Антиох опасно заболел. Тут к нему неожиданно заехал кипрский купец, которого он очень любил и который был ему добрым другом, и Антиох, чувствуя, что конец его близок, вознамерился оставить ему и состояние, и свою подружку.

В предвидении скорой кончины он позвал их обоих и обратился к ним с такими словами: «Я чувствую, что умираю, и мне это больно, оттого что никогда еще не был я так счастлив, как теперь. Одно мне служит огромным утешением: раз уж мне суждено умереть, то я рад, что умру на руках у людей, которых я люблю больше всех на свете: на руках у тебя, любезный друг, и на руках у женщины, которую я, сойдясь с нею, полюбил больше, чем самого себя. Горько мне, однако же, сознавать, что после моей смерти она, чужестранка, останется здесь, где ей не к кому обратиться за помощью и советом, но мне было бы еще тяжелее, если бы не было тут т е б я , — теперь я, по крайней мере, уверен, что из любви ко мне ты позаботишься о ней так же, как позаботился бы обо мне. И вот я слезно молю тебя: если я умру, распорядись достоянием моим и ею так, чтобы душа моя была спокойна. Ты же, дорогая моя, не забывай меня, когда я умру, дабы там я мог похвалиться, что здесь меня любит самая красивая женщина, какую когда-либо создавала природа. Если вы мне дадите слово, что желания мои будут исполнены, то, вне всякого сомнения, я умру спокойно».

Слушая Антиоха, его друг-купец и его возлюбленная плакали. Когда же он умолк, они принялись утешать его и поклялись честью в случае его смерти исполнить его последнюю волю. Не в долгом времени он и правда скончался, и они подобающим образом его похоронили.

Несколько дней спустя кипрский купец, покончив в Родосе со всеми своими делами и решившись ехать обратно на каталонском одномачтовом корабле, спросил красавицу, что она собирается делать, а то, мол, ему пора восвояси. Она же на это ответила, что, если он ничего не имеет против, она с радостью поехала бы с ним, ибо надеется, что из любви к Антиоху он будет с ней обходиться и держать себя с ней как с сестрой. Купец сказал, что готов исполнить любое ее желание, а дабы оградить ее от неприятностей, он порешил выдавать ее до приезда на Кипр за свою жену. Когда же они взошли на корабль, им отвели помещенье в носовой части, и он, дабы слово у него не расходилось с делом, лег с ней на одной кровати. Следствием такового поступка явилось то, чего и в мыслях не было ни у того, ни у другой, когда они покидали Родос: темнота, уют и теплая постель, — а теплая постель имеет в таких делах немало важное значение, — подействовали на обоих возбуждающе, и они, позабыв о своей любви и дружеской привязанности к покойному, будучи охвачены почти одинаковою силою страсти и друг дружку разжигая, породнились еще до приезда в Баффу, откуда был родом купец. Когда же они приехали в Баффу, она некоторое время с ним пожила.

Случилось, однако ж, что в Баффу приехал по делу некий знатный человек по имени Антигон, и было ему много лет, ума у него было еще больше, а вот земных благ совсем м а л о , — хоть и состоял он на службе у короля кипрского, но судьба ему не благоприятствовала. Как-то раз, когда кипрский торговец уехал по торговым своим делам в Армению, он проходил мимо его дома и увидел в окне его красавицу жену, а так как она в самом деле была отменно хороша собой, то он на нее воззрися

и вспомнил, что где-то он ее видел, но где — это он припомнить не мог. Красотка, в течение долгого времени служившая игрой судьбы и полагавшая, что испытания ее подходят к концу, бросив взгляд на Антигона, сейчас же вспомнила, что видела его в Александрии, что он находился на службе у ее отца и занимал отнюдь не последнюю должность, и тут у нее появилась надежда, что он подаст ей совет, благодаря которому она вновь займет положение, подобающее царской дочери, а так как купец пребывал в отсутствии, то она велела сию же минуту позвать Антигона. Когда он явился, она робко спросила, не Антигон ли он из Фамасты, — так, мол, ей показалось.

Антигон отвечал утвердительно и сказал: «Лицо ваше мне знакомо, сударыня, но только я не могу припомнить, где я вас видел, — напомните, если только вас это не затруднит».

Получив подтверждение своей догадке, женщина, рыдая, к вящему изумлению Антигона, бросилась ему на шею и спросила, видел ли он ее в Александрии. Услышав этот вопрос, Антигон мгновенно узнал в ней дочь султана Алатизель, которую считали погибшей во время кораблекрушения, и уже собирался воздать ей подобающие почести, но она, не допустив до этого, попросила его побыть у нее. Антигон согласился и почтительнейше обратился к ней с вопросом: каким образом она здесь очутилась, когда и откуда приехала, — весь, мол, Египет уверен, что она назад тому несколько лет утонула.

Она же ему на это ответила так: «Я бы предпочла утонуть, нежели вести такую жизнь, какую я вела, и если отец мой когда-нибудь про меня узнает, ему, верно, тоже было бы легче, если б я утонула». И тут она залилась слезами.

Тогда Антигон ей сказал: «Ваше высочество! Не должно прежде времени падать духом. Сделайте милость, поведайте мне ваши злоключения, расскажите мне о себе, — бог даст, мы сумеем помочь вашему горю».

«Когда я увидела тебя, Антигон, — начала красотка, — у меня было такое чувство, будто предо мною родной мой отец: ведь я же могла ничего тебе не сказать, однако ж меня заставила открыться моя дочерняя нежная любовь. Меня особенно радует то обстоятельство, что я увидела и узнала именно тебя, а не кого-либо другого, и все, что в моей горькой доле я таила от всех, тебе я открою, как родному отцу. Если же ты, выслушав мой рассказ, согласишься средство возвратить меня в прежнее состояние, то, — прошу тебя, — прибегни к нему; если же не согласишься, то, — прошу тебя, — никому не говори, что видел меня, — не говори даже, что от кого-нибудь обо мне слышал».

И тут она, обливаясь слезами, рассказала ему все, что с ней приключилось, начиная с того дня, когда ее корабль разбился у берегов Майорки, и по сей день. Антигон же заплакал от жалости, а затем, поразмыслив, молвил: «Ваше высочество! В течение всей этой злосчастной для вас години никто не узнал, кто вы такая, и когда я возвращу вас султану, то вы будете ему еще дороже, чем прежде, а затем я доставлю вас к королю Алгарвскому».

Она спросила, как он намерен это сделать, Антигон же подробно ей объяснил. Во избежание каких-либо новых происшествий, могущих с нею произойти, Антигон не мешкая отправился в Фамогосту, явился к королю и сказал: «Государь! При желании вы можете сами прославиться и меня, обедневшего у вас на службе, осчастливить, и притом — без особых затрат».

Король спросил, каким образом. Антигон же ему сказал: «В Баффу приехала девушка-красавица, дочь султана, о которой давным-давно ходили слухи, что она утонула. Дабы сохранить свою девичью честь, она долго мыкала горе, да и теперь все еще бедствует и мечтает возвратиться к отцу. Бude вы пожелаете отправить ее к отцу под моим надзором, то вам это послужит к великой чести, а я благодаря этому разбогатею. Я уверен, что султан до самой смерти не забудет об этой услуге».

Король, побуждаемый королевским своим великодушием, тут же изъявил согласие. Он выслал за нею почетную свиту и велел доставить ее в Фамогосту, в Фамогосте же и он и королева устроили ей торжественнейшую встречу и с превеликою честью ее приняли. Оба стали расспрашивать ее, что с ней приключилось, она же отвечала так, как ее научил Антигон, и все рассказала. Спустя несколько дней король по просьбе своей гостьи отправил ее к султану в сопровождении блестящей и почетной свиты мужеского и женского пола во главе с Антигоном. Нечего и говорить, что она, равно как и Антигон и вся прочая свита, была там встречена с великою торжественностью. Когда же она отдохнула, султан пожелал узнать, каким чудом она уцелела и где, не подавая о себе вестей, так долго пробыла.

Дочери крепко запомнились наставления Антигона, и на вопрос отца она ответила так: «Отец мой! На двадцатый, если не ошибаюсь, день моего путешествия корабль наш, который трепала страшная буря, ночью ударился о берег западнее Акваморты. Что случилось с людьми, которые находились на борту корабля, мне до сей поры неизвестно. Помню только, что, когда рассвело и я как бы воскресла из мертвых, местные жители заметили разбитый корабль и отовсюду сбежались на предмет грабежа, меня же с двумя моими спутницами повлекли на берег, и тут спутниц моих схватили два молодых человека и бросились бежать в разные стороны. Что с ними случилось — не ведаю. На меня тоже налетели два молодых человека и за косы потащили по дороге в дремучий лес, я же, плача навзрыд, отбивалась, но в это самое время, на мое счастье, по дороге проезжали четыре всадника, и как скоро увидели их те, кто меня тащил, так сейчас же бросили меня и пустились наутек. Всадники же, которых я приняла за лиц, власть имущих, поспешили ко мне и долго меня расспрашивали, а я им долго рассказывала о себе, но они у меня ни одного слова не поняли, а я у них. Посоветовавшись между собой, они в конце концов посадили меня на коня и повезли в женский монастырь тамошней веры. Не знаю, что они сказали монахиням, но только приняли меня монахини радушно и потом все время относились ко мне почтительно, я же по их примеру ублажала чтимого местными жительницами святого Стоятти из Буерака. Когда я пожила с ними

некоторое время и научилась с грехом пополам их понимать, они меня стали расспрашивать, кто я такова и откуда родом, я же, боясь, что они прогонят меня как иноверку, если я им правду скажу, отвечала, что я дочь кипрского вельможи, что он отдал меня замуж на остров Крит и что, когда я туда направлялась, буря занесла нас сюда и корабль наш разбила. Из двух зол я выбрала наименьшее: я постоянно и неукоснительно соблюдала их обряды. Когда же та, что была у них за старшую, — они называли ее аббатисой, — спрашивала меня, желаю ли я возвратиться на Кипр, я неизменно отвечала, что это моя мечта. Аббатиса, однако ж, боясь за мою девичью честь, все не решалась поручить меня попечениям кого-либо из тех, кто ехал на Кипр, но вот наконец, назад тому месяца два, из Франции прибыли туда почтенные люди с женами, одна из которых приходилась родственницей аббатисе, и как скоро аббатиса узнала, что они держат путь в Иерусалим, дабы поклониться гробу ихнего бога, которого положили в этот гроб после того, как он был убит иудеями, то поручила меня заботам французов и попросила их доставить меня на Кипр к отцу. Какие знаки внимания оказывали мне почтенные эти люди, как радушно приняли меня в свою среду их жены — об этом долго рассказывать. Словом, мы сели на корабль и несколько дней спустя прибыли в Баффу. В Баффе я никого не знала и не могла придумать, что сказать почтенным моим спутникам, которые во исполнение наказа, данного им досточтимой аббатисой, намеревались доставить меня к отцу, но тут господь, как видно, надо мною сжалился: он послал мне Антигона в ту самую минуту, когда мы высаживались в Баффе. Я позвала его и, чтобы меня не поняли мои почтенные спутники и спутницы, на нашем языке попросила встретить меня, как родную дочь. Он все понял, радостно приветствовал меня, принял с честью, насколько это ему позволял малый его достаток, почтенных моих спутников и спутниц и повел меня к королю кипрскому, а тот, воздав мне такие почести, которые я не в состоянии описать, отправил меня к вам. Если же я что упустила, то за меня доскажет Антигон, — он много раз слышал повесть о моих злоключениях».

Тут Антигон обратился к султану и сказал: «Ваше величество! Что часто рассказывала мне она и что рассказывали мне почтенные ее спутники и спутницы, то самое рассказала она и вам. Одно лишь она опустила — опустила, думается мне, единственно потому, что неловко ей было об этом сказывать: почтенные ее спутники и спутницы говорили мне, что в обители она вела строгую жизнь, украшалась добродетелями, отличалась чистотою нрава; и еще она не сказала, как плакали и рыдали спутники ее и спутницы, когда, доверив ее мне, с ней расставались. Если б я стал пересказывать все, что они мне о ней говорили, мне бы для этого не хватило дня и даже ночи. Скажу одно: сколько я мог судить по их речам и по моим собственным наблюдениям, вы вправе ею гордиться: ни у кого из венценосцев нет такой красивой, добродетельной и бесстрашной дочери».

Султан был от всего этого в восторге и молил своего бога, чтобы он сподобил его отблагодарить как должно всех, кто принял участие

в судьбе его дочери, особливо — короля кипрского, который с такими почестями препроводил ее к нему. Несколько дней спустя он, щедро одарив Антигона, отпустил его на Кипр, королю же за все, что тот сделал для его дочери, изъявил великую благодарность и в письме, и через особых послов. Затем, чтобы довести дело до конца, то есть чтобы выдать наконец свою дочь за короля Алгарвского, он все ему объяснил в письме, присовокупив, что если, мол, он не отдумал жениться, то пусть за нею придет. Король Алгарвский взыграл духом и, выслав за нею почетную свиту, радушно ее принял. Она же, быть может десятитысячекратно отдававшаяся восьми мужчинам, возлегла с ним на ложе как девушка, уверила его в том и в течение долгого времени счастливо с ним царствовала. Недаром говорится: «От поцелуев уста не стареют, а, как луна, молодеют».





*Графа Антверпенского оклеветали, и он,  
оставив двух своих детей в разных городах Англии, спасается бегством;  
возвратившись в Англию неузнанным, он убеждается,  
что дети его хорошо устроены,  
и вступает конюхом в ряды войск короля французского;  
после того как была доказана невиновность графа,  
его восстанавливают во всех правах*



лучшая рассказ о многообразных приключениях красоти, дамы тяжело вздыхали, но кто отгадает причину этих вздохов? Может статься, некоторые из них вздыхали не только из сострадания, а потому, что и они были бы не прочь столь же часто выходить замуж. Не будем, однако ж, об этом говорить — заметим лишь, что последние слова Панфило насмешили дам, а королева, поняв, что тут и конец его рассказу, обратилась к Элиссе и предложила ей, придерживаясь установленных правил, начать свой рассказ. Элисса охотно повиновалась и повела его следующим образом:

— Поле, по которому мы нынче движемся, в высшей степени обширно. Нет такого человека, который был бы неспособен не то что одно, а и десять поприщ легко пробежать по этому полю — до того оно волею судеб обильно чрезвычайными и важными событиями. Так вот, из бесчисленного множества подобных событий я остановлюсь на одном.

Когда корона римского императора перешла от французов к немцам, между этими двумя народами возгорелась непримиримая вражда, перешедшая в кровопролитную, нескончаемую войну, вследствие чего король французский и его сын, кликнув клич по всему королевству и воспользовавшись подмогой родственников и друзей, собрал несметную рать и двинул ее на врага. Боясь оставить королевство без правителя, они, прежде чем выступить, объявили наместником всей власти в королевстве французском графа Антверпенского Гвальтьери, ибо знали его за человека родовитого, благоразумного, верного их друга и слугу, впрочем человека избалованного и к тяготам несения военной службы

не приспособленного, несмотря на его искушенность в ратном искусстве. Гвальтьери правил мудро, соблюдая законы и во всем советуясь с королевой и с ее невесткой: обе они находились под его опекой и в его ведении, но он почитал их так, как должно почитать государынь, как должно почитать лиц, выше стоящих. Гвальтьери был красавец мужчина лет сорока, как подобает человеку родовитому — очаровательный в обращении, помимо всего прочего — обворожительнейший и любезнейший из всех живших в его время дворян, более чем кто-либо заботившийся о своей наружности.

Словом, французский король и его сын все еще воевали, Гвальтьери, жена которого умерла, оставив ему малолетнего сына и малолетнюю дочь, часто приходил к королеве и ее невестке потолковать о делах государственных, и тут случилось так, что жена королевского сына обратила на Гвальтьери внимание: воспылав к нему тайною страстью, она не спускала с него восхищенного взора, следила за каждым его движением. Приняв в рассуждение молодость свою и свежесть, а также то обстоятельство, что он вдовец, она вообразила, что желание ее легко исполнимо — стоит ей преодолеть единственную преграду, то есть чувство стыда, и вознамерилась во всем Гвальтьери открыться. И вот как-то раз, улучив время, когда у нее никого не было, она послала за ним якобы для того, чтобы поговорить о предметах посторонних. Мысли графа были далеки от ее мыслей, и он тот же час явился на ее зов. Она усадила графа рядом с собой на диване; в комнате, кроме них, никого больше не было, граф дважды обращался к ней с вопросом, зачем она его позвала, — она отмалчивалась; наконец, движимая любовью, зардевшись от стыда, вся дрожа и чуть не плача, прерывающимся от волнения голосом заговорила:

«Милый, дорогой мой друг и повелитель! Вам, как человеку мудрому, хорошо известно, что мужчины и женщины выказывают слабость по разным причинам и в разной мере, — вот почему судия всеправедный за один и тот же проступок наказывает по-разному, в зависимости от того, кто его совершил, как тому и надлежит быть по справедливости. В самом деле, кто же станет отрицать, что в наибольшей мере заслуживают осуждения своим трудом зарабатывающие себе на кусок хлеба бедняк и беднячка, в случае, если они внемлют и покорствуют велению любви, нежели богатая, праздная женщина, у которой есть все, что душе угодно? Уверена, что никто. А когда так, то, если б она увлеклась, главным смягчающим вину обстоятельством послужил бы, думается мне, ее образ жизни, а дополнительным — умный и достойный возлюбленный, если только выбор ее и в самом деле удачен. Мои обстоятельства, как мне представляется, именно таковы, да еще надобно принять в уважение мою молодость, разлуку с мужем, — тут поневоле влюбись-ся, — так пусть же все эти обстоятельства послужат в ваших глазах оправданием пламенной моей страсти: если вы на это посмотрите, как должны на это смотреть люди здравомыслящие, то подайте мне совет и помогите. Дело состоит вот в чем: в отсутствие мужа я не устояла в борьбе с позывами плоти и сердечною склонностью, обладающими волшебным свойством, благодаря которому они покоряли и продолжа-

ют покорять ежедневно не только слабых женщин, но и во много раз более стойких мужчин, а, как вы могли заметить, я веду жизнь привольную и праздную, и это еще усилило мое влечение к радостям любви и способствовало тому, что я влюбилась. Разумеется, если б это обнаружилось, мое поведение могло бы показаться предосудительным, но до тех пор, пока оно остается в тайне, я ничего особо предосудительного в нем не усматриваю, тем паче Амур был так ко мне милостив, что не отнял у меня разума, когда я выбирала себе возлюбленного, напротив того: оказал мне бесценную помощь, внушив, что вы и есть предмет, достойный такой женщины, как я, а ведь, если только я в вас не обманулась, вы — самый красивый, самый любезный, самый очаровательный и самый рассудительный дворянин во всем королевстве французском; притом, я вправе сказать о себе, что живу без мужа, ну, а у вас нет жены. Так вот о чем я намерена вас просить: ради моей любви к вам полюбите и вы меня, жальтесь над моею младостью, тающей, словно лед от огня».

Рыдания не дали ей договорить, и она, без сил, вся в слезах, уронила голову на грудь графа. Граф, как истинный рыцарь, строго осудил ее за то, что она дала волю безрассудной своей страсти, и, отведя ее руки, готовые обвиться вокруг его шеи, поклялся, что скорее даст себя четвертовать, нежели позволит себе или же кому-либо другому запятнать честь своего повелителя.

Как скоро она это услышала, в то же мгновение любовь к нему уступила в ее душе место бешеной злобе. «Наглец! — вскричала она. — Вы смеете издеваться над моим чувством? Вы хотите уморить меня? Смотрите, как бы я вас не уморила и не сжила со свету». Тут она вцепилась себе в волосы, всклокочила их, растрепала, разодрала на себе одежду и стала громко кричать: «Помогите! Помогите! Граф Антверпенский чинит надо мною насилие!»

Совесь у графа была чиста, но он опасался зависти придворных; полагая, что коварству этой женщины придадут больше веры, нежели его невиновности, он вскочил, бросился вон из комнаты, вон из дворца, прибежал домой, не долго думая, посадил детей на коня, сел и сам и помчался в Кале.

На крик женщины сбежались придворные и, взглянув на нее и узнав, отчего она так кричит, по одному ее виду поверили ей, и не только поверили, но еще рассудили, что граф именно с этой целью последнее время рядился и пускал в ход все свои чары. Разъяренная толпа кинулась к дому графа; не обнаружив хозяина, толпа сначала разграбила дом, а затем не оставила от него камня на камне. Низкая клевета дошла до короля и наследника, и те, охваченные негодованием, осудили графа и его потомство на вечное изгнание, пообещав великую награду тем, кто доставит им его живого или мертвого.

Граф, в отчаянии, что, будучи невинным, он своим бегством навлек на себя подозрения, прибыл с детьми в Кале и, не объявившись и так и оставшись неузнанным, поспешно отплыл к берегам Англии и в нищенском одеянии двинулся по направлению к Лондону, однако ж, прежде чем войти в город, обратился к малым своим детям с подробным настав-

лением, касавшимся главным образом двух вещей: он постарался внушить им, во-первых, что хотя и они и он пострадали безвинно, однако им надлежит безропотно сносить бедственное положение, в какое их поставила судьба, а во-вторых, что если жизнь им дорога, то пусть они никому на свете не открывают, откуда они и кто их родители. Его сыну Луиджи было лет девять, дочери Виоланте — около семи, и, сколько им позволял нежный их возраст, они отлично поняли отцовское наставление и впоследствии доказали это на деле. Для пущей их безопасности отец порешил дать им другие имена, и так он и сделал: мальчика назвал Перотто, девочку — Джаннеттой. Бедно одетые, вошли они в город и стали побираться, как это делают на наших глазах французские нищие.

Однажды утром они стояли с рукой около церкви, и тут случилось так, что некая знатная дама, жена одного из королевских маршалов, при выходе из церкви обратила внимание на графа с детьми, просивших подавания. Она спросила его, откуда он и его ли это дети; граф же ей на это ответил, что он из Пикардии и что из-за бесчинства, которое позволил себе его старший сын — лиходей, он принужден был с двумя младшими детьми покинуть родные края. Даме, отзывчивой по душе, очень понравилась девочка — до того она была пригожа, мила и приветлива. «Добрый человек! — молвила дама. — Отдай мне свою дочку, я с удовольствием возьму ее к себе — такая она у тебя славная. Если из нее выйдет порядочная девушка, я ее со временем выдам за хорошего человека».

Просьба дамы пришлась графу по сердцу; он не замедлил изъявить согласие и, со слезами отдав девочку, поручил ее заботам дамы. Устроив таким образом дочурку, отдав ее в заведомо хорошие руки, он порешил долее здесь не оставаться. Побираясь, граф долго шел по острову и наконец с превеликими трудностями, оттого что не привык ходить пешком, вместе с Перотто добрался до Уэлса. Здесь проживал другой маршал; дом у него был открытый, жил он широко, и граф с сыном частенько заходили к нему подкормиться. Сын маршала и другие дети знатных родителей резвились во дворце: бегали, прыгали, и Перотто принял в этих играх участие и в иных упражнениях выказал такую же, а в иных — еще большую сноровку, нежели другие мальчики. Маршал к нему приглядываясь, Перотто пленил его своим поведением, манерой держать себя, и маршал полюбопытствовал, кто он таков. Ему ответили, что это сын бедняка, который время от времени приходит сюда и просит милостыни. Маршал пожелал взять ребенка на воспитание, а граф только об этом и мечтал: как ни тяжела ему была разлука с сыном, он не колеблясь отдал его маршалу. Устроив таким образом судьбу сына и дочери, граф порешил не задерживаться долее в Англии и, всеми правдами и неправдами перебравшись в Ирландию, достигнул Стрентфорда, — здесь он поступил в услужение к вассалу некоего графа и в течение долгого времени, никем не узнанный, исполнял обязанности лакея и конюха — жизнь его была полна тягот и лишений.

Виоланта, она же — Джаннетта, жила у знатной дамы в Лондоне, входила в возраст, росла, хорошела, и вот что дивно: все ее любили — и дама, и супруг дамы, и домочадцы, и все их знакомые; не было никого,

кто бы, наблюдая нрав ее и обычай, не подумал, что она создана жить во всяческом довольстве и почете. Дама, зная о ней не больше того, что сообщил ее отец, вознамерилась составить ей приличную партию, соответствующую ее, как она полагала, низкому званию. Однако ж господь, всеправедный ценитель достоинств человеческих, зная, что она девушка из хорошей семьи, что она ни в чем не виновата и расплачивается за чужой грех, судил иначе, и, как видно, именно для того, чтобы благородная девушка не досталась какому-нибудь мужлану, по милости божией произошло следующее.

У знатной дамы и ее мужа был единственный сын, которого они очень любили не только потому, что это был их сын, но еще и потому, что того заслуживали достоинства его и совершенства: то был юноша благородный, отважный и прекрасный. Он был лет на шесть старше Джаннетты, а Джаннетта была до того мила и хороша, что юноша без памяти в нее влюбился, так что, по его мнению, лучше ее не было никого на свете. Будучи уверен, что она не знатного происхождения, он не только не осмеливался просить у отца с матерью дозволения жениться на ней, но из боязни упреков в том, что он избрал столь низкий предмет, таил, сколько мог, свои чувства. С горя он тяжело заболел. Позвали лекарей, но лекари, изучив признаки заболевания, так и не смогли определить, что же это за недуг, и утратили всякую надежду на выздоровление юноши. Отец с матерью испытывали нестерпимую душевную муку. Много раз они со слезами молили сына открыть причину его недуга, но он вместо ответа вздыхал или же говорил, что чувствует свой конец.

Но вот как-то раз, когда у постели больного сидел врач, хотя и молодой, но весьма сведущий, и щупал ему пульс, в комнату вошла Джаннетта, которая, желая угодить матери больного, самоотверженно за ним ухаживала. При виде ее юноша не проронил ни слова, не сделал ни одного движения, однако ж в сердце у него с новою силою разгорелся любовный пламень, вследствие чего и пульс стал чаще. Врача это удивило, и он признал за необходимое понаблюдать, как долго это будет продолжаться. Когда же Джаннетта вышла, пульс у больного стал слабее, и тут врач подумал, что он близок к разгадке. Немного подождав, он, не отпуская руки больного, велел позвать Джаннетту — будто бы ему нужно о чем-то ее спросить. Джаннетта сейчас же пришла. Не успела она войти в комнату, как пульс у больного забился сильнее, а стоило ей уйти — вновь ослабел.

Тут уже врачу все стало ясно; он поднялся и, отведя отца с матерью в сторону, сказал: «Врачи бессильны помочь вашему сыну, его здоровье — в руках Джаннетты: как это я понял по некоторым явным признакам, он горячо ее любит, она же, сколько я могу судить, о том не догадывается. Теперь вы знаете, что надобно сделать для спасения его жизни, если она вам дорога».

Вельможа и его жена обрадовались, что сыскалось средство поправить здоровье сына, а в то же время и опечалились тому, что средство оказалось такое, которого они опасались, а именно — женитьба на Джаннетте.

Как скоро врач удалился, они приблизились к больному, и мать обратилась к нему с такими словами: «Сын мой! Не думала я, что ты станешь скрывать от меня свое желание, особливо теперь, когда ты сам чувствуешь, что от его исполнения зависит состояние твоего здоровья, — кажется, ты не раз имел возможность удостовериться, что нет ничего такого, даже и не совсем благовидного, чего бы я для тебя не сделала, как для самой себя. Хотя ты и виноват предо мной, господь милостивее к тебе, чем ты сам: дабы недуг не свел тебя в могилу, он открыл мне его причину, каковая коренится не в чем ином, как в необыкновенной любви твоей к какой-то девушке. Ты напрасно стыдился в этом признаться — ведь ты теперь в самой поре, и если б ты не влюбился, я перестала бы тебя уважать. Итак, сын мой, тебе меня бояться нечего, ты смело можешь излить мне свою душу. Отгони от себя кручину, отгони всякую мысль, пагубно отзывающуюся на твоём здоровье, воспрянь духом и верь, что я исполню твою просьбу, какова бы она ни была, — ведь я же люблю тебя больше жизни! Превозмоги стыд и страх и скажи, не могу ли я в чем-либо содействовать твоей любви. И если ты увидишь, что я никакими усилиями не приложу и желанной цели не достигну, можешь считать меня самой жестокой матерью в мире».

Выслушав мать, юноша сперва было устыдился, но, тут же сообразив, что никто так не сумеет помочь его горю, как она, преборол стыд. «Матушка! — заговорил он. — Вот что удерживало меня от признания: я много раз замечал, что люди пожилые не любят вспоминать о том, что и они когда-то были молоды. Однако ж, видя ваше благоразумие, я не стану отрицать того, о чем, судя по вашим словам, вы и сами догадались, — напротив: откроюсь вам во всем, с тем, однако ж, условием, что вы исполните свое обещание по возможности скоро, — тогда я буду здоров».

У матери мгновенно составился в голове план, и, заранее уверенная в успехе своего так, впрочем, и не осуществившегося предприятия, она прямо сказала сыну, что он может быть с ней вполне откровенен, — она, мол, все сделает так, чтобы ему было хорошо.

«Матушка! — снова заговорил юноша. — Несказанная красота и безукоризненное поведение нашей Джаннетты, с одной стороны, а с другой — полная невозможность не только вызвать в ней ответное чувство, но хотя бы пробудить участие, равно как и боязнь поверить свою тайну кому бы то ни было, — все это и довело меня до такой крайности. И если только вы так или иначе своего обещания не исполните, можете быть уверены, что дни мои сочтены».

Мать, понимая, что теперь не до упреков, что нужно вдохнуть в него бодрость, с улыбкой обратилась к нему: «Ах, сын мой! И ты из-за этого мог довести себя до такого состояния? Воспрянь духом, выздоравливай, а в остальном положишь на меня».

К великой радости матери, здоровье обнадеженного юноши быстро пошло на улучшение, и она уже начала подумывать о том, как бы поскорее исполнить обещание. Однажды она позвала Джаннетту и ласковым и шутливым тоном спросила, есть ли у нее возлюбленный.

Джаннетта вспыхнула. «Сударыня! — сказала она. — Бедной девушке, лишенной отчего крова, живущей в услужении у чужих людей, нельзя и не должно заниматься сердечными делами».

«Если у тебя нет возлюбленного, мы тебе его найдем, — молвила дама, — с ним тебе будет веселее, а то твоя красота пропадает даром: негоже такой красивой девушке не иметь возлюбленного».

Джаннетта ей на это возразила: «Сударыня! Вы взяли меня у моего нищего отца, вы меня воспитали, как родную дочь, и я обязана исполнить любое ваше желание, но это я не исполню и полагаю, что поступлю по совести. Если вам угодно выдать меня замуж, то мужа я стану любить, но только мужа. В наследство от предков мне досталась одна лишь честь, и честь свою я буду блюсти и беречь до конца моих дней».

В своем стремлении сдержать данное сыну слово дама рассчитывала совсем на другой ответ, но, будучи женщиной разумной, в глубине души она не могла не одобрить девушку. «Как, Джаннетта! — сказала она. — А если бы его величество король, юный любезник, возымел охоту насладиться любовью такой прелестной девушки, как ты, — неужто ты бы ему отказала?»

«Король властен учинить надо мною насилие, — не задумываясь отвечала Джаннетта, — но с моего согласия он никогда бы не добился ничего такого, что нанесло бы ущерб моей чести».

Постигнув душевное расположение Джаннетты, дама прекратила разговор, вознамерившись, однако, подвергнуть ее испытанию. Она объявила сыну, что, когда он поправится, она поместит его в одной комнате с Джаннеттой, и пусть, мол, он добивается своего, а ей-де не пристало, точно сводне, ходатайствовать перед девушкой за сына. Сын на это не пошел, и ему опять стало худо. Тогда мать поделилась своим замыслом с Джаннеттой. Джаннетта высказала еще большую твердость, и тут мать все рассказала своему супругу, и они, скрепя сердце, по обоюдному согласию решили женить его, ибо предпочитали, чтобы сын их был жив, хоть и женат не на равне, нежели совсем не женат, но мертв; долго они судили-рядили, но в конце концов так и сделали. Джаннетта была наверху блаженства и всей душой благодарила бога за то, что он не оставил ее, и все же она продолжала всем говорить, что она — дочь пикардийца. Юноша выздоровел, на славу отпраздновал свадьбу и счастливо зажил с женой.

Перотто, остававшийся в Уэлсе при маршале короля английского, вырос, тоже вошел в милость к своему господину и стал первым красавцем и первым удалцом на острове, так что никто не дерзал с ним состязаться ни на турнирах, ни на конских ристалищах, ни в потешных боях; известный под именем Перотто-пикардийца, он прославился на всю страну. Господь, не оставивший его сестру, не забыл и о нем: когда ту страну посетило чумное поветрие, оно унесло почти половину населения, подавляющее же большинство тех, кто уцелел, в ужасе бежало в другие места, так что край совсем обезлюдел. Во время мора погибли маршал, его жена, братья, племянники и все прочие его сродники — остались только дочь, девушка на выданье, Перотто и еще кое-кто из слуг. И вот, когда

чума поутихла, девушка с согласия и по совету немногих уцелевших горожан решилась выйти замуж за Перотто, ибо знала его за человека доблестного и добродетельного, и ввела его во владение всем, что досталось ей по наследству. А немного спустя король английский, сведав про кончину маршала и про доблести Перотто-пикардийца, назначил Перотто на место покойного маршала. Вот что в короткий срок произошло с двумя ни в чем не повинными детьми графа Антверпенского, с которыми он, казалось, простился навеки.

Прошло восемнадцать лет с тех пор, как граф Антверпенский бежал из Парижа, и в Ирландии, где он мыкал горе и уже успел состариться, у него возникло настойчивое желание как-нибудь узнать про детей. Внешне граф сильно изменился, но зато благодаря постоянным занятиям ручным трудом чувствовал себя крепче, нежели в дни своей праздной юности, и вот наконец он, таким же бедняком, каким приехал сюда, в жалком рубище, ушел от хозяина, у которого долго жил, и, добравшись до Англии, направился в город, где расстался с Перотто. Перед ним предстал маршал — здоровый, сильный, красивый вельможа. Граф возликовал, но порешил не открываться ему, покуда не разведает о Жаннетте. Тога ради он продолжал свой путь и уже нигде до самого Лондона не задерживался. Осведомившись под рукой, что случилось с той дамой, у которой он оставил Жаннетту, граф узнал, что Жаннетта вышла замуж за ее сына; и так он обрадовался, что дети его живы и хорошо устроены, что все былые невзгоды показались ему пустячными. Ему хотелось увидеть Жаннетту, и он, как нищий, стал ходить под окнами соседних домов. Однажды на него обратил внимание Джаккетто Ламиенс, — так завали мужа Жаннетты, — и, сжалившись над нищим стариком, велел одному из слуг провести его в дом и Христа ради накормить, что слуга охотно и сделал.

У Жаннетты было от Джаккетто несколько сыновей, из коих старшему было лет восемь, — таких милых, красивых детей на всем свете не сыщешь. Как скоро увидели они сидевшего за столом графа, тотчас обступили его и стали выражать свою радость, как будто тайный голос шепнул им, что это их дед. Он же, прекрасно зная, что это его внуки, стал их миловать и ласкать, и они, не внемля зову своего воспитателя, от него не отходили. Тут вышла из своей комнаты Жаннетта и пригрозила детям, что если они не будут слушаться воспитателя, то она их приберет. Дети заплакали и сказали, что хотят побыть с этим добрым человеком, потому что он любит их больше, чем воспитатель. Жаннетта и граф рассмеялись. Граф встал, чтобы изъявить свое почтение не как отец — родной дочери, а как бедняк — госпоже, и, окинув ее взглядом, возрадовался духом. Жаннетта, однако ж, ни сейчас, ни потом его не признала, оттого что он очень изменился с тех пор, как они разлучились: стал стар, сед, бородат, похудел, загорел, — словом, стал совсем другой человек. Дети всё не отходили от него и плакали, и Жаннетта упростила наставника, чтобы он позволил им тут побыть.

Дети все еще ластились к старичку, когда возвратился отец Джаккетто и обо всем узнал от воспитателя; Жаннетту он не любил, а потому

сказал так: «А, чтоб им счастья не видать! Они — в того, от кого произошли: их дед по матери — бродяга, так что же удивительного в том, что они льнут к бродягам?» Граф расслышал эти слова, и они его больно ранили, но он тут же повел плечами, как бы желая стряхнуть с себя и это оскорбление, подобно многим другим. Джаккетто узнал, как обрадовались дети доброму старичку, то есть графу, и это ему не понравилось, но он так их любил, что, только чтобы их не расстраивать, распорядился взять этого человека на службу, конечно, если тот ничего не имеет против. Старик отвечал, что он вполне согласен, но что он всю свою жизнь ходил за лошадьми и ничему другому не обучен. Его заботам поручили коня, а на досуге он развлекал детей.

В то время как судьба вышеописанным образом направляла графа Антверпенского и его детей, случилось так, что король французский, заключив с немцами несколько перемирий, скончался, и на престол взошел его сын, из-за жены которого был изгнан граф. Когда же вышел срок последнему перемирию с немцами, новый король возобновил кровопролитную войну, а недавно с ним породнившийся король английский в помощь ему прислал многочисленное войско под началом маршала Перотто и сына другого маршала — Джаккетто Ламиенса. С ними отправился и маститый старец, то есть граф; оставаясь неузнанным, он долгое время исполнял обязанности конюха, а так как он был человек сведущий, то помогал и словом и делом всем, кто только в его помощи так или иначе нуждался.

Во время войны королева французская опасно заболела. Чувствуя, что конец ее близок, она, сокрушаясь о грехе своем, как подобает истинной христианке, все сказала на исповеди архиепископу Руанскому, известному своей святой, праведной жизнью, и, каясь в своих согрешениях, поведала, как из-за нее безвинно пострадал граф. На этом королева не успокоилась: после исповеди она рассказала все, как было, многим достойным людям и обратилась к ним с просьбой повлиять на короля, чтобы король восстановил в правах графа, если только он жив, а если умер, то кого-либо из его детей. Малое время спустя она отошла в мир иной и была погребена с подобающими почестями. Королю передали ее признание, и король, огорченный тем, что с хорошим человеком ни за что ни про что, так жестоко поступили, повелел огласить в войсках, а равно и во многих других местах, указ: тот, кто доведет до его сведения, где находится граф Антверпенский или же кто-либо из его детей, получит-де щедрое вознаграждение за каждого, ибо после предсмертной исповеди королевы ему, королю, стало ясно, что граф был неправо осужден на изгнание, и король-де намерен не только восстановить его во всех правах, но еще и против прежнего возвысить. Граф, все еще служивший конюхом, услышав королевский указ и удостоверившись, что он содержит в себе правду-истину, тот же час направился к Джаккетто и попросил его пойти вместе с ним к Перотто — ему известно-де местонахождение разыскиваемых королем.

Когда все трое встретились, граф обратился к Перотто, который уже собирался объявиться: «Перотто! Вот этот самый Джаккетто женат на

твоей сестре, но приданого он за ней не получал, вот почему, дабы сестра твоя не была бесприданницею, я хочу, чтобы он, а не кто-либо еще, получил большую награду, обещанную королем за тебя, — да будет тебе известно, что ты сын графа Антверпенского, — за Виоланту, твою сестру, а его супругу, и за меня — графа Антверпенского и вашего родного отца».

Перотто, устремив на него взор, мгновенно узнал его, со слезами пал на колени и, обняв его ноги, воскликнул: «Здравствуй, отец!»

Джаккетто, выслушав графа и увидев, что Перотто опустился пред ним на колени, от радостного изумления растерялся, однако ж поверил рассказу и, устыдившись той брани, какою он имел обыкновение осыпать графа-конюха, со слезами пал к его ногам и обратился к нему с покорною просьбою простить обиды, которые он ему прежде чинил, — граф поднял его с колен и великодушно простил. После того как все трое поведали друг другу разнообразные свои приключения, поплакали, порадовались, Перотто и Джаккетто хотели было переодеть графа, однако ж граф наотрез отказался и настоял на том, чтобы Джаккетто, добившись от короля заверения в том, что он получит обещанную награду, представил его в одежде конюха, дабы королю было еще стыднее.

Итак, Джаккетто, а за ним граф и Перотто явились пред королевские очи, и Джаккетто сказал, что он приведет к королю графа и его детей с тем условием, что король наградит его согласно указу. Король тот же час велел принести награду, каковая своею щедростью привела Джаккетто в изумление, и сказал, что он получит ее, если сдержит слово и покажет ему графа с детьми. Тут Джаккетто обернулся и, выдвинув вперед графа-конюха и Перотто, молвил: «Государь! Вот отец и сын. Дочери, моей жены, здесь нет, но, бог даст, вы ее скоро увидите». Король впился глазами в коленопреклоненного графа, и, хотя тот сильно изменился, он, взглядевшись, узнал его, со слезами на глазах поднял с колен, обнял, расцеловал, затем радостно приветствовал Перотто и отдал распоряжение, чтобы отныне всё у графа — одежда, прислуга, кони, снаряжение — приличествовало его званию, что и было исполнено незамедлительно. Почтив Джаккетто, он пожелал узнать его историю. Джаккетто взял великую награду, полагавшуюся ему за то, что он привел к королю графа и его сына, и тут граф ему сказал: «Прими сей щедрый дар его величества короля да не забудь сказать своему отцу, что у твоих сыновей и моих внуков дед со стороны матери — не бродяга».

Получив награду, Джаккетто вызвал в Париж жену и ее свекровь, приехала и супруга Перотто, и все зажили счастливо, равно как и граф, которого король мало того, что восстановил во всех правах, но и против прежнего возвысил. Наконец с дозволения короля гости его возвратились восвояси, а сам король до самой смерти жил в Париже, и слава о нем была громче, чем когда бы то ни было.





*Генуэзец Бернабо, которого обманул и обворовал Амброджоло,  
велит убить свою ни в чем не повинную жену;  
ей удается спастись, и она, в мужском одеянии, поступает на службу к султану;  
обнаружив обманщика в Александрии, она вызывает туда Бернабо,  
обманщик наказан, она же вновь облачается в женское одеяние и,  
разбогатея, возвращается с мужем в Геную*



огда Элисса, исполнив свою обязанность, рассказала трогательную повесть, королева Филомена, пригожая, статная, отличавшаяся особой привлекательностью и приветливостью, подумала и сказала:

— Наш уговор с Дионео должен остаться в силе, и так как, кроме него и меня, рассказывать больше некому, то сейчас буду рассказывать я, а Дионео, — раз он сам об этом просил, — после меня.

И начала она так:

— Всем хорошо известна народная поговорка: «Обманщик от обманутого не уйдет». Справедливость этой поговорки трудно доказать путем умозрительным — ее подтверждают случаи из жизни. И вот, милейшие дамы, мне вспало на ум — придерживаясь заданной темы, в то же время доказать справедливость этой самой поговорки. Вам же должно быть небезлюбопытно выслушать мой рассказ, ибо он научит вас остерегаться обманщиков.

В одной из парижских гостиниц остановились богатейшие итальянские купцы, приехавшие в Париж, как это у них водится, по делам. И вот как-то вечером после веселого ужина стали они меж собой толковать о различных предметах: слово за слово, заговорили, наконец, о женах, которых они оставили дома.

Тут кто-то из них возьми да и пошути: «Не знаю, что сейчас поделяет моя жена, — сказал он. — Я знаю одно: если мне тут приглянется какая-нибудь девица, я супружескую-то верность в карман спрячу, а уж с ней натешусь в свое удовольствие».

А другой купец: «Я тоже могу себе представить, как развлекается сейчас моя супружница! А если даже я этого себе и не представляю, она-то ведь все равно развлекается. Будем же и мы развлекаться: как аукнется, так и откликнется».

Третий пришел почти к такому же заключению. Словом сказать, все как будто сошлось на том, что оставленные жены даром терять время не будут.

Лишь один из них, генуэзец Бернабо Ломеллин, высказал мнение противоположное — он утверждал, что его жена по милости божией наделена всеми добродетелями, какими только женщине надлежит украшаться, в большей мере, чем какая-либо другая итальянка, даже в большей мере, чем рыцарь или оруженосец: она хороша собой, молода, ловка, сильна и прелекая искусница в любом рукоделии, как, например, в вышивании шелком и прочем тому подобном. Еще он сказал, что нет такого лакея или же слуги, который лучше и ловчее прислуживал бы за столом своего господина, чем она, ибо она женщина благовоспитанная, находчивая и сообразительная. Затем он отметил, что она прекрасно ездит верхом и обращается с ловчей птицей, а читает, пишет и считает не хуже любого купца. Расхвалив ее, он перешел к предмету беседы и клятвенно уверял, что в целом мире не найдется такой честной и скромной женщины, как она, и он-де совершенно убежден, что если б он даже на десять лет уехал, а то и навсегда, все равно она бы не стала баловаться с мужчинами. При последних его словах принимавший участие в беседе молодой купец, Амброджоло из Пьяченцы, закатился хохотом, а затем с усмешечкой спросил Бернабо: уж не император ли предоставил ему такого рода привилегию? Бернабо, слегка задетый, ответил, что послал ему такую милость не император, а сам господь, который, верно уж, посылней императора будет.

Амброджоло ему на это сказал: «Я нимало не сомневаюсь, что ты, Бернабо, уверен в своей правоте, однако ж, сколько я могу судить, ты не проник в природу вещей, а ведь ты человек толковый, и если б ты проник, то обнаружил бы в ней нечто такое, что вынудило бы тебя высказываться по сему поводу с большей осторожностью. А чтобы убедить тебя, что мы не оттого так вольно говорили о наших женах, что они другой породы и иначе сотворены, нежели твоя, а оттого, что так нам подсказывает здравый смысл, я намерен потолковать с тобой об этом предмете особо. Я давно слышал, что мужчина — самая благородная из всех божьих тварей; сейчас же за мужчиной идет женщина, однако мужчина, по общему мнению, — да и сама жизнь этому уচিত, — существо более совершенное, а коли он большими наделен совершенствами, то, вне всякого сомнения, он должен быть более стойким, и так оно и есть на самом деле, ибо в общем женщины менее постоянны, а почему так — на то есть много причин естественного характера, однако же сейчас я не стану о них распространяться. Так вот, ежели мужчина, более стойкий, чем женщина, не может не снизойти к просьбам женщины, не может не пожелать той, что ему приглянулась, более того: не может не сделать все, что только в его силах, ради того, чтобы обладать ею,

причем это случается с ним не раз в месяц, а тысячу раз на день, то как же ты хочешь, чтобы женщина, по самой своей природе изменчивая, устояла против домогательств, лести, подношений и великого множества других средств, коими умный человек, полюбив ее, не преминет воспользоваться? Неужели ты думаешь, что она не сдастся? Хотя ты на том стоишь, я, по чести, не верю, что ты сам в это веришь. Ты же сам говоришь, что жена твоя — женщина, она, как и все прочие женщины, из плоти и крови. А когда так, то у нее должны быть такие же точно желания и такие же точно силы противодействия естественным побуждениям, как и у других. Вот почему я вполне допускаю, что хотя она и честная-расчестная, а поступит, как и всякая другая на ее месте, так что ты напрасно столь яростно споришь и тщишься доказать противоположное».

Бернабо ему на это возразил: «Я не философ, а купец и отвечу тебе как купец. Я стою на своем: то, что ты имеешь в виду, может приключиться с женщинами безрассудными, у которых стыда нет. Рассудительные же так строго блюдут свою честь, что, охраняя ее, становятся сильнее мужчин, которые о своей чести не заботятся. К числу таких именно женщин принадлежит и моя жена».

Амброджоло не унимался: «Конечно, ежели бы у них всякий раз, когда они забалуется, выростал на лбу рог в знак того, чем они занимаются, то, По моему разумению, охотниц нашлось бы мало. Но они до того предусмотрительны, что не токмо насчет рогов — у них все концы в воду, а ведь срам и бесчестье и заключены в том, что выходит наружу, и коль скоро они умеют так устроить, чтобы все было шито-крыто, то они и действуют, если же не действуют, то только по своей дурости. Можешь мне поверить: та женщина непорочна, у которой никто никогда не просил, или же та, чьи просьбы не были услышаны. Я понимаю, что все это вполне естественно и так тому и быть надлежит, и все-таки я не стал бы так уверенно об этом говорить, если б не испытал этого много раз и со многими женщинами. Позволь тебе сказать: я готов побиться об заклад, что, побудь я наедине с безгрешной твоей женой, в короткий срок я довел бы ее до того самого, до чего доводил и всех прочих».

Задетый за живое, Бернабо ответил ему так: «Словопрение может тянуться до бесконечности: я свое, а ты свое — эдак мы никогда ни до чего путного не договоримся. Ты, однако же, утврждаешь, что все женщины податливы, и хвастаешь своею неотразимостью, так вот, дабы ты убедился в честности моей жены, я готов сложить голову на плаху в том случае, если тебе удастся потехи ради подбить ее на такое дело; если же не удастся, я с тебя возьму не более тысячи золотых».

Амброджоло вошел в азарт. «Не знаю, Бернабо, чтобы я в случае выигрыша стал делать с твоею кровью, — сказал он, — но если ты хочешь удостовериться на опыте в том, что я прав, ставь против моей тысячи пять тысяч золотых, которые, уж верно, не так тебе дороги, как голова. Назначай срок, а не то так я обязуюсь незамедлительно выехать в Геную и в течение трех месяцев, считая со дня моего отъезда, совершить с твоей женой то, что мне угодно, а в виде доказательства привезти вещи, кото-

рые ей особенно дороги, и назвать некие приметы, которые вынудят тебя признать, что все так и было, — дай только честное слово, что ты за это время ни разу в Геную не приедешь и жене о нашем уговоре ничего не напишешь».

Бернабо охотно согласился. Присутствовавшие при сем другие купцы пытались помешать этой сделке, ибо они предвидели, что добром она не кончится, однако ж оба спорщика и слышать ни о чем не хотели и наперекор всем заключили письменное соглашение.

После того как условие было заключено, Бернабо остался в Париже, а Амброджоло при первой возможности выехал в Геную. В течение нескольких дней он с величайшей осторожностью наводил справки: на какой улице та дама проживает, каков ее нрав, сведения же он здесь получил еще менее утешительные, чем от Бернабо, и вся его затея оказалась ему безрассудной. Со всем тем он свел знакомство с одной бедной женщиной, которая часто у той дамы бывала и к которой та благоволила, однако ж сумел подбить ее посредством подкупа лишь на то, чтобы она велела внести его в особо устроенном для этой цели ящике не просто в дом, а в один из покоев почтенной дамы. Как научил ее Амброджоло, достойная женщина под предлогом, что ей нужно куда-то пойти, удалась, а ящик попросила несколько дней подержать. Итак, ящик остался в комнате, и ночью, решив, что хозяйка, уж верно, спит, Амброджоло с помощью особых инструментов открыл ящик, а затем на цыпочках вошел в комнату, где горел свет. Он принялся изучать расположение комнаты, украшавшую ее живопись и все, что было в ней примечательного, и старался запомнить. Наконец приблизился к кровати и, уверившись, что дама и ее малолетняя дочка крепко спят, тихонько раскрыл даму и, обнаружив, что, нагая, она так же прекрасна, как и одетая, не нашел на ее теле ни одного знака, о котором он мог бы упомянуть, кроме того, что под левою грудью у нее была родинка, а вокруг несколько золотистых волосков. Затем он столь же осторожно прикрыл ее, хотя, удостоверившись, что она так хороша, готов был пойти на риск и присесть к ней. Ему вспомнилась молва об ее суровом и крутом нраве, о том, что баловства она не любит, и это его удержало. Большую часть ночи он хозяйничал у нее в комнате, вынул из шкафа кошелек и плащ, несколько поясов и колец, сложил к себе в ящик, опять туда влез и заперся. И так он орудовал две ночи подряд, а хозяйка ничего не подозревала. На третий день достойная женщина, как у нее с Амброджоло было уговорено, явилась за своим ящиком и велела доставить его по назначению. Выйдя из ящика, Амброджоло, согласно данному обещанию, расплатился с женщиной и досрочно прибыл с похищенными вещами в Париж.

Созвав купцов, присутствовавших при переговорах и при заключении условия, он объявил Бернабо, что выиграл заклад, ибо совершил то самое, что хвалился совершить. И в доказательство он прежде всего описал расположение комнаты и ее убранство, а затем показал привезенные вещи, присовокупив, что получил их от жены Бернабо. Бернабо признал, что расположение комнаты именно таково, как Амброджоло ее

описал, и что вещи, точно, принадлежат его жене, однако не преминул заметить, что расположение комнаты Амброджоло мог выпытать у кого-либо из слуг и с их помощью завладеть вещами, так что этого, мол, еще недостаточно, а потому если-де Амброджоло не предъявит еще чего-либо, он не признает его выигравшим заклад.

Амброджоло ему на это возразил: «По правде говоря, этого вполне достаточно, однако ты требуешь, чтобы я еще что-нибудь сказал, — ну что ж, и скажу. Могу тебе еще сказать, что у твоей жены, госпожи Джиневры, под левой грудью изрядная родинка, а вокруг шесть золотистых волосков».

Бернабо как будто ножом в сердце ударили — так ему стало вдруг больно, и он сразу изменился в лице — настолько, что если бы даже он не произнес ни слова в ответ, одно это было бы уже явным знаком того, что Амброджоло молвил правду, но после некоторого молчания он подтвердил: «Господа! Амброджоло молвил правду. Таким образом, он выиграл заклад, — пусть приходит, когда ему будет угодно, и я с ним расплачусь». И на другой день он вручил Амброджоло все деньги.

А еще через день Бернабо отбыл из Парижа и, пылая гневом на жену свою, поехал в Геную. Въехать в город он не пожелал, а расположился в своем именье, в двадцати милях от города. Одного из своих слуг, пользовавшегося особым его доверием, он направил одвуконь в Геную с письмом к жене, в котором извещал о своем приезде и наказывал ехать к нему со слугою, слуге же отдал тайное распоряжение дорогой порешить ее без милосердия, выбрав для сего наиболее удобную местность, а затем возвратиться к нему. Слуга приехал в Геную, передал письмо, выполнил поручение, — госпожа ему очень обрадовалась. Наутро она и слуга сели верхами и поехали в именье.

Ехали они, ехали, всю дорогу оживленно беседуя, и наконец меж скал и дерев их взору открылась глубокая и пустынная низина. Решив, что здесь он может безнаказанно исполнить повеление своего господина, слуга вытащил нож, взял женщину за руку и сказал: «Помолитесь о своей душе, сударыня: дальше вы не поедете, — тут вам и конец».

Увидев нож и услышав такие речи, госпожа в ужасе вскричала: «Смилуйся, Христа ради! Прежде чем убивать, ответь мне: какое зло я тебе причинила? За что ты меня хочешь убить?»

«Мне, сударыня, вы никакого зла не причинили, — отвечал слуга, — а вот какое зло вы причинили мужу — об этом я могу судить лишь по тому, что он мне приказал без милосердия порешить вас дорогой и пригрозил: если, дескать, я его приказа послушаюсь, то он меня повесит. Вам ведомо, что я человек подневольный, — как откажусь? Видит бог: мне вас жалко, да ничего не поделаешь».

Тут госпожа залилась слезами. «Смилуйся, ради Христа! — взмолилась она. — Не убивай в угоду другому человеку, который ничего дурного тебе не сделал. Бог свидетель: я перед мужем чиста и ничем не заслужила такого возмездия. Но пока мы об этом говорить не будем. Если хочешь, ты можешь угодить одновременно богу, своему господину и мне, и вот каким образом: возьми мою одежду, а взамен дай мне свое

полукафтанье и плащ, поезжай к своему господину и скажи, что ты меня убил. Клянусь тебе жизнью, которую ты мне даруешь: я удалюсь и уйду в такие места, что вести обо мне сюда не дойдут и не долетят ни до него, ни до тебя».

Слуга не охотой пошел на такое дело, и разжалобить его было легко. Взял он ее одеянье, взамен отдал свой плащ и полукафтаньишко, деньги, какие при ней были, оставил ей и, попросив удалиться отсюда, пешей оставил ее в низине, а сам поехал к своему господину и доложил, что приказ исполнен и что труп госпожи он бросил на съеденье волкам. Бернабо немного погода возвратился в Геную, и те, кто про все это сведал, очень его осуждали.

А безутешная супруга его осталась одна-одинешенька; дождавшись ночи, она, сколько могла, изменила свой внешний вид и направила путь в ближайшее селение; здесь одна старушка надела на нее всем необходимым, а она перешла полукафтанье, укоротила его, чтобы оно было ей как раз, из сорочки сделала шаровары, остриглась и, преобразив себя в моряка, вышла к морю, и тут по счастливой случайности встретился ей каталонский дворянин, сеньор Энкарарх, — чтобы подышать прохладой возле родника, он сошел со своего корабля, стоявшего неподалеку, в Альбенге. Поговорив с ним, она поступила к нему в услужение и под именем Сикурано из Финале села на его корабль. Добрый человек приодел ее, она же служила ему ревностно и расторопно и через то вошла к нему в особую милость. Некоторое время спустя каталонец прибыл с грузом в Александрию и преподнес султану ловчих соколов. Султан несколько раз приглашал его обедать и, обратив внимание на повадки Сикурано, неизменно являвшегося прислуживать своему господину, проникся к слуге расположением и попросил каталонца уступить Сикурано ему, каталонец же, хотя и скрепя сердце, просьбу его исполнил.

За короткий срок Сикурано своею верною службой добился того, что султан не меньше ему доверял и не меньше любил его, чем до него каталонец. В определенное время года в Акру, находившуюся под властью султана, съезжалось, вроде как на ярмарку, великое множество купцов христианских и сарацинских, и на эту ярмарку султан имел обыкновение посылать для охраны купцов и товаров, помимо чиновников, кого-либо из своих приближенных с вверенными ему людьми, которым и вменялось в обязанность нести охрану. И вот, когда пришла пора, он положил отправить туда с этой целью Сикурано, который уже хорошо знал их язык. Так он и поступил. Коротко говоря, Сикурано, прибыв в Акру как начальник и руководитель охраны купцов и товаров, добросовестно и ревностно взялся за дело и, обходя дозором торг, встречался с сицилийскими, пизанскими, генуэзскими, венецианскими и другими итальянскими купцами и охотно со своими соотчичами сближался. И вот как-то раз, остановившись у лавки венецианских купцов, среди прочих драгоценностей он с изумлением обнаружил свой кошелек и пояс. Не показывая, однако же, вида, он вежливо спросил, чьи это вещи и не продаются ли они.

Здесь тогда находился Амброджоло из Пьяченцы — он прибыл сюда морем на венецианском корабле с большим грузом товаров. Услышав, что начальник охраны осведомляется, чьи это вещи, он выступил вперед и со смехом сказал: «Это мои вещи, мессер, и я не продаю их, но если они вам нравятся, я вам с удовольствием их подарю».

Видя, что купец смеется, Сикурано заподозрил, что он его по каким-либо приметам узнал, однако ж ни один мускул на его лице не дрогнул. «Ты, уж верно, смеешься над тем, что я человек военный, а расспрашиваю о всяких женских украшениях?» — спросил он.

Амброджоло ему на это: «Нет, мессер, я смеюсь над тем, как они мне достались».

«Сделай милость, — молвил Сикурано, — расскажи нам, как они тебе достались, если только тут нет чего-нибудь неприличного».

«Эти вещицы, мессер, — начал Амброджоло, — и еще кое-что подарила мне на память почтенная генуэзская дама, госпожа Джиневра, жена Бернабо Ломеллина, в ту самую ночь, когда я с нею спал. А смеюсь я вот над чем: вспомнился мне дуралей Бернабо — он был до того безрассуден, что поставил пять тысяч золотых против моей тысячи: мне, мол, соблазнить его жену не удастся, а я соблазнил и заклад выиграл, он же, вместо того чтобы наказать самого себя за глупость, а не жену, которая поступила так, как все женщины поступают, по приезде из Парижа в Геную велел как я слышал, убить ее».

Тут только уразумел Сикурано, за что на нее прогневался Бернабо, и, удостоверившись, что во всех ее горестях повинен этот человек, порешил так этого не оставлять. Он сделал вид, что рассказ позабавил его, ловким образом с Амброджоло сдружился, да так, что тот, когда ярмарка разъехалась, по настоянию Сикурано вместе с ним и со всем своим достоянием отправился в Александрию, и тут Сикурано предоставил ему помещение для торговли, из своих собственных денег выдал ему на руки изрядный куш, и, прельщенный выгодой, Амброджоло охотно в Александрии поселился. Сикурано не терпелось уверить Бернабо в своей невинности, и он не успокоился до тех пор, пока при посредстве богатых генуэзских купцов, приезжавших в Александрию, под разными предложениями не вызвал его сюда. Бернабо обеднел, а потому Сикурано тайно упросил одного из приятелей своих на время приютить его, — до тех пор, пока он, Сикурано, не найдет своевременным замысел свой претворить в жизнь.

Сикурано между тем уговорил Амброджоло позабавить султана рассказом о своем походе. Когда же в Александрию приехал Бернабо, Сикурано решил, что мешкать нечего, и, улучив минутку, обратился к султану с просьбой позвать Амброджоло и Бернабо и при Бернабо не лаской, так строгостью вытянуть из Амброджоло истину: как, дескать, взаправду обстояло у него дело с женой Бернабо, победою над которой он бахвалился? Когда же Амброджоло и Бернабо явились по зову, султан в присутствии многих лиц грозными очами посмотрел на Амброджоло и велел сказать без утайки, каким образом выиграл он у Бернабо пять тысяч золотых. Амброджоло понадеялся на заступничество Сикура-

но, который тоже тут находился, однако ж Сикурано с еще более неумолимым видом пригрозил, что если тот не расскажет, то его лютые ожидают мучения. После того как Амброджоло с двух сторон припугнули, он, не видя иного выхода и предполагая, что в виде наказания его, самое большее, заставят вернуть пять тысяч золотых и похищенные вещи, показал все начистоту.

Когда же Амброджоло смолк, Сикурано, как бы от имени султана, обратился к Бернабо: «А как ты, поверив этим небылицам, поступил со своею женой?»

Бернабо на это ответил так: «Утратив состояние, опозоренный, как мне тогда представлялось, моею женой, я в запальчивости велел слуге умертвить ее, тело же ее, как он мне потом сказывал, съели волки».

После того как султан все это услышал и взял в т о л к , — хотя ему все еще было невдомек, к чему, однако ж, клонит Сикурано, затеявший этот допрос и самолично чинивший е г о , — Сикурано обратился к своему повелителю с такою речью: «Ваше величество! Теперь вы можете судить, как повезло этой доброй женщине и на любовника и на мужа: любовник обесчестил ее, оклеветал, опорочил и одновременно разорил ее мужа, а муж, вместо того чтобы посредством долговременных испытаний познать истину, верит напраслине, которую возвел на его жену чужой человек, и велит убить ее, а тело отдать на съеденье волкам. Ко всему прочему, благоволение и любовь к ней ее дружка и супруга так сильны, что ни тот, ни другой, несмотря на то что долго с нею сожительствовали, ее не узнали. Теперь вам должно быть совершенно ясно, чего каждый из них заслуживает, а потому, буде на то ваше соизволение, я накажу обманщика, прощу обманутого, а женщине велю предстать перед вами и перед ними».

Султан охотно пошел навстречу Сикурано и изъявил согласие на то, чтобы тот привел сюда женщину. Бернабо крайне был изумлен — до сего времени он был совершенно уверен, что жены его нет на свете, меж тем как Амброджоло, почувявший недоброе и опасавшийся, что одной уплатой денег он теперь уже не отделается, не зная, на что ему надеяться и чем появление той женщины в худшем случае может ему грозить, был еще более озадачен, нежели Бернабо.

Не успел султан дать свое соизволение, как Сикурано со слезами опустил перед ним на колени, и мужской голос мгновенно пропал у него вместе с желанием сойти за мужчину. «Ваше величество! — молвил о н . — Я и есть бедная, несчастная Джиневра, шесть лет терпевшая нужду и мыкавшаяся по свету под видом мужчины, злодеем Амброджоло обоганная и в преступных целях оклеветанная, а жестоким и несправедливым супругом обреченная на смерть от руки слуги его и на снесь волкам». И тут она разорвала на себе спереди одежду и, обнажив грудь, показала султану и всем прочим, что она женщина, а затем, обратясь к Амброджоло, вне себя от возмущения задала ему вопрос, когда же это он с нею спал, а тот сейчас узнал ее и словно онемел от стыда.

Султан, до того дня принимавший ее за мужчину, все это видя и слыша, пришел в такое изумление, что все, что он сейчас видел и слышал,

показалось ему скорее похожим на сон, чем на явь. Наконец, оправившись от потрясения и уверившись, что все это правда, он превознес Джиневру, прежде именовавшуюся Сикуруно, за ее нрав и образ жизни, за ее постоянство и за ее добродетели. Он велел наделить ее роскошным женским одеянием и окружить ее, согласно ее просьбе, женским обществом и отменил смертную казнь, полагавшуюся Бернабо, а Бернабо, узнав жену, пал к ее ногам, рыдая и моля о прощении, и жена великодушно его простила, хотя он этого и не заслуживал, велела ему встать и нежно, как мужа, его обняла.

Затем султан повелел немедленно привязать Амброджоло где-нибудь на высоком и солнечном месте к колу, вымазать медом и не отвязывать до тех пор, покада он не упадет, что и было исполнено. Затем он повелел все имущество, принадлежавшее Амброджоло, отдать Джиневре, имущество же его представляло ценность немалую: свыше десяти тысяч дублонов. Кроме того, он распорядился устроить в честь Бернабо и в честь достойнейшей женщины — супруги его, госпожи Джиневры, великое торжество и подарил ей столько драгоценных вещей, столько золотых и серебряных сосудов и столько денег, что в сумме это составляло еще десять тысяч дублонов. Наконец велел снарядить корабль и по окончании празднеств дозволил им, если они того хотят, возвратиться в Геную, и возвратились они туда богачами, в несказанном душевном веселии, и приняты были с великою честью, особливо госпожа Джиневра, которую никто уже не чаял встретить в живых и которую при ее жизни многие почитали за женщину весьма благонравную. Амброджоло между тем в тот самый день, когда его привязали к колу и намазали медом, был съеден до костей мухами, осами и слепнями, коими та местность обильна, и в великих муках скончался, и державшиеся на жилах белые его кости, которые долго никто не убирал, свидетельствовали всем, кто только обращал на них взор, об его злодействе. Так-то вот обманщик не ушел от обманутого.





*Паганино из Монако похищает жену мессера Риччардо да Киндзика; тот, узнав, где она, едет туда же и, подружившись с Паганино, просит вернуть ему жену; Паганино изъявляет согласие — с условием, однако ж, что она сама того захочет; она не пожелала, а когда мессер Риччардо скончался, вышла замуж за Паганино*



се благородное общество весьма одобрило прекрасную повесть, королевой рассказанную; особенно одобрил ее Дионео, которому предстояло рассказать сегодня последнюю повесть. Расхвалив королеву, он начал так:

— Приятные дамы! Одно место в повести королевы вынудило меня изменить первоначально моему намерению и рассказать о другом: я имею в виду дикость Бернабо (впрочем, его все же не погубившую), а равно и других мужчин, которые верят в то, во что, как оказалось, верил он, а именно — в то, что, пока они, странствуя по белу свету, то с той, то с другой развлекаются, их жены сидят сложа руки, а ведь все мы среди женщин растем и живем, так нам ли не знать, к чему их влечет? В своей повести я покажу, как глупы такие люди и насколько глупей их те, которые, воображая, что они сильнее природы, при помощи ложных доказательств тщатся убедить себя, будто они способны совершить то, что явно им не по силам, и такие же точно свойства приписывают другим, хотя бы свойства эти им были не сродны.

Итак, жил-был в Пизе судья, мессер Риччардо да Киндзика, и судья этот мог похвалиться не столько силой, сколько разумением. Будучи богат, а также уповая, что будущая его супруга удовольствуется тем, что с такого занятого человека, как он, взятки гладки, он с немалым упорством искал себе красивую и молодую невесту, а между тем, если б он присоветовал себе то самое, что советовал другим, то не след было бы ему зариться на красивых и молодых. Желание его исполнилось: мессер Лотто Гваланди отдал за него дочь Бартоломею, одну из самых красивых

и обворожительных пизанок, многие из которых своею увертливостью не уступают, однако же, ящерицам. Торжественно введя ее к себе в дом и отпраздновав пышную и великолепную свадьбу, мессер Ричхардо в первую ночь ради своего бракосочетания отважился-таки на нее посягнуть, но чуть было не отдал концы. По сему случаю наутро ему, как человеку худому, сухопарому и слабосильному, пришлось возвращать себя к жизни верначчей, укрепляющими карамельками и прочими тому подобными снадобьями. Теперь уже строго рассчитывая свои силы, господин судья начал обучать жену численнику, выданному в свет, по всей вероятности, в Равенне и пригодному разве для того, чтобы забавлять тамошних школяров. По его выходило так, что не было дня в году, на который не приходилось бы мало одного — нескольких праздников, и раз, дескать, муж и жена эти праздники чтут, то и должны они по разным причинам в эти дни от соитий воздерживаться, а к праздничным дням он еще добавил дни постные, малые посты, кануны дней памяти апостолов и сонма других святых, пятницы и субботы, Пасху, весь Великий пост, фазы луны и сделал еще множество исключений, — как видно, он был того мнения, что дела постельные также требуют дней отдыха, каковые он время от времени устраивал себе на службе. Такого образа действий он, к великому неудовольствию своей жены, которой причитался от силы раз в месяц, да и то не всегда, долгое время придерживался и зорко следил за тем, чтобы кто-нибудь не научил ее вести счет дням рабочим, как он научил ее вести счет праздничным.

Однажды в жаркое время года мессеру Ричхардо припала охота поехать для развлечения в свое прекрасное имение близ Монте Неро и там несколько дней подышать воздухом, и взял он с собой красавицу жену. Чтобы позабавить ее, он как-то раз отправился с ней на рыбную ловлю: в одной лодке находился он с рыбаками, а в другой — она и еще несколько женщин. Рыбная ловля так увлекла их, что они не заметили, как очутились в открытом море, — от берега их отделяло несколько миль. Лов поглощал почти все их внимание, а в это время показалась галера знаменитого корсара Паганино да Маре, и как скоро Паганино завидел лодки, тот же час направился к ним. Та лодка, где находились женщины, отстала, и Паганино углядел в ней красавицу, а ему только этого и надо было: на глазах у мессера Ричхардо, который был уже на берегу, он пересадил его жену к себе на галеру — и только его и видели. Нечего и говорить, как был убит этим обстоятельством господин судья, ревновавший свою благоверную даже к воздуху. Не имея понятия, кто похитил у него жену и куда завез ее, он подавал жалобы на злодеев корсаров и в Пизе, и в других городах, но безуспешно.

Между тем Паганино, удостоверившись, что пленница — красотка, остался доволен, а так как жены у него не было, то порешил он держать ее при себе и, видя, что она плачет навзрыд, с помощью ласковых слов постарался ее утешить. Когда же настала ночь, численник выпал у него из-за пояса, и он, выбросив из головы праздничные дни, равно как и дни отдыха, принялся утешать ее делом, ибо слов, которые он говорил ей днем, оказалось, — сколько он понимал, — недостаточно. И так он ее

разутешил, что она еще не успела приехать в Монако, а судья и все его законы выскочили у нее из головы, и она превесело зажила с Паганино. В Монако Паганино не только утешал ее денно и ночью, но и окружал почетом, как законную жену.

Некоторое время спустя мессер Ричхардо дознался, где находится его супруга, и, пылая страстью, заранее соглашаясь на любой выкуп, порешил сам за нею съездить, так как считал, что никто другой на его месте не сделает всего, что нужно, для того чтобы она возвратилась. В Монако он поехал морем, и там они случайно встретились, и в тот же вечер она рассказала про эту встречу Паганино и объявила ему свою волю. На другое утро мессер Ричхардо познакомился с Паганино, в короткое время близко с ним сошелся и подружился, Паганино же делал вид, что не знает, кто он таков, и выжидал. Когда же мессер Ричхардо нашел, что пора действовать, он в самых учтивых и мягких выражениях открыл ему цель своего приезда и сказал, чтоб он какой угодно выкуп с него взял, а чтоб жену его отдал.

Паганино же ему с приветливым видом молвил: «Добро пожаловать, мессер! Я вам на это отвечу в нескольких словах: у меня, точно, живет молодая женщина, вот только мне неизвестно, ваша ли она жена или же еще чья, — вас-то я ведь не знаю, да и с ней знаком без году неделю. Коли вы в самом деле ей муж, то я вас к ней сведу, тем более что вы, сколько я мог заметить, человек обходительный и добропорядочный, и я уверен, что она вас сейчас узнает. Если она все подтвердит и изъявит желание вернуться к мужу, я из уважения к вам возьму за нее выкуп, какой вы сами назначите. Если же вы сказали неправду, то грех вам будет отнимать ее у меня: я человек молодой, ничем не хуже других, — почему бы мне не иметь любовницу, да еще такую, краше которой я отродясь не выдывал?»

Мессер Ричхардо ему на это ответил: «Она воистину моя жена, — ты в этом убедишься, как скоро сведешь меня к ней: ты только исполни свое обещание, а она сию же минуту бросится ко мне на шею».

«Ну, и д е м », — сказал Паганино.

Итак, они пошли к Паганино, и, войдя к себе, Паганино за ней послал, она же вышла к ним разубранная и разряженная, однако ж с мессером Ричхардо обошлась так, как обошлась бы с любым посторонним человеком, которого привел бы к себе в дом Паганино. Судья, ожидавший, что она ему невесть как обрадуется, пришел в немалое изумление. «Может статься, долговременная скорбь и печаль от разлуки с нею так меня изменили, что она меня не узнает?» — сказал он себе и обратился к ней с такими словами: «Жена моя! Дорого мне обошлась рыбная ловля, на которую я тебя повез. Никто на свете так не горевал, как горевал я в разлуке с тобой, а ты меня д и ч и ш ь с я, — как видно, не узнаешь. Присмотришь повнимательней — я твой Ричхардо, и приехал я сюда, чтобы уплатить этому достойному человеку, в доме которого мы сейчас находимся, сколько бы он ни запросил, заполучить тебя и увезти к себе. Он же так любезен, что предлагает мне самому назначить цену выкупа».

Дама усмехнулась. «Мессер! — молвила она, обращаясь к нему. —

Это вы мне говорите? Вы, уж верно, приняли меня за другую — я, по крайней мере, не могу вспомнить, чтобы я вас где-нибудь видела».

«Да что с тобой! — вскричал тут мессер Риччардо. — Присмотрись ко мне получше, напряги свою память — ты убедишься, что я точно твой Риччардо да Киндзика».

«Извините, мессер, — молвила дама, — может быть, даже вы меня и осудили за то, что я неподобающе долго на вас глядела, — как бы то ни было, насмотрелась я на вас предостаточно и удостоверилась, что вижу вас первый раз в жизни».

Мессер Риччардо, вообразив, что она боится Паганино и потому не осмеливается в присутствии возлюбленного признать его, немного погодя обратился к Паганино с просьбой дозволить ему поговорить с ней наедине в другой комнате. Паганино дозволил, с тем, однако ж, условием, что мессер Риччардо не будет насильно ее целовать, а даме приказал пойти с ним в другую комнату, выслушать его и ответить, что ей бог на душу положит.

Итак, дама и мессер Риччардо перешли в другую комнату, сели, и тут мессер Риччардо снова обратился к ней: «Сердце мое, душенька моя, радость моя! Неужто ты не узнаешь своего Риччардо, который любит тебя больше самого себя? Как же так? Неужто я до такой степени изменился? Ну, погляди же на меня, свет очей моих!»

Дама расхохоталась и, прервав его, заговорила: «Вы, конечно, понимаете, что не настолько же я беспамятна, чтобы не признать, что вы мой муж, мессер Риччардо да Киндзика. Но во время нашей совместной жизни вы доказали, что вы меня знаете плохо: будь вы в самом деле человек неглупый, каковым вы желаете прослыть, вы бы сообразили, что я женщина молодая, свежая, здоровая, а вам должно было быть известно, что требуется молодым женщинам помимо пищи и одежды, хотя они стесняются о том говорить. Вы сами знаете, как вы эту потребность удовлетворяли. Коль скоро заниматься изучением законов вам было приятнее, чем заниматься с женой, тогда незачем было жениться. Хотя, впрочем, я почитала вас не за судью, а за глашатая праздников и дней отдыха, — так хорошо вы их помните, — равно как постов и канунов. Вот что я вам скажу: если б вы для работников в ваших поместьях установили столько же дней отдыха, сколько установили вы их для того, кому надлежало возделывать малое мое поле, вам бы ни одного зерна собрать не удалось. Бог пожалел мою младость, и по его милости я напала на этого человека, с которым теперь живу вот в этой комнате, где не знают, что такое праздник (я разумею праздники, которые вы, усерднее служивший богу, чем женщинам, столь строго соблюдали). И ни разу еще в эту дверь не вошли ни субботы, ни пятницы, ни кануны, ни малые посты, ни столь продолжительный Великий пост, — напротив того, здесь трудятся день и ночь и теребят шерсть. У нас с первого же раза пошло дело на лад. Вот почему я намерена остаться здесь и, пока молода, буду с этим человеком трудиться, а праздники, исповеди и посты — все это я буду соблюдать, когда состарюсь. Не теряйте же даром времени, поезжайте домой и празднуйте без меня, сколько вашей душе угодно».

Слушая такие речи, мессер Ричхардо испытывал нестерпимую душевную боль; когда же его супруга умолкла, он воскликнул: «Ах, душенька моя, подумай, что ты говоришь! Неужто ты ни во что не ставишь честь родителей твоих и свою честь? Неужто ты предпочитаешь быть наложницею этого человека, что есть грех смертный, нежели в Пизе быть моею женою? Когда ты ему надоешь, он прогонит тебя и тем осрамит на весь свет, мне же ты всегда будешь мила, и даже когда меня не станет, ты будешь хозяйкой в моем дому. Неужто ты ради утolenия разнузданной и злонравной похоти пожертвуешь своим благонаравием и мною, любящим тебя больше жизни? Бесценная моя радость! Ничего мне больше не говори, и поедем ко мне. Теперь мне ясно, чего тебе хочется, и уж я расстараясь! Ненаглядная моя! Перемени решение свое и вернись ко мне — с тех пор, как тебя отняли у меня, я места себе не нахожу!»

Дама ему на это ответила так: «О чести моей пусть никто не беспокоится, — все равно теперь поздно, — уж я сама о ней побеспокоюсь. Пусть бы о ней беспокоились мои родители, когда отдавали меня за вас! Они тогда о моей чести не беспокоились — с какой же стати буду я теперь беспокоиться об их чести? Пусть нет греховней моего проступка, зато для такого пестика я безотказная ступка, так что уж вы обо мне не беспокойтесь. И вот что я еще вам скажу: здесь я себя чувствую женой Паганино, а в Пизе что? Одна слава, что я спала с вами на одном ложе: наши с вами планеты пересекались и сходились только в определенные фазы луны и по геометрическим чертежам, меж тем Паганино всю ночь напролет не разжимает объятий, тискает меня да покусывает, а уж как возделывает-то меня, господи! Вы обещаете расстараться. Каким образом? В ничью играть, без толку удочку закидывать? Я слыхала, будто из вас знатный рыбак вышел. Ну так и поезжайте домой и лучше расстарайтесь насчет того, чтобы еще хоть сколько-нибудь пожить, а то не жилец вы на этом свете, как я погляжу: уж больно вы хлипкий да дохлый. И, наконец, вот что я вам скажу: если даже этот человек меня бросит, — а он, сколько я понимаю, и не собирается меня бросать, только бы я его не бросила, — я и не подумаю к вам возвращаться: вас сколько ни жми — чашки соку не выжмешь, и ведь уж я с вами побыла себе во вред и в убыток, так лучше я в другом месте поищу поживы. Повторяю: нет у нас здесь ни праздников, ни канунов, — вот почему я и намерена здесь остаться, а вы ступайте себе с богом, да поживее, а не то я закричу, что вы насильничаєте надо мной».

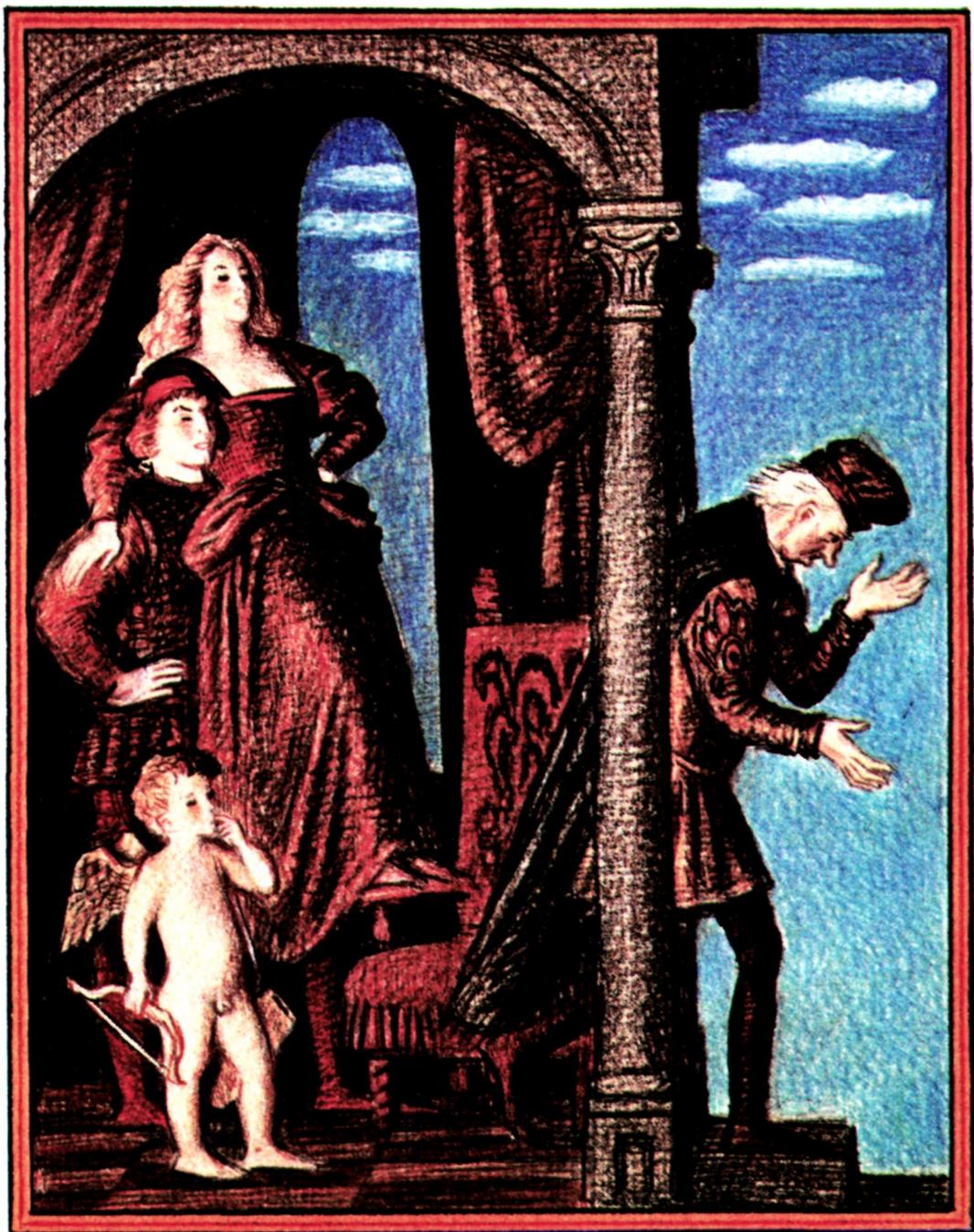
Мессер Ричхардо, увидев, что дело плохо, и только сейчас уразумев, как глупо он поступил, что, будучи слабосильным, женился на молоденькой, вышел из комнаты унылый и удрученный, а затем долго еще говорил с Паганино, но так ни с чем от него и ушел. Не добившись толку и отступившись, возвратился он в Пизу и с горя рехнулся: когда он теперь шел по городу, то всякому, кто с ним здоровался или же о чем-либо его спрашивал, он твердил одно и то же: «Мерзкая скважина праздновать не желает». А вскоре он умер. Как скоро сведал про то Паганино, то, приняв в соображение пламенную любовь этой женщины, вступил с нею в законный брак, и теперь они оба, не соблюдая ни

праздников, ни канунов и не постясь, трудились до полного изнеможения и веселились напрапалу. Так вот, милые мои дамы, я убежден, что в споре с Амброджоло Бернабо вполне мог бы опростоволоситься.

Эта повесть так насмешила общество, что у всех скулы заболели от смеха, а дамы в один голос сказали, что прав Дионео, а Бернабо дурак.

После того как повесть была досказана и смех затих, королева, удостоверившись, что уже поздно, что все повести рассказаны и что владычеству ее пришел конец, сняла, как того требовал установленный порядок, с головы венок, возложила его на Нейфилу и с веселым видом молвила: «Отныне, дорогая подруга, тебе властвовать над этим малым народом», — села на свое место. От этих почестей Нейфила слегка покраснела, и лицо у нее стало точно свежая апрельская или майская роза на рассвете, а чуть опущенные дивные глаза сияли подобно утренним звездам. Когда же умолк хвалебный шум, которым окружающие изъявили свой восторг и любовь к королеве, Нейфила воспряла духом и, выпрямив стан, заговорила:

— Итак, я теперь ваша королева, а потому, не отклоняясь от того образа правления, коего придерживались мои предшественницы, действия которых вы одобряли и которым вы повиновались, я в коротких словах объявляю вам свою волю, каковую мы и будем исполнять, если только вы ее одобрите. Сколько вам известно, завтра — пятница, а послезавтра — суббота, то есть дни, большинству людей неприятные из-за пищи, в эти дни дозволенной к употреблению. Кроме того, пятницу надлежит особенно чтить, ибо в этот день претерпел страсти тот, кто умер ради нашей жизни, а потому правильнее и приличнее всего было бы нам не рассказывать, а со страхом божиим молиться. Далее: по субботам женщины имеют обыкновение мыть голову и вообще смывать с себя всю пыль и всю грязь, которые за истекшую неделю могли к ним пристать в то время, как они трудились. Еще у нас весьма распространен обычай поститься в честь матери божьей, а в конце дня, во славу наступающего воскресенья, устраивать себе отдых от всех дел. Но так как мы не сможем во всем придерживаться этого уклада жизни, то я рассудила бы за благо и в субботу воздержаться от рассказов. Далее: мы здесь уже четыре дня, и если мы хотим избавиться от гостей, то я считаю своевременным отсюда удалиться и перейти в другое место, а куда именно — я уже надумала и о том позаботилась. Таким образом, времени для размышлений у нас будет достаточно, и когда мы в воскресенье после полуденного сна соберемся вновь, то не лучше ли нам, в противоположность сегодняшнему дню, несколько сузить предмет наших рассказов и ограничиться одним каким-нибудь обстоятельством, и я бы предложила рассказать *О том, как люди благодаря хитроумию своему добивались того, о чем они страстно мечтали, или же вновь обретали утраченное*. Пусть каждый обдумает такой рассказ на эту тему, который мог бы принести нашему обществу пользу или, по крайней мере, позабавить нас, а за Дионео мы льготу его сохраним.



Все единодушно одобрили речь и предложение королевы и постановили: быть посему. Она же, призвав дворецкого, подробно ему объяснила, где вечером расставить столы и каковы будут его обязанности во все время ее правления. После этого королева встала — а за ней и все общество — и объявила, что каждый волен заниматься чем хочет.

Дамы и мужчины пошли в садик, погуляли немного, а потом с удовольствием сели за ужин, каковой прошел у них весело. Когда же встали из-за стола, то по желанию королевы Эмилия повела круговой танец, а Пампинея запела, прочие же ей подпевали:

Как промолчать и не запеть могла я,  
Коль претворилась в явь мечта былая?

Приди ж, любовь, залог утех моих —  
Хмельных надежд и светлых сновидений,  
И песню мы споем  
Не о слезах и жалобах немых,  
Хотя с тобой все в радость — скорбь и пени,  
Но об огне твоём,  
Затем что мне гореть так сладко в нём,  
Тебя, божественная, восхваляя.

Любовь! Твой пламень охватил меня,  
Когда красавца юношу явила  
Ты взору моему.  
Не видела до этого я дня  
Ни в ком столь много сил, отваги, пыла.  
Нет равного ему,  
И я пою с тобою потому,  
Что страстью, госпожа, к нему пылаю.

Безмерно ты, любовь, щедра ко мне.  
Ведь нежный друг, дарованный тобою,  
И сам пленился мной.  
Я в здешней жизни счастлива вполне,  
А в неземной счастливей буду вдвое:  
Я верю всей душой  
Любимому, и нас творец благой  
За эту веру впустит в двери рая.

И долго еще потом пели, танцевали, играли на разных инструментах. Когда же королева нашла, что пора на покой, то все, предводительствуемые слугами со светильниками в руках, разошлись по своим комнатам. В течение следующих двух дней они размышляли на тему, которую им задала королева, и с нетерпением ожидали воскресенья.



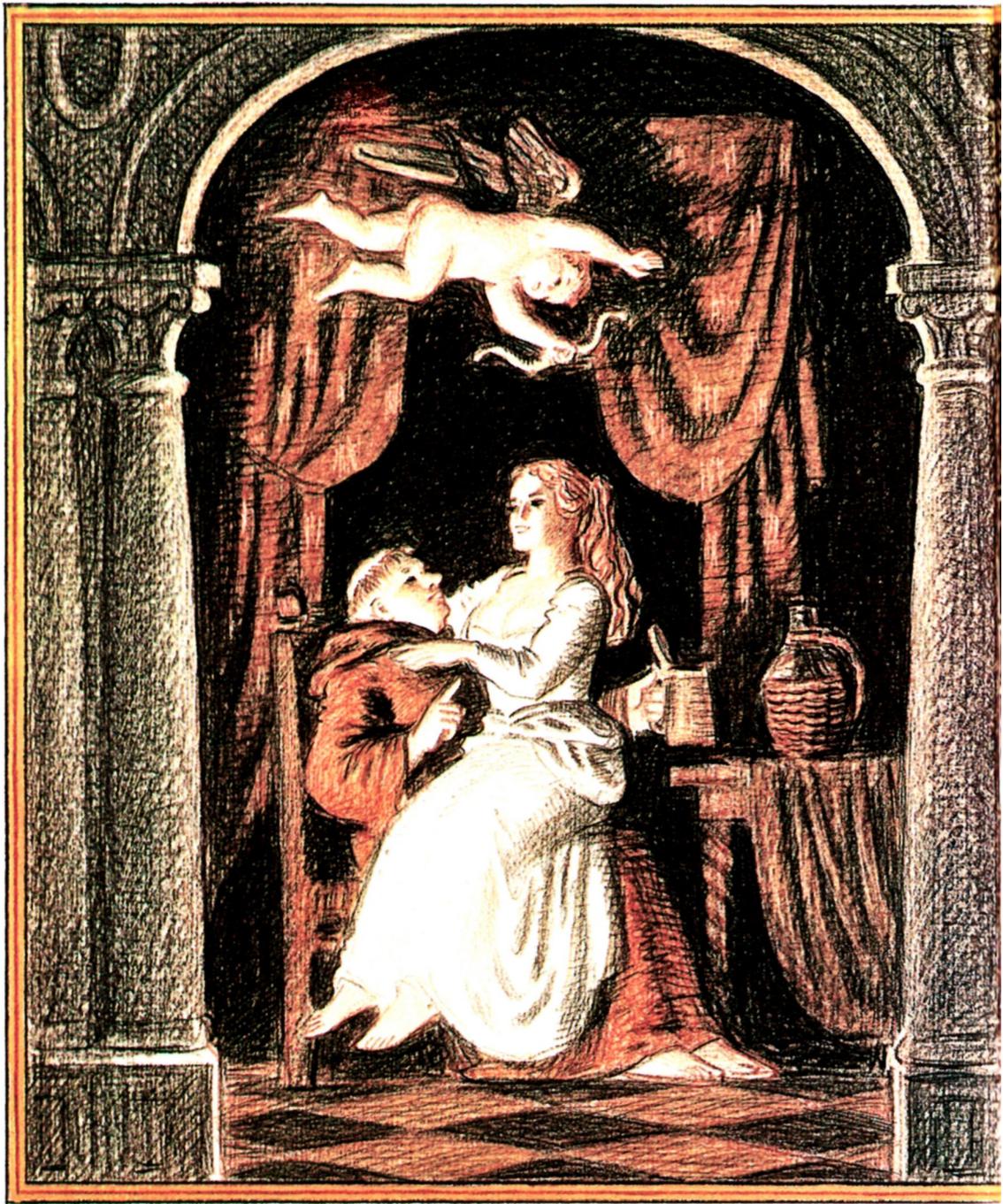
*Закончилась* второй день  
**ДЕКАМЕРОНА,**  
*начинается третий*

---

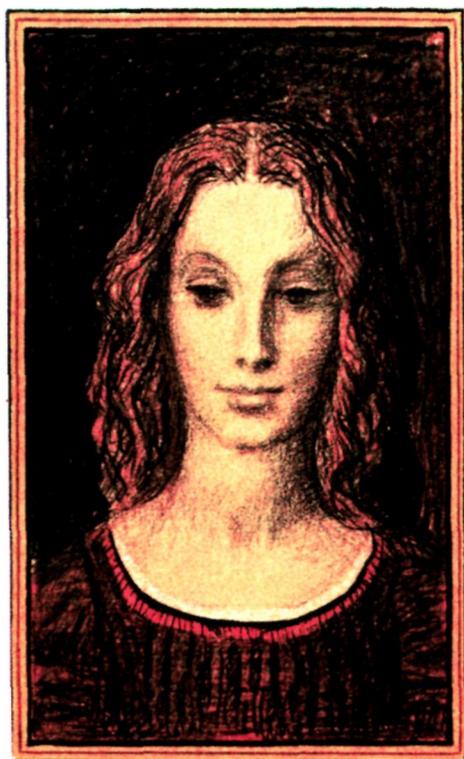
---



*В день правления Нейфилы  
предлагаются вниманию рассказы о том,  
как люди благодаря хитроумию своему добивались того,  
о чем они страстно мечтали,  
или же вновь обретали утраченное*









воскресенье солнце вот-вот должно было показаться и заря из багряной уже превратилась в золотистую, когда королева, встав с постели, подняла и все общество, а дворецкий задолго до этого послал в условленное место слуг, которые могли бы там все приготовить, и отправил с ними множество необходимых вещей; когда же он увидел, что королева пустилась в дорогу, он велел как можно скорее погрузить остальное и, довершая впечатление снявшегося лагеря, двинулся с пожитками и с теми, кто прислуживал господам и дамам. Итак, королева в обществе и в сопровождении дам и трех молодых людей, напутствуемая пеньем соловьев и других птишек, по тропинке, заросшей муравой и цветами, с появлением солнца начавшими раскрываться, тихим шагом направилась к западу, и не прошла она, болтая со своими спутниками, шутя с ними, смеясь, и двух тысяч шагов, как в начале восьмого взорам путников на холме, возвышающемся над долиной, открылся великолепный, роскошный дворец. Войдя и весь дворец обойдя, путники осмотрели просторные залы, прибранные и украшенные комнаты, снабженные всем, что требуется в домашнем обиходе, и все им тут очень понравилось, равно как и любовь хозяина к роскоши. Когда же они спустились вниз и увидели обширный, уютный двор, подвалы, полные отменных вин, и неиссякаемый источник ключевой воды, то пришли в еще больший восторг. Как скоро они сели отдохнуть в лоджии, господствовавшей над двором и убранной ветками и цветами, какие можно было в это время года достать, явился догадливый дворецкий, угостил их дорогими сладостями и подкрепил отменными винами.

После этого, велел отпереть дверцу в обнесенный стеною сад при дворце, все перешли туда. Уже при входе они были поражены тем дивной красоты зрелищем, какое являл собой сад, а затем начали рассматривать его во всех подробностях. Боковые дорожки, широкие и прямые, как стрелы, пересекали сад в разных направлениях, а под сводом виноградных лоз, суливших изрядный урожай, тянулась главная аллея. Лозы столь сильный источали аромат, сливавшийся с запахом множества других растений, благоухавших в саду, что вошедшим показалось, будто они дышат всеми благовониями Востока. Дорожки были обсажены белыми и алыми розами и жасмином, — вот почему не только по утрам, но и когда солнце стояло высоко, здесь можно было всюду гулять в приятной, душистой тени, не опасаясь солнечных лучей. Сколько здесь было растений, и каких именно, и в каком порядке они были посажены — об этом долго рассказывать; довольно сказать, что нет на свете такого чудесного растения, в нашем климате произрастающего, которое не было бы здесь представлено в изобилии. Посреди сада, — и это, пожалуй, составляло главную его достопримечательность, — находилась лужайка, издали казавшаяся черной — такой темно-зеленой заросла она травкой, — пестревшая великим множеством цветов, обсаженная апельсинными и лимонными деревьями, сгибающимися под тяжестью и спелых, и еще незрелых плодов, осыпанными цветом, отбрасывавшими приятную для глаз тень и радовавшими обоняние. Посреди лужайки стоял беломраморный фонтан, украшенный чудесными изваяниями. Из его чаши поднималась колонна, а на колонне высилась статуя, бившая прямо в небо то ли естественною, то ли искусственною мощной струею, которая затем с приятным для слуха плеском низвергалась в прозрачную чашу фонтана, и было в этом фонтане столько воды, что ее с лихвой хватало бы и для мельницы. Вода эта, — я разумею ту воду, которая переплескивалась через края чаши, — уходила под землю, а затем, выбившись на поверхность уже за пределами лужайки, обтекала ее, струясь по искусно и хитроумно устроенным желобам. И по таким же точно желобам растекалась она потом по всему дивному саду, наконец стекалась в один из его уголков, и уже оттуда прозрачный ее поток прядал в долину, по пути, с невероятной силой и с немалой пользой для владельца, приводя в движение колеса двух мельниц. Зрелище, которое представлял собой сад; ласкавший глаз порядок, в каком он был рассажен; растения, здесь произраставшие; водомет и растекавшиеся от него ручейки, — все это восхитило дам и молодых людей, и они сошлись на том, что если бы возможен был рай на земле, то его надобно было бы устроить по образу этого сада, прекрасней которого они ничего не могут себе представить. С наслаждением гуляя по саду, сплетая прелестные венки из веток самых разных деревьев, слушая пение птиц, точно соревновавшихся друг с дружкой и распевавших едва ли не на двадцать ладов, они наконец обратили внимание на некое диво, которого, будучи поглощены всем прочим, они прежде не замечали. Оказалось, что сад был полон прелестных животных самых разных пород, и гуляющие стали на них друг другу показывать: вот выскочили кролики, а вон бегут зайцы, здесь разлеглись

дикие козы, а там пасутся молодые олени, и много других, как будто бы ручных, безвредных тварей, себе на радость, гуляло здесь на воле, — обозревать их было еще забавнее, нежели все остальное.

Вдоволь налюбовавшись и нагулявшись, прибывшие велели расставить столы у красивого фонтана, пропели по выбору королевы шесть песенок, протанцевали несколько танцев, а затем приступили к трапезе, и тут им были предложены в изысканнейшем, тщательно обдуманном, строго определенном порядке вкусные, тонкие блюда, по окончании же трапезы все, в еще более веселом расположении духа, встали с мест и опять начали играть, петь, танцевать, пока королева не заметила, что сейчас очень жарко, а потому кто хочет — тот может соснуть. Некоторые пошли спать, другие же отказались и предпочли побыть среди всей этой красоты, и, пока те спали, они читали рыцарские и любовные истории или же играли в шахматы и шашки.

В три часа все встали и, освежив лицо холодной водой, по желанию королевы направились к фонтану и тут, в обычном порядке рассевшись, приготовились слушать рассказы на тему, заданную королевой. Первый, на кого королева возложила эту обязанность, был Филострато, и начал он так.





*Мазетто из Лампореккьо, прикинувшись немым,  
поступает в женский монастырь садовником,  
и все монахини путаются с ним наперебой*



рекрасные дамы! Много есть на свете глупых мужчин и женщин, которые убеждены, что стоит надеть на голову юнице белую повязку, тело же ее облечь в черную рясу, как она перестает быть женщиной и женские страсти у нее отмирают, словно, приняв постриг, она превращается в камень. Когда же они узнают что-либо противоречащее их взглядам, то бывают так смущены, как будто в мире свершилось величайшее и гнуснейшее преступление против природы, — они не желают принимать в рассуждение и в соображение

ни самих себя, — хотя сами-то они пользуются полной свободой действий, но и она их не удовлетворяет, — ни могучие силы праздности и одиночества. Есть на свете много таких, которые совершенно уверены, что лопата, заступ, грубая пища, нужда — все это, с одной стороны, очищает их от сладострастных вожделений и притупляет их ум и смекалку — с другой. Из небольшой повести, которую по повелению королевы, не выходя за пределы предложенной ею темы, я намерен вам рассказать, вы увидите, как далеки эти люди от истины.

В наших краях был — да и сейчас еще существует — женский монастырь, славившийся своим благочестием, — я нарочно не называю его, дабы не умалить его славы. В этом самом монастыре еще не так давно было всего восемь монахинь, не считая аббатисы, причем все они были молоды, а за их прекрасным садом ухаживал славный малый, но он был недоволен своим жалованьем и в конце концов, взяв у эконома расчет, возвратился в свой родной Лампореккьо. Находившийся среди радостно его встретивших односельчан молодой хлебопашец Мазетто, силач, кре-

пыш, для деревенского парня достаточно стройный и даже красивый, спросил, где это он так долго пропадал. Малый, которого звали Нуто, ему объяснил. Тогда Мазетто задал ему вопрос, какие обязанности лежали на нем в монастыре.

Нуто ему на это ответил так: «Я ухаживал за их большим чудесным садом, кое-когда за дровишками в лес ходил, воду носил, и на другие работы меня посылали, а платили так мало, что на эти деньги рваных башмаков — и то не купишь. Притом все они молодые, и в них ровно бес вселился: ни по чем на них не угодишь. Работаешь, бывало, в огороде — одна говорит: «Посади вот это», — а другая: «Нет, вот это, — а третья выхватит у меня из рук лопату: «Не так!» — говорит. До того они мне надоедали, что я все бросал и уходил, и вот из-за этого, да еще из-за жалованья, я с ними расстался и возвратился домой. Когда я расчет брал, эконома сказал, что если есть у меня на примете человек подходящий, то чтобы я направил его к нему, а я обещать-то обещал, да ну его к богу — никого я ему не сыщу и не пошлю!»

Мазетто весь так и загорелся желанием устроиться в монастырь, тем более что из слов Нуто он заключил, что желание его осуществимо. Для отвода глаз он, однако же, обратился к Нуто с такими словами: «Молодец, что от них ушел! Не мужское это дело — жить среди баб. С чертями — и то лучше жить: бабы в шести случаях из семи сами не знают, чего хотят».

Распрощавшись с Нуто, Мазетто, однако, тут же стал шевелить мозгами, как бы это ему проникнуть к бабам. Он знал, что с обязанностями, которые ему перечислил Нуто, он справится, — не это его смущало: он боялся, что его не возьмут в монастырь из-за того, что он молод и пригож. В конце концов, раскинув умом, он рассудил так: «Это очень далеко отсюда, никто меня там не знает. Притворюсь-ка я немым — тогда меня наверно примут».

Утвердившись в этой мысли и никому не сказавшись, он, бедно одетый, с топором на плече, зашагал в монастырь. Зайдя во двор, он наткнулся на эконома и знаками показал ему, как то делают немые, что просит покормить его ради Христа, а он, мол, за то дровец ему наколет. Эконом охотно покормил его, а затем подвел к чурбанам, — Нуто так их и не одолел, а Мазетто посильней его был и скорехонько с ними управился. Эконом пошел в лес, взял его с собой и велел нарубить дров, потом поставил впереди осла и знаками показал, чтобы он отвез дрова в монастырь. Мазетто все сделал как следует, и эконом оставил его на несколько дней в монастыре, чтобы тот еще кое в чем ему подсобил. И вот однажды его увидела аббатиса и спросила эконома, что это за человек.

Эконом ответил ей так: «Это, матушка, глухонемой бедняк — он просил милостыни, я его досыта накормил, а он за это много дел переделал. Если б он умел работать в саду и захотел бы здесь остаться, то у нас был бы добрый слуга, а нам как раз такой и нужен: он здоровяк, ему никакая работа не страшна. А чтобы он с вашими девицами какое баловство затеял — на этот счет можете быть спокойны».

«Твоя правда, накажи меня бог! — молвила аббатиса. — Узнай, работал ли он когда-нибудь в саду, и уговори остаться. Выдай ему башмаки, старый плащ, улести его, обласкай, накорми до отвала».

Экономом сказал, что так и сделает. Находившийся в это время поблизости Мазетто делал вид, что усердно метет двор, а сам прислушивался к разговору и весело говорил про себя: «Да вы меня только пустите — я так вам сад возделаю, как его никто еще не возделывал».

Когда экономом удостоверился, что немой отлично умеет работать в саду, то при помощи знаков спросил его, не желает ли он здесь остаться, Мазетто также при помощи знаков ему ответил, что ни от какой работы не откажется, — тогда экономом оставил его при монастыре, велел ему работать в саду и, показав, что от него требуется, отправился по разным монастырским делам. Мазетто целыми днями трудился, а монашки начали приставать к нему, дразнили его, как обыкновенно дразнят немых, и, полагая, что он не слышит, ругались самыми непотребными словами, аббатиса же, по всей вероятности воображавшая, что у него не только языка, но и хвоста нет, не обращала на это почти никакого, а вернее сказать — совсем никакого внимания.

Случилось, однако ж, что когда он как-то раз, на славу потрудившись, прилегал отдохнуть, две молодые монашки, гуляя по саду, приблизились к нему, — и давай разглядывать его, а он притворился спящим. И тут одна из них — та, что была победовой, — сказала подруге: «Будь я уверена, что тебе довериться можно, я поделилась бы с тобой одним своим замыслом, который давно уже сидит у меня в голове, — может, и ты этою мыслью воспользуешься».

А та ей: «Говори, не бойся, — я никому не скажу».

Тогда бедовая начала так: «Ты хоть раз задумалась над тем, в какой строгости нас содержат? Ведь к нам ни один мужчина не смеет войти, за исключением старика эконома да еще вот этого немного. А между тем я много раз слыхала от женщин, которые к нам сюда приходили, что все земные улады — ничто по сравнению с той, какую ощущает женщина, отдаваясь мужчине. И вот что я в конце концов надумала: коли нельзя с кем-либо еще, так не испытать ли это с немым? Для этой цели он самый подходящий человек: ведь если б даже он и захотел, все равно не смог бы и не сумел проболтаться. Сейчас видно, что он — дубина. В рост пошел, а ума не нажил. Ну? Что ты на это скажешь?»

«Да будет тебе! — воскликнула другая. — Ты забыла, что мы дали богу обет девства?»

«Э, сколько ему ежедневно приносят обетов, да ни одного не исполняют! — возразила первая. — А наш обет пусть исполнит кто-нибудь другой или же другая».

Подружка ей на это: «Ну, а если ты понесешь, — что тогда делать?»

А она: «Беды еще нет, а ты уже ее накликаешь! Случится — тогда и будем думать. Если только мы сами не проговоримся, всегда можно устроить так, что никто про это не узнает».

Послушав такие речи, другая пуще нее разохотилась испытать, что это за животное — мужчина. «Ну так как же?» — спросила она.



А та ей: «Сейчас около трех — сестры, уж верно, спят. Поглядим, нет ли кого в саду, и если нет, то нам останется только взять его за руку и повести вон в тот шалаш, где он прячется от д о ж д я , — одна будет с ним, а другая на часах. Он такой дурак, что на все пойдет».

Мазетто слышал эту беседу от слова до слова, — готовый к услугам, он только того и ждал, чтобы одна из них взяла его за руку. Оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что их ниоткуда не видно, та, которая завела этот разговор, подойдя к Мазетто, разбудила его, а он мигом вскочил. Она ласково на него взглянула — он засмеялся глупым смехом, она взяла его за руку, повела в шалаш, и в шалаше он ее, не заставив себя долго упрашивать, удовольствовал. Она же, как верная подруга, получив то, что хотела, уступила место той, которая караулила, а Мазетто, прикидываясь простачком, послушно уболаговторвал их. По сему обстоятельству каждой из них припала охота еще разок испытать, как ездит верхом немой. После, почасту друг с дружкой беседея, они признавались, что это даже еще усладительнее, чем можно было судить по рассказам других, и, дождавшись благоприятного времени, ходили резвиться с немым.

Случилось, однако ж, так, что одна из сестер, проследив за ними из окошка своей кельи, указала на них двум другим. И первым их движением было все рассказать аббатисе, но потом они передумали и, войдя в сговор с теми, стали испытывать на себе неутомимость Мазетто. В разное время и в силу различных обстоятельств к ним примкнули остальные три монашки. Наконец ничего не подозревавшая аббатиса, как-то раз гуляя одна-одинешенька по саду, узрела Мазетто, а тот хоть и не был переобременен работою днем, зато уставал от ночных скачек, и теперь он, разлегшись под миндальным деревом, спал, и все у него было наружу, оттого что ветер задрал ему одежду. Увидевши это и зная, что она здесь одна, аббатиса так же точно распалилась похотью, как и ее монашки. Она разбудила Мазетто и, проведя к себе в келью, к великому негодованию монашек, роптавших на то, что садовник не идет возделывать сад, держала его здесь несколько дней, вновь и вновь ощущая ту самую усладу, за которую она прежде осуждала других.

Наконец она отпустила Мазетто в его каморку, но потом все же часто его оттуда вызывала, при этом требования ее превышали теперь его возможности, и Мазетто, будучи не в состоянии полностью удовлетворить ее, пришел к заключению, что если он и дальше будет разыгрывать немого, то это может очень и очень ему повредить. И вот как-то ночью, когда он был вдвоем с аббатисой, Мазетто, нарушив обет молчания, обратился к аббатисе с такою речью: «Матушка! Я слыхал, что одного петуха вполне хватает на десять кур, но что десять мужчин слабо или, во всяком случае, с трудом удовлетворяют одну женщину, а я прииужден обслуговивать девять. Мне этого нипочем не выдержать, какое там: из-за того, что я переусердствовал, я теперь ни на что не способен: ни на многое, ни на малое. Так что уж вы либо дозвоьте мне уйти отсюда с богом, либо как-нибудь меня от этого избавьте».

Услышав, что немой заговорил, аббатиса оторопела. «Что же это такое? — сказала она. — Я думала, ты немой».

«Я, матушка, и был не м о й , — возразил Мазетто, — но только не от природы, — у меня отнялся язык после болезни, а нынче ночью я снова почувствовал, что он у меня есть, и за это я от всей души благодарю бога».

Поверившая ему аббатиса спросила: что это значит, что ему приходится обслуживать девять женщин? Мазетто все ей объяснил. Выслушав его рассказ, аббатиса пришла к заключению, что все монахини в монастыре намного умнее ее. Так как аббатиса была женщина рассудительная, то она не отпустила Мазетто, а порешила общими усилиями уладить дело таким образом, чтобы Мазетто не осрамил обитель. Тут как раз умер их эконоом. Монахини, во всем друг дружке повинившись, с общего согласия и с дозволения Мазетто уверили окрестных жителей в том, что по их молитвам и по милости святого, в честь которого основан был монастырь, долгое время немотствовавший Мазетто вновь обрел дар речи, и сделали его своим эконоом, распределив его обязанности таким образом, что он стал с ними справляться. И хотя, исполняя таковые обязанности, он наплодил изрядное количество монашков, однако ж концы прятались ловко — и узнали об этом только после того, как аббатиса преставилась, а тогда уж Мазетто был староват, и его тянуло богатым человеком воротиться домой. И как скоро все это выплыло наружу, его волей-неволей пришлось отпустить.

Итак, из дому вышел Мазетто с одним топором, а вернулся старым, многодетным богачом, избавленным от необходимости кормить детей и на них расходовать, благодаря природной сметке отлично сумевшим воспользоваться своею молодостью, и, вернувшись, он все приговаривал: дескать, Христос терпел и нам велел.





*Некий конюх овладел женой короля Агилульфа;  
король догадывается и, разыскав конюха, отрезает у него прядь волос;  
конюх отрезает пряди у других конюхов  
и только благодаря этому выпутывается*



ак скоро Филострато кончил свой рассказ, во время которого дамы то слегка краснели, то посмеивались, королева изъявила желание, чтобы дальше рассказывала Пампиней, и та с игривым видом начала так:

— Есть на свете безрассудные люди, которым смерть как хочется показать, что им доподлинно известны такие вещи, о коих им-то как раз знать и не следует: они воображают, что, обличая чужие грехи, никем, кроме них, не замеченные, они тем самым собственный свой позор сводят на нет,

меж тем как на самом деле именно из-за этого он растет до бесконечности. Справедливость сего суждения я собираюсь доказать вам, обворожительные дамы, на примере противоположном — на примере хитроумия одного человека, которого, может статься, сочтут все же менее удачливым, нежели Мазетто, равно как и на примере мудрости некоего доблестного короля.

Король лангобардов Агилульф, идя по стопам предшественников своих, столицей своего королевства сделал ломбардский город Павию, а в жены себе взял Теуделингу, вдову бывшего короля лангобардов Аутари, красавицу, умницу, правил честнейших, однако же в делах сердечных незадачливую. Благодаря доблести и осмотрительности поманутого короля Агилульфа лангобарды жили мирно и благополучно, и нужно же было случиться так, что конюх королевы, человек худородный, однако ж по всем прочим своим качествам заслуживавший лучшей участи, нежели та, на которую он был обречен презренным своим занятием, из себя такой же видный и красивый, как король, без памяти

влюбился в королеву. Низкое звание не мешало, однако ж, конюху отдавать себе ясный отчет в том, что его любовь выходит за пределы приличия, а потому, будучи человеком благоразумным, он никому чувства своего не поверял и ничем, даже взглядом, не показал королеве, что любит ее. Надежды на взаимность не было у него ни малейшей, а все же он втайне гордился, что столь высоко устремил свои помыслы, и, подобно всем, объатым любовным пламенем, с большим тщанием, нежели кто-либо из его товарищей, делал все, чтобы угодить королеве. Вот почему королева, собираясь на прогулку, охотней садилась на того коня, за которым ходил он, а не кто-либо другой, и когда так случалось, он, принимая это как великую милость, не отходил потом от ее стремени и почитал себя счастливецом всякий раз, когда прикасался к ее одежде.

Нам часто, однако ж, приходится наблюдать, что чем слабее надежда, тем сильнее любовь, и так именно и произошло со злосчастным конюхом. Тяжко было ему таить в себе безнадежную свою любовь, и, не в силах подавить ее, он все чаще и чаще подумывал о самоубийстве. Из всех видов самоубийства порешил он избрать такой, который навел бы на мысль, что он наложил на себя руки от любви, какую питал и питает к королеве. Кроме того, смерть, которую он хотел себе избрать, должна была, согласно его замыслу, помочь ему попытаться счастья и всецело или хотя бы отчасти утолить свою страсть. Конюх не осмеливался сказать королеве о своей любви на словах, не осмеливался написать ей об этом в письме, — он сознавал всю бесполезность и того и другого, — он думал, нельзя ли с помощью какой-либо уловки провести с королевою ночь. И не было у него иного пути и средства, как найти возможность проникнуть в ее покой под видом короля, который, сколько было известно, не всегда спал вместе с нею. Дабы узнать, как и в какой одежде ходит к ней король, он прятался по ночам в большой зале королевского дворца, находившейся между покоями короля и королевы. И вот в одну из таких ночей он увидел, как король, закутанный в широкий плащ, с зажженным светильником в одной руке и с посохом в другой, вышел из своего покоя, приблизился к покою королевы и раза два молча постучал посохом в дверь, как ему в ту же минуту отперли и взяли у него светильник.

Понаблюдав за тем, как король прошел к королеве и как он от нее вышел, конюх решил, что ему надлежит действовать так же. Раздобыв плащ, похожий на королевский, светильник и посох, хорошенько вымывшись в ванне, дабы запах навоза не оскорбил обоняние королевы и не вызвал в ней подозрений, он, по своему обыкновению, спрятался в большой зале. Как скоро конюх уверился, что все спят и что настало время исполнить свое желание или же достойно встретить лицом к лицу вожденную смерть, он с помощью кремня и огнива, которые он захватил с собой, высек огонь, зажег светильник и, завернувшись и закутавшись в плащ, приблизился к покою королевы и два раза постучал в дверь. Сонная служанка отперла ему, взяла светильник и поставила на место, а он молча отдернул полог и, сняв плащ, лег рядом с королевой. Он сдавил ее в объятиях, но притворился, что чем-то расстроен, — ему было известно, что король в расстройстве чувств ничего слышать не хочет, — и, ни

слова не говоря и не дав королеве вымолвить слово, несколько раз познал с ней телесную близость. Ему до смерти не хотелось уходить, однако, боясь, как бы промедление не превратило наслаждение в муку, он встал с постели, взял плащ, взял светильник, молча удалился и с великою поспешностью улегся на свою постель.

Не успел он до нее добраться, как король встал и прошел в покой королевы, чем поверг ее в немалое изумление, и, когда он уже лег в постель и приветливо поздоровался с ней, она, воодушевленная его приветливостью, обратилась к нему с такими словами: «О, это что-то новое, государь! Вы же только что ушли от меня, усладившись мною сверх всякой меры, и так скоро вернулись? Поберегите себя!»

Послушав такие речи, король тот же час догадался, что королеву обмануло сходство поведения и наружности, однако ж, видя, что ни королева, ни кто-либо другой этого не заметили, он, будучи человеком благоразумным, решился повести дело так, чтобы она пребывала в заблуждении. Многие глупцы на его месте так бы не поступили — они бы сказали: «А я не приходил. Кто здесь был? Как было дело? Кто он таков?» Из сего воспоследовали бы всякие неприятности, он только напрасно огорчил бы королеву и возбудил бы в ней желание вновь испытать то, что она уже изведала, — разглашение обесчестило бы его, меж тем как умолчание никоим образом его бы не опозорило.

Итак, король затаил гнев в душе, но не подал виду и не выразил его на словах. «Жена! — молвил он. — Неужто ты не относишь меня к числу мужчин, которые способны побывать и вернуться?»

Жена ему на это ответила так: «Разумеется, отношу, государь, а все-таки поберегите свое здоровье».

А король ей: «На сей раз я послушаюсь твоего совета — не стану докучать тебе и удалюсь».

Нимало не сомневаясь в том, что над ним насмеялись, разгневанный и возмущенный, король взял плащ и вышел из комнаты, — он порешил, не поднимая шума, разыскать того, кто это сделал, сделать же это мог, по его разумению, не иначе как кто-нибудь из домочадцев, а улизнуть из дому в ночную пору никому не удалось бы. Коротко говоря, он зажег огарочек в фонаре и отправился в длинную людскую, под которой находились конюшни, — здесь на разных кроватях спала почти вся его челядь. Полагая, что у того, кто все сказанное только что проделал с его женой, ни пульс, ни сердце не могли еще успокоиться после длительных усилий, король начал обходить одну кровать за другой и осторожно прикладывать руку к сердцу каждого челядинца. Все спали крепким сном, только тот, кто побывал у королевы, еще не спал. Увидев короля и сообразив, кого он разыскивает, конюх испугался, сердце же его, и без того сильно бившееся после напряжения, от страха забилось еще сильнее, ибо он был совершенно уверен, что если король это заметит, то убьет его без милосердия. Убедившись, что король безоружен, конюх начал перебирать в уме всевозможные лазейки и в конце концов остановился на том, чтобы притвориться спящим и выждать, что предпримет король. А король, многих ощупав и не обнаружив пока ничего подо-

зрительного, приблизился к нему и, удостоверившись, что сердце у него бьется сильно, сказал себе: «Это он!» Не желая, однако ж, открывать до времени свои намерения, он ограничился тем, что ножницами, которые он взял с собой, отрезал у него сбоку прядь в о л о с , — а волосы в то время носили предлинные, — сделал же он это для того, чтобы по этой примете утром опознать его, а сделав, вышел из людской и отправился к себе. Конюх следил за каждым движением короля, а так как он был малый смысленный, то живо смекнул, для какой такой цели его эдак отметили. Он мигом вскочил и, найдя ножницы, которых, на его счастье, в конюшне было несколько п а р , — ими пользовались для стрижки лошадей, — подкрался к спавшим и у всех, сколько их ни было в людской, таким же порядком отхватил над ухом по пряди волос, а затем, никем не замеченный, лег спать.

Король, встав поутру, повелел созвать всех челядинцев, а дворцовые ворота покуда не отпирать, что и было исполнено. Когда же челядинцы, все как один с непокрытыми головами, выстроились перед ним, он начал их оглядывать в надежде, что сейчас будет опознан тот, у кого он отрезал прядь. Оказалось, однако ж, что у большинства тоже отрезана прядь, и это его поразило. «Тот, кого я ищу, хоть и низкого звания, зато ума — п а л а т а », — подумал он. Уразумев, что без огласки ему не найти преступника и порешив ради мелкой мести не навлекать на себя великого позора, король рассудил за благо двумя словами усостыжить его и намекнуть, что ему, королю, все известно. Того ради он, обращаясь ко всем, молвил: «Кто это сделал, тот пусть никогда больше этого не делает. Ступайте с богом!»

Другой на его месте велел бы пытать их, истязать, велел бы учинить сыск и допрос и в конце концов раскрыл бы то, что каждому человеку надлежит скрывать. Обнаружив преступника, король воздал бы ему полной мерой, но и себя покрыл бы несмываемым позором, и запятнал бы честь своей жены. Те, кто слышал слова короля, дались диву и долго еще потом думали-гадали, что король хотел этим сказать, но никто ничего не понял, за исключением одного, к которому слова эти и относились. А он был человек неглупый и ни разу при жизни короля не проговорился и никогда больше в такого рода делах не шел на риск.





*Одна дама, влюбленная в некоего мужчину,  
притворившись на исповеди, что чистосердечно кается,  
достигает того, что ничего не подозревающий благочестивый монах  
содействует полному успеху задуманного ею предприятия*



огда Пампинья умолкла, многие стали вслух восхищаться отвагой и находчивостью конюха, равно как и благоразумием короля, а затем королева, обратясь к Филомене, объявила, что теперь ее черед, и Филомена с очаровательною приятностью начала так:

— Я хочу рассказать вам об одной шутке, которую и в самом деле шутила одна прелестная дама с честным иноком, и шутка эта тем более должна прийтись по нраву мирянам, что монахи в большинстве своем люди преглупые, престран-

ного нрава и обычая, воображающие, что они намного выше и просвещеннее других, меж тем как они намного хуже других, по своей низости не способные трудом, как все люди, добывать себе необходимое и, подобно свиньям, ищущие, где бы чем поживиться. Об этой шутке я расскажу вам, очаровательные дамы, не только для того, чтобы исполнить веление королевы, но также для того, чтобы показать, что и монахи, коим мы по легкомыслию своему слишком доверяем, могут быть и бывают ловко одурачены как мужчинами, так равно и некоторыми из нас.

В нашем городе, где царит обман, а не любовь и верность, не так давно жила-была знатная дама, отличавшаяся редкостною красотою, обходительностью, возвышенною душою и тонким умом, а вот как ее звали и как звали других лиц, которые действуют в моем рассказе, — хотя мне это известно, — я вам не открою, ибо многие еще живы, и это может их рассердить, меж тем как это должно вызывать смех, и ничего больше. Итак, эта дама при одной мысли, что ее, женщину благородного происхождения, выдали замуж за мастерового, за простого, хотя и бога-

того-пребогатого ткача, выходила из себя, — она держалась того мнения, что мужчина низкого звания, какой бы он ни был богач, не достоин родо-витой жены; видя же, что он со всем своим богатством годится только на то, чтобы отличать одну ткань от другой, сноваť основу или же спорить с прядильщицей о доброте пряжи, она порешила ни под каким видом не принимать его ласк за исключением тех случаев, когда уж никак нельзя отказать, а для собственного утешения приискать кого-нибудь более достойного, нежели ткач. Полюбила она в высшей степени порядочного человека средних лет, да так горячо, что если днем его не видела, то всю ночь потом тосковала. А он ничего не замечал и ни о чем таком не помышлял, она же из осторожности, боясь беды, не осмеливалась поведать ему о том ни через посланницу, ни в письме.

Приметив, что он часто посещает одного монаха, который хотя и был глуп и неотесан, однако благодаря своей святой жизни почти у всех стяжал себе славу подвижника, она подумала, что вот кто, дескать, был бы наилучшим посредником между ней и ее возлюбленным. Заранее определив образ действий, какого ей следует придерживаться, она, выбрав наиболее подходящее время, пошла в церковь, при которой жил монах, и, вызвав его, попросила, чтобы он, когда это ему будет удобно, поисповедовал ее. Монах, догадавшись по ее виду, что перед ним знатная дама, охотно согласился, а после исповеди она ему сказала: «Отец мой! Мне нужны помощь ваша и совет вот в каком деле. Мне ведомо, — да ведь я и сама вам сказала, — что вы знаете и родителей моих, и моего мужа, который любит меня больше жизни: стоит мне чего-нибудь захотеть, и он, человек богатый и всемогущий, тот же час мою прихоть исполняет, и за это я люблю его больше, чем самое себя, и если бы не то что совершила, а хотя бы помыслила о чем-либо таком, что могло бы опорочить его доброе имя или же вызвать его неудовольствие, то ни одна дурная женщина не была бы так достойна сожаления, как я. Последнее время какой-то мужчина, — по правде сказать, я даже не знаю, как его зовут, если не ошибаюсь, он часто бывает у вас, — судя по виду, из хорошей семьи, красивый, статный, всегда в темном, очень приличном платье, не имеющий, как я полагаю, понятия о моих правилах, ведет против меня самую настоящую осаду: стоит мне показаться у дверей или у окна, стоит мне выйти из дому — и он уже тут как тут; дивлюсь, что не вижу его здесь. Все это меня очень волнует: подобный образ действий чернит ни в чем не повинных, порядочных женщин. Мне приходило в голову передать ему это через моих братьев, но потом я отдумала: мужчины, исполняя поручение, способны иной раз обозлить человека — слово за слово, а от слов недолго перейти к делу. Я боялась раздоров, боялась огласки, оттого и молчала и в конце концов решила, что лучше всего сказать вам: во-первых, он ваш друг, а во-вторых, вам приличествует отчитывать за такие дела не только друзей, но и людей посторонних. Вот я и прошу вас: отчитайте его, ради бога, и скажите, чтобы он больше так не делал. Наверное, есть такие женщины, которым нравится, когда на них заглядываются, когда за ними ухаживают, которые до всего этого падки, а меня этим не прельстишь, меня это только отвращает».

И тут она с таким видом, что слезы мешают ей говорить, опустила голову.

Святой отец сразу сообразил, о ком она говорит, и, вполне ей поверив и похвалив за благонравие, обещал, что тот человек больше не будет ей докучать. Затем, зная, что она женщина весьма состоятельная, он пустился в рассуждения о том, какое хорошее дело — благотворительность, и поведал ей свои нужды.

А женщина ему: «Бога ради, исполните мою просьбу! Если же он вздумает отрицать, скажите прямо, что я сама все рассказала и пожаловалась вам на него».

Получив отпущение грехов, женщина вспомнила наставления монаха касательно благотворительности и, сунув ему в руку деньги, попросила отслужить заупокойные обедни по усопшим ее родичам, затем встала с колен и пошла домой.

Немного погодя к святому отцу зашел, по своему обыкновению, тот человек. Поговорив с ним о том о сем, монах отвел его в сторонку и в весьма мягких выражениях попенял за то, что, как это стало известно монаху со слов одной дамы, он преследует ее своими ухаживаниями и не сводит с нее глаз. Тот был озадачен, ибо никогда он на нее не заглядывался и мимо ее дома проходил крайне редко, и стал было оправдываться. Монах, однако ж, прервал его: «Не прикидывайся удивленным и не пытайся отрицать — все равно это тебе не удастся. Я не от соседей про это узнал — она сама принесла мне на тебя слезную жалобу и все рассказала. Подобные шалости тебе уже не к лицу, а главное, ей-то эти твои дурачества противны. Так не позорь же себя и ей не докучай — прекрати свои домогательства, оставь ее в покое».

Тот оказался догадливее монаха: мгновенно оценив изобретательность дамы, он притворился, что ему стыдно, обещал впредь ей не докучать, а простившись с монахом, направил стопы свои прямехонько к ее дому, она же всегда караулила его у окошечка. При виде его она так повеселела и так ему обрадовалась, что тут ему стало совершенно ясно, насколько верно истолковал он слова монаха. После этого он с особой осторожностью, притворяясь, что идет куда-то по делу, на радость самому себе, к великому удовольствию дамы и ей на утешение, ежедневно начал ходить мимо ее дома.

Когда же, по прошествии некоторого времени, она заметила, что пользуется взаимностью, то ей захотелось еще сильнее его увлечь и уверить в искренности своих чувств к нему, и для того, выбрав время и место, она опять пошла к святому отцу в церковь и, сев у его ног, расплакалась. Монах с участливым видом спросил, что у нее нового.

«Отец мой! — сказала дама. — Новости мои касаются все того же океанного вашего друга, на которого я вам жаловалась третьего дня: он и на свет-то произошел, должно полагать, мне на горе и дабы поступить со мной так, чтобы я весь свой век крушилась и никогда больше не осмелилась припасть к вашим стопам».

«Как! — воскликнул монах. — Разве он не перестал докучать тебе?»

«Какое там! — ответила дама. — Напротив: он, верно, рассердился на меня за то, что я вам пожаловалась, и теперь, словно в отместку, проходит мимо не один, а десять раз на день. И я бы еще благодарила бога, если б он довольствовался тем, что, гуляючи, смотрел на меня, но он до того осмелел и обнаглел, что не далее как вчера послал ко мне женщину с подношениями и со всякой чепухой и прислал с ней кошелек и пояс, как будто у меня своих нет. Мне это показалось, да и продолжает казаться, до того оскорбительным, что если б не боязнь греха и не мое уважение к вам, я бы такой шум подняла! Но все-таки я сдержалась и порешила без вашего благословения ничего не предпринимать и никому ничего не говорить. Более того: я велела той женщине отнести обратно и кошелек и пояс и совсем уж было выпроводила ее, но затем, побоявшись, что она присвоит вещи себе, а ему скажет, что я приняла подарок, — с такими, как она, это, говорят, случается, — вернула, в сердцах взяла у нее вещи и принесла вам: отдайте их ему и скажите, что я в его подношениях не нуждаюсь, — слава богу и спасибо моему мужу, у меня столько кошельков и поясов, что я могу ими закидать его. Если же он не уймется, я, испросив на то благословение у вас, как у моего духовного отца, все расскажу мужу и братьям, а там будь что будет. Пусть лучше позор падет на его голову, раз уж ему на роду так написано, чем если из-за него станут чернить меня. Верно я рассудила, отец мой?»

И тут она, все еще обливаясь слезами, достала из-за пазухи прелестный, богато изукрашенный кошелек, затем нарядный дорогой пояс и бросила монаху на колени, — тот, приняв на веру все ее слова, в крайнем замешательстве взял вещи и сказал: «Дочь моя! Я не дивлюсь, что это так тебя огорчает, и не только не осуждаю тебя, но, напротив, весьма одобряю за то, что ты следуешь моим наставлениям. Я его позавчера отчитывал, но он, как видно, слова своего не сдержал, и теперь я его и за прежнее и за новое так взгрею, что он от тебя отстанет. Ты же с божьей помощью преобори гнев свой и родным ничего не говори, а то ему худо придется. Не бойся, что тебя за это очернят, — я и перед богом, и перед людьми нелицеприятный свидетель твоего честного поведения».

Дама, сделав вид, что это ее несколько успокоило, переменяла разговор и, зная монашескую алчность и, в частности, его алчность, повела с ним такую речь: «Отец мой! Все эти ночи мне являлись во сне мои родные. Мне показалось, что они ужасно как мучаются, и просили они меня не скупиться на помин их души, в особенности — моя мать: у нее был такой удрученный и такой несчастный вид, что жалость брала на нее глядеть. По-моему, она очень страдает из-за меня — что мне столько пришлось вынести из-за этого врага господня, и мне бы хотелось, чтобы вы отслужили сорок заупокойных литургий святого Григория и помолились о том, чтобы господь избавил моих родных от вечного огня». И, сказавши это, она вложила ему в руку флорин.

Святой отец, с радостью взяв его, постарался добрым словом и многочисленными примерами укрепить ее во благочестии, а затем, благословив, отпустил. Не понимая, что его обвели вокруг пальца, он тотчас по уходе исповедницы послал за своим другом, — тот, увидев, что монах

гневаются, живо смекнул, что он ему сейчас сообщит что-нибудь новое о даме, и весь превратился в слух. Монах повторил все, о чем твердил ему прежде, а затем в не менее оскорбительных и сильных выражениях стал порицать за то, что он, по словам дамы, себе с ней позволил. Приятель монаха, еще не понимая, к чему тот клонит, и не решаясь колебать его уверенность, которая, может статься, внушена была ему той дамой, слабо отрицал посылку кошелька и пояса.

Монах, разъярившись, вскричал: «Как ты смеешь отрицать, негодник? Вот о н и , — она сама, рыдая, принесла их мне. Ну что, твои это вещи?»

Тот, сделав вид, что не знает, куда деваться от стыда, сказал: «Конечно, мои. Признаюсь, я поступил дурно. Теперь я убедился, что она ко мне не расположена, и клянусь вам, что больше вы от нее ничего про меня не услышите».

Долго еще вели они этот разговор; наконец безмозглый монах отдал своему приятелю кошелек, пояс, а затем, после многократных наставлений и просьб, взяв с него слово не заниматься больше такими делами, отпустил его. Тот, обрадованный сим знаком любви, которую, по всей видимости, питала к нему дама, а равно и прекрасным подарком, прямо от монаха направился к ее дому и осторожно дал ей понять, что обе вещи у него, она же пришла от этого в восторг, а еще больше от того, что дела ее идут на лад. Теперь она для полного успеха своего начинания мечтала только о том, чтобы муж ее когда-нибудь уехал, и нужно же было случиться так, что некоторое время спустя он по какому-то делу принужден был выехать в Геную.

Как скоро он сел на коня и уехал, она пошла к святому отцу и, плача и стеная, заговорила: «Отец мой! Скажу вам по чистой совести: терпения моего больше нет, однако ж позавчера я дала вам слово не предпринимать ничего, не поговоривши с в а м и , — вот я и пришла рассказать вам все как на духу. Дабы вы удостоверились, что у меня есть из-за чего плакать и есть на что сетовать, довожу до вашего сведения, что ваш приятель, этот сущий бес, вытворил нынче перед самой заутреней. Какими-то судьбами ему удалось пронюхать, что муж мой вчера утром уехал в Геную, и вот сегодня, как я уже с к а з а л а , — спозаранку, он проник в мой сад, влез на дерево, что как раз против моего окна, и уже растворил окно и хотел было прыгнуть ко мне в комнату, но тут я проснулась, вскочила и давай кричать, а он, еще не успев ко мне перебраться, сказал, кто он таков, и стал меня умолять — ради господа бога и ради вас пощадить его. Я из уважения к вам умолкла — и, в чем мать родила, к окну: захлопнула его перед самым носом вашего друга, а он как сквозь землю провалился — больше я его не видела. Судите сами, как это с его стороны красиво и можно ли это терпеть, — я, по крайности, не собираюсь больше ему спускать: уж и так я из уважения к вам слишком много ему прощала».

Монах пришел в такое неистовство, что сразу не нашелся, что ей сказать, — он несколько раз обращался к ней с вопросом, не спутала ли она его друга с кем-либо еще.



«Господи помилуй! Неужели я не различу, он ли это или кто другой? Говорят вам, что то был он. Если же он станет запираяться, вы ему не верьте».

«Дочь моя! — снова заговорил монах. — Тут можно сказать только одно: с его стороны это неслыханная наглость, он поступил отвратительно, а ты правильно сделала, что прогнала его. И все же я прошу тебя вот о чем: бог спас тебя от бесчестья, а потому ты и на сей раз последуй моему совету, как слушалась его дважды, а именно — не жалуйся никому из родных и предоставь действовать мне: может статься, я сумею обуздать этого блудного беса, которого я до сей поры принимал за святого. Удается мне вывести его из скотского состояния — хорошо; если же нет — вместе с моим благословением даю тебе позволение поступить с ним, как тебе заблагорассудится».

«Ну хорошо, — согласилась дама, — я и на этот раз не прогневаю вас и не ослушаюсь, но только уж вы на него повлияйте, чтоб он не смел больше мне досаждать, иначе я с этим к вам уже не обращусь». С последним словом, притворившись рассерженной, она ушла от монаха.

Не успела она выйти из церкви, как вошел тот человек, — монах подозвал его и, отведя в сторону, разбил на все корки, обозвал обманщиком, клятвопреступником и злодеем. Тот, уже дважды познав, чем была вызвана брань монаха, внимательно слушал и уклончивыми ответами старался побольше у него выудить.

«Что вы так гневаетесь, ваше преподобие? Можно подумать, что это я распял Христа», — так начал он.

«Ах ты бессовестный! — воскликнул монах. — Вы только послушайте, что он говорит! Так говорит, как будто прошел уже год, а то и два, и он за давностью лет позабыл свои подлости и злодеяния! Ведь ты нынче перед самой заутреней оскорбил женщину — неужто это уже успело вылететь у тебя из головы? Где ты был перед рассветом?»

«Не знаю, — отвечал тот. — Быстро, однако ж, это до вас дошло!»

«Что правда, то правда — быстро, — подтвердил монах. — Ты, должно думать, надеялся, что коли мужа нет дома, то почтенная дама в ту же минуту раскроет тебе объятия. Хорош гусь! А еще слывет порядочным человеком! Уподобился ночным разбойникам, шляешься по чужим садам, лазаешь по деревьям! Для чего ты ночью взбираешься на дерево против окна? Или ты воображаешь, что ее целомудрие против твоего нахальства не устоит? Она питает к тебе неодолимое отвращение, а ты не унимаешься? Сколько раз она тебе это показывала, сколько раз я тебя распекал — как об стену горох! Ну так вот что я тебе скажу: до сего дня, вовсе не из любви к тебе, а снисходя к моим убедительным просьбам, она молчала о твоих проделках, но больше молчать не станет: я ей позволил, если ты опять чем-либо ей досадишь, поступить с тобой, как ей будет угодно. Что ты станешь делать, если она расскажет братьям?»

Приятель монаха, вызвав у него все, что нужно, постарался, сколько мог, успокоить его, надавал всяких обещаний, а на рассвете проник в

сад, влез на дерево, через растворенное окно перебрался в комнату и с великим проворством бросился в объятия прекрасной дамы. Дама с громадным нетерпением поджидала своего возлюбленного и радостно приветствовала его. «Вот спасибо его преподобию! — воскликнула она. — Как точно показал он тебе дорогу!» Затем они долго ублажали друг дружку, ворковали, потешались над простотой пустоголового монаха, удивлялись, зачем нужны трепалки, гребни и чесалки, наслаждались и забавлялись. Поладив, они уговорились более к его преподобию не обращаться и так же весело провели еще много ночей, каковую неизреченную милость я испрашиваю у бога и для себя, и для всякой души христианской, буде она того возжелает.





*Дон Феличе наставляет брата Пуччо,  
как, наложив на себя особого рода епитимью, можно стать блаженным;  
брат Пуччо накладывает на себя епитимью,  
а дон Феличе тем временем развлекается с его женой*



огда Филогена, окончив свой рассказ, умолкла, а Дионео в изящных выражениях одобрил как изобретательность дамы, так равно и заключительную молитву Филогены, королева улыбнулась и взглянула на Панфило.

— А теперь ты, Панфило, позабавь нас и расскажи что-нибудь веселое, — сказала она. Панфило не замедлил ответить согласием и начал так:

— Много есть на свете людей, ваше величество, которые стремятся попасть в рай, но, сами того не замечая, направляют туда других, что не так давно и произошло с одной из наших соседок, о чем вы сейчас и узнаете.

Недалеко от монастыря святого Панкратия жил-был, как я слышал, богатый человек по имени Пуччо ди Риньери, и был он до того набожен, что в конце концов стал послушником Францисканского ордена, и с тех пор все его звали «брат Пуччо». В заработке он не нуждался, так как, кроме жены и служанки, содержать ему было некого, и, дабы утолить духовную свою жажду, он часто ходил в церковь. Неуч и болван, он только и знал, что читать молитвы, слушать проповеди, бывать у обедни, не упускал случая послушать духовное пение мирян, постился, истязал свою плоть, — ходили даже слухи, что он принадлежит к секте бичующихся. Жена его, Изабетта, бабенка еще молодая, лет двадцати восьми — тридцати, свеженькая, хорошенькая, сдобная, румяная, как яблоко, из-за святости мужа, а быть может, из-за его старости, частенько не по своей воле сидела на диете: ее ко сну клонит или же тянет с ним побаловаться, а он рассказывает ей о жизни Христа,

о поучениях брата Настаджо, о плаче Магдалины и о прочем тому подобном.

Между тем из Парижа вернулся монах дон Феличе, живший в монастыре святого Панкратия, совсем еще молодой, красивый, отличавшийся острою ума и глубиною познаний, и брат Пуччо очень с ним подружился. Дон Феличе отлично разрешал все его сомнения и, подлаживаясь под его тон, прикидывался строгой жизни монахом, — вот почему брат Пуччо охотно приглашал его к себе то обедать, то ужинать, а жена брата Пуччо из любви к супругу тоже с ним подружилась и радушно его принимала. Сделавшись частым гостем брата Пуччо и обратив внимание, что у него такая свежая и сдобная жена, монах смекнул, чего ей особенно не хватало, и порешил взять на себя труд, каковой надлежало нести брату Пуччо. Время от времени лукаво на нее поглядывая, он в конце концов возбудил в ней то самое желание, какое прежде возникло у него. Удостоверившись в этом, монах при первом удобном случае заговорил с ней о своем влечении. Но хотя она и была расположена довести дело до конца, со всем тем возможностей к тому не представлялось: она не решалась довериться монаху нигде, кроме собственного дома, а дома это было немисливо, так как брат Пуччо никуда из города не выезжал, каковое обстоятельство было для монаха весьма огорчительно. И лишь много спустя сыскал он способ слюбиться с нею у нее на дому, не возбуждая подозрений у брата Пуччо, хотя бы он в это время был дома.

Как-то раз, когда брат Пуччо зашел к нему, он повел такую речь: «Я давно уразумел, брат Пуччо, что у тебя одно желание — достигнуть святости, но идешь ты к ней, как мне представляется, чересчур долгим путем, а ведь есть же другой, кратчайший, который знают и которым пользуются папа и другие князья церкви, — они только не хотят открывать его другим, дабы не оскудело духовенство, живущее главным образом подаянием, ибо тогда уже миряне ни подаянием, ни чем-либо иным не баловали бы духовных особ. Но ты мне друг, и ты столько оказывал мне знаков внимания, что, если б я мог быть уверен, что ты никому того пути не откроешь, а сам на него вступишь, я бы тебя на него наставил».

Брату Пуччо не терпелось узнать, что же это за путь, и он начал неотступно молить дона Феличе, чтобы тот наставил его, и поклялся, что никому не проговорится, разве дон Феличе сам того пожелает, и что если только он достоин следовать этим путем, то незамедлительно на него вступит.

«Раз ты мне обещаешь, я тебя направлю, — молвил монах. — Тебе должно быть известно, как учат святые отцы: кто хочет стать блаженным, тот должен наложить на себя епитимью, о коей ты сейчас от меня услышишь. Ты только пойми меня хорошенько: я не хочу сказать, что после епитимьи ты перестанешь быть грешником, однако же все грехи, совершенные тобою до наложения епитимьи, очистятся и благодаря ей будут тебе отпущены, те же, которые ты совершишь потом, не вменяются тебе во осуждение, но смываются святой водой, подобно как ныне смывают-

ся подлежащие отпущению. Итак, епитимья твоя должна начаться с того, что ты со всеусердием покаешься во всех грехах своих, засим — пост и строжайшее воздержание в течение сорока дней, причем тебе надлежит воздерживаться от соприкосновения не только с какой-либо чужой женщиной, но даже со своею собственною женой. Потом, у тебя в доме должно быть такое место, откуда ночью можно видеть небо. Ты будешь ходить туда во время повечерия, а там ты должен поставить широченный стол таким образом, чтобы, стоя обеими ногами на полу, ты мог прислониться к нему спиной, раскинув руки, словно тебя распяли. Если б ты при этом изъявил желание, чтобы тебя прикрепили к столу какими-нибудь шпешеньками, то это не возбраняется. Так, глядя на небо, ты должен неподвижно стоять до самой утрени. Если б ты знал грамоте, тебе следовало бы прочесть в это время кое-какие молитвы, но коль скоро ты грамоте не учен, то тебе надлежит триста раз прочесть наизусть «Отче наш», триста раз — «Богородицу» и молитву Пресвятой троице. Взирая на небо, ты должен помышлять о вседержителе, творце неба и земли; стоя в таком же положении, в каком Христос был на кресте, ты должен помышлять о его страстях. Когда же зазвонят к заутрене, ты волен оттуда уйти, повались, не раздеваясь, на постель и усни, затем пойди в церковь, отстой, по крайней мере, три обедни и пятьдесят раз прочти «Отче наш» и столько же «Богородицу», потом, не мудрствуя лукаво, сделай свои дела, если у тебя таковые найдутся, отобедай, потом пойди в церковь к вечерне и прочти некоторые молитвы, — я их тебе запишу, без них обойтись никак невозможно, — а там скоро и повечерие, и опять все сначала. Я сам прошел через это испытание и уповаю, что если ты все будешь совершать с благоговением, то еще до конца епитимьи почувствуешь, сколь предивно вечное блаженство».

А брат Пуччо ему: «Это дело не так чтобы уж очень трудное и не так чтобы уж очень долгое, с этим вполне можно справиться, и я прямо со следующего воскресенья, во славу божию, и начну».

Воротаясь к себе, он с дозволения монаха все подробно рассказал жене. Та живо смекнула, для какой цели монах придумал неподвижное стояние до самой утрени, и так как она была такого мнения, что это он весьма ловко придумал, то сказала, что она одобряет и это начинание, как одобряет всякое благое дело, которое ее муж замышляет во спасение своей души, а дабы господь бог содеял его покаяние возможно более благотворным, то она готова даже с ним вместе поститься, а вот насчет всего остального — это уж нет.

Уговорившись на том, брат Пуччо со следующего же воскресенья начал свою епитимью, а его преподобие, стакнувшись с Изабеттой, почти ежевечерне, в тот час, когда никто не мог увидеть его, приходил к ней ужинать, причем всякий раз приносил с собой сладких яств и питий, затем ложился с нею в кровать, лежал до утрени, потом вставал и уходил, а брат Пуччо приходил соснуть. Место, которое брат Пуччо избрал местом своего покаяния, находилось рядом с комнатой, где спала его жена, и отделялось от нее лишь тонкой перегородкой. И вот однажды, когда монах и жена брата Пуччо резвились без всякого удержу,

брату Пуччо почудилось, будто под ним трясется пол, и он, уже сто раз прочитав «Отче наш», вдруг запнулся и, стоя все так же неподвижно, окликнул жену и спросил, что она там делает. А жена его, презренная шутница, как раз в это самое время скакала без седла на верховом животном святого Бенедикта, а может, и святого Иоанна Гвальберта. «Я, муженек, изо всех сил верчусь, честное слово!» — крикнула она в ответ.

А брат Пуччо ей: «Как так вертишься? Что это еще за верченье?»

Жена его была веселого нрава и за словом в карман не лезла, а может, ей и было чему посмеяться. «Неужели вам не понятно? — крикнула она. — Вы же сами мне тысячу раз говорили: «На голодное брюхо спать не ложись, а то потом, знай, с боку на бок вертись».

Брат Пуччо поверил намеку на то, что причина ее бессонницы — пост, оттого, мол, она и вертится на постели, и в простоте душевной обратился к ней с такими словами: «Говорил я тебе, жена, не постись! Но раз уж ты настояла на своем, то не думай о еде и постарайся заснуть, а то ведь ты так скачешь по постели, что весь дом трясется».

«Не беспокойтесь, — сказала жена, — я сама знаю, что мне нужно. Вы занимайтесь своим делом, а я, сколько сил хватит, буду заниматься своим».

Тут брат Пуччо умолк и опять принялся читать молитвы, а жена с его преподобием блаженствовали и эту ночь и потом — до тех пор, пока не кончилась епитимья брата Пуччо, только ложе себе они велели устроить в другом конце дома; когда же монах уходил, жена перебиралась на свою кровать, а немного погодя на ту же кровать ложился, отстояв положенное время, брат Пуччо. Словом, брат Пуччо каялся, а жена его и монах наслаждались, и она не раз в шутку говорила монаху: «Ты заставил брата Пуччо епитимью на себя наложить, а мы благодаря этому рая сподобились». И так это ей пришлось по вкусу после той продолжительной диеты, на которой ее держал муж, и так привыкла она к монашеской пище, что, даже когда епитимья брата Пуччо кончилась, она ухитрялась питаться с ним в другом месте и, соблюдая осторожность, долго еще получала от того удовольствие.

Таким образом, конец нашего рассказа не противоречит началу: брат Пуччо каялся, рассчитывая благодаря этому попасть в рай, но вместо себя направил туда монаха, указавшего ему дорогу, и свою жену, которая, живя с мужем, терпела крайнюю нужду как раз в том, что его преподобие по своей отзывчивости доставлял ей в избытке.





*«Щеголек» гарит своего верхового коня мессеру Франческо Верджеллези  
и за это с его дозволения разговаривает с его женой;  
когда она молчит, он отвечает за нее,  
и все потом у них происходит в полном соответствии с его ответами*



огда Панфило, вызвав смешок у дам, кончил свой рассказ о брате Пуччо, королева с пленительной улыбкой велела продолжать Элиссе. Элисса, отличавшаяся некоторой ядовитостью, впрочем безобидной, начала так:

— Многие, много зная, воображают, что другие ничего не знают, вследствие чего, намереваясь оплести других, они только потом, когда все уже кончено, догадываются, что их самих оплели. Вот почему мне представляется крайним безрассудством — без особой нужды испытывать

силу чужого разума. Но так как, быть может, не все со мною согласны, то я хочу, следуя принятому нами правилу, рассказать, что случилось с одним пистойским дворянином.

Жил-был в Пистойе дворянин мессер Франческо из рода Верджеллези, человек весьма состоятельный, благоразумный, рассудительный, но необычайно скупой, и вот он, будучи назначен градоправителем в Милан, обзавелся всем необходимым, дабы показаться миланцам в надлежащем виде, а вот верхового коня у него не было: сколько ни смотрел, ни один ему не нравился, и был он этим крайне озабочен. В Пистойе жил тогда молодой человек по имени Риччардо, хуродородный, но с огромным состоянием, всегда нарядный, вылощенный, так что его все обыкновенно звали «Щеголек». Риччардо давно любил, хотя и без взаимности, жену мессера Франческо, а она была красавица и скромница. У него был один из самых красивых коней во всей Тоскане, и он очень ценил его за красоту, а так как ни для кого не являлось тайной, что «Щеголек» прельстился женою мессера Франческо, то кто-то



сказал мессеру, что, если он попросит коня у «Щеголька», тот из любви к его жене согласится продать коня. Мессер Франческо велел позвать «Щеголька» и попросил продать коня, но по своей скупости в глубине души надеялся, что «Щеголек» не продаст ему коня, а подарит.

«Щеголек» обрадовался. «Мессер! — сказал он. — Если б вы предложили мне за коня все, что у вас есть, и тогда я бы вам не продал его, а вот подарить могу, с условием, однако ж, что, прежде чем получить коня, вы мне позволите сказать несколько слов вашей супруге — сказать при вас, но в отдалении, так, чтобы никто нас не слышал».

В мессере Франческо заговорила скупость, да к тому же еще он рассчитывал натянуть «Щегольку» нос, — потому-то он и ответил соглашением: говори, мол, сколько хочешь. Он оставил «Щеголька» в одной из зал своего дворца, а сам пошел к жене и, сообщив, что конь ему достается даром, велел ей выслушать «Щеголька», но в ответ ни «да» ни «нет» не говорить. Жене это было совсем не по душе, но ничего не поделаешь: послушаться мужа нельзя, — она сказала, что так и сделает, и пошла за ним в залу, дабы выслушать «Щеголька».

«Щеголек», подтвердив свой уговор с дворянином, сел с нею в одном из укромных уголков залы и повел такую речь: «Милостивая государыня! У меня нет сомнений в том, что вы с вашей проницательностью давно догадались, как мне вскружила голову красота ваша, — такой безукоризненной женской красоты мне еще встречать не приходилось. Я уже не говорю о достойном вашем поведении и о ваших совершенствах — они способны покорить самого стойкого человека. Следственно, мне нет нужды доказывать на словах, что еще ни один мужчина так сильно и пламенно не любил женщину, как люблю вас я. И так я, вне всякого сомнения, и буду любить вас до тех пор, пока горькая моя жизнь будет теплиться в моем теле, более того: если и там любят так же, как здесь, то я буду любить вас вечно. Поверьте, что у вас нет такой вещи — драгоценности или какого-нибудь пустяка, — которую вы могли бы считать в такой же мере своею и на которую вы могли бы при любых обстоятельствах так же рассчитывать, как на меня, каков бы я ни был, равно как и на все, что принадлежит мне. Для вящей убедительности я хочу еще прибавить, что если б я повелевал всем миром и весь мир тот же час исполнял мои повеления, я бы это почитал не столь великой милостью судьбы, как если б я должен был по вашему приказанию сделать что-либо мне посильное, а вам приятное. Итак, коль скоро я — весь ваш, о чем вы сейчас от меня самого узнали, то, значит, у меня есть основания для того, чтобы дерзновенно обратиться с мольбою к вашему величию, а ведь только от вас одной, и ни от кого более, зависит мой покой, мое благополучие, мое спасение. Потому-то я и молю вас, как всепокорнейший раб ваш: сокровище мое, единственная надежда моей души, объята любовным пламенем и на вас одну уповающей, будьте великодушны, смягчите суровость, которую вы, несмотря на то что я весь принадлежу вам, прежде ко мне выказывали, — смягчите,

дабы, ободренный вашим состраданием, я мог сказать, что красота ваша пленила меня и она же вернула мне жизнь, а иначе, если гордый ваш дух моей мольбы не услышит, то жизнь моя пойдет на убыль, и я умру, а вас станут называть моим убийцей. Я не хочу сказать, что смерть моя не послужит вам к чести; полагаю, однако ж, что совесть заговорит в вас и вы пожалеете, что так со мной обошлись, и, тронутая моею участью, подумаете: «Ах, зачем я не сжалась над моим «Щегольком!»» Но запоздалое это раскаяние только еще сильнее растравит вам сердце. И вот, чтобы этого не случилось, пожалейте меня, пока еще моему горю можно помочь, пока еще я не умер, умиласердитесь надо мною, — ведь от вас одной зависит превратить меня в самого счастливого или же в самого несчастного человека на всем белом свете. Надеюсь, вы будете великодушны и не допустите, чтобы я в награду за великую и безграничную любовь был осужден на смерть, — я уповаю на то, что воодушевляющий и милосердия исполненный ответ ваш успокоит мой дух, в страхе трепещущий при одном взгляде на вас». Тут он умолк и, в ожидании, что скажет ему в ответ благородная дама, испустил глубокий вздох и пролил слезу.

На даму не действовали ни долговременные ухаживанья, ни турниры, ни любовные песни на рассвете, — не действовало все, на что из любви к ней решался «Щеголек», но сейчас ее тронули страстные речи пылкого любовника, и она впервые ощутила то, чего никогда прежде не ощущала: она узнала, что такое любовь. И хотя, исполняя волю мужа, она молчала, ее нечаянные вздохи не могли утаить то, что она теперь охотно сказала бы «Щеголку» на словах.

Немного подождав и наконец удостоверившись, что никакого ответа не воспоследует, «Щеголек» сперва удивился, а затем начал догадываться, какую уловку применил дворянин. Когда же он устремил взгляд на даму, то заметил, что глаза у нее блестят всякий раз, когда она обращает на него свой взор, а еще он уловил подавляемые ею вздохи; это его обнадежило, и, вдохновленный ею, он предпринял новую попытку — начал от ее лица сам себе отвечать: «Конечно, «Щеголек», я давным-давно заметила, что ты любишь меня любовью необычайной и бесконечной, а теперь, выслушав тебя, я окончательно в ней убедилась и, само собой разумеется, очень этому рада. До сих пор я казалась тебе суровой и жестокой, однако ж я не хочу, чтобы ты думал, будто я и в глубине души такая, какою я тебе представлялась по внешнему виду. Нет, я всегда любила тебя, ты был мне всех дороже, но я не могла держать себя иначе: во-первых, я боялась другого человека, а во-вторых, боялась за свою честь. Но вот наконец пришло время, когда я смогу доказать, как я тебя люблю, и вознаградить тебя за любовь, которую ты питал и питаешь ко мне. Не унывай же и надейся, ибо мессер Франческо спустя несколько дней отбудет в Милан, куда он назначен градоправителем, — впрочем, ты это знаешь и без меня: ведь ты же из любви ко мне подарил ему своего прекрасного коня. Клянусь тебе честью и верной моею любовью к тебе, что спустя несколько дней, как скоро он уедет,

ты будешь со мной, и взаимное наше влечение счастливо увенчается для нас полным успехом. Я тебе сразу скажу (чтобы потом не надо было повторять), что когда ты увидишь в моем окне, выходящем в сад, два полотенца, то с наступлением темноты войди в сад через калитку и приходи ко мне, — только смотри, осторожней, чтобы никто тебя не увидел, — а я буду тебя ждать, и мы с тобой проведем ночь, как ты того желаешь, — проведем весело, услаждаясь друг дружкой».

Проговорив это от лица дамы, «Щеголек» стал теперь говорить от себя: «Дорогая! Меня так порадовал ваш благоприятный ответ, что от радости я не в состоянии найти слова, дабы изъявить вам благодарность. Впрочем, если бы даже я и сыскал подобающие выражения, то у меня не хватило бы времени достойно возблагодарить вас — так, как бы мне хотелось и как бы мне надлежало, — а потому я всецело полагаюсь на вашу сообразительность: вы, уж верно, поймете то, чего я при всем желании не могу выразить в словах. Скажу одно: как вы велели, так точно я и поступлю, и вот тогда-то, вдохновленный драгоценным даром, который вы мне посулили, я постараюсь в меру моих сил отблагодарить вас. Вот все, что я пока могу вам сказать. Да пошлет же вам господь, дорогая моя, радость и счастье, каких вы сами себе желаете! Поручаю вас его воле».

Дама на все это не ответила ни единого слова. «Щеголек» встал и направился к дворянину — тот пошел к нему навстречу и со смехом спросил: «Ну что? Сдержал я свое слово?»

«Нет, мессер, — отвечал «Щеголек», — вы мне обещали предоставить возможность поговорить с вашей супругой, мне же пришлось говорить с мраморной статуей».

Дворянин обрадовался, — он и прежде был высокого мнения о своей жене, а сейчас она еще выросла в его глазах. «Значит, конь теперь мой?» — спросил он.

«Да, мессер, — подтвердил «Щеголек», — однако ж если бы знал, что извлеку из вашей любезности ту пользу, какую я извлек, то подарил бы вам коня, не прося о любезности. Так было бы не в пример лучше, а то ведь что вышло? Вы купили коня, хотя я вам его не продавал».

Дворянин посмеялся и, обзаведясь конем, спустя несколько дней отбыл в Милан, дабы вступить в должность градоправителя. Жена его на досуге поразмыслила о словах «Щеголька», о любви, которую он к ней питал, о том, что ради этой любви он подарил коня, и, видя, что он, то и знай, прохаживается мимо ее дома, сказала себе: «Что я делаю? Зачем я гублю свою младость? Муж уехал в Милан и целых полгода пробудет в отсутствии. Когда же он вознаградит меня за эти полгода? Когда я состарюсь? Да и где я найду такого поклонника, как «Щеголек»? Я одна, бояться мне некого, так почему бы, пока есть возможность, не провести приятно время? Когда-то еще дождусь я такой свободы! Никто ничего не узнает, а если бы даже это и всплыло, так лучше согрешить и покаяться, чем не согрешить и потом раскаиваться». В конце

концов она себя убедила и однажды по совету «Щеголька» повесила на окно, выходящее в сад, два полотенца. Увидев их, «Щеголек» возликовал и под покровом ночной темноты прокрался к ее калитке, — калитка оказалась отпертой, — а затем прошел в дом, где его уже поджидала хозяйка. При виде его она обрадовалась чрезвычайно — в ту же минуту встала и двинулась к нему навстречу, он же, обняв ее и расцеловав, пошел следом за ней вверх по лестнице, и там, в верхнем ее покое, они незамедлительно возлегли и познали конечную цель любовной страсти. И то был первый, но далеко не последний раз, потому что, пока дворянин был в Милане, равно как и по его возвращении, «Щеголек» неоднократно посещал его жену к величайшему обоюдному удовольствию.





*Риччардо Минутоло любит жену Филиппелло Сигинольфо;  
узнав, что она ревнива, он уверяет ее,  
будто Филиппелло назначил на завтра свидание в банях с его женой;  
жена Филиппелло идет туда; она убеждена, что с ней ее муж,  
но потом выясняется, что она провела время не с ним, а с Минутоло*



ак скоро Элисса досказала до конца, королева, воздав должное находчивости «Щеголька», велела рассказывать Фьямметте.

— Слушаюсь, ваше величество, — со смехом молвила Фьямметта и начала так: — Нам придется временно оставить наш город, обильный всем вообще, в частности же — любыми примерами из жизни, — как и Элисса, я намерена вам сообщить, что приключилось в другом месте. Я перенесусь в Неаполь и расскажу, как одна из тех святош, что питают к любви отвращение, благодаря хитроумию своего любовника вкусила плод любви прежде, нежели познала ее цветы. Повесть моя послужит вам предостережением на будущее, приключения же, о которых пойдет в ней речь, вас позабавят.

В Неаполе, городе весьма древнем, таком же, а быть может, даже еще более веселом, нежели другие итальянские города, жил когда-то молодой человек по имени Риччардо Минутоло, принадлежавший к наизнатнейшему роду, славившийся своим богатством, и вот этот самый Риччардо, несмотря на то что жена у него была молодая, пригожая, обворожительная, полюбил другую, как гласила молва — по красоте не имевшую себе равных во всем Неаполе, звали же ее Кателлой, и была она замужем за другим не менее родовитым молодым человеком по имени Филиппелло Сигинольфо, которого она, будучи верной женой, любила и лелеяла. Так вот, Риччардо Минутоло любил Кателлу, всеми возможными средствами старался заслужить благосклонность ее и любовь, однако же нимало в том не преуспел и был на краю отчаяния.

Он так и не сумел подавить в себе чувство к Кателле, а быть может, это было свыше его сил, но только он и умереть не умер, и жизнь ему была не мила. И вот, когда он так изнывал, родственницы стали его уговаривать выкинуть из головы мысль о Кателле: ничего, мол, у него не выйдет, Кателле никто, кроме Филиппелло, не нужен, она его ревнует даже к птицам, пролетающим мимо него. Услышав, что Кателла ревнива, Риччардо живо смекнул, как ему достигнуть желанной цели, но притворился, что, утратив всякую надежду на взаимность, обратил взоры на другую знатную даму. И теперь уже он будто бы из любви к другой устраивал состязания, турниры, — словом, все, что прежде устраивал в честь Кателлы. Малое время спустя почти все неаполитанцы, в том числе и Кателла, решили, что он безумно влюблен уже не в Кателлу, а в другую даму. И так долго он выдерживал роль и так все в этом мнении укрепились, что и Кателла уже не дичилась его, как прежде, когда он преследовал ее своею любовью, — теперь она по-добрососедски кланялась ему, уходя и приходя, так же, как кланялась всем прочим.

Однажды в жаркое время мужчины и женщины, по обычаю неаполитанцев, целой компанией отправились к морю, намереваясь там отобедать, а может статься, и отужинать. Узнав, что вместе со своими знакомыми отправилась к морю и Кателла, Риччардо со своими друзьями поспешил туда же, и там ему предложили присоединиться к кружку Кателлы, однако ж, прежде чем принять приглашение, он долго ломался и заставлял себя упрашивать. Дамы, в том числе Кателла, начали подшучивать над его новой любовью, он же прикидывался, что сильно увлечен, и этим давал еще больше пищи для толков. Долго ли, коротко ли приятельницы Кателлы, как это обыкновенно бывает во время прогулок, разбрелись кто куда, Кателла же с несколькими подругами осталась в обществе Риччардо, и тут он игриво намекнул ей на то, что муж ее Филиппелло будто бы развлекается на стороне, Кателла же, внезапно возревновав, загорелась желанием узнать, что имеет в виду Риччардо. Некоторое время она себя пересиливала, но все же не смогла удержаться и обратилась к Риччардо с просьбой ради любви к его избраннице сделать ей одолжение — объяснить, что такое он говорил про Филиппелло.

Риччардо же ей на это сказал: «Вы просите меня именем столь дорогой мне особы, что я не могу отказать вам. Я готов исполнить вашу просьбу, с условием, однако ж, что вы пообещаете не говорить об этом ни ему, ни кому-либо другому до тех пор, пока не убедитесь на деле, что я вам сказал правду, а как в том убедиться — этому я вас, если угодно, научу».

Дама, поверив Риччардо, пошла на его условия и поклялась молчать. Тогда Риччардо отвел ее в сторонку, чтобы их не подслушали, и начал так: «Сударыня! Если б я любил вас по-прежнему, у меня не хватило бы духу сообщить вам что-либо неприятное, но любовь моя прошла, и мне уже не так тяжело поведать вам истину. Мне не известно, был ли уязвлен Филиппелло моею любовью к вам и думал ли он, что вы отвечаете мне взаимностью; мне, во всяком случае, он этого не пока-

зывает. Дождавшись, по всей вероятности, такого времени, когда у меня могло бы быть меньше всего подозрений, он, видимо, намеревается совершить по отношению ко мне то самое, чего он, должно полагать, опасался с моей стороны, а именно — склонить на любовь мою жену. Сколько мне известно, он с некоторых пор тайно шлет ей письмо за письмом, — об этом я от нее же самой и узнал, и ответила она ему под мою диктовку. Но не далее как нынче утром, собираясь ехать сюда, я взглянул к жене и застал у нее одну женщину, которая о чем-то с нею шепталась; с первого взгляда поняв, что это за птица, я отозвал жену и спросил, что ей нужно. А жена мне сказала: «Ты велел ответить Филиппелло и подать ему надежду, а теперь мне приходится эту кашу расхлебывать. Он требует, чтобы я прямо сказала ему о своих чувствах, и зовет на тайное свидание в бани. Вот с чем он ко мне пристает, и если бы ты неизвестно для чего не заставил меня вступить с ним в переговоры, я бы так его отделала, что он позабыл бы, как паялить на меня глаза». Тут уж мне стало ясно, что он слишком далеко зашел, что так это оставить нельзя и что надобно все рассказать вам, дабы вы уразумели, какой награды заслужила необоримая верность ваша, из-за которой я чуть было не погиб. А чтобы вы не думали, что это небылицы в лицах, чтобы вы могли, если вам угодно, все увидеть воочию, я велел жене передать ему с ожидавшей ее ответа женщиной, что она придет в бани около двух часов пополудни, когда все отдыхают, и посредница, вполне удовлетворенная, удалилась. Надеюсь, вы далеки от мысли, что я в самом деле намерен послать туда жену, но я бы на вашем месте подстроил так, чтобы он принял вас за ту, кого он будет там ждать, а побыв с ним некоторое время, я бы ему открылся и прохватил, как он того заслуживает. Полагаю, что, поступив таким образом, вы его так устыдите, что оскорбление, которое он собирается нанести и вам и мне, будет отомщено».

Кателла, как то свойственно ревнивым, забыла, кто все это говорит, и не разглядела подвоха, — она тотчас всему поверила, сопоставила с этим некоторые случаи, имевшие место в прошлом, и, восплавав гневом, ответила, что так и сделает, что это будет ей не слишком трудно и что, если только он явится на свидание, она его так устыдит, что он будет вспоминать о том всякий раз, когда ему захочется поглядеть на женщину. Риччардо был доволен; убедившись, что придумал он ловко и что дело идет на лад, он наговорил Кателле еще с три короба и окончательно утвердил и укрепил ее в этом намерении, не преминув, однако же, напомнить, чтобы она никому не говорила, что это он ей все рассказал, в чем она и поклялась ему своею честью.

Наутро Риччардо отправился к одной почтенной женщине, державшей бани, куда он приглашал Кателлу, и, поделившись с нею своим замыслом, попросил оказать ему сильную помощь. Почтенная женщина была перед ним в долгу, а потому охотно взялась ему помочь и условилась с ним, что ей нужно говорить и как действовать. В доме, где находились бани, была одна темная-претемная комната без единого окошка, и вот ее-то почтенная женщина по указке Риччардо прибрала и поста-

вила там лучшую из своих кроватей, на которую Ричхардо, закусив, в ожидании Кателлы взгромоздился.

Меж тем Кателла, выслушав Ричхардо и слепо ему поверив, вне себя от возмущения возвратилась ввечеру домой, а тоже возвратившийся к этому времени Филиппелло был занят своими мыслями и случайно не обнаружил, должно быть, при ее появлении той радости, какую всегда обыкновенно обнаруживал. Это и вовсе показалось ей подозрительным. «Уж верно, на уме у него та женщина, с которой предстоит ему завтра веселиться и наслаждаться, — сказала она себе. — Ну да не бывать же тому!» И всю ночь Кателла думала только о том, что она ему скажет после того, как побудет с ним. Что же было дальше? Желая быть исправной, Кателла во втором часу пополудни, взяв с собою служанку, пошла в бани, которые ей указал Ричхардо, и, увидев почтенную женщину, осведомилась, здесь ли Филиппелло.

Почтенная женщина ответила так, как ее научил Ричхардо: «А вы и есть та самая дама, которая должна сюда прийти поговорить с ним?»

«Я самая», — отвечала Кателла.

«А! Ну идемте!» — молвила почтенная женщина.

Кателла, предпочитавшая, чтобы этого человека здесь не оказалось, велела, однако, отвести ее в ту комнату, закутавшись в мантилью, вошла и заперла за собою дверь. При виде Кателлы Ричхардо подскочил от восторга и, заключив ее в объятия, прошептал: «Добро пожаловать, душенька!» Кателла, войдя в роль, обняла его, поцеловала, притворилась, что очень ему рада, — и все это молча, потому что боялась выдать себя. Комнатушка была претемная, каковое обстоятельство было на руку обоим. Даже если долго в ней находиться, глаза к темноте не привыкали. Ричхардо подвел даму к кровати, и на ней они молча, чтобы нельзя было узнать голос, и весьма долго пребывали, от какового пребывания одна сторона получила больше удовольствия и наслаждения, нежели другая.

Когда же Кателла наконец решила, что пора ей излить тайное свое негодование, то в порыве ярости повела такую речь: «О, какая горькая судьба у женщин и как безрассудно мы любим мужчин! Я, несчастная, восемь лет люблю тебя больше жизни, и что же я вижу? Ты плаешь и горишь любовью к другой, преступник, злодей! Как ты думаешь: с кем ты провел время? С той, с которой ты восемь лет спишь, которую ты так долго обманывал лицемерными своими ласками, прикидываясь любящим, меж тем как ты любишь другую. Я — Кателла, а не жена Ричхардо, бесовестный изменник! Прислушайся! Узнаешь мой голос? Это я! Промежуток времени, который отделяет нас от той минуты, когда мы выйдем на свет и я смогу пристыдить тебя, как ты того заслуживаешь, паршивый, поганый пес, мне кажется тысячелетием. Бедная я! Кого же я столько лет так любила? Вот этого окаянного пса, который, полагая, что держит в объятиях другую, за короткое время, что я с ним провела, подарил мне больше ласк и любви, нежели за все годы, когда я принадлежала ему. Нынче ты был в ударе, шелудивый пес, нынче ты был молодцом, а дома ты немощный, истощенный и слабосильный. Но, слава богу, ты возделал свое поле, а не чужое, как это тебе представлялось. Теперь

я понимаю, почему ты нынче ночью не тронул меня. Ты собирался освободиться в другом месте, тебе хотелось со свежими силами въехать верхом на поле битвы. Но, по милости божией и благодаря моей догадливости, вода пошла по надлежащему руслу. Что ж ты молчишь, негодяй? Почему ты ничего не отвечаешь? Ты что, онемел? Ей-богу, я не могу понять, как это я до сих пор не выцарапала тебе глаза! Ты надеялся, что измена твоя не узнается, но что известно одному, то станет известно и другому — это уж как бог свят! Не удалась тебе твоя затея! Ты не рассчитывал, что я направлю по твоему следу отличных собак».

Ричхардо в душе ликовал; он молча обнимал ее, целовал и осыпал еще более бурными ласками. А та ему: «Да, теперь ты стараешься задобрить меня лживыми своими ласками, постылый пес, стараешься успокоить и утешить меня, — как бы не так! Я не успокоюсь до тех пор, пока не осрамлю тебя при всех наших родных и знакомых, сколько их ни есть. Разве я не такая красивая, как жена Ричхардо Минутоло? Не такая же знатная? Что ж ты молчишь, пес ты паршивый? Чего у нее больше, чем у меня? Прочь, не смей меня трогать, ты и так нынче развоевался! Я знаю: раз тебе известно, кто я, ты теперь будешь действовать и через силу, но, с божьей помощью, ты у меня еще голодом насидишься. Отчего бы мне не послать за Ричхардо? Он любил меня больше, чем себя, я же хоть бы раз на него взглянула, а между тем что в том дурного? Ты был уверен, что здесь с тобой его благоверная, и если б сюда в самом деле пришла она, ты бы это для нее так старался. Значит, если б Ричхардо был моим любовником, ты не имел бы никакого права меня осуждать».

Долго еще она говорила и укоряла его, наконец Ричхардо, сообразив, что если оставить ее в неведении, то неприятностей потом не оберешься, порешил объявиться и вывести ее из заблуждения. Стиснув и сдавив ее в объятиях так, чтобы она не могла вырваться, он обратился к ней с такими словами: «Не гневайтесь, душенька! Амур научил меня добыть хитростью то, чего я не мог добиться обычным путем: я — ваш Ричхардо».

Услышав эти слова и узнав голос, Кателла хотела было вскочить с постели, но это ей не удалось, хотела крикнуть, но Ричхардо зажал ей рот рукой. «Сударыня! — снова заговорил он. — Что между нами было, того не поправишь, хотя бы вы потом кричали всю свою жизнь. Если же вы закричите или еще как-нибудь дадите об этом знать, то последствия могут быть такие: во-первых, — для вас это имеет значение немаловажное, — ваша честь и ваше доброе имя будут опорочены, ибо, если б даже вы и стали говорить, что я заманил вас сюда обманом, я скажу, что вы говорите неправду, что вы польстились на деньги и на подарки, которые я вам посулил, и, не получив того, на что рассчитывали, подняли шум и крик, а вы знаете, что люди скорее склонны верить дурному, нежели хорошему, стало быть, моим словам они, во всяком случае, дадут не меньше веры, нежели вашим. Этого мало: между вашим супругом и мною вспыхнет смертельная вражда, и дело может дойти до того, что или я его убью, или он меня, — вам же от того ни радости,

ни веселья. Итак, моя ненаглядная, смиритесь, иначе вы себя осрамите, а мужа и меня посорите и подвергнете немалой опасности. Вы не первая и не последняя, я же обманул вас не с целью отнять то, что принадлежит вам, — меня на это толкнула безграничная любовь, которую я к вам питаю и буду питать всегда, оставаясь в то же время преданнейшим вашим слугою. Я сам, все, что мне принадлежит, все, на что я способен и чего я стожу, — все это давным-давно находится в вашем распоряжении, и я хочу, чтобы отныне оно было в еще большей степени вашим. Вы всегда были благоразумны, и я льщу себя надеждою, что и в сем случае вы также выкажете благоразумие».

Из глаз Кателлы текли обильные слезы, но хотя она была очень сердита и осыпала Ричхардо упреками, здравый смысл говорил ей, что Ричхардо прав: так именно все и произойдет, как он предсказывает. «Ричхардо! — молвила она. — Не знаю, поможет ли мне господь бог пережить твой обман и то оскорбление, которое ты мне нанес. Здесь, куда меня завлекли моя доверчивость и безумная ревность, я кричать не стану, однако можешь быть уверен, что я не успокоюсь до тех пор, пока так или иначе тебе не отомщу за то, что ты мне учинил. Отпусти же меня, не держи! Ты добился чего хотел, ты наслаждался мною вполне, ну и довольно, оставь меня!»

Видя, что гнев Кателлы еще не остыл, Ричхардо порешил не отпускать ее, пока она с ним не помирится. Того ради он принялся всячески улачивать ее и умамливать и так просил, так молил, так заклинал, что она сдалась и помирилась с ним, и они с обоюдного согласия долго еще здесь пробыли, получая друг от дружки величайшее удовольствие. Как скоро она познала, насколько поцелуи любовника слаще поцелуев мужа, ее суровость по отношению к Ричхардо уступила место нежной любви. С того самого дня Кателла горячо его полюбила, и они, действуя весьма осмотрительно, часто предавались любовным утехам. Дай бог и нам предаваться тому же!





*Тедальдо, повздорив со своею возлюбленной, покидает Флоренцию, но некоторое время спустя под видом паломника возвращается, беседует с возлюбленною, доказывает ей, что она не права, спасает от смертной казни ее мужа, которого обвинили в его убийстве, мирит его со своими братьями и осмотрительно утешается с его женою*



ак скоро Фьямметта, заслужив всеобщее одобрение, умолкла, королева, чтобы не терять времени, тут же велела рассказывать Эмилии, и та начала так:

— Я хочу возвратиться в наш город, который двум моим предшественницам угодно было покинуть, и поведать вам о том, как один из наших сограждан вновь завоевал утраченное благоволение своей возлюбленной.

Итак, жил-был во Флоренции молодой человек по имени Тедальдо дельи Элизеи, без памяти влюбленный в одну даму по имени Эрмеллина, жену некоего Альдобрандино Палермини, и безупречною своею верностью заслуживший исполнение своих желаний. Блаженству его позавидовала судьба, ненавидящая счастливых: возлюбленная Тедальдо, одно время к нему благоволившая, вдруг ни с того ни с сего перестала к нему благоволивать и не только не брала его писем, но и не хотела с ним видеться, по каковой причине он затосковал и в пружестокую впал хандру, однако ж любовь свою он так тщательно скрывал, что никому в голову не приходило, что это и есть причина его тоски. Чего-чего он только не делал, чтобы вновь завоевать благорасположение своей возлюбленной, которое, как ему казалось, он утратил незаслуженно; наконец, уверившись в тщете усилий своих, вознамерился удалиться от света: ему не хотелось, чтобы та, которая была причиной его душевной муки, радовалась, глядя на то, как он сохнет. Взяв с собой все деньги, какие у него были, он тайком, ничего не сказав ни родным, ни друзьям, за исключением одного приятеля, который пользовался неограниченным его доверием, отбыл в Ан-

кону; здесь, назвавшись Филиппо ди Сан Лодеччо, он свел знакомство с богатым купцом, поступил к нему в услужение и на его корабле поехал с ним на Кипр. Поведение его и обхождение до такой степени пришлось купцу по душе, что купец не только положил ему хорошее жалованье, но и принял его в долю, а кроме того, поручил вести почти все свои дела, Тедальдо же вел их столь успешно и с таким тщанием, что по прошествии нескольких лет сам стал хорошим, богатым, именитым купцом. Дела не мешали ему, тяжело раненному любовью, часто вспоминать бессердечную возлюбленную и тосковать без нее, однако ж он выказал твердость духа необычайную и семь лет успешно с собой боролся. Но вот как-то раз случилось ему услышать на Кипре им же когда-то и сложенную песню, в которой речь шла о его любви к ней, о ее любви к нему, о том, как ему было с ней хорошо, и тут он проникся уверенностью, что не могла же она забыть его, и так ему захотелось ее увидеть, что, на сей раз не совладав с собою, он положил возвратиться во Флоренцию.

Приведя дела свои в порядок, он выехал вместе со слугой в Анкону, оттуда отправил свои вещи, как скоро они прибыли, во Флоренцию, на имя друга своего анконского приятеля, а сам, уже налегке, под видом паломника, ездившего поклониться гробу господню, вместе со слугой отбыл туда же. Приехав во Флоренцию, он остановился в скромной гостинице, которую держали два брата и которая находилась рядом с домом его возлюбленной, и порешил прежде всего подойти к ее дому, и если представится случай, то повидать ее. Приблизившись, он увидел, что все двери и окна в доме заперты, и это сильно его встревожило: не умерла ли она, — подумал он, — не переехала ли куда-либо? Крайне озабоченный, он пошел к своим братьям и всех четырех увидел возле дома, — к вящему его изумлению, они были одеты в черное. Приняв в соображение, что его не так-то просто узнать, — он сильно изменился за время своего отсутствия, да и одежда на нем была необычная, — он смело подошел к башмачнику и спросил, почему эти люди в черном. Башмачник же ему на это ответил так: «В черном они потому, что недели две тому назад одного из их братьев, по имени Тедальдо, который давно отсюда уехал, убили, и, как слышно, они показали на суде, что убил его некий Альдобрандино Палермини, который теперь находится в заключении, — убил же он Тедальдо из-за того, что тот любил его жену и ради нее тайно возвратился во Флоренцию».

Тедальдо крайне был изумлен, услышав, что существовал на свете его двойник, и пожалел злополучного Альдобрандино. Уже стемнело, когда он, узнав, что дама его сердца жива и здорова, одолеваемый всякими мыслями, возвратился в гостиницу, отужинал вместе со своим слугой, и его положили спать чуть ли не под самой крышей. То ли в голову ему все еще лезли разные мысли, то ли плохо была постелена постель, а может статься, виной тому был несытный ужин, но только уже полночи прошло, а он все никак не мог уснуть. Он по-прежнему бодрствовал, как вдруг ему почудилось, что кто-то слезает с крыши, а немного погодя он увидел сквозь щель в двери поднимающийся вверх по лестнице свет. Любопытствуя знать, что же это такое, он бесшумно прильнул

к дверной щели и увидел пригожую девушку со светильником в руке и спустившихся с крыши и шедших по направлению к ней трех мужчин, из коих один, после того как все трое поздоровались с девушкой, обратился к ней с такими словами: «Теперь, слава богу, мы можем быть совершенно спокойны: мы из достоверных источников знаем, что братья Тедальдо Элизеи показали, что убил его Альдобрандино Палермини, в чем тот сознался, и приговор уже вынесен. И все-таки нам нужно соблюдать осторожность: ведь если когда-нибудь дознаются, что убили мы, то нам не миновать разделить печальную участь Альдобрандино». Девушка обрадовалась, и они пошли спать.

Подслушав этот разговор, Тедальдо углубился в размышления о том, сколь велики и каковы суть заблуждения, в которые способен впасть ум человеческий, и прежде всего подумал о своих братьях, принявших чужого человека за него и этого чужого человека похоронивших, о невинно осужденном на смерть по ошибочному подозрению и неверным показаниям, а также о слепой строгости законов и властей, которые весьма часто, делая вид, будто они с крайним тщанием доискиваются истины, на самом деле пытками добиваются ложных показаний и при этом выдают себя за слуг правосудия и господ бога, меж тем как они суть орудия неправды и сатаны. Потом он призадумался над тем, как бы спасти Альдобрандино, и наконец сообразил.

Наутро, проснувшись, он оставил слугу своего в гостинице, а сам, решив, что пора действовать, отправился к своей возлюбленной. Дверь была не заперта, он вошел в небольшую нижнюю залу и, увидев свою возлюбленную, заливавшуюся слезами скорби, от жалости сам чуть не заплакал и, приблизившись к ней, молвил: «Не горюйте, сударыня, — вы скоро утешитесь».

Дама вскинула на него глаза и, рыдая, проговорила: «Добрый человек! Ты, как видно, чужестранец, паломник, — откуда же тебе может быть известно, о чем я горюю и что способно меня утешить?»

Паломник же ей на это ответил так: «Сударыня! Я из Константинополя, я только что приехал, а послал меня сюда сам господь бог, дабы претворить печаль вашу в радость и спасти вашего мужа от смерти».

«Если ты из Константинополя и только что приехал, почем же ты знаешь, кто мой муж и кто я?» — спросила она.

Паломник, начав с начала, рассказал всю историю бедствий Альдобрандино, сказал, кто она и сколько времени замужем, присовокупив к этому много известных ему событий из ее жизни. Дама была поражена; приняв его за пророка и пав перед ним на колени, она богом его заклинала поспешить, если он явился ради спасения Альдобрандино, ибо времени остается, дескать, немного.

Паломник, разыгрывая из себя великого праведника, сказал: «Встаньте, сударыня, осушите слезы, выслушайте меня со вниманием и остерегитесь кому-либо проговориться. Господь открыл мне, что ваше несчастье послано вам за грех, некогда вами совершенный. Господь восхотел очистить вашу душу хотя бы от этого греха, ему угодно, чтобы вы страданием искупили его, а иначе ждите горшей беды».

Дама же ему на это сказала: «У меня много грехов, мессер, и я не могу догадаться, какой именно грех я должна по воле божией искупить».

«Мне доподлинно известно, сударыня, что это за грех, — молвил паломник. — И спрошу я у вас о нем не для того, чтобы лучше знать, а для того, чтобы вы, поведав о нем, восчувствовали еще более сильные угрызения совести. Приступим, однако ж. Припомните: не было ли у вас когда-нибудь любовника?»

При этих словах дама испустила глубокий вздох и пришла в немалое изумление: ей было невдомек, каким образом мог до кого-либо дойти о том слух, — хотя, впрочем, когда убили и похоронили человека, которого принимали за Тедальдо, об этом шушукались, пищей же для толков послужило несколько слов, неосторожно брошенных приятелем Тедальдо, который был обо всем осведомлен. «Я вижу, что господь открывает вам тайны всех людей, а потому я не стану перед вами таиться, — сказала она. — Да, правда, в молодости я любила одного несчастного юношу, которого будто бы убил мой муж. Я оплакивала его гибель и все еще о нем скорблю, ибо хотя до его отъезда я была с ним сурова и холодна, со всем тем ни его отъезд, ни долговременная разлука, ни ужасная смерть не могли вырвать его из моего сердца».

Паломник ей на это сказал: «Вы никогда не любили несчастного убиенного юношу — вы любили Тедальдо Элизеи. Скажите: за что вы на него прогневались? Разве он вас чем-нибудь оскорбил?»

Дама же ему на это ответила так: «Нет, он никогда меня не оскорблял. Я к нему переменилась из-за одного окаянного монаха, у которого я однажды исповедовалась: когда я ему призналась, что люблю этого человека и что я с ним близка, он так на меня напустился, что я холодею при одном воспоминании об этом, да ведь и то сказать: он мне внушал, что если я с Тедальдо не порву, то в наказание попаду к дьяволу в пасть, меня низвергнут в преисподнюю, и буду я гореть в огне неугасимом. И такой на меня тогда напал страх, что порешила я прекратить с Тедальдо всякую связь и того ради перестала принимать письма его и послания, хотя, думается мне, если б он проявил упорство, а не бежал, сколько я могу судить, от отчаяния, и если б он на моих глазах таял, словно снег на солнце, то непреклонная моя решимость дрогнула бы, оттого что и я не могу жить без него, как и он без меня».

Паломник же ей на это сказал: «Вот этот-то самый грех, сударыня, вас теперь и мучает. Я знаю наверное, что Тедальдо не принуждал вас к сожительству — вы в него влюбились и сошлись с ним по доброй воле, оттого что он вам пришелся по нраву, снискал ваше благоволение, и вы столь усердно доказывали это ему и словом и делом, что любовь его тысячекратно усилилась. А когда так, то что же могло вынудить вас столь жестоко с ним обойтись? Вам надлежало прежде хорошенько подумать, и если б вы уразумели, как это дурно и что вам после придется горько каяться, вы бы так не поступили. Он принадлежал вам, вы принадлежали ему. Вы были вольны, понеже вы распоряжались им как своею собственностью, отказаться от своих прав на него, но похитить у него вас — вас, которою он владел, — это значит совершить кражу,

совершить бесчестный поступок. Как видите, я монах, монашеские нравы мне известны доподлинно, и если я для вашей же пользы выскажусь о них несколько вольно, то мне это простительнее, нежели кому-либо еще. Так вот, дабы вы их узнали лучше, чем, сколько я понимаю, знали до сей поры, я вам сейчас о них расскажу. В старину были праведные, святой жизни монахи, а вот у тех, которые в наше время именуют себя монахами и стремятся за таких прослыть, нет ничего монашеского, кроме рясы, да и та не монашеская, ибо учредители монашества заповедали шить рясы узкие, простые, из грубой ткани — в знак того, что если они облачают тело в столь убогие одежды, значит, их дух пресирает все преходящее, меж тем как нынешние монахи шьют себе рясы просторные, на подкладке, дорогого блестящего шелку, что придает им пышности и величественности, и, подобно как миряне пускают пыль в глаза своими нарядами, без зазрения совести щеголяют в них на улицах и во время богослужений. Подобно рыбакам, которые стараются уловить в свои мрежи как можно больше рыбы, они стремятся заманить в подолаши широченных своих ряс возможно больше ханжей, возможно больше вдов, возможно больше простоватых мужчин и женщин, — вот о чем они всего больше пекутся. Так что, если уж быть ближе к истине, монашеские у них не рясы, а только цвет ряс. Древние монахи помышляли о спасении людей, нынешние помышляют о женщинах да о богатстве, и все свои усилия они прилагали и прилагают к тому, чтобы угрозами и изображениями всяких ужасов страшить дурачков и внушать им, что грехи искупаются милостыней и заказными обеднями: этим они, пошедшие в монахи не потому, чтобы они были такие богомольные, а в силу душевной своей низости и чтобы не работать, добиваются того, что один им принесет хлеба, другой пришлет вина, третий даст им на помин души усопших. Милостыня и молитва воистину и вправду искупают грехи, однако ж если б те, кто творит милостыню, видели или, по крайней мере, знали, кому они ее творят, они поберегли бы ее для себя, а не то так бросили свиньям. Черноризцы смекнули, что чем меньше совладельцев, тем для них выгоднее, — вот почему любой из них норовит криками и угрозами отогнать другого от крупной поживы. Они обличают мужчин-прелюбодеев для того, чтобы те, кого они обличают, перестали развратничать, а все женщины достались обличителям. Они осуждают мздоимство и незаконные поборы — осуждают с тою целью, чтобы эти самые поборы поручили взыскивать им, и тогда они на средства, которые, как они уверяют, обрекают на вечную муку их обладателей, смогут шить себе рясы пошире, откупить себе епископию или же еще какую-либо кафедру. Когда же их порицают за эти и за многие другие столь же грязные дела, они отвечают: «Поступайте так, как мы учим, а не так, как мы действуем», — они считают, что так именно можно снять с души тяжкий грех, словно овцам легче быть стойкими, железными, нежели пастырям. И ведь почти все они отлично знают, что многие, коим они этот совет преподают, толкуют его совсем в другом смысле. Нынешние монахи желают, чтобы вы делали то, чему они учат, а именно: набивали им мощну, доверяли им свои тайны, были

целомудренны, долготерпеливы, прощали обиды, не злословили. Все это в высшей степени похвально, добродетельно, богоугодно, но для чего они вам об этом твердят? Для того чтобы они имели возможность действовать так, как им нельзя было бы действовать, если бы так действовали миряне. Всякому понятно, что, не будь у них денег, они вынуждены были бы работать. Если ты тратишь деньги на собственные удовольствия, монаху бездельничать нельзя; если ты начнешь волочиться за женщинами, то монах останется ни при чем; если ты нетерпелив и обид не прощаешь, то монаху незачем приходить к тебе и заводить свару в твоей семье. Да что там говорить? Они сами себя обвиняют всякий раз, когда подобным образом оправдываются перед людьми здравомыслящими. Коли им не по силам вести жизнь умеренную и праведную, так сидели бы лучше дома. А уж коли приняли чин иноческий, так почему же они живут не по-евангельски? Ведь Христос действовал и учил. Пусть-ка и они сначала действуют, а потом уже учат других. Я видел на своем веку тьму повес, блудников, бабников, волочившихся не только за женщинами светскими, но и за монашками, и это были как раз те, что громче всех вопияли с амвона! Так неужто мы последуем за теми, кто так поступает? Поступать так эти люди вольны, но хорошо ли они поступают — тут уж судья им бог. Предположим, однако ж, что взевшийся на вас монах прав в том, что измена супружеской верности есть тягчайший грех, но разве не еще больший грех — обокрасть человека? Разве не еще больший грех — убить его или же вынудить мыкаться по белу свету? Кто же станет против этого спорить? Связь мужчины с женщиной — это грех естественный, но обокрасть мужчину, убить или же изгнать — это уже злодеяние. Что вы обокрали Тедальдо, отняв у него самое себя, меж тем как вы по собственному желанию стали его собственностью, — это я вам уже доказал. Далее я утверждаю, что вы, в сущности, убили его, а что он, видя, что вы с ним обходитесь час от часу жесточе, все-таки рук на себя не наложил, так в этом заслуги вашей нет; между тем закон гласит, что тот, кто явился причиной совершенного преступления, заслуживает той же меры наказания, что и преступник. А что он из-за вас бежал и семь лет скитался — это сомнению не подлежит. Итак, каждый из этих трех ваших поступков неизмеримо греховнее вашей близости с Тедальдо. Спросим себя, однако ж: может статься, Тедальдо понес наказание заслуженное? По чести, нет. Во-первых, вы сами это признали, а во-вторых, я ручаюсь головой, что он любит вас больше, чем самого себя. Когда он находился в хорошем обществе и мог говорить, не возбуждая подозрений, то ни о ком не отзывался он с таким уважением, никого так не превозносил и не прославлял, как вас. Благосостояние свое, честь, свободу — все готов он был принести в жертву вам. Или он не родovit? Или не так хорош собой, как его сограждане? Или не отважен, как пристало юноше? Разве его здесь не любили, не дорожили его обществом, не зазывали его к себе наперебой? Этого вы равным образом отрицать не станете. Так как же вы, из-за того, что вам наговорил невежественный и завистливый монах-сумаброд, могли столь сурово обойтись с Тедальдо? Я отказываюсь пони-

мать женщину, которая пренебрегает мужчиной и не ценит его по достоинству; ей, впадающей в подобного рода заблуждение, надлежало бы отдать себе отчет, что представляет собой она сама и сколь велико и какво душевное благородство, коим, по воле божией, мужчина отличается от всякого другого животного, — следственно, ей должно гордиться тем, что она любима, должно дорожить любимым человеком и стараться во всем ему угождать, дабы он никогда ее не разлюбил. Вы сами знаете, что поступили так по наущению монаха, чревоугодника и обжоры. Может статься, ему хотелось прогнать того, дабы заступить его место. И вот этот-то ваш грех божественная справедливость, мудро сообразующая свои действия с последствиями, не пожелала оставить безнаказанным, и подобно как Тедальдо ничем не заслужил, что вы пытались отнять себя у него, так точно супруг ваш безвинно осужден из-за Тедальдо, а из-за супруга крушитесь вы. Если ж вы хотите помочь своему горю, вот что вам надобно пообещать, и не только пообещать, но и, что гораздо важнее, исполнить: буде Тедальдо в один прекрасный день после долгого отсутствия возвратится, вы должны вновь взыскать его милостью, вернуть ему свою любовь, свое благоволение, вновь установить с ним близость, — словом, восстановить его в правах, какими он пользовался до тех пор, пока вы слепо не поверили полоумному монаху».

На том скончал свою речь паломник, и тогда она, слушавшая его со вниманием, ибо доводы его казались ей вполне убедительными и укрепили ее в мысли, что, как он утверждал, она несет наказание именно за этот грех, молвила: «Божий человек! Должна сознаться, что вы совершенно правы. Теперь, благодаря вам, я наконец постигла, что собой на самом деле представляют монахи, ибо до разговора с вами я почитала их за святых. Положа руку на сердце, я признаю, что, обойдясь таким образом с Тедальдо, я совершила великий грех, и если б только мне представилась возможность, я с радостью искупила бы его именно так, как вы почитаете нужным подобного рода грехи искупать, но что же я тут могу поделать? Тедальдо никогда уже к нам сюда не вернется — его нет в живых. А раз это неосуществимо, значит, незачем, по-моему, и обещать».

Паломник же ей на это возразил: «Сударыня! Господь открыл мне, что Тедальдо не у м е р , — он жив-здоров, и если б вы вновь взыскали его своею милостью, он был бы наверху блаженства».

«Опомнитесь! Что вы говорите? — воскликнула д а м а . — Я же собственными глазами видела распростертое у дверей моего дома хладное его тело, видела ножевые раны на нем, обнимала его, кропила обильными слезами мертвое его лицо, что, верно, и послужило пищей злым языкам».

Паломник же ей сказал: «Что бы вы ни говорили, сударыня, уверяю вас: Тедальдо жив, и если только вы дадите обещание и слово свое сдержите, то вы его вскорости увидите».

«Я на это пойду, с радостью п о й д у , — объявила д а м а . — Увериться в том, что мой муж на свободе и не терпит никаких утеснений, а Тедальдо ж и в , — выше этого счастья для меня ничего быть не может».

Тут Тедалдо решил, что пора открыться и подать ей более твердую надежду на спасение ее мужа. «Сударыня! — сказал он. — Чтобы вы больше не тревожились за участь вашего супруга, я поведаю вам великую тайну, с тем, однако ж, чтобы вы до конца ваших дней ее не выдали».

Дама была совершенно уверена, что паломник — святой человек, а потому не побоялась остаться с ним наедине и притом в отдаленном покое. Приняв в соображение это обстоятельство, Тедалдо вытащил перстень, который дама подарила ему в их последнюю ночь и который он берег пуще глаза, показал его ей и спросил: «Узнаете, сударыня?»

Дама тотчас узнала перстень. «Да, мессер, когда-то я подарила его Тедалдо», — сказала она.

Тут паломник вскочил, скинул с себя странническую одежду, снял шляпу и спросил по-флорентийски: «А меня вы узнаете?»

Узнав Тедалдо, дама оцепенела; она испугалась так, словно перед ней выходец с того света, и она не кинулась к нему, как кинулась бы к Тедалдо, прибывшему с острова Кипр, — нет, она в ужасе едва не убежала из комнаты, ибо ей представилось, что это Тедалдо, вставший из гроба.

Но тут Тедалдо сказал: «Не бойтесь, сударыня. Я — ваш Тедалдо, я жив и здоров, я не умер и не был убит, как думали вы и мои братья».

Узнав его голос, дама несколько успокоилась; когда же она вгляделась в него и удостоверилась, что перед нею точно Тедалдо, то со слезами бросилась к нему на шею и поцеловала его. «Милый мой Тедалдо! — воскликнула она. — Наконец-то ты вернулся!»

Тедалдо обнял ее и поцеловал. «Сударыня! — сказал он. — Сейчас не время для более нежных ласк. Я намерен сделать все от меня зависящее, чтобы Альдобрандино возвратился к вам цел и невредим, и уповаю, что не позже завтрашнего вечера сумею вас порадовать, а если у меня уже сегодня появится надежда на его спасение, то я приду к вам ночью и расскажу обо всем при более благоприятных обстоятельствах».

Вновь облекшись в странническую одежду, надев шляпу, еще раз поцеловав свою возлюбленную и обнадежив ее, он от нее ушел и направился туда, где томился в заключении Альдобрандино, страшившийся предстоящей казни и почти утративший надежду на освобождение. С дозволения тюремщиков Тедалдо вошел к нему якобы для того, чтобы поднять в нем дух, сел рядом с ним и заговорил: «Альдобрандино! Я твой друг, посланный ради твоего вызволения самим богом, который, зная твою невиновность, сжалился над тобой. И вот если ты ради бога сделаешь мне небольшое одолжение, то, вне всякого сомнения, завтра вместо ожидаемого тобою смертного приговора ты услышишь приговор оправдательный».

Альдобрандино же ему на это ответил: «Добрый человек! Ты так печешься о моем спасении, что, хотя я тебя и не знаю и не могу припомнить, чтобы где-нибудь тебя видел, ты, должно думать, точно мне друг. По совести, я не совершал преступления, за которое меня, как я слышал, собираются казнить, но я совершил много других преступлений, и, может статься, за них-то я сейчас и страдаю. Но вот, как перед богом,

говору: если он точно умилосердился надо мной, то я готов обещать и оказать тебе не только малое, но и великое одолжение. Проси все, что угодно, — если я выйду на волю, я непременно и с крайним тщанием исполню все».

Тогда паломник ему сказал: «Я желаю одного: прости четверем братьям Тедалдо то, что они тебя оговорили, будучи уверены, что ты убил их брата, и если они попросят у тебя прощения, то будь им другом и братом».

Альдобрандино же ему на это ответил так: «Только тот, кого оскорбили, знает, сколь отрадна месть, и страстно желает отомстить. Со всем тем — только бы господь меня спас, а я с великой охотой прощу их, да я их уже и простил. Словом сказать, если мне будут дарованы жизнь и свобода, я твою просьбу исполню».

Паломник был этим удовлетворен и, не собираясь вдаваться в более подробные объяснения, сказал лишь, чтобы тот не отчаивался, ибо не позднее завтрашнего вечера он, мол, будет знать наверное, что все для него кончилось благополучно.

Из тюрьмы Тедалдо прошел во дворец градоправителя и обратился к тому дворянину, который был облечен этою властью: «Государь мой! Каждый должен прилагать все усилия к тому, чтобы доискаться истины, особливо те, что занимают должности, подобные вашей, цель же таковых поисков — освободить от наказания невинных и покарать виновных. Дабы так именно и произошло, что послужило бы к вашей чести и во осуждение того, кто заслуживает наказания, я и пришел к вам. Вам лучше, чем кому-либо, известно, что вы предъявили тяжкое обвинение Альдобрандино Палермини, — вы убеждены, что это он убил Тедалдо Элизеи, и склонны его засудить. Вы напали на ложный след, — я еще до полуночи сумею вам это доказать: я доставляю вам убийц этого юноши».

Доблестному мужу жаль было Альдобрандино; выслушав подробный рассказ паломника и вняв его настояниям, он по его указанию велел взять под стражу видевших в то время первый сон братьев, содержавших гостиницу, а равно и слугу их, причем никто из них не оказал ни малейшего сопротивления. Когда же градоправитель, дабы вытянуть из них всю правду, отдал распоряжение пытать их, они, дабы избежать пытки, и вместе и порознь, чистосердечно повинились в том, что убили Тедалдо Элизеи, не имея понятия, кто он таков. Когда же их спросили, за что они его убили, они ответили, что, когда их не было в гостинице, он приставал к жене одного из них и намеревался учинить над нею насилие.

После допроса паломник отпросился у градоправителя и, тайно проникнув к донне Эрмелине, уверился, что она одна во всем доме бодрствует: она ждала его, сгорая от нетерпения услышать добрые вести о муже и окончательно помириться со своим любимым Тедалдо. Войдя, он с веселым видом сказал: «Возрадуйся, владычица моей души! Завтра, вне всякого сомнения, твой Альдобрандино цел и невредим вернется домой». И тут он для вящей убедительности все обстоятельно ей расска-

зал. Даму эти два неожиданных и необычайных происшествия, как-то: возвращение живого Тедадьдо, которого она оплакивала как мертвого, и поворот к лучшему в судьбе Альдобрандино, на оправдание которого она теперь твердо надеялась, привели в неописуемый восторг, — она крепко обняла и поцеловала Тедадьдо, после чего они с обоюдного согласия легли в постель и заключив благодатный и радостный мир, долго блаженствовали и услаждались друг дружкой. А на рассвете Тедадьдо, посвятив Эрмеллину в свои замыслы, встал и, еще раз наказав ей держать все в строжайшей тайне, по-прежнему в странническом одеянии отправился по делам Альдобрандино.

Когда настал день, градоправитель, рассудив, что дело ясное, нимало не медля, выпустил на свободу Альдобрандино, а несколько дней спустя на том самом месте, где было совершено убийство, душегубам отрубили головы. Альдобрандино, к великой своей радости, а равно и к радости жены, родственников и друзей, обретя свободу и отдав себе ясный отчет, что этим он всецело обязан вмешательству паломника, предложил ему пожить у него все то время, которое он намерен провести в этом городе. И муж и жена всячески старались ему угодить и ублажить его, особливо жена, отлично знавшая, для кого она так старается. Некоторое время спустя Тедадьдо, решив, что пора помирить Альдобрандино со своими братьями, которые, как он слышал, были оскорблены оправдательным приговором и страха ради не расставались с оружием, напомнил Альдобрандино его обещание. Альдобрандино изъявил полнейшую готовность. Тогда паломник попросил его задать завтра пир горой, во время которого Альдобрандино, его родственники и их жены приветили бы четырех братьев Тедадьдо и их жен, а он-де, со своей стороны, незамедлительно пригласит их на пир и на мировую. Заручившись согласием Альдобрандино, паломник пошел к своим братьям и после долгих необходимых переговоров, с помощью неопровержимых доводов, без особого труда убедил их в том, что нужно попросить у Альдобрандино прощения и вновь с ним подружиться. Затем он пригласил их вместе с женами на завтрашний обед к Альдобрандино, они же, поверив его честному слову, обещали прийти.

Итак, на другой день, в обеденное время, первыми пришли в дом к ожидавшему их Альдобрандино облаченные в траур четыре брата Тедадьдо и кое-кто из их друзей, в присутствии гостей Альдобрандино побросали на пол оружие и, попросив прощения за свой поступок, отдались в его руки. Альдобрандино прослезился, принял их радушно и, поцеловав всех в уста, в кратких словах объявил, что прощает нанесенное ему оскорбление. Затем явились их сестры и жены в темных одеждах, и донна Эрмеллина и другие дамы оказали им любезный прием.

И мужчин и дам угостили на славу, все было на этом пиру выше всяких похвал, и, однако же, родственники Тедадьдо были молчаливы и мрачны: слишком еще свежо было воспоминание о постигшем их несчастье, и внешне эта их мрачность выражалась в печальном цвете их одежд, каковое обстоятельство вызвало у иных неудовольствие пир-

шеством, которое затеял паломник, и от паломника это не укрылось; наконец за десертом, решив, что пора нарушить молчание, — а у него все было необходимо присутствие Тедальдо, и так как вы его не узнали, хотя он все время здесь, среди вас, то я вам его сейчас покажу».

Сказавши это, он скинул с себя рясу и все странническое одеяние и остался в зеленом шелковом камзоле, и тут все в крайнем изумлении на него воззрились, долго вглядывались в его черты и все никак не могли поверить, что это он. Тогда Тедальдо заговорил о своих родственниках, припомнил разные случаи из их жизни, а равно и свои собственные похождения. Тогда его братья и другие мужчины со слезами радости бросились его целовать, а за ними дамы — как родственницы его, так равно и посторонние, за исключением донны Эрмеллины.

Альдобрандино же ей сказал: «Что такое, Эрмеллина? Почему ты не приветствуешь Тедальдо, как другие дамы?»

Эрмеллина ответила ему во всеуслышание: «Никто из здесь присутствующих так страстно не желал бы и не желает приветствовать его, как я, — ведь я обязана ему больше, чем кто-либо: ой возвратил мне тебя, однако ж меня удерживают кривотолки, которые пошли по городу в те дни, когда мы оплакивали человека, коего мы приняли за Тедальдо».

«Да будет тебе! — молвил Альдобрандино. — Стану я верить сплетникам! Я и раньше был уверен, что это ложь, а уж теперь, после всего, что он сделал для моего спасения, и подавно. Встань сейчас же и пойди обними его».

Эрмеллине только того и нужно было — поспешив исполнить повеление своего супруга, она встала и, по примеру прочих поцеловав Тедальдо, радостно приветствовала его. Великодушие Альдобрандино произвело отрадное впечатление как на братьев Тедальдо, так равно и на всех мужчин и на всех женщин, ибо оно рассеяло малейшее подозрение, которое заронили кое-кому в душу ходившие по городу слухи. После того как все изъявили восторг по случаю возвращения Тедальдо, он собственноручно сорвал с братьев черные одежды, а с сестер и с невесток темные и велел принести им другие. Переодевшись, гости начали петь, танцевать, веселиться, так что молчаливый этот пир под конец сделался шумным. А ввечеру все, сколько их ни было, в превеселом расположении духа пошли ужинать к Тедальдо, и так они праздновали несколько дней кряду.

Флорентийцы долгое время смотрели на Тедальдо, как на чудо, как на воскресшего из мертвых, и у многих, даже у его братьев, все еще оставались крупницы сомнения: он ли это или же кто-либо другой? Они верили и не верили и, может статься, долго бы еще не уверовали, когда бы не один случай, который ясно им показал, кого тогда у б и л и, — случай же этот состоял вот в чем.

Как-то раз мимо дома Тедальдо проходили луниджанские солдаты и, увидев его, крикнули: «Здравствуй, Фацуоло!»

«Вы приняли меня за кого-то другого», — в присутствии братьев отвечал Тедальдо.

Услышав его голос, солдаты смутились и, извинившись, сказали: «Вы и впрямь удивительно похожи на одного нашего товарища, Фацуоло из Понтремоли, — недели две тому назад он отбыл сюда, и мы до сих пор ничего о нем не знаем. Впрочем, нас с самого начала смутило ваше платье, — ведь он был такой же солдат, как и мы».

При этих словах старший брат Тедальдо приблизился к ним и спросил, как именно был одет Фацуоло. Те ответили, — оказалось, что убитый был одет, как описывали солдаты. Так, на основании этих и разных других примет, было установлено, что убили Фацуоло, а не Тедальдо, и последние сомнения касательно Тедальдо, еще остававшиеся у братьев и у всех прочих, рассеялись окончательно. А Тедальдо, возвратившись во Флоренцию богачом, пребывал верен своему предмету, и так как его возлюбленная больше с ним не вздорилась, то они, действуя осторожно, долго еще предавались любовным утехам. Да поможет господь бог таковым утехам предаваться и нам!





*Ферондо выпивает сонный порошок, и его заживо хоронят;  
аббат, который между тем развлекается с его женой,  
переносит его из склепа в темницу, и Ферондо уверяют, что он в чистилище;  
воскреснув, Ферондо воспитывает сына,  
которого его супруга успела прижить с аббатом*



огда Эмилия кончила свой рассказ, не только не утомивший своей продолжительностью, но, напротив того, показавшийся всем чересчур кратким, если принять в рассуждение количество и разнообразие заключенных в нем событий, королева знаком дала понять Лауретте, чего она от нее хочет, и та начала так:

— Милейшие дамы! Мне вспомнилось одно истинное происшествие, хотя оно вполне может показаться небывальщиной — до того оно неправдоподобно, а пришло оно мне на память, когда я слушала, как одного человека оплакивали и хоронили, принимая его за другого. Словом, я расскажу вам о том, как один человек был заживо погребен, как потом многие признали его не за живого, а за воскресшего, восставшего из гроба, да он и сам был в этом уверен, и о том, как виновника, который подлежал суду, причислили к лику святых.

Итак, в Тоскане была и есть обитель, расположенная, как это мы часто наблюдаем, в местах довольно пустынных, настоятелем же этой обители был некий монах, человек во всех отношениях праведный, если не считать его пристрастия к женскому полу. Действовал он, однако, так осторожно, что почти никто не то что об этом не знал, но даже не подозревал, ибо строгость и святость его жизни не вызывали сомнений. Этот-то самый аббат свел дружбу с крестьянином-богатеем по имени Ферондо, неотесанным простофилей; дружил же с ним аббат поначалу ради удовольствия время от времени потешаться над его простотою, а затем, обратив внимание, что жена у него раскрасавица, так

в нее влюбился, что мысль о ней преследовала его и днем и ночью. Разведав, однако ж, что Ферондо — дурак набитый во всех отношениях, но в любви к своей женушке и по части ее охраны выказывает себя мудрецом из мудрецов, впал в отчаяние. Со всем тем, будучи человеком хитроумным, он сумел-таки добиться, что Ферондо с женой кое-когда приходил к нему в сад погулять, и в саду аббат вел с ними душеспасительные беседы о блаженстве жизни вечной и о богоугодных делах мужей и жен древности, так что супруге Ферондо захотелось исповедаться у аббата, на что она испросила дозволение мужа.

Итак, придя к аббату на исповедь, чем доставила ему великое удовольствие, и сев у его ног, она начала вот с чего: «Отец мой! Если бы господь послал мне настоящего мужа или даже не дал никакого, мне, может статься, было бы нетрудно, следуя вашим наставлениям, вступить на путь, который, как вы нам говорили, ведет к жизни вечной. Приняв, однако ж, в соображение, что собой представляет Ферондо и до чего он глуп, я, хоть и замужем, почитаю себя за вдову, оттого что, пока он жив, у меня не может быть другого мужа, а он, болван этакий, безо всякого повода бешено меня ревнует, так что у меня не жизнь, а мука мученическая. И вот, прежде чем приступить к исповеди, я покорнейше прошу вас преподать мне какой ни на есть совет, потому если вы меня тут не выручите, то ни исповедь, ни добрые дела мне не помогут».

Выслушав ее, аббат взыграл духом: он решил, что судьба открывает ему путь к исполнению самого сильного его желания. «Дочь моя! — молвил о н . — Мне думается, что для такой прелестной и тонкой женщины, как вы, придурковатый муж — это большая обуза, тем паче что он к тому же еще и ревнив, а так как он и глуп и ревнив, то я живо себе представляю, как вам с ним тяжело. Коротко говоря, я могу вам преподать только один совет и предложить только одно средство: излечить Ферондо от ревности. Как подобное снадобье изготавливается — это мне хорошо известно, лишь бы вы сохранили в тайне все, что я вам сейчас сообщу».

«Не сомневайтесь, отец м о й , — сказала женщина, — я скорее умру, чем проговорюсь, раз вы велите мне молчать. Но как же это сделать?»

«Если вы хотите, чтоб он выздоровел, надобно отправить его в чистилище», — отвечала аббат.

«Как же он живой туда отправится?» — спросила женщина.

«Ему надобно умереть, и тогда он попадет в чистилище, — отвечал аббат. — Когда же он претерпит все возможные муки и через то излечится от ревности, то вы начнете читать особые молитвы и умолите бога, чтобы он ожил, и он оживет».

«А мне, значит, придется побыть вдовой?» — спросила женщина.

«Придется, — отвечал аббат, — и в течение этого времени не вздумайте выходить за другого, — богу это не угодно; ведь когда Ферондо оживет, вы принуждены будете вернуться к нему, и тогда он станет еще пуще вас ревновать».

«Я согласна, — объявила женщина, — лишь бы он излечился от этого наваждения и не держал меня за семью замками. Делайте как хотите».

«Сделать-то я сделаю, — сказал тут аббат, — а вот чем вы меня вознаградите за такую важную услугу?»

«Чем только могу, — отвечала женщина. — Но разве такая простая женщина, как я, может достойно отблагодарить столь высокую особу?»

Аббат же ей на это ответил так: «Сударыня! Вы властны сделать для меня не меньше, чем собираюсь сделать для вас я, ибо если я намерен предпринять нечто такое, что обрадует вас и утешит, то и вы способны сделать нечто такое, что будет телу моему во здравие, душе — во спасение».

«Ну, тогда я готова», — промолвила женщина.

«В таком случае, — сказал аббат, — полюбите меня и дайте мне насладиться вами, — ведь я же вас обожаю, я сохну по вас!»

При этих словах женщина пришла в великое смятение.

«Помилуйте, отец мой, о чем вы меня просите? — воскликнула она. — А я-то думала, что вы святой человек! Разве святые люди станут совращать женщин, которые пришли к ним за советом?»

Аббат же ей на это ответил так: «Душенька моя! Тут ничего удивительного нет: святость от того не умаляется, ибо она пребывает в душе, я же склоняю вас на грех плотский. Во всяком случае, меня подвигнул на то Амур — такой волшебной силой обладает ваша дивная красота. Смею вас уверить, что у вас больше оснований гордиться красотой вашей, нежели у какой-либо другой женщины: примите в соображение, что вы нравитесь святым, привыкшим созерцать красоту небесную. Притом хотя я и аббат, но я такой же человек, как и все прочие, и, как видите, еще не стар. Исполнить мое желание для вас не составит труда, напротив того: вам самим надлежит стремиться к тому же, ибо, пока Ферондо будет в чистилище, вы, наедине со мной, вкусите отраду, какую по-настоящему должны были бы вкушать наедине с мужем. Ни одна душа про то не узнает — все почитают меня за того, за кого и вы меня почитали до последней минуты. Не отвергайте же милость, которую вам ниспосылает господь, — много есть таких, которые жаждут получить то, что вы можете получить и что вы непременно получите, если только будете благоразумны и последуете моему совету. Помимо всего прочего, есть у меня прелестные драгоценные вещи — я предназначаю их для вас. Итак, радость моя, сделайте для меня то самое, что я с удовольствием сделаю для вас».

Женщина потупилась — она не знала, как ей быть: и отказать неудобно, и согласиться совестно. Аббат же, заметив, что она колеблется, и решив, что наполовину все же обратил ее, вновь пустился в рассуждения и не успел договорить, как она уже прониклась его доводами и не без смущения объявила, что готова исполнить любое его приказание, но не прежде, чем Ферондо попадет в чистилище. Аббат же, возликовав, сказал: «Мы постараемся отправить его туда в самое ближайшее время, но только завтра или послезавтра пришлите его ко мне». И тут он, сунув ей в руку дивное кольцо, отпустил ее. Женщина, придя в восторг от подарка и в чаянии будущих, вернулась к своим подружкам,

нарасказала им разных разностей о святости аббата и пошла с ними домой.

Несколько дней спустя Ферондо пошел в монастырь. При виде его аббат решил не откладывая отправить его в чистилище. Он отыскал у себя чудодейственного свойства порошок, который получил на Востоке от одного владетельного князя, утверждавшего, что его имеет обыкновение применять Магомет, когда хочет кого-нибудь отправить в свой рай или же, напротив, вызвать его оттуда, и что порошок этот, сколько его ни дать, без малейшего вреда так усыпляет, что до тех пор, пока он действует, никто не подумает, что человек тот жив, и, насыпав в стакан с еще не отстоявшимся вином столько этого порошка, чтобы от него человек спал без просыпу трое суток, у себя в келье дал его выпить ничего не подозревавшему Ферондо, а затем повел его к другим монахам и стал потешаться над его дурашливостью. Малое время спустя порошок подействовал и навел на Ферондо столь внезапный и столь крепкий сон, что тот заснул стоя, а заснув, упал. Аббат, сделав вид, что напуган этим обстоятельством, велел раздеть Ферондо, принести холодной воды и сбрызнуть его, а также применить многие другие известные ему средства, помогающие от вредных испарений желудка, равно как и при других опасных явлениях, — применить якобы для того, чтобы привести его в чувство и вернуть к жизни, однако, видя, что средства бессильны и что Ферондо не опоминается, пощупав ему пульс и уверясь, что он не подает признаков жизни, все пришли к твердому убеждению, что Ферондо умер. Послали сказать жене и родным — все явились тотчас же, и когда жена и родственники оплакали покойного, аббат велел положить его одетым в склеп.

Жена, воротившись домой, объявила, что нипочем не расстанется с ребенком, который был у нее от Ферондо, и принялась воспитывать сына и вести хозяйство, которое оставил ей муж.

Ночью аббат и один болонский монах, пользовавшийся особым доверием аббата и как раз в это время приехавший из Болоньи, тихохонько встали, вытащили Ферондо из склепа и положили в подземелье, куда совсем не проникал свет и куда обыкновенно заточали провинившихся монахов. Сняв с Ферондо его платье и надев на него одежду монашескую, они положили его на солому и оставили здесь до тех пор, пока он не опамятуется. Болонский монах, которого аббат научил, что должно делать, меж тем как никто в монастыре знать ничего не знал, караулил пробуждение Ферондо. На другой день аббат, взяв с собой нескольких монахов, пошел к жене Ферондо якобы для того, чтобы навестить вдовицу, и, застав ее в черной одежде, убитую горем, сказал ей в утешение несколько ласковых слов, а затем шепотом напомнил ей, что она ему обещала. Приняв в рассуждение, что она свободна и что ни Ферондо, ни кто-либо другой ей теперь не помеха, и увидев на руке аббата другое красивое колечко, она ответила согласием и уговорилась с аббатом, что он преподает к ней ночью. И вот, как скоро настала ночь, аббат, переодевшись в платье Ферондо, вместе с одним монахом пошел к ней и услаждался и блаженствовал с нею до самой утрени, а потом возвратился в обитель,

каковой путь он после этого проделывал частенько и с тою же целью, а те, что иной раз встречали его на пути туда или на возвратном пути, принимали его за неприкаянный дух Ферондо, и по сему обстоятельству суеверные сельчане напридумали тьму всяких небылиц и пересказывали их вдове, но та отлично понимала, в чем тут дело.

Когда Ферондо наконец очнулся и не мог понять, где он находится, к нему с диким криком вбежал болонский монах и отхлестал его розгой.

Ферондо плакал, вопил и все спрашивал: «Где я?»

На что монах всякий раз отвечал: «В чистилище».

«Как! — воскликнул Ферондо. — Значит, я умер?»

«Конечно, умер», — подтвердил монах.

Тут Ферондо давай оплакивать самого себя, жену, сына, а затем понес дичь несусветную.

Монах принес ему еды и питья. «А разве мертвые едят?» — спросил Ферондо.

«Едят, — отвечал монах, — я принес тебе то, что твоя бывшая жена утром прислала в монастырь на помин твоей души, — кушай во славу божию».

«Дай бог ей здоровья! — воскликнул тут Ферондо. — Я при жизни очень ее любил, ночь напролет, бывало, лежал с ней в обнимку и все целовал, а когда припадала охота, то и еще кое-чем занимался». Тут у него разыгрался аппетит, и он накинулся на еду и питье, однако ж вино не пришлось ему по вкусу, и он сказал: «Господь накажет ее, что она налила священнику не из той бочки, которая около стены стоит».

Как скоро он поел, монах опять принялся за него и опять всыпал горячих.

Ферондо, вдоволь наоравшись, спросил: «За что ты меня так?»

«Господь велел пороть тебя дважды в день».

«За какой провин?» — спросил Ферондо.

«За то, что ты ревновал свою жену — самую благонравную женщину во всей округе».

«Ох! Верно ты говоришь, — молвил Ферондо, — самую благонравную и самую утешную. Она была слаще карамели, но ведь я же не знал, что богу не угодно, когда ревнуют, иначе я бы и ревновать не стал».

«Тебе надлежало уразуметь это, пока ты был на земле, и исправить-ся, — заметил монах. — Если же ты случайно возвратишься на землю, то советую тебе помнить, как я тут с тобой расправляюсь, и никогда больше не ревновать».

«Разве умершие возвращаются когда-нибудь на землю?» — спросил Ферондо.

«Возвращаются, если на то есть воля божья», — отвечал монах.

«Эх, если б мне только вернуться, — молвил Ферондо, — я был бы самым лучшим мужем на свете, пальцем бы ее не тронул, дурного слова не сказал, разве выбранил за вино, которое она нам нынче прислала, да еще за то, что не прислала ни одной свечки, так что мне пришлось есть впотьмах».

«Свечки-то она прислала», — возразил монах, — но они сгорели во время обеда».

«Может, оно и так, — молвил Ферондо. — Если я вернусь, то наверняка дам ей полную волю. Скажи мне, однако ж: кто ты, мучитель мой?»

Монах же ему на это ответил: «Я ведь тоже умер, а проживал в Сардинии, и в былое время я одобрял моего господина за то, что он был ревнивцем, и вот господь покарал меня так: мне вменяется в обязанность кормить тебя и поить, а равно и отсчитывать тебе удары до тех пор, пока господь не решит твою и мою участь».

«Здесь, кроме нас двоих, никого нет?» — осведомился Ферондо.

«Тут целые сонмы, — отвечал монах, — но только ты не можешь ни видеть, ни слышать их, равно как и они тебя».

«А как далеко мы от родного края?» — осведомился Ферондо.

«Ой-ой-ой как далеко! — воскликнул монах. — Отсюда не видать».

«Ого! Стало быть, и впрямь далеко, — заметил Ферондо. — Эк нас с тобою занесло, — верно уж, мы на том свете».

Так, чередуя эти и подобные им беседы с кормлением и поркой, Ферондо продержали в темнице около десяти месяцев, в течение которых аббат весьма часто и с большим успехом навещал красавицу и наиприятнейшим образом проводил с нею время. Нужно же было, однако, случиться такому несчастью, что она забеременела; быстро заметив это, она призналась аббату, и тогда они оба решили, что нужно сей же час извлечь Ферондо из чистилища: он, мол, к ней вернется, а она ему скажет, что беременна от него.

По распоряжению аббата болонский монах, изменив голос, возвестил томившемуся в заточении Ферондо: «Воспрянь духом, Ферондо! Богу угодно, чтобы ты возвратился на землю. После того как ты возвратишься, жена родит тебе сына, и ты нареки его Бенедиктом, ибо господь ниспосылает тебе эту милость по молитвам праведного твоего аббата, по молитвам жены твоей и из любви к святому Бенедикту».

Услышав такие речи, Ферондо преисполнился душевного веселия. «Ах, как я рад! — воскликнул он. — Господь да вознаградит за это самого себя, аббата, святого Бенедикта и мою хорошую, пригожую, прелестную, расчудесную жену!»

Аббат велел подсыпать в вино, которое он ему посылал, того же самого порошку, но только чтобы его хватило не более чем на четыре часа сна, одеть Ферондо в его платье, а затем он и монах тайком перенесли его обратно в склеп. На рассвете Ферондо пробудился и, увидев в щелочку свет, которого он не видал уже месяцев десять, решил, что он ожил, и давай кричать: «Отворите, отворите!» — и при этом уперся головой в крышку усыпальницы с такой силой, что она сдвинулась, — а сдвинуть ее не составляло большого труда, — и начал ее поворачивать. Монахи, отслужив утреню, услышали голос Ферондо, побежали в усыпальницу и как увидели, что он встает из гроба, в то же мгновение, напуганные необычайным происшествием, дунули оттуда и помчались к аббату.

Сделав вид, будто он стоит на молитве, аббат им сказал: «Не бойтесь, дети мои! Возьмите крест, возьмите святой воды и следуйте за мной —

посмотрим, что сотворил всемогущий господь». Как сказано, так и сделано.

Ферондо, без кровинки в лице, оттого что давно не был на воздухе, к тому времени уже вышел из усыпальницы. Увидев аббата, он кинулся ему в ноги. «Отец мой! — воскликнул он. — Мне было открыто, что ваши молитвы, а также молитвы святого Бенедикта и моей жены избавили меня от мук чистилища и вернули на землю, и я молю бога, чтобы вы весь этот год жили счастливо, чтобы вы благоденствовали ныне и присно».

«Да будет препрославлено всемогущество божие! — молвил аббат. — Ступай же, сын мой, поелику всевышний вновь послал тебя на землю, утешь свою супругу, а то она, с тех пор как ты перешел в мир иной, плачет не осушая глаз, и будь отныне верным и ревностным христианином».

«Мне, ваше высокопреподобие, и там про это уже говорили, — сказал Ферондо. — Я ее смерть как люблю, — дайте мне только добратся до дому, и я ее зацелую».

По уходе Ферондо аббат выразил монахам крайнее свое изумление по поводу случившегося и велел благоговейно пропеть «Помилуй мя, боже...». Ферондо зашагал к себе в деревню, однако ж всякий при виде его бежал без оглядки, словно от пугалища, а он звал встречных и уверял, что воскрес. Жену он также повергнул в ужас.

Когда же сельчане удостоверились, что это точно Ферондо и что он жив, то начали его обо всем расспрашивать, он же за это время словно бы поумнел: сообщал, что там деется с душами их сродников, врал напропалую о том, как устроено чистилище, и при всем честном народе рассказывал о том, что услышал он, прежде чем воскреснуть, из уст самого архангела Гавриила. Дома он вновь вступил во владение своим имуществом и, как он сам себя уверил, обрюхатил свою жену, и по счастливой случайности она в определенный срок, в который свято веруют одни дураки, убежденные, что женщина должна носить ребенка ни больше, ни меньше, как девять месяцев, родила младенца мужского пола, каковой младенец был назван Бенедиктом Ферондо. После возвращения Ферондо и после его рассказней ореол аббатовой святости стал стократ ярче, ибо почти все уверовали в то, что Ферондо воскрес. А Ферондо, многожды сеченный за свою ревность, излечился от нее и, как обещал аббат его жене, перестал ревновать. Она же, таковым обстоятельством удовлетворенная, вновь стала ему верной женой; впрочем, когда можно было сделать все шито-крыто, она охотно встречалась с праведным аббатом, который, не жалея трудов и усилий, столь великие оказал ей услуги.





*Джилетта из Нарбонна вылечивает французского короля от фистулы и просит за это выдать ее замуж за Бельтрана Руссильонского, — тот, женившись на ней не по любви, с досады уезжает во Флоренцию; здесь он приволокнулся за одной девицей, однако ж спит с ним не она, а Джилетта и рождает ему двух сыновей, вследствие чего он по истечении некоторого времени проникается к ней уважением и обходится с ней как с женой*



ьготы, предоставленной Дионео, никому не хотелось у него отнимать, Лауретта же свой рассказ досказала, а потому очередь была за королевой, и она, исполненная прелести неизъяснимой, не дожидаясь уговоров, начала так:

— Трудно рассказывать после Лауретты. Хорошо еще, что она была не первая, иначе немногие угодили бы вам; боюсь, что после нее никто уже похвал не заслужит. Ну, была не была: все-таки я расскажу вам нечто, на мой взгляд, подходящее к заданному предмету.

В королевстве французском жил-был некто Иснардо, граф Руссильонский, а так как он был человек хворый, то постоянно держал при себе врача, магистра Джерардо из Нарбонна. У графа был единственный сын, по имени Бельтран, премиленький и прехорошенький, и с ним вместе воспитывались его сверстники, в частности дочка того самого лекаря по имени Джилетта, питавшая к Бельтрану любовь безграничную, более пылкую, нежели то приличествовало нежному ее возрасту. Что же до Бельтрана, то, когда скончался его отец, он принужден был переехать в Париж, ибо опекуном его стал сам король, и отъезд его сильно опечалил девушку. Малое время спустя приказал долго жить и отец девушки, и если б ей удалось найти благовидный предлог, она с радостью поехала бы в Париж повидаться с Бельтраном, но она была богата, круглая сирота, в городе был известен каждый ее шаг, а благовидный предлог не подвертывался. Она была уже на выданье, однако Бельтрана забыть не могла и потому, не объявляя причины, отказывала многим, за которых ее прочили родственники.

Случилось, однако ж, так, что когда она особенно пылала любовью к Бельтрану, оттого что, по слухам, он стал писаным красавцем, до нее донеслась весть, что у французского короля вследствие незалеченного нарыва образовалась фистула, причинявшая ему сильнейшее беспокойство и боль нестерпимую, и хотя многие врачи пытались вылечить его, но так ничего и не добились, а только еще хуже наделали, — потому-то король, придя в отчаяние, ни от кого больше ни совета, ни помощи не принимал. Девушка очень этому обстоятельству обрадовалась и сообразила, что, во-первых, это дает ей законное основание для поездки в Париж, а во-вторых, если болезнь короля именно такова, какою она себе ее представляла, то легко может статься, что, излечив его, она получит в награду Бельтрана. Так как она многому научилась у отца, то ей нетрудно было изготовить снадобье из трав, кои, сколько ей было известно, помогают от заболевания, которое она предполагала у короля, а затем села на коня и поехала в Париж. В Париже она не стала предпринимать никаких шагов до встречи с Бельтраном и, только повидавшись с ним, явилась пред очи короля и как об особой милости попросила показать его болячку. Король не смог отказать прелестной и обходительной девушке и показал фистулу. Как скоро девушка ее увидала, то прониклась уверенностью, что сумеет ее излечить. «Государь! — сказала она. — Буде на то ваше соизволение, я уповаю с божьей помощью в течение недели вылечить вас, не доставив вам никаких беспокойств и не причинив ни малейшей боли».

Король в глубине души посмеялся над ее самонадеянностью. «Лучшие врачи не распознали моего недуга и не справились с ним, — сказал он себе, — что ж тут может поделывать неопытная девушка?» Поблагодарив ее за доброе намерение, он ответил, что решился к помощи врачей более не прибегать.

Девушка же ему на это сказала: «Государь! Вы пренебрегаете врачевальным моим искусством, потому что я девушка, потому что я женщина, однако ж позвольте напомнить вам, что я врач не благодаря своим собственным познаниям, а милостью божией и благодаря познаниям моего отца, магистра Джерардо из Нарбонна, который при жизни пользовался большой известностью».

Тут король призадумался: «А что, если она послана мне самим богом? Почему бы не попробовать? Ведь она же обещает излечить меня в кратчайший срок, не доставив притом никаких беспокойств». Решившись пойти на это испытание, он задал девушке вопрос: «А если вы, сударыня, меня не вылечите и тем самым не сдержите свое обещание, то как же тогда быть?» — «Государь! — отвечала девушка. — Приставьте ко мне караул, и если я через неделю вас не вылечу, то велите меня сжечь. А вот если я вас вылечу, то какая награда ожидает меня?»

Король же ей на это ответил так: «Вы, сдастся мне, еще не замужем; если вы меня вылечите, то мы отдадим вас за хорошего человека из высшего общества».

Девушка же ему призналась: «Сказать по совести, государь, мне хочется выйти замуж, но пойду я только за того человека, за которого я

попрошу вас выдать м е н я , — никто из ваших сыновей, никто из царствующего дома мне не надобен».

Король охотно ей это пообещал. Девушка принялась лечить его, и еще до указанного ею срока он поправился. Почувствовав, что он здоров, король обратился к ней с такими словами: «Девушка! Вы заслужили себе мужа».

Девушка же ему на это сказала: «Коли так, государь, то я заслужила Бельтрана Руссильонского, — я полюбила его измлада и до сего дня души в нем не чаю».

Королю показалось, что это для нее чересчур блестящая партия, но раз уж он обещал, то отступить почел для себя неудобным, а потому послал за Бельтраном и обратился к нему с такою речью: «Бельтран! Ты уже человек взрослый, воспитание твое окончено. Возвращайся в свое графство, с тем чтобы им управлять, и возьми с собой девицу, которую я прочу тебе в жены».

«Кто эта девица, ваше величество?» — спросил Бельтран.

«Та, которая своими лекарствами исцелила м е н я », — отвечал король.

Бельтран еще раньше видел ее и узнал, и хотя не мог отрицать, что она чудо как хороша собой, однако ж, приняв в соображение, что она ему не ровня, в негодовании воскликнул: «Государь! Итак, вы намерены отдать за меня лекарку? Видит бог, я никогда на ней не женюсь».

«Значит, я из-за тебя вынужден буду взять назад свое королевское слово, данное этой девице, которая бралась меня вылечить и которая в награду за мое выздоровление попросила, чтобы я выдал ее за тебя замуж?» — молвил король.

«Государь! — отвечал Бельтран. — Вы властны лишить меня всего и подарить меня кому угодно, понеже я есть ваш верноподданный, однако ж смею вас уверить, что сей брак будет для меня брак несчастливый».

«Нет, счастливый, — возразил к о р о л ь , — девица пригожа, сметлива, любит тебя всей д у ш о й , — вот почему я ласкаюсь надеждой, что ты будешь с нею счастливее, нежели с какой-либо знатною дамой».

Бельтран смолк, король же распорядился начать пышные приготовления к свадьбе. И вот, когда назначенный для обручения день настал, Бельтран скрепя сердце обручился в присутствии короля с девушкой, любившей его больше, чем самое себя. Со всем тем обручиться-то он обручился, а сам заранее обдумал, как ему быть дальше, и под предлогом, что он намерен вернуться в свое графство, дабы там сочетаться браком, испросил на то дозволение короля и, сев на коня, поехал не в свое графство, а в Тоскану. Сведая, что флорентийцы воюют с сиенцами, он порешил принять сторону флорентийцев. Те обрадовались и приняли его с честью, он же изъявил желание возглавить один из их отрядов и, получая изрядное вознаграждение, долгое время состоял у них на службе.

Обрученная, не весьма довольная своею участью, в надежде пригласить Бельтрана в графство плодотворною своею деятельностью, выехала в Руссильон, и здесь все встретили ее как законную владелицу. Граф долго не был у себя в имении, а потому все здесь пришло в расстройство и в упадок, и обрученная, будучи женщиной толковой, с крайним тща-

нием и усердием привела именье в порядок, подданные же были этим много довольны; они относились к ней с великим почтением и очень ее полюбили, а графа, напротив того, невзлюбили за разлад с женой. Приве-дя дела графства в надлежащее устройство, она через двух дворян уведо-мила о том графа и попросила известить ее, не из-за нее ли не едет он к себе в графство, — тогда она, мол, в угоду ему удалится. Ответ графа отли-чался крайней жестокостью: «Пусть поступает как хочет, я же ворочусь к ней не прежде, чем на пальце у нее окажется вот этот перстень, а на руках ребенок, прижитый со мною». Надобно знать, что у Бельтрана был драго-ценный перстень, который он никогда не снимал, оттого что, как его уверили, он обладал волшебною силою. Дворяне приняли это жестокое его условие, содержащее в себе два, в сущности, невыполнимых пункта, и, уверившись, что его не переупрямишь, возвратились к его жене и сооб-щили ответ. Сначала она сильно приуныла, но затем долго раскидывала умом, нельзя ли как-нибудь исхитриться и все-таки исполнить те два условия и благодаря этому вернуть мужа. Хорошенько все взвесив, она призвала старейших и лучших людей во всем графстве и обстоятельно, в слезных словах рассказала, как много сделала она из любви к графу и как он ее за это отблагодарил. В заключение же своей речи она объявила, что вовсе не желает, чтобы граф из-за нее находился в вечном изгна-нии, — напротив того, она намерена во спасение души своей употребить остаток жизни на поклонение святым местам и на благотворительность. Того ради она обратилась к старейшинам с просьбой взять на себя охрану графства, равно как и заботы по управлению таковым, графу же дать знать, что она освобождает его владения от своего присутствия и поки-дает Руссильон навсегда. Пока она держала речь, добрые люди пролива-ли обильные слезы; как же скоро она умолкла, они приступили к ней с увещаниями — передумать и остаться, но ничего с ней поделать не могли.

Она поручила их воле божией и в одежде странницы, взяв с собой побольше денег и дорогих вещей, в сопровождении двоюродного брата и служанки отправилась в путь-дорогу, а куда именно — про то ни один человек во всем графстве не ведал, направлялась же она во Флоренцию и по пути ни разу нигде не задержалась. Во Флоренции она остановилась в первой попавшейся гостиничке, которую держала некая почтенная вдо-ва, и, сгорая от нетерпения услышать что-либо о своем супруге, под видом бедной странницы стала вести самый добродетельный образ жизни. Нуж-но же было случиться так, чтобы на другой же день мимо гостиницы во главе отряда проехал верхом Бельтран, и хотя жена сейчас узнала его, однако спросила у почтенной хозяйки, что это за человек.

Хозяйка же ей на это ответила так: «Это дворянин, чужеземец, граф Бельтран, человек любезный, обходительный, в городе все его очень лю-бят. Он без ума от моей соседки, девушки благородного происхождения, но обедневшей. Она девушка честнейших правил, по бедности еще не за-мужем, а проживает со своею матерью, женщиною рассудительною и благонравною, так что, если б не мать, может, у девушки с графом что-нибудь бы и вышло».

Графиня хорошенько это запомнила и, обо всем допытавшись, обдумала план действий. Узнав, где живет та женщина с дочерью, в которую был влюблен граф, и как их зовут, она в одежде странницы тайно от всех пошла к ним и, с первого взгляда уверившись, что живут они в крайней бедности, поздоровалась с ними и изъявила желание поговорить наедине с дамой, если, впрочем, та ничего не имеет против.

Почтенная дама встала со своего места и объявила, что готова ее выслушать. Когда же они удалились в смежную комнату и уселись, графиня начала так: «Сдается мне, сударыня, что рок столь же не благоприятствует вам, как и мне, однако же от вас зависит обрадовать и себя и меня».

Женщина ей на это сказала, что самое заветное ее желание — честным путем достигнуть благополучия.

«Но только дайте слово, что вы меня не выдадите, — продолжала графиня. — Ведь если я вам доверюсь, а вы меня подведете, то и вам и мне будет плохо».

«Можете быть спокойны, — сказала почтенная дама. — Говорите все, что хотите, — я вас не подведу».

Тогда графиня, начав с юного своего увлечения, поведала, кто она и что с нею приключилось до сего дня, в таких выражениях, что почтенная дама, придав тем большую веру ее словам, что кое-что об этом она уже слышала, почувствовала к ней сострадание. Графиня же, сообщив ей о своих злоключениях, продолжала: «Итак, теперь вам ведомо, что, помимо прочих моих горестей, мне еще поставлены два условия, которые я должна выполнить, чтобы муж ко мне возвратился, и, кроме вас, никто не властен мне в этом помочь, если только достоинствен дошедший до меня слух, что граф, супруг мой, без памяти влюблен в вашу дочь».

На это ей почтенная дама сказала: «Сударыня! Подлинно ль любит граф мою дочь — того я не ведаю, но таиться он не таится. Чем же, однако, могу я вам служить?»

«Сейчас я вам все объясню, сударыня, — отвечала графиня, — однако ж прежде я хочу, чтобы вы знали, какая награда ожидает вас за оказанную мне услугу. Дочь ваша хороша собой, уже невеста, не выходит же она замуж, сколько мне известно и сколько я понимаю, единственно потому, что она — бесприданница. И вот в награду за услугу, которую вы мне окажете, я готова сию же минуту дать ей из моих собственных денег на приданое столько, сколько вы сами почтете необходимым, чтобы выдать ее за человека порядочного».

Это предложение обрадовало нуждающуюся женщину, но так как душа у нее была благородная, то она почла за нужное обратиться к незнакомке с вопросом: «Скажите же мне, сударыня, что именно я должна для вас сделать, и если это не уронит моей чести, то я к вашим услугам, а вы потом поступите со мной по своему благоусмотрению».

Графиня же ей на это сказала: «Вот что мне от вас надобно: передайте графу, моему супругу, через кого-либо, кому вы всецело доверяете, что ваша дочь согласна исполнить любое его желание, если только она убедится, что любит он ее не только на словах, но и на деле, поверит же

она ему не прежде, чем он пришлет ей перстень, который носит на пальце и который, как слышно, очень ему дорог. Если он пришлет перстень, вы отдадите его мне, тут же пошлете ему сказать, что ваша дочь согласна исполнить его желание, велите тайком пробраться сюда, а затем вместо вашей дочери непрямо подложите к нему в постель меня. Может, бог даст, я забеременею, и когда на пальце у меня будет перстень, а на руках — рожденный от него младенец, он будет мой, и станем мы с ним жить, как муж с женою, и всем этим я буду обязана вам».

Почтенной даме это показалось предприятием нелегким, — она боялась, как бы от того не пострадала честь ее дочери, — однако ж, рассудив, что помочь доброй женщине вернуть мужа — это дело хорошее и что цель у женщины благородная, и поверив в ее искреннее и милостивое к себе расположение, она обещала графине все устроить, несколько дней спустя, следуя ее наставлениям, храня тайну и соблюдая осторожность, выманила у графа перстень, как ни тяжело было ему с этою вещью расстаться, а затем, пустившись на хитрость, вместо дочери положила с ним спать графиню. После первых же сближений, которых так жаждал граф, графиня, по воле божией, зачала, и притом сразу двух мальчиков, как то впоследствии показали роды. И не один, а несколько раз почтенная женщина предоставляла возможность графине ласкаться с мужем, облекая это в столь непроницаемую тайну, что никому ничего не приходило в голову, граф же пребывал в полной уверенности, что ночует не с женой, а со своею возлюбленной. Утром, перед уходом, он дарил графине множество прелестных и дорогих вещей, а графиня свято их берегла.

Почувствовав себя не порожнею, она решила не докучать более почтенной даме просьбами о подобного рода услугах. «Сударыня! — сказала она. — Благодаря богу и благодаря вам я своей цели достигла — теперь пора мне вас вознаградить, после чего я смогу удалиться».

Почтенная дама сказала, что она рада, если мечта графини сбылась, но что она помогала ей не из корысти, а потому что почитает за должное делать людям добро.

Графиня же ей сказала: «Мне отрадно это слышать, сударыня, и я также собираюсь дать вам то, что вы у меня попросите, не в виде награды, а повинувшись потребности сделать доброе дело».

Тут почтенная женщина, от крайней нужды пересилив чувство неловкости, попросила у нее сто лир на приданое дочери. Графиня, поняв, как совестно ей просить, выслушала скромную ее просьбу и дала ей пятьсот лир, а кроме того, так много прелестных и дорогих вещей, что они, пожалуй, стоили не меньше. Почтенная дама пришла в совершенный восторг и осыпала графиню словами благодарности, графиня же возвратилась в гостиницу. Чтобы Бельтран больше и сам не являлся, и не трудился посылать слуг, почтенная дама поспешила выехать вместе с дочерью в деревню к своим родственникам, Бельтран же, не в долгом времени сведав, что графиня покинула графство, по зову подданных своих возвратился восвояси.

Дознавшись, что граф уехал из Флоренции к себе в графство, графиня осталась этим обстоятельством много довольна, а когда пришло ее время,

родила во Флоренции двух сыновей, до чрезвычайности похожих на отца, и велела с великим бережением их воспитывать. Когда же она рассудила, что пора ее приехала, то покинула Флоренцию и, никем не узнанная, прибыла в Монпелье. Здесь она несколько дней отдыхала, разведала, где находится граф, и, узнав, что в день всех святых он затевает в Руссильоне пышное празднество для дам и рыцарей, по-прежнему в одежде странницы отправилась туда.

Узнав, что дамы и рыцари собрались в графском дворце, чтобы сесть за стол, она все в той же одежде, с двумя младенцами на руках поднялась в залу и, протиснувшись к графу, пала пред ним на колени и, рыдая, заговорила: «О мой повелитель! Я, злосчастная твоя супруга, долго странствовала, чтобы ты мог возвратиться и жить у себя дома. Богом тебя заклинаю соблюсти условие, которое ты мне передал через двух дворян, коих я к тебе посылала. На руках у меня даже не один младенец, зачатый от тебя, но целых двое, а вот и твой перстень. Пора тебе исполнить свое обещание и жить со мной как с женою».

Тут граф пришел в крайнее замешательство, узнал перстень, признал, что это его дети, — так они были похожи на него, однако, со всем тем, задал графине вопрос: «Как же так могло случиться?»

Графиня, к великому изумлению графа и всех присутствовавших, рассказала все как было. Граф, удостоверившись, что она говорит правду, оценив ее постоянство и находчивость, умилившись при виде двух славных ребят, сверх того почтя своим долгом исполнить обещанное и, снизойдя к мольбам своих подданных, мужчин и женщин, и преодолев упорную свою бесчеловечность, встретить и принять графиню с честью, как подобает встречать законную жену, — велел графине встать, обнял ее, расцеловал и признал законной супругой, младенцев же — родными своими детьми. К великой радости всех при сем присутствовавших, а равно и других своих подданных, которые о том прослышали, он приказал нарядить графиню прилично ее званию, и праздновал он праздник широко, не один, а несколько дней кряду. И с того самого дня он почитал ее за свою жену и супругу, любил ее и уважал безмерно.





*Алибек спасается в пустыне; монах Рустико научает ее, как загонять дьявола в аг;  
оставив пустыню, Алибек выходит замуж за Неербала*



ионео слушал королеву со вниманием; когда же королева досказала до конца и, кроме Дионео, рассказывать было уже некому, он, не дожидаясь приказания, начал так:

— Обворожительные дамы! Вам, уж верно, не приходилось слышать, как загоняют дьявола в а д , — вот почему я намерен, по возможности не отдаляясь от предмета, о коем вы рассуждали весь нынешний день, именно об этом вам рассказать. Это поможет вам, как я полагаю, спасти душу и заодно удостовериться, что хотя Амур предпочитает гостеприимные чертоги и роскошные палаты, однако ж, со всем тем, он не прочь испытать свою силу и среди дремучих лесов, грозных скал и безлюдных пещер, — отсюда следствие, что все на свете ему покорствуется.

Но к делу. Надобно вам знать, что в городе Капсе, в Берберии, жил-был когда-то страшнейший богач, и у многодетного этого богача была пригожая и благонравная дочка по имени Алибек. Сама она не была христианкой, однако ж ей приходилось слышать от многих проживавших в городе христиан о преимуществах христианской веры и христианского богоугождения, и к одному из них она обратилась с вопросом, как лучше всего, не встречая на своем пути особых препон, угодить богу. Христианин отвечал, что тот наилучшим образом угождает богу, кто бежит мирской суеты, как, например, пустынноики фиваидские. На другое утро эта самая простушка, — а ей и было-то, должно думать, лет четырнадцать а т ь , — не по призванию, а из детского каприза, никому ни слова не сказав, тайком, без спутников, отправилась в пустыню Фиваидскую, а так как

каприз у нее по дороге не прошел, то спустя несколько дней она кое-как до тех уединенных мест добралась и, заметив хижину, направилась к ней и увидела на пороге пустынножителя, — тот при виде ее пришел в изумление и спросил, чего ей здесь надобно. Девушка ему на это ответила, что она по внушению самого господа бога пришла сюда послужить ему и найти такого человека, который наставил бы ее, как подобает ему служить.

Праведник, обратив внимание на то, что она еще совсем молода и прелестна, и убоявшись, как бы лукавый не попутал его, если он оставит ее у себя, одобрил благое ее намерение и, покормив ее кореньями, финиками, плодами диких яблонь и напоив водою, сказал: «Дочь моя! Тут неподалеку обитает святой жизни человек, он лучше, чем я, сумеет тебя наставить, — пойди-ка ты к нему». И, сказавши это, он вывел ее на дорогу.

Девушка дошла до того праведника и, выслушав от него то же самое, в конце концов добралась до кельи юного отшельника по имени Рустико, человека в высшей степени богобоязненного и праведного, и обратилась к нему с тем же вопросом, какой она задавала другим. Рустико, дабы подвергнуть свою стойкость великому испытанию, не попросил ее удалиться, как прочие, но, напротив того, оставил в своей келье, а когда спустилась ночь, устроил ей ложе из пальмовых веток и сказал, что она может здесь соснуть.

Не успел он это вымолвить, как твердость его духа была тут же подвергнута искушению. Рассудив, что он чересчур понадеялся на свои силы, он признал себя побежденным и сдался без боя. Выкинув из головы благочестивые помыслы, молитвы и истязание плоти, он вызывал в своем воображении молодость и красоту девушки и размышлял о том, как себя с ней держать и как действовать, чтобы ей не пришло в голову, что он распутник и замыслил овладеть ею. Задав ей несколько вопросов, он удостоверился, что она девственница и не представляется простодушною, а такова и есть на самом деле, и тогда у него созрело решение, как под видом богоугождения овладеть ею. Сначала он долго втолковывал ей, насколько дьявол враждебен богу, а затем объяснил, что нет дела более богоугодного, как загнать дьявола в ад, где ему самим всевышним определено находиться.

Девушка спросила, как же нужно загонять дьявола. Рустико ей на это ответил: «Не в долгом времени ты это узнаешь, а пока делай то же, что буду делать я». И тут он, сбросив с себя то небольшое, что на нем было, разделся догола, а его примеру последовала девушка. Потом стал на колени, словно хотел помолиться, а ей велел стать перед ним.

Итак, он стоял на коленях, и при виде ее прелестей похоть его все сильней распалась, следствием чего явилось вздымание плоти; Алибек же, в изумлении созерцая таковое явление, спросила: «Что это у тебя торчит, Рустико? У меня такой штуки нет».

«Ах, дочь моя! — отвечивал Рустико. — Это и есть дьявол, о котором я тебе толковал. И — поверишь ли? — как раз сейчас он причиняет мне нестерпимые муки».

А девушка ему: «Слава богу, что у меня этого дьявола нет, — потому то мне и легче».

«То правда, — согласился Рустико, — зато у тебя есть другая штука, а у меня ее нет».

«Какая штука?» — спросила Алибек.

Рустико же ей на это ответил: «У тебя ад, и сдается мне, что господь послал тебя ради спасения моей души, ибо если дьявол начнет уж очень досаждать мне, а ты надо мною сжалишься и дашь мне снова загнать его в ад, то мне ты доставишь великую отраду и в то же время как нельзя лучше послужишь и угодишь богу, а ведь ты, сколько я могу уразуметь из твоих слов, для того сюда и пришла».

Девушка же в простоте души ему сказала: «Отец мой! Коли ад во мне, то загоняйте дьявола, как скоро вам заблагорассудится».

«Будь же ты вовек благословенна, дочь моя! — воскликнул тут Рустико. — Итак, пойдём и загоним дьявола, чтобы он оставил меня в покое».

С этими словами он положил девушку на постель и показал, какое положение следует ей принять, чтобы злой дух был заточен.

Девушке впервые пришлось загонять дьявола в ад, и потому ей было больновато.

«Да уж, отец мой, — сказала она, — сквернавец он, этот самый дьявол, подлинно враг господень, не то что кому-нибудь там еще — самому аду больно, когда его туда загоняют».

«Это не всегда так будет, дочь моя», — возразил Рустико.

И чтобы впредь ей было легче, они, прежде чем встать с постели, еще раз шесть загоняли дьявола, сбили с него гордыню, и он до поры до времени охотно смирился.

Впоследствии, однако, дьявол часто бывал обуреваем гордыней, а девушка никогда не отказывалась сбить ее, оттого что эта игра пришлась ей по вкусу. «Видно, правду говорили добрые люди в Капсе, что богоугождение отрадно, — говорила она Рустико. — И точно: ничто не доставляет мне такого удовольствия и наслаждения, как загонять дьявола в ад. По мне, глупее глупого стараться угодить богу как-нибудь иначе». Девушка часто посещала Рустико и всякий раз ему говорила: «Отец мой! Я удалась в пустыню, дабы угождать богу, а не бездельничать. Пойдем загоним дьявола в ад».

Загнав же его, она иной раз обращалась к Рустико с такими словами: «Не могу взять в толк, почему дьявол бежит из ада. Уж, кажется, ад встречает и принимает его радушно — другой на его месте так бы оттуда и не вышел».

Одним словом, девушка столь часто подбивала Рустико и уговаривала его послужить богу, что от него кожа да кости остались и он мерз на солнцепеке. По сему обстоятельству он стал внушать девушке, что дьявола должно наказывать и загонять в ад, только когда он гордо поднимает голову: «А мы с тобой, по милости божией, спесь-то с него сбили, и он теперь молит бога, чтобы его оставили в покое». Девушка на время притихла.

Видя же, что Рустико больше не просит ее помочь ему загнать дьявола в ад, она однажды сказала: «Рустико! Твой дьявол наказан и больше тебе не докучает, а вот мой ад не дает мне покою. Будь добр, при помощи своего дьявола утихомирь неистовство моего ада, так же как я с помощью моего ада подсобила тебе сбить гордыню с твоего дьявола».

Рустико, питавшийся кореньями и запивавший их водою, чувствовал себя, как промотавшийся игрок; он сказал, что слишком много нужно бесов, чтобы утихомирить ад, но что он, однако ж, постарается сделать все, что в его силах. И точно: время от времени он ее ублажал, но крайне редко, и толку ей от того бывало столько же, сколько льву, если б ему в пасть кинуть боб, так что девушка, полагавшая, что она недостаточно усердно служит богу, в конце концов возроптала.

Пока между дьяволом Рустико и адом Алибек по причине пылкости одной стороны и маломощности другой шли нелады, в Капсе вспыхнул пожар, и во время этого пожара сгорел в собственном доме отец Алибек со всеми своими чадами и домочадцами, так что Алибек являлась теперь единственной наследницею его достояния. И вот некий юноша, именем Неербал, живший не по средствам и спустивший все свои денежки, сведав, что Алибек жива, отправился ее разыскивать, и отыскав, к великой радости Рустико и наперекор ее желанию, доставил в Капсу, прежде чем казна успела присвоить имущество ее отца по причине отсутствия наследников, женился на ней и завладел огромным ее достоянием. Но еще до свадьбы местные жительницы спрашивали ее, как она угождала богу в пустыне; она же им на это отвечала, что загоняла дьявола в ад и что Неербал совершил великий грех — отвлек ее от служения богу.

Женщины полюбопытствовали: «Как же ты загоняла дьявола в ад?» Девушка пояснила им это на словах, а для пущей наглядности сопровождала свою речь телодвижениями. Женщины как покатались со смеху, так до сей поры еще покатываются. «Не кручинься, девушка, — сказали они, — здесь тоже отлично это умеют делать. Неербал будет вместе с тобой усердно служить богу».

Они разнесли это по всему городу, и отсюда ведет свое происхождение поговорка: кто дьявола в ад загоняет, тот богу угождает. И поговорка эта, пришедшая к нам из-за моря, до сих пор имеет хождение в народе. А потому и вы, молодые девушки, благословясь, учитесь загонять дьявола в ад: это и богу угодно, и для обеих сторон усладительно, и от сего много хорошего может проистечь и воспоследовать.

Рассказ Дионео сопровождался беспрестанными взрывами хохота — в такое веселое расположение духа привел он почтенных дам. Как же скоро Дионео умолк, королева, в знак того, что ее правлению пришел конец, сняла с себя лавровый венок и, изящным движением возложив его на Филострато, молвила:

— Посмотрим, кто лучше умеет стеречь: волк — овец или же овцы — волков.

На это ей Филострато ответил, смеясь:

— Послушались бы меня, так волки научили бы овец загонять дьявола в ад не хуже, чем Рустико научил Алибек. Так что не зовите вы нас волками — ведь и вы не овечки. Как бы то ни было, я стану править введенным мне царством, насколько у меня хватит разуменья.

А Нейфила ему сказала:

— Послушай, Филострато: тебе не терпится поучать нас, а ведь тебе самому следовало бы прежде поучиться уму-разуму, как учился у монахинь Мазетто из Лампорецкьо, и вновь обрести дар речи не прежде, чем ты превратишься в скелет.

Убедившись, что дамы за словом в карман не лезут, Филострато прекратил шутки и принял бразды правления: позвал дворецкого, расспросил, как идут дела, а затем отдал надлежащие мудрые распоряжения, чтобы во время его царствования всей компании жилось хорошо. После этого он обратился к дамам с такою речью:

— Любезные дамы! С тех пор как я научился различать добро и зло, я, себе на горе, по воле Амура вечно в кого-нибудь из вас да влюблялся, но ни смирение, ни покорность, ни стремление исполнять все заповеди Амура — ничто мне не помогало: всякий раз меня предпочитали другому, и дела мои шли раз от разу все хуже и хуже, и, сдается мне, жребий мой теперь уже не улучшится до самой моей кончины. Вот почему мне бы хотелось, чтобы завтра речь у нас шла применительно к моим сердечным обстоятельствам, то есть *О несчастной любви*, ибо, если так будет продолжаться, мою любовь ожидает самый несчастный конец, да ведь и то сказать: человек, который дал мне то имя, которым вы меня называете, знал, что он делает.

С этими словами он встал и всех отпустил до ужина.

Сад был до того красив и приятен, что никому и в голову не могло прийти искать от добра добра. Солнце уже не пекло и не мешало бегать за ланями, кроликами и другими животными, прыгавшими через тех, которые сидели, и, как видно, этими прыжками изрядно им надоедавшими, и общество стало за ними гоняться. Дионео и Фьямметта пели песню про мессера Гвильельмо и про даму дель Верджу, Филомена и Панфило играли в шахматы, время шло незаметно, не успели оглянуться — пора ужинать. Столы были расставлены вокруг дивного фонтана, и ужин прошел необычайно весело.

Чтобы не нарушать заведенного королевами порядка, Филострато, едва убрали со столов, велел Лауретте начать танец и спеть песню. Лауретта же ему на это сказала:

— Государь! Чужих песен я не знаю, а ни одна из моих не может прийтись по душе столь веселому обществу. И все же, если вы ничего не будете иметь против, я спою вам что-нибудь свое.

Король ей на это ответил так:

— Все, что исходит от тебя, не может не быть прекрасным и отрадным, а потому пой, что тебе хочется.

Тогда Лауретта запела нежным голосом несколько заунывную песню, а другие ей подпевали:

Ах, в мире нет несчастной,  
Которая б сильней,  
Чем я, терзалась от любви напрасной!

Тот, кто расчислил вечный ход планет,  
Желанной и прелестной  
Благоволит создать меня на свет,  
Чтоб, созерцая облик мой телесный,  
В нем разум видел след  
И отблеск дивной сущности небесной.  
Но этот дар чудесный  
Не оценен людьми  
И только скорбь приносит мне всечасно.

Достойный человек со мной дружил  
И так пленился мною,  
Что сердце и объятья мне открыл.  
В нем юностью своей и красотой  
Зажгла я нежный пыл,  
И он охотно стал моим слугою.  
Была я всей душою  
Признательна ему,  
Но быстро миновал тот миг прекрасный.

И вот на жизненном пути предстал  
Мне юноша кичливый.  
Достоинствами, правда, он блистал —  
Природа делит их несправедливо, —  
Но чувства не питал,  
Хоть клясться в нем умел красноречиво.  
Так велико ли диво,  
Что он меня увлек  
И я поверила мечте опасной?

О, как пришлось раскаиваться мне,  
Когда я увидала,  
Что, обольщаясь страстью к новизне,  
Лишилась и того, чем обладала!  
Но звать страшной вдвойне,  
Что боль, которой я перестрадала, —  
Лишь новых бед начало.  
Нет, даже смерть — и та  
Была б отрадней доли столь ужасной.

Мой первый, верный друг, о коем так  
Я ныне сожалею,  
Тебя господь, всезряц и присноблаг,  
Призвал к себе. И все ж молить я смею:  
Подай мне, бедной, знак,  
Что ты меня подругою своею  
Зовешь и в эмпирее,  
Что у меня судьба  
Отнять твою любовь нигде не властна.

На этом Лауретта кончила свою песню, и песня эта, обратив на себя всеобщее внимание, всеми была понята по-разному. Нашлись и такие, которые истолковали ее на миланский лад, — дескать, хорошая свинья лучше красивой девки, — другие же истолковали ее на более возвышенный лад, поняли ее лучше и вернее, но сейчас не время об этом распространяться. Король велел зажечь как можно больше светильников, и потом на цветущей лужайке долго еще раздавалось пение — до тех пор, пока не начали меркнуть звезды. Тут король решил, что пора идти спать, и, пожелав всем спокойной ночи, приказал разойтись по своим покоям.



*Кончилась третий день*  
**ДЕКАМЕРОНА,**  
*начинается четвертый*

---



*В день правления Филострато  
предлагаются вниманию рассказы о несчастной любви*









илейшие дамы! На основании того, что я слышал от людей рассудительных, а равно и на оснований того, чему сам был свидетелем и о чем мне приходилось читать, я пришел к заключению, что буйный, сокрушительный вихрь зависти повергает наземь лишь высокие башни и верхушки деревьев, однако ж в конце концов я убедился в ошибочности моего представления. В самом деле, я избегал и всегда неуклонно стремился избегать бурных порывов яростного этого дуновения и потому бесшумно, крадучись, шел полями, а то и глубокими

лощинами. В этом легко удостоверится всякий, кто прочтет эти мои повести без заглавия, написанные в прозе, народным флорентийским языком, слогом, по возможности, простым и незатейливым. Со всем тем вихрь тот трепал меня немилосердно, едва не вырвал с корнем, зависть всего меня искусила, так что теперь мне стало вполне понятно изречение мудрецов: в подлунном мире не завидуют только ничтожеству.

Ведь нашлись же, о благоразумные мои дамы, такие читатели, которые утверждали, будто я уж чересчур вами пленен и что, мол, негоже мне стараться забавлять и занимать вас, а другие еще хуже обо мне отзывались за то, что я воздаю вам хвалу. Кое-кто, выражаясь осторожнее, заметил, что в мои лета неприлично увлекаться таким предметом, а именно — рассуждать о женщинах и стараться угодить им. Многие же, радея, видите ли, о моей славе, твердят, что я поступил бы благоразумнее, если б оставался с Музами на Парнасе, а не забивал вам голову своими побасенками. Находятся и такие, которые, выказывая не столько здраво-

мыслие, сколько высокомерие, утверждают, что лучше бы я позаботился о хлебе насущном, нежели, мороча себе голову всякой чепухой, питался воздухом. Есть, наконец, и такие, которые с целью опорочить мой труд силятся доказать, что все на самом деле обстояло не так, как я о том повествую.

Вот какие бушуют надо мною бури, вот какие кровожадные, острые зубы впиваются в меня и причиняют мне боль за то, что я вам служу, достойные дамы. Бог свидетель: все укоризны я выслушиваю и принимаю спокойно. Защищать меня, в сущности, надлежало бы вам, и все же я решился наконец сам себя защитить. Не почитая за нужное ответить так, как бы следовало, я ограничусь лишь краткою отповедью — только чтобы оградить мой слух, и намерен сделать это, не откладывая. Ведь если уже теперь, когда я еще и до трети моего труда не дошел, у меня оказалось так много противников и они так обнаглели, то, прежде чем я доберусь до конца, они размножатся неисчислимо и, не встречая надлежащего отпора, без труда повергнут меня во прах, а у вас при всем вашем могуществе не достанет сил оказать им сопротивление. Прежде чем, однако ж, кое-кому ответить, я замыслил рассказать в свою защиту не целую повесть, — а то как бы не подумали, будто я мешаю свои собственные повести с теми, что рассказывает у меня столь почтенное общество, которое я вам представил, — но отрывок из повести, дабы самая ее отрывочность указывала на то, что она к ним не относится. Итак, я обращаюсь к моим хулителям:

Давным-давно в нашем городе жил-был некто Филиппо Бальдуччи, человек происхождения незнатного, однако ж состоятельный, благовоспитанный, искушенный в тех именно делах, какими он занимался. Была у него жена, и он ее очень любил, а она любила его, и, живя в мире и согласии, они думали только о том, как бы угодить друг дружке. Случилось, однако ж, так, как рано или поздно случается со всеми нами: добрая женщина переселилась в мир иной, оставив Филиппо единственного сына, которому было тогда годика два. После кончины своей жены Филиппо, как всякий человек, потерявший то, что он любил, пребывал неутешен, Лишившись подруги жизни, которая была ему дороже всех сокровищ, оставшись один на всем свете, он утвердился в мысли не оставаться долее в миру, а посвятить себя богу, равно как и своего малолетнего сына. Раздав все достояние бедным, он тут же отправился на Ослиную гору, поместился в одной кельйке с сыном, и, живя подаянием, проводя все время в посте и в молитве, он пуще всего боялся заговорить с сыном о чем-либо суетном или же обратить его внимание на нечто такое, что могло бы отвлечь его от служения богу; он постоянно беседовал с ним о славе жизни вечной, о боге и о святых его и обучал молитвам. И такую жизнь он заставлял его вести много лет, никуда не выпуская из кельи и ни с кем не дозволяя общаться.

Время от времени этот добрый человек отправлялся во Флоренцию — там люди богобоязненные наделяли его всем необходимым, и он возвращался к себе в келью.

И вот однажды, когда юноше было уже восемнадцать лет, а Филиппо состарился, юноша спросил отца, куда это он собрался. Филиппо ему ответил. А юноша сказал: «Отец мой! Вы уже в преклонных летах, вам не под силу совершать такое путешествие. Почему бы вам когда-нибудь не взять меня с собой во Флоренцию и не познакомиться с людьми, которые и бога почитают и вас? Я человек молодой, посильнее вас, и потом, когда нужно, я бы ходил по нашим делам во Флоренцию, а вы сидели бы дома».

Добрый человек, рассудив, что сын его уже взрослый и такой богомольный, что суэта мирская навряд ли соблазнит его, сказал себе: «А ведь он дело говорит!» И когда ему понадобилось побывать во Флоренции, он взял его с собою.

Как же скоро юноша увидел дворцы, дома, храмы и все прочее, чем обилен город и чего он, сколько ни напрягал память, как будто бы не видел, то дался диву и стал приставать к отцу с расспросами, что это такое да как это называется. Отец отвечал, — тогда сын, удовлетворенный ответом, спрашивал его о другом. Итак, сын все еще спрашивал, а отец отвечал, как вдруг впереди показалась целая компания красивых и нарядных женщин, возвращавшихся со свадьбы, и стоило сыну остановиться на них взгляд, как он тотчас же обратился к отцу с вопросом: «А это что такое?»

Отец же ему сказал: «Сын мой, опусти очи долу и не гляди, они — поганые».

«А как они называются?» — спросил сын.

Дабы не пробуждать в сыне сладострастных вожелений и не наводить его на грешные мысли, отец порешил не называть женщин их настоящим именем, а потому ответил так: «Это гусыни».

И что за диво! Сын, сроду ни одной женщины не выдавший, не задержавший взора ни на дворцах, ни на быке, ни на коне, ни на осле, ни на деньгах, словом, ни на чем, что ему в тот день попало на глаза, тут вдруг обратился к отцу с просьбой: «Отец мой! Достаньте мне, пожалуйста, одну гусыню».

«Полно, сын мой! — воскликнул отец. — Даже и не думай. Они поганые!»

Тогда юноша его спросил: «Разве поганые бывают такими?»

«Бывают», — отвечал отец.

А сын ему на это: «Никак не возьму в толк, почему вы называете их погаными. По-моему, я никогда еще не видел ничего столь красивого и привлекательного. Они красивее нарисованных ангелов, которых вы мне показывали. Ну, пожалуйста! Если вы меня любите, дозвоьте взять с собой одну из этих гусынь — я буду ее кормить».

«Нет, не дозволю, — отвечал отец. — Ты еще не знаешь, чем их и кормить-то!» И тут он понял, что природа человеческая сильнее разума, и раскаялся, что взял сына во Флоренцию.

На этом можно оборвать мою повесть, а теперь мне хочется вновь обратиться к тем, для кого я ее рассказал. Итак, иные из моих недоброжелателей стоят на том, что я уж чересчур стараюсь прельстить вас, о

юные дамы, а что сам я уж чересчур вами прельщен. Но ведь я же этого и не отрицаю: в самом деле я вами прельщен и стараюсь, в свою очередь, прельстить вас. Ну так что же их тут удивляет? Ведь они-то познали негу сладких поцелуев и объятий и ту упоительную близость, какую вы, драгоценнейшие дамы, нередко им разрешаете. Да взять хотя бы в соображение одно то, что они постоянно наблюдают искусство вашего обхождения, обольстительную вашу красоту, обворожительную приятность и, вдобавок ко всему, благородную скромность, — так что же удивительного, что человек, вскормленный, воспитанный, выросший на пустынной горе, в стенах тесной кельи, никого, кроме отца, не видевший, к одной из вас почувствовал влечение, к другой — склонность, к третьей — страсть? Как можно меня костить, честить, гвоздить, если я, чье тело по воле неба создано для любви, а душа, смущенная волшебною силою огненных ваших взоров, нежностью сладких ваших речей, бурнопламенностью участливых ваших вздохов, смолоду тянется к вам, — если я вами прельщен и стараюсь прельстить и вас, коль скоро вы больше, чем что-либо иное, прельстили отшельника, юнца, несмышленища, дикому зверю подобного? Право, только те, что не любят вас и не желают, чтобы вы их любили, только те, что не испытали и не познали, сколь сильна и сколь отрадна природная склонность, способны меня осуждать, а мне до них нужды мало.

Те же, что над моим возрастом издеваются, как видно, не знают, почему у порея головка уже белая, когда стебель еще зелен. Шутки в сторону. Этим людям я скажу, что мне будет не стыдно до конца дней угождать женщинам, коль скоро в угождении им находили отраду, коль скоро угождать им почитали за честь бывшие уже на склоне лет Гвидо Кавальканти, и Данте Алигьери, и престарелый Чино да Пистойя. Я хочу остаться верен принятому мною способу изложения, а то бы я сослался на историю и доказал, что история полна примеров, свидетельствующих о том, что доблестные мужи древности, уже достигнув зрелого возраста, всеми силами старались угождать женщинам. Если некоторым сии примеры неизвестны, пусть сядут за книжку.

Что мне не мешало бы побыть с Музами на Парнасе — вот это, по крайнему моему разумению, совет добрый, однако ж ни мы не можем быть всегда с Музами, ни они с нами. И вот если кто-либо принужден с ними расстаться, то ничего предосудительного с его стороны не будет в том, ежели он увлечется теми, что на них похожи. Музы — женщины, и хотя женщинам с Музами не равняться, однако ж наружное сходство между ними есть, так что если бы даже что-либо другое мне в них и не понравилось, то уж это-то сходство не может мне не понравиться. Притом женщины дали мне тему для множества стихов, а вот Музы не дали и для одного. Правда, они оказали мне большую помощь — они учили меня, как писать стихи. Да, может статься, когда я сочинял эти свои неприятзательные повестушки, они тоже неоднократно являлись мне — то ли в угоду женщинам, то ли в честь того сходства,

какое между ними существует, так что, сочиняя сии рассказы, я не удаляюсь ни от горы Парнас, ни от Муз, как это, вероятно, представляется многим.

Что же сказать о тех, кто ревнует о моей славе и советует мне позаботиться о хлебе насущном? Право, не знаю. Я только догадываюсь, что бы они мне ответили, если б я по бедности попросил у них хлеба, — они бы мне сказали: «Пойди поищи его в баснях». Кстати сказать, стихотворцы находили его в своих баснях побольше, нежели многие богачи в своих сокровищницах, — баснями они прославили свой век, между тем как многие, у которых хлеба было невпроед, погибли бесславно. А, да что там говорить! Пусть эти люди прогонят меня, когда я попрошу у них хлеба, хотя, слава богу, пока что я в хлебе нужды не терплю, а если бы и пришла нужда, то, по слову апостола, я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, а потому уж я сам как-нибудь о себе позабочусь.

Те же, которые утверждают, что все, о чем я рассказываю, на самом деле происходило не так, весьма удручили бы мне, предоставив в мое распоряжение подлинники, и вот если бы обнаружилось противоречия, то я признал бы их упрек справедливым и постарался бы исправиться. Но пока все это одни слова, а когда так, то пусть эти люди остаются при своем мнении, я же буду придерживаться своего и буду говорить о них то самое, что они говорят обо мне.

Ну, на этот раз, пожалуй, довольно. С помощью божьей и с помощью вашей, высокородные дамы, — уж я на вас надеюсь, — запасшись терпением, я пойду вперед, спиной к ветру, — пускай себе дует! Полагаю, что, на худой конец, со мной может произойти то же, что с пылью, которую буйный ветер либо совсем не поднимает с земли, либо, подняв, пронесит в вышине, над головами простых смертных, над венцами императоров и королей, и кое-когда оставляет на кровлях высоких дворцов и башен, и пусть даже она оттуда и упадет, да ведь не ниже того места, откуда ее поднял вихрь. И если я и прежде всячески старался вам угодить, то теперь готов служить вам больше, чем когда-либо, ибо такие ваши поклонники, каков я, могут сказать одно: что поклоняться вам — это в природе вещей. А чтобы противиться законам природы — на это требуется слишком много сил, вот почему усилия сопротивляющихся не только в большинстве случаев оказываются тщетными, но и причиняют им огромный вред. Признаюсь, у меня таких сил нет, да они мне для этой цели и не нужны, а если бы даже я ими и обладал, то скорей поделился бы с кем-либо, чем воспользовался бы ради такого случая. А потому да смолкнут ругатели, и если они не способны воспламениться, то пусть мерзнут и, находя отраду в том, чтобы давать волю порочным своим наклонностям, пусть не мешают мне в нашей краткой жизни утешаться по-своему.

Долгонько, однако ж, мы с вами бродили, приятные дамы, — вернемся к исходному пункту и будем следовать однажды установленному порядку.

Уже солнце прогнало с неба все звезды, а с влажной земли прогнало ночную тень, когда Филострато поднялся со своего ложа, тем самым подав знак всему обществу, что пора вставать, и все пошли веселиться в чудесный сад; когда же пришло время обедать, то пообедали на том же самом месте, где вчера вечером ужинали. В то время, когда солнце стояло особенно высоко, все отдыхали, а затем, как всегда, сели у прелестного фонтана, и тут Филострато велел рассказывать Фьямметте, она же, не дожидаясь напоминаний, с великою приятностью начала так.





*Танкред, правитель Салернский,  
убивает любовника своей дочери и посылает ей в золотом кубке его сердце;  
она поливает сердце отравой, выпивает отраву и умирает*



екальный удел назначил нам ныне король. И то сказать: мы собрались повеселиться, а предстоит нам рассказывать о горестях; когда же идет речь о скорбях, то и рассказчики и слушатели не могут не сочувствовать страждущим. Может статься, король задал нам такую задачу для того, чтобы умерить веселье, которому мы предавались последнее время. Впрочем, что бы им ни руководило, мне не подобает идти наперекор его желанию, и потому я поведаю вам одно прискорбное злоключение, заслуживающее того, чтобы мы над ним поплакали.

Танкред, принц Салернский, был правитель человеколюбивый и добросердечный (если не считать того, что на старости лет он обагрил руки в крови влюбленных), и была у него за всю его жизнь одна-единственная дочь, однако ж он был бы счастливее, если б у него ее не было. Ни один отец так нежно не любил свою дочь, как любил ее Танкред, — вот почему, хотя ей давно пора было замуж, он все не выдавал ее, ибо не мог с нею расстаться. Наконец он все же выдал ее за сына герцога Капуанского, но она пожила с мужем недолго и, рано овдовев, возвратилась к отцу. То была самая статная и самая красивая женщина в мире, молодая, смелая и не по-женски умная. Она жила у заботливого отца своего в неге и в холе, и он так любил ее, что не спешил выдать замуж вторично, она же почитала неприличным с этим к нему подступиться и надумала завести себе, если к тому представится возможность, тайного и достойного возлюбленного. Присматриваясь к мужчинам высоко-

родным, а равно и к худородным, которые, как при каждом дворе, были и при дворе ее отца, она наблюдала за их обхождением, за их поведением и в конце концов отличила молодого слугу своего отца по имени Гвискардо: то был человек, в низкой доле рожденный, однако ж по достоинствам души своей и по поведению благороднее всякого другого, и вот к нему-то, часто с ним встречаясь и находя все большую приятность в его обхождении, она и воспылала тайною страстью. От юноши, который, к слову сказать, тоже отличался живостью ума, это не укрылось, и он так ею увлекся, что позабыл обо всем на свете.

Словом, они тайно полюбили друг друга, и молодая женщина ни о чем так не мечтала, как о свидании с ним наедине, однако ж, боясь кому бы то ни было поверить любовную свою тайну, пустилась на особую хитрость, чтобы уведомить его, как им свидеться. Она написала ему записку и объяснила, как ему надлежит действовать на другой день. Записку эту она засунула в тростинку и, передав ее Гвискардо, с игривым видом молвила: «Отдай ее вечером служанке — пусть она в нее подует и разожжет огонь».

Гвискардо тростинку взял и, смекнув, что она дала ему ее и обратилась к нему с такими словами не без умысла, пошел к себе, а дома осмотрел тростинку и, обнаружив в ней углубление, достал оттуда записку, прочел и, уразумев, как ему надлежит действовать, обрадовался чрезвычайно и стал готовиться к свиданию, которое она ему в определенном месте назначила. Поблизости от палат властителя некогда была вырыта в горе пещера, и в эту пещеру через проделанное отверстие проникал слабый свет, а так как пещера была давно заброшена и дорога к ней заросла терновником и травою, то проникнуть в нее можно было лишь по потайной лестнице, ведшей как раз из той комнаты нижнего этажа, где жила дочь правителя, хотя дверь на лестницу была заперта крепко-накрепко. Все об этой лестнице давно позабыли, никто по ней с незапамятных времен не ходил, и не осталось уже почти никого, кто мог бы припомнить, где она находится. Однако ж Амур, для взоров которого все тайное становится явным, напомнил о ней любящей женщине. Чтобы никого не посвящать в свои замыслы, она сама несколько дней возилась с дверью, пока наконец с помощью различных инструментов ей не удалось отпереть дверь. Отворив же ее и спустившись в пещеру, она обнаружила отверстие и послала сказать Гвискардо, чтобы он попытался проникнуть через него, и указала высоту, на которой отверстие находилось. Гвискардо, нимало не медля, приготовил веревку с узлами и петлями, чтобы удобней было по ней спускаться и подниматься, и на следующую же ночь, надев на себя одежду из кожи, предохраняющую от колючек, и никому ни слова не сказав, направился к пещере, привязал крепче один конец веревки к стволу могучего дерева, росшего у самого отверстия, спустился по веревке в пещеру и стал поджидать даму. Между тем дама, сделав вид, что ей хочется спать, уснула своих девушек, заперлась у себя в комнате, а затем отворила дверь и, спустившись в пещеру, увидела Гвискардо, и тут они оба возликова-

ли и, пройдя к ней в комнату, с превеликим удовольствием провели здесь почти весь день. Затем, с крайним тщанием осмотревшись, дабы никто не проник в тайну его любви, Гвискардо спустился в пещеру, она, заперев за ним, вышла к девушкам, Гвискардо же, дождавшись ночи, поднялся по веревке, выбрался из пещеры через то же самое отверстие и возвратился домой. Узнав дорогу, он потом еще несколько раз ходил на свидание.

Судьба, однако ж, позавидовала их продолжительному и неизъяснимому блаженству и одним прискорбным стечением обстоятельств обратила радость любовников в неутешное горе. Танкред имел обыкновение заходить к дочери, — приходил он к ней один и после краткой беседы удалялся. Как-то раз он пошел к ней после обеда; дочь его, — ее звали Гисмонда, — была в это время с девушками в саду, так что никто не видел и не слышал, как он вошел в ее комнату; войдя же, он не стал мешать ей развлекаться; окна в комнате были закрыты, полог над кроватью опущен; Танкред сел в углу на скамеечку, прислонился к кровати, задернул полог, словно нарочно от кого-нибудь прячась, и задремал. Пока он спал, Гисмонда, как на грех условившаяся с Гвискардо, что он сегодня придет, оставила девушек в саду, тихонько вошла к себе в комнату, заперлась и, не заметив отца, отворила дверь на лестницу ожидавшему ее Гвискардо; затем они оба, по своему обыкновению, легли на кровать и принялись резвиться и баловаться, и вдруг Танкред пробудился и услышал и увидел воочию, что вытворяют Гвискардо и его дочь. Придя от этого в ужас, он хотел было обрушиться на них с криком, но передумал и порешил не подавать голоса и из тайника своего не выходить, дабы негласно, с возможно меньшим для себя позором, поступить так, как он уже замыслил. Любовники, по обыкновению, долго пробыли в постели, а затем, решив, что пора им расстаться, встали, и Гвискардо спустился в пещеру, а она вышла из комнаты. Танкред, несмотря на преклонные свои годы, выпрыгнул из окна в сад и, никем не замеченный, убитый горем, возвратился к себе.

По его повелению два человека на следующую же ночь, когда добрые люди только еще первый сон видели, схватили Гвискардо, которого движения сковывала кожаная его одежда, когда он вылезал из отверстия, и повели к Танкреду. Как скоро Танкред увидел Гвискардо, то чуть не со слезами молвил: «Гвискардо! Ты отплатил за мое милое к тебе расположение срамом и оскорблением всему моему роду, чему я сам был свидетелем».

На это ему Гвискардо сказал только одно: «Любовь сильнее нас с вами».

Танкред приказал тайно от всех сторожить его в одной из ближних комнат, что и было исполнено.

На другой день, когда Гисмонда ничего еще не подозревала, Танкред, перебрав в уме множество чрезвычайных мер, после обеда пошел, по обыкновению, к дочери, послал за нею и, запершись, со слезами заговорил: «Гисмонда! Я был так уверен в твоём целомудрии и в твоей

честности, что мне в голову никогда не могло прийти, хотя бы я о том от кого-нибудь услышал, но не видел собственными глазами, чтобы ты не только решилась, но даже подумала отдаться кому бы то ни было, кроме мужа, — вот почему те немногие годы, что мне еще сулит прожить моя старость, я при одном воспоминании об этом не устану крушиться. И если уж суждено было тебе так низко пасть, то, по крайности, избрала бы ты себе ровню, но нет: изо всех, кто находится при моем дворе, ты остановилась на Гвискардо — молодчике самого темного происхождения, которого я от молодых его лет и даже до сего дня держал при своем дворе из милости, и тем повергла меня в крайнее душевное смятение, ибо я не знаю, как мне с тобою быть. Участь Гвискардо, которого я велел схватить ночью, когда он выбирался из пещеры, я уже решил, а вот что мне делать с тобой — это одному богу известно. С одной стороны, во мне говорит любовь к тебе, — а ведь я любил тебя так, как еще ни один отец не любил свою дочь, — с другой, во мне говорит правый гнев, вызванный великим твоим безрассудством: любовь требует, чтобы я тебя простил, гнев же требует, чтобы я против тебя вопреки своей природе ожесточился. Прежде, однако ж, чем на что-либо решиться, я желаю знать, что ты обо всем этом думаешь?» С последним словом он уронил голову и заплакал, как побитый ребенок.

Поняв из слов отца, что не только раскрыта тайная их связь, но что Гвискардо схвачен, Гисмонда впала в невообразимое отчаяние и много раз была близка к тому, чтобы, как в подобных случаях обыкновенно поступают женщины, излить душу в воплях и рыданиях, однако ж гордость ее взяла верх над слабостью, она напрягла все усилия, чтобы не перемениться в лице, и в глубине души положила не просить о чем-либо отца, а покончить все счеты с жизнью, ибо она была уверена, что Гвискардо уже нет в живых.

Вот почему не как страждущая или же уличенная женщина заговорила она с отцом, — вид у нее был в эту минуту невозмутимый и решительный, взгляд открытый и нимало не растерянный. «Отец! — сказала она. — Я не намерена ни запираяться, ни унижаться, — мне бы это все равно не помогло, да я и не хочу, чтобы это мне помогло. Но я и не собираюсь взывать к твоему великодушию и играть на твоей любви ко мне, — я хочу во всем признаться и привести веские доводы в защиту моей чести, а затем на деле доказать несокрушимую твердость моего духа. То правда: я любила и люблю Гвискардо и буду любить его до самой смерти, — а смерть моя близка, — однако ж повинна в том не столько женская моя слабость, сколько, во-первых, то, что ты не спешил с моим замужеством, а во-вторых, достоинства Гвискардо. Ведь ты же отлично знаешь, отец, что ты сам из плоти и что детище твое, дочь, также из плоти, а не из камня и не из железа, и тебе не мешало бы помнить, хотя ты и стар, какие такие, каковы суть и с какой силой себя проявляют законы юности. И хотя, как подобает мужчине, ты почти все свои лучшие годы посвятил упражнениям воинским, со всем тем тебе должно быть понятно, как действуют праздность и нега на людей пре-

старелых, а тем более на молодых. Итак, коль скоро я рождена от тебя, значит, я из плоти, и я еще так мало жила на свете, что могу считать себя молодой, в силу каких-либо обстоятельств во мне кипят страсти, и страсти эти стократ усилились во мне после того, как я побывала замужем и познала, как приятно их утолять. Не в силах будучи противиться моей склонности, я, как это бывает с молодыми женщинами, покорилась ей и полюбила. По чести, я старалась сделать все возможное для того, чтобы грех, на который меня толкала сама природа, не покрыл позором ни тебя, ни меня. Сострадательный Амур и благосклонная судьба нашили и указали мне потайной ход, благодаря которому я неприметно достигала своей цели. Указал ли его кто-нибудь тебе, сам ли ты догадался — как бы то ни было, я этого не отрицаю. Я поступила не так, как другие женщины: мой выбор пал на Гвискардо не случайно — лишь после глубоких раздумий я отличила его пред другими, я допустила его до себя, все обдумав и взвесив, и с благоразумным постоянством, каковое выказывал и он, долго упивалась своею страстью. Сколько я тебя понимаю, ты горько меня упрекаешь не так за мое падение, как за мой выбор, ибо ты находишься во власти предрассуждений света: ты упираешь на то, что я сошлась с простолудином, словно мой проступок заслуживал бы с твоей стороны не столь строгого осуждения, если бы я остановила свой выбор на человеке, происшедшем от благородных родителей. Ты не хочешь понять, что то не мой грех, но грех Фортуны, весьма часто возвышающей недостойных, а наидостойнейших обрекающей на низкую долю. Однако ж оставим пока этот предмет. Обрати внимание на устройство вещей — и ты увидишь, что плоть у всех у нас одинакова и что один и тот же творец наделил наши души одними и теми же свойствами, качествами и особенностями. Мы и прежде рождались и ныне рождаемся существами одинаковыми — меж нами впервые внесла различие добродетель, и кто был добродетельнее и кто ревностнее выказывал свою добродетель на деле, те и были названы благородными, прочие же — неблагородными. И хотя впоследствии это установление было вытеснено прямо противоположным, со всем тем оно еще не вовсе искоренено как из природы человеческой, так равно и из общественного благонравия. Вот почему кто совершает добродетельный поступок, тот доказывает, что он человек благородный; если же его называют иначе, то вина за это ложится не на называемого, а на называющего. Окинь взором своих вельмож, понаблюдай, какую ведут они жизнь, присмотришься к нравам их и обычаям, а затем переведи взгляд на Гвискардо, и вот, если ты будешь судить беспристрастно, то его ты назовешь человеком благороднейшим, тех же, кого почитают за благородных, — смердами. Что касается достоинств и совершенств Гвискардо, то тут я верила только твоим словам и моим собственным глазам. А кто же еще так хвалил его, как не ты, за поступки истинно похвальные, за которые стоит сказать доброе слово о человеке достойном? И, по чести, ты воздавал ему должное: если только глаза мои меня не обманывали, ты ни разу не отозвался о нем с похвалой, которой он бы не заслужил, — более того: он всегда поступал выше всяких похвал. Если же я на его счет обманулась, то ввел

меня в обман не кто иной, как ты. Сможешь ли ты теперь сказать, что я сошлась с человеком низкого происхождения? Если и скажешь, то это будет неправда. Если же ты назовешь его бедняком, то с этим согласиться можно, хотя к чести это тебе не служит, — значит, ты не сумел достойно вознаградить честного человека, твоего слугу, однако ж бедность указывает лишь на отсутствие средств, но не на отсутствие благородства. Многие короли, многие владетельные князья были бедняками, многие же из тех, кто пашет землю и пасет скот, были и есть богатеи. Так рассея же последнее сомнение касательно того, как быть со мной. Если ты намерен поступить в глубокой старости так, как ты никогда не поступал в юности, то есть выказать жестокость, то обрушь на меня свою ярость, тем более что я и не собираюсь молить тебя о пощаде: ведь если тут можно говорить о вине, то во всем виновата я. Можешь мне поверить: если ты не поступишь со мною так же точно, как поступил или же велишь поступить с Гвискардо, то я наложу на себя руки. Иди же, поплачь с женщинами, а затем, рассвирепев, убей одним ударом его и меня, если только ты уверен, что мы этого заслужили».

Правителю открылось величие духа его дочери, и все же он был не вполне убежден, что она непременно осуществит свой замысел. В сих мыслях он ушел от нее и отказался от намерения как-либо ей отомстить, — он порешил обрушить весь свой гнев на ее возлюбленного и тем охладить любовный ее пламень; того ради приказал он двум стражам ночью, не производя ни малейшего шума, задушить Гвискардо и, вынув у него из груди сердце, принести ему, и как он им приказал, так они и сделали.

На другой день Танкред велел принести большой красивый золотой кубок и, положив туда сердце Гвискардо, послал с этим кубком к Гисмонде верного своего слугу и велел передать ей: «Отец посылает тебе в утешение то, чем ты больше всего дорожила, подобно как ты берегла то, что было ему дороже всего на свете».

Между тем Гисмонда, не отказавшаяся от бедственного своего намерения, велела принести ядовитых трав и корней и в отсутствие отца, чтобы иметь под рукой отраву на тот случай, если бы произошло то, чего она опасалась, изготовила настой. Когда же к ней явился слуга с подарком и передал слова принца, она, не дрогнув, взяла кубок, заглянула в него и, увидев сердце, поняла, что хотел сказать отец, и совершенно уверилась, что это сердце Гвискардо. Глядя слуге прямо в глаза, она сказала: «Такому сердцу золотая подобает гробница — отец мой поступил мудро». Тут Гисмонда поднесла сердце к устам своим и поцеловала его. «Всегда и во всем, вплоть до этого последнего дня моей жизни, отец проявлял ко мне нежнейшую любовь, — продолжала она, — ныне он превзошел себя в своей нежности, — так передай же ему за бесценный сей дар последнюю мою благодарность».

Затем она обратилась к кубку, который крепко держала в руках, и, глядя на сердце, снова заговорила: «О сладчайшее святилище утех моих! Да будет проклята жестокость того, кто вынудил меня ныне увидеть

тебя телесными очами! Мне довольно было созерцать тебя всечасно очами духовными. *Течение ты совершило*, все, что уготовала тебе судьба, ты исполнило. Ты достигнуло меты, к коей стремился всякий, ты покинуло сию плачевную юдоль с ее скорбями, а недруг твой подарил тебе гробницу, коей твоя доблесть заслуживала. Для твоего погребения недоставало лишь слез той, которую ты так любил при жизни. Дабы не лишать тебя их, господь внушил бесчеловечному отцу моему мысль послать мне тебя, и я приношу тебе в дар мои слезы несмотря на то, что решила умереть без слез и без страха. Подарив же тебе мои слезы, я не задумываясь соединю при твоей помощи свою душу с той, которую ты, о сердце, столь бережно хранило. С кем еще мне было бы так отрадно и покойно устремиться в неведомые края, как не с твоею душою? Я уверена, что она еще здесь, что она созерцает место своего и моего блаженства и, любя меня, в чем я не сомневаюсь, ждет мою душу, а моя душа любит ее больше всего на свете».

В противоположность тому, как ведут себя в таких случаях женщины, Гисмонда не испустила ни единого вопля, — она молча наклонилась над кубком и, словно в голове у нее находился источник, стала проливать на диво обильные слезы и осыпать поцелуями безжизненное сердце. Девушки, стоявшие вокруг, не знали, чье это сердце, смысл ее слов был им неясен, однако ж все они плакали от жалости, движимые состраданием, допытывались у нее, отчего она плачет, и, сколько могли и умели, пытались ее утешить.

Вволю наплакавшись, она подняла голову и, отерев глаза, молвила: «Обожаемое сердце! Свой долг по отношению к тебе я исполнила — теперь мне остается лишь соединить мою душу с твоею». Сказавши это, она велела подать кувшин, в который еще вчера налила отравы, и вылила отраву на омытое ее слезами сердце. Затем смело поднесла кубок ко рту и, выпив все, что в нем было, с кубком в руке возлегла на свое ложе, благоговейно приложила к своему сердцу сердце мертвого любовника и молча стала ждать смерти.

Видевшие и слышавшие все это девушки хоть и не имели понятия, что именно она выпила, послали, однако, сказать Танкреду, он же, испугавшись, что произойдет как раз то, что на самом деле и произошло, поспешил к дочери и вошел в ту самую минуту, когда она легла. Увидев, в каком она положении, и поняв, что утешать ее ласковыми словами теперь уже поздно, он горько заплакал.

Она же ему сказала: «Отец! Прибереги слезы для менее желанного горя, не проливай их надо мною — мне они не нужны. Кто еще, кроме тебя, оплакивал то, к чему он стремился? Но если твоя любовь ко мне еще не вовсе угасла, окажи мне последнюю милость: как ни ненавистна была тебе тайная и сокровенная моя связь с Гвискардо, дозвожь, чтобы тело мое у всех на виду легло рядом с его мертвым телом, где бы ты ни велел его закопать». Слезы душили правителя, и он ничего не мог сказать ей в ответ. Тогда молодая женщина, почувствовав, что конец ее бли-

зок, еще крепче прижала к груди безжизненное сердце. «Да хранит вас господь, а я умираю», — вымолвила она. Очи ее подернулись пеленою, она перестала что-либо чувствовать и покинула горестную сию юдоль.

Итак, теперь вам известен печальный конец любви Гвискардо и Гисмонды, а Танкред много слез пролил и, поздно раскаявшись в своей жестокости, под громкие стенания всех салернцев с почестями похоронил любовников в одной гробнице.





*Монах Альберт уверяет одну женщину, что в нее влюблен архангел Гавриил, и, приняв его обличье, несколько раз у нее ночует; как-то ночью, убоившись родственников ее, он выбрасывается из окна ее дома и находит пристанище у одного бедняка; на другой день бедняк ведет его, переодетого дикарем, на площадь, и тут все узнают его, а монахи хватают и заключают в темницу*



овесть Фьямметты не раз исторгала слезы из очей подруг. Когда же Фьямметта ее досказала, король с мрачным видом молвил:

— Я бы с радостью отдал жизнь за половину того наслаждения, какое изведали Гвискардо и Гисмонда, и в том нет ничего удивительного: я, правда, живу, но, что ни час, тысячу раз умираю и притом не испытываю самонаименьшего наслаждения. Но оставим до времени мои обстоятельства такими, как они есть, — я хочу, чтобы теперь Пампиня рассказала что-нибудь печальное, отчасти напоминающее то положение, в каком нахожусь я. Если она пойдет по следам Фьямметты, то, вне всякого сомнения, повесть ее будет подобна росе, которая охладит мой пламень.

Выслушав это приказание, Пампиня не весьма ясно поняла из слов короля, чего он от нее хочет, зато она чутьем угадала расположение духа ее подруг, а потому, желая не столько угодить королю, — а если и угодить, то лишь исполнением его приказания, — сколько развлечь подружек, надумала, не выходя за рамки заданной темы, рассказать смешную повесть, и начала она так:

— Есть народная поговорка: «Кто праведником сльвет, тот всегда очки вотрет». Поговорка эта открывает предо мною вольный простор для беседы на предложенную тему, а кроме того, дает возможность показать, каково и сколь сильно лицемерие монахов с их широким и долгополым одеянием, с неестественной бледностью их лиц, с их голосами,

умильными и вкрадчивыми, когда они клянчат, громоподобными и устрашающими, когда они обличают в других свои собственные пороки и уверяют, будто они спасают свою душу тем, что берут, а все прочие — тем, что дают, будто они, в отличие от всех нас, не обязаны заслужить царство небесное, будто царство небесное — это их вотчина и поместье и они вольны отводить в нем умирающим, в зависимости от того, сколько те завещают на монастыри, более или менее хорошее место, и этим только обманывают себя, если, впрочем, они сами в этом убеждены, а равно и тех, которые верят им на слово. Если б мне было дозволено выложить про них все, я бы в ту ж секунду показала простецам, что прячут монахи в складках широченных своих мантий. Дай бог, чтобы за те небылицы, которые они плетут, с ними со всеми случилось то же, что с одним миноритом, человеком уже немолодым, из всех францисканцев пользовавшимся в Венеции наибольшим уважением. Мне страх как хочется рассказать о нем поподробнее, — может статься, я сумею развеселить и развлечь вас, огорченных кончиной Гисмонды.

Итак, достойные дамы, жил-был в Имоле грешник и злодей по имени Берто дела Масса, столь широко известный предосудительными своими поступками, что ему не верили, даже когда он говорил правду. В конце концов, видя, что ему здесь делать нечего, отчаявшись еще кого-либо обмишулить, он перебрался в Венецию — в это гнездилище всяческой скверны, — с тем чтобы разбойничать здесь по-иному. Притворившись, будто совесть мучает его за все совершенное им в прошлом зло, прикинувшись великим смиренным и необыкновенным молитвенником, он ушел к миноритам и стал братом Альбертом из Имолы. В иноческом чине он делал вид, что ведет жизнь строгую, призывал к покаянию и воздержанию, мяса не ел и вина не пил — в тех случаях, когда ему ни есть, ни пить не хотелось. Никто и оглянуться не успел, как он из разбойника, сводника, фальшивомонетчика и убийцы превратился в знаменитого проповедника, что не мешало ему предаваться перечисленным порокам, но только втайне. Став иеромонахом, он у престола, во время богослужения, так, чтобы все это видели, оплакивал страсти Христовы, благо слезы у него были дешевы. Своими проповедями и слезами он в короткий срок сумел так очаровать венецианцев, что они назначали его своим душеприказчиком, отдавали ему свои духовные на сохранение, деньги — на сбережение, и мужчины и женщины избирали его своим духовником и советчиком. Так, из волка преобразившись в пастыря, он достигнул того, что о святом Франциске никогда столько не говорили в Ассизи, сколько теперь говорили в Венеции об его святости.

Случилось, однако ж, так, что некая молодая особа, пустынькая и глупенькая, Лизетта из рода Квирино, жена именитого купца, который на нескольких галерах повез товар во Фландрию, пошла вместе с другими женщинами на исповедь к этому честному инок. Опустившись на колени, она стала рассказывать ему о своих грешках, — а ведь венецианки, все, сколько их ни есть, ветреницы, — брат же Альберт задал ей вопрос, нет ли у нее любовника.



«Где у вас глаза, ваше преподобие? — в сердцах спросила Лизетта. — Или, по-вашему, между моей красотой и красотой вон тех исповедниц никакой разницы нет? Да если б только я захотела, я бы себе целый рой любовников завела, но я до того хороша, что не могу позволить любить себя встречному и поперечному. Много ль вы видели таких красавиц, как я? На меня загляделись бы и в рай». Говорила она о своих прелестях до бесконечности, так что тошно было ее слушать.

Брат Альберт живо смекнул, что она с придурью, и, рассудив, что для него это сущий клад, внезапно и без памяти в нее влюбился. Отложив, однако, объяснение в любви до другого раза, он, дабы на первых порах сойти в ее глазах за праведника, начал укорять ее в самохвальстве, стал ее отчитывать, она же ему сказала, что он дурак: не понимает, дескать, что красота красоте рознь. Брат Альберт, боясь, что она еще пуще разгневется, наскоро поисповедовал ее и отпустил вместе с другими домой.

Выждав несколько дней, он взял с собой верного своего друга, отправился к Лизетте, прошел с ней в комнату, где их никто не мог видеть, и, отведав ее в укромный уголок, повалился перед ней на колени и сказал: «Дочь моя! Ради бога, простите меня за то, что я вам сказал в воскресенье, когда вы мне говорили о своей красоте. На следующую же ночь меня так лихо отколотили, что я только сегодня в первый раз встал с постели».

«Кто же это вас отколотил?» — спросила дуреха.

«Сейчас вам все расскажу, — отвечал брат Альберт. — Когда я ночью, по обыкновению, стоял на молитве, внезапно келья моя озарилась ослепительным светом, и едва я поднял глаза, как увидел дивной красоты юношу с толстой палкой в руке, — он схватил меня за сутану и, повергнув ниц, обломал мне бока. Когда же я спросил его, за что, он мне ответил так: «За то, что ты нынче осмелился изрыгать хулу на небесную красоту госпожи Лизетты, которую я, после господ бога, люблю больше всего на свете». Тут я спросил его: «Но кто же вы?» А он мне сказал, что он архангел Гавриил. «О господине! — воскликнул я. — Молю вас: простите меня!» — «Прощаю, — ответил он, — с условием, однако ж, чтобы ты как можно скорее увиделся с ней и испросил себе прощение. Буде же она тебя не простит, то я еще раз в твою келью наведаюсь и так тебя отделаю, что ты до самой смерти не забудешь». То же, что он к этому присовокупил, я осмелюсь поведать вам не прежде, чем вы меня простите».

У Лизетты мозги были набекрень, — она верила всем турусам, которые разводил брат Альберт, и таяла от каждого его слова. «Говорила я вам, брат Альберт, что моя красота — красота небесная, — заметила она немного погодя, — а все-таки мне вас жаль, истинный бог, и я вас прощаю, а то как бы с вами еще хуже не обошлись, но только вы должны мне сказать, что вам поведал ангел».

Брат Альберт ей на это ответил: «Дочь моя! Раз вы меня простили, я вам с удовольствием все расскажу, но прошу запомнить: что бы вы от меня ни услышали, бойтесь кому бы то ни было проговориться, ес-

ли только вы, счастливейшая в мире женщина, не хотите испортить все дело. Архангел Гавриил велел мне передать вам, что вы ему очень нравитесь, и его останавливает только одно: как бы не испугать вас, а то бы он уже не раз явился вам ночью. Вот он и велел передать, что намерен как-нибудь прийти к вам ночью и побыть с вами подольше. А так как он ангел и если б он явился вам в образе ангела, то вы не смогли бы к нему прикоснуться, он хочет ради вашего удовольствия предстать перед вами в образе человеческого. Словом, он хочет знать, когда ему лучше к вам прийти и в каком виде, — он все исполнит по слову вашему, так что вы можете почитать себя блаженнейшей из женщин, ныне живущих на земле».

Дурында ему на это ответила, что ей очень лестно, что ее любит ангел, и она его, мол, тоже любит и всегда перед его образом ставит большущую свечу. Когда бы, мол, он ни пожелал прийти, он всегда будет желанным гостем и она будет одна в комнате. Только пусть уж он теперь, коли вправду любит, ради девы Марии ее не бросает, а уж она-то, еще и не подозревая о его любви, где бы его ни увидела, всегда, бывало, становилась перед ним на колени. А в каком образе явиться — это, дескать, его дело, только бы ей не было страшно.

Брат Альберт ей на это сказал: «Дочь моя! Вы рассудили умно, и я все берусь устроить. Но вы можете заодно оказать мне великую милость, вам же это ничего не будет стоить. Вот в чем она заключается: изъявите желание, чтобы он явился вам в моей плоти. послушайте, какую милость вы мне этим окажете: он вынет душу мою из тела и пошлет ее в рай, а сам войдет в меня, и, пока он будет с вами, душа моя будет в раю».

А дурья голова ему на это: «Я согласна. Пусть это послужит вам утешением за трепку, которую вы из-за меня получили».

Брат Альберт ей на это сказал: «В таком случае проследите за тем, чтобы дверь вашего дома на ночь осталась отворенной: раз он явится в человеческом образе, то иначе, чем через дверь, ему не проникнуть».

Лизетта ответила согласием. Брат Альберт удалился, а она света невзвидела от радости и не чаяла, как дождаться той минуты, когда появится ангел. Брат Альберт, рассудив, что ночью ему придется быть не ангелом, но всадником, стал подкрепляться сладостями и прочими вкусными вещами, дабы не слететь с коня. Получив дозволение выйти из монастыря, он, едва стемнело, пошел со своим другом к одной приятельнице, откуда он уже не раз отправлялся объезжать кобыл, а когда пришло время, переоделся — и скорей к Лизетте; войдя к ней, он при помощи разных финтифлюшек придал себе обличье ангела и, поднявшись наверх, вошел к Лизетте в комнату.

Лизетта, увидев перед собой нечто белоснежное, опустилась на колени, ангел же благословил ее, помог встать с колен и подал знак лечь в постель, каковое повеление она с великой охотой в ту же минуту исполнила, после чего ангел не замедлил присоседиться к той, которая так его всегда чтит. Брат Альберт был мужчина из себя видный, дюжий, крепыш и здоровяк, а потому, очутившись на одной постели с донной Лизеттой, свежей и сдобной, он принялся откалывать такие штуки — куда там

ее муж! — и в течение ночи много раз летал без помощи крыльев, от чего она пришла в совершенный восторг, а в промежутках многое успел рассказать ей о славе небесной. Когда же стало светать, он условился с ней касательно следующего раза, взял свои доспехи и зашел за товарищем, которому, чтоб ему не страшно было спать одному, любезно согласилась составить компанию радушная служанка.

После обеда Лизетта со своими подружками пошла к брату Альберту, рассказала об ангеле, а равно и о том, что слышала от него о славе жизни вечной, о том, каков он на вид, и невесть сколько еще при-врала.

Брат Альберт ей на это сказал: «Не знаю, дочь моя, хорошо ли вам было с ним, — я знаю одно: нынче ночью он меня посетил, и стоило мне исполнить ваше поручение, как в тот же миг он поместил мою душу среди такого количества цветов и роз, какого здесь, на земле, никто и не видывал, и пробыл я в упоительных этих местах до самой утрени, а что происходило в это время с моим телом, про то я не ведаю».

«А разве я вам не сказала? — молвила Лизетта. — Ваше тело всю ночь пребывало в моих объятиях вместе с архангелом Гавриилом. Коли не верите, поглядите у себя под левым соском — я так его туда поцеловала, что след будет виден несколько дней».

На это ей брат Альберт сказал: «Сделаю-ка я нынче то, чего давно-давно не делал: разденусь и проверю».

Долго еще болтала Лизетта с братом Альбертом, а брат Альберт после этого еще много раз в ангельском виде беспрепятственно ее навещал.

Случилось, однако ж, Лизетте как-то раз заспорить со своей соседкой о красоте, и, чтобы доказать, что краше ее на всем свете нет, она сдуру сболтнула: «Если б вы знали, кому я нравлюсь, вы бы меня с другими не сравнивали».

Соседка отлично знала, с кем имеет дело, а потому, снедаемая любопытством, сказала ей так: «Может статься, вы и правду говорите, но если не знать, кто же он таков, трудно переменить мнение».

Лизетту ничего не стоило поддеть на удочку, а потому она тут же все ей и выболтала: «Об этом неудобно говорить, соседка, но мой поклонник — архангел Гавриил, и любит он меня больше, чем самого себя, как самую красивую, по его словам, женщину во всем мире и даже во всем нашем околотке».

Соседка чуть-чуть не прыснула, но, чтобы не прервать разговор, сдержалась. «Если сам архангел Гавриил признался вам в любви, сударыня, значит, так оно, наверно, и есть, — сказала она, — но, клянусь богом, я и в мыслях-то никогда не держала, чтобы ангелы занимались такими делами».

«Вы ошибаетесь, соседка, — возразила Лизетта. — Вот как бог свят, он действует лучше моего мужа. Он мне сказал, что и на небе этим занимается, а в меня влюбился потому, что я для него милее всех, и он часто ко мне приходит. Ну? Что вы на это скажете?»



Соседка не чаяла, как дожждаться той минуты, когда все это можно будет раззвонить. Попав на праздник в большое женское общество, она пересказала эту историю во всех подробностях. Женщины рассказали ее своим мужьям и другим женщинам, а те — своим приятельницам; словом, через два дня об этом уже говорила вся Венеция. В числе тех, до кого это дошло, были Лизеттины деверья, и они, ни слова ей не сказав, порешили подстеречь этого самого ангела и посмотреть, умеет ли он летать. Несколько ночей кряду они его караулили.

Слух о том достигнул ушей брата Альберта, и как-то раз ночью он отправился к своей даме пожурить ее за болтливость, но стоило ему раздеться, и деверья, видевшие, как он к ней входил, в ту же минуту оказались у дверей в ее комнату. Услыхав шорох и догадавшись, что это означает, брат Альберт вскочил, заметался в поисках выхода, растворил окно, выходявшее на Большой канал, и прыгнул прямо в воду. Здесь было глубоко, но плавать он умел, так что все обошлось для него благополучно. Переплыв на тот берег, он вбежал в незапертый дом и взмолился к одному доброму человеку, которого он там увидел, чтобы тот спас его ради Христа, причем наврал ему с три короба касательно того, как он в столь поздний час, к тому же совершенно голый, здесь очутился. Добрый человек пожалел его, уложил в свою постель, — сам он должен был отлучиться по своим надобностям, — сказал, чтобы тот подождал его, запер пришельца и пошел по своим делам.

А деверья, войдя к Лизетте в комнату, обнаружили, что архангел Гавриил крылья оставил, а сам улетел. Обозлившись на то, что их одурачили, они на чем свет стоит обрутали Лизетту, довели ее до слез и, захватив с собой все ангельские доспехи, пошли домой. Между тем уже ободняло, и добрый хозяин услышал на Рьяльто толки о том, что к Лизетте приходил ночевать архангел Гавриил, но деверья его подкараулили, и он со страху бросился в канал, а что с ним случилось потом — никто, дескать, не знает, и толки эти навели доброго хозяина на мысль, что это и есть его постоялец. Воротившись домой, он окончательно в том уверился и после долгих пререканий потребовал, чтобы тот дал ему полсотни дукатов, а иначе, мол, он выдаст его Лизеттиным деверьям, брату же Альберту ничего иного не оставалось, как согласиться.

Когда же брат Альберт изъявил желание удалиться, добрый человек ему сказал: «Вы можете отсюда выйти только вот каким образом: нынче у нас праздник, и ради праздника кто водит человека, наряженного медведем, кто — наряженного дикарем, кто — наряженного эдак, кто — наряженного разэдак, затем на площади Святого Марка устраивается охота, а как скоро охота кончится, тут и празднику конец, и тогда все, вместе с теми, кого они привели, могут идти куда угодно. Так вот, если вы ничего не имеете против, чтобы, пока еще никто не пронюхал, что вы здесь, я повел вас в какой-нибудь личине, то потом я смогу вас доставить в любое место, а иначе вам отсюда не ускользнуть — деверья прознали, что вы где-то здесь скрываетесь, и всюду расставили караулы».

Брату Альберту отнюдь не улыбалось ходить по городу ряженым, однако ж из страха перед Лизеттиными родственниками он себя переломил и сказал: ведите, дескать, меня куда угодно и как угодно — он, мол, на все согласен. Тогда добрый человек вымазал его медом, обсыпал пухом, надел на него цепь, напялил маску, в одну руку сунул здоровенную палку, в другую — свору, на которую были привязаны два большущих пса, которых он привел с бойни, а сам послал на Риальто человека оповестить народ: кто, мол, хочет посмотреть на архангела Гавриила, пусть идет на площадь Святого Марка, — вот она, «верность» венецианца! Немного погодя он вывел брата Альберта, велел идти вперед, на площадь, а сам, держа его за цепь, пошел сзади, и дорогой многие с криком: «Это еще что такое? Это еще что такое?» — увязались за ними, многие же из тех, что были на Риальто, как услышали приглашение, тоже кинулись на площадь, так что народу там собралось видимо-невидимо. Придя на площадь, добрый человек, будто бы в ожидании охоты, привязал своего дикаря к столбу на видном и высококом месте, а так как дикарь был вымазан медом, то мухи и слепни немилосердно его кусали.

Удостоверившись, что на площади народу тьма, добрый человек сделал вид, будто хочет спустить дикаря с цепи, но вместо этого сорвал с него маску и сказал: «Господа! Так как кабан не пришел, а без кабана и охоты нет, то, чтобы вы не даром потратили время, я хочу показать вам архангела Гавриила, который по ночам сходит с небес утешать венецианок». Как скоро маска спала, все, тот же час узнав брата Альберта, загалдели и ну осыпать его самыми что ни на есть оскорбительными словами и такою отборной бранью, какую когда-либо осыпали негодяя, и давай швырять в него всякой дрянью! И так продолжалось очень долго, пока, наконец, к счастью, слух о том не долетел до монастыря, — тогда человек шесть монахов пришли на площадь, набросили на брата Альберта сутану, отвязали его и, провожаемые улюлюканьем толпы, отвели в монастырь, где, как слышно, протомившись в заключении, он и скончался.

Так этот человек, которого все почитали за праведника, ни на что дурное не способного, осмелился выдать себя за архангела Гавриила, но в конце концов, из ангела став дикарем, был по заслугам выставлен на позор, а затем вотще оплакивал свои прегрешения. Дай бог, чтобы такой же точно конец ожидал и всех ему подобных.





*Трое молодых людей любят трех сестер и бегут с ними на остров Крит;  
старшая из ревности умерщвляет своего любовника;  
средняя отдается герцогу Критскому  
и благодаря этому избавляет старшую от смертной казни,  
но ее убивает любовник и бежит со старшей сестрой;  
в ее убийстве обвиняют младшую сестру и ее любовника;  
будучи схвачены, они принимают на себя вину,  
но потом, убоявшись казни, подкупают стражу и,  
обедневшие, бегут в Родос, где и умирают в нищете*



ыслушав повесть Пампинеи, Филострато призадумался, а затем обратился к ней:

— Конец вашей повести мне скорее понравился, но в самой повести слишком много смешного, а я как раз этого-то и не хотел. — Тут он обратился к Лауретте: — Пожалуйста, сударыня, расскажите что-нибудь получше.

Лауретта же ему со смехом сказала:

— Уж очень вы жестоки к любящим, коль скоро всем им желаете печальной развязки. Все же я вас послушаюсь и расскажу о троих, не успевших насладиться своею любовью и одинаково дурно кончивших.

И начала она так:

— Юные дамы! Вам хорошо известно, что всякий порок может причинить величайший вред не только тем, кто ему предается, но весьма часто и тем, кто их окружает. К числу наиболее пагубных пороков я отношу гнев, гнев же есть не что иное, как внезапное и безрассудное движение чувства, вызываемое скорбью, заглушающее голос разума, помрачающее мысленный взор наш и раздувающее в нашей душе неугасимое пламя ярости. Чаще это проявляется у мужчин, у кого — сильнее, у кого — слабее, однако ж наблюдается и у женщин, и притом с еще более тяжелыми последствиями, оттого что у женщин пламень сей быстрее вспыхивает, ярче горит, и затушить его во много раз труднее. И это не должно нас удивлять, — вспомним, что огонь по самой своей природе быстрее охватывает вещества легкие и мягкие, нежели твердые и плот-

ные, а ведь мы и в самом деле — пусть только мужчины не ставят нам это в упрек — и более хрупки, и гораздо более впечатлительны. И вот, зная это наше предрасположение, памятуя о том, что уступчивость наша и добродушие служат источником отдохновения и наслаждения для близких нам мужчин, меж тем как наши гнев и ярость представляют собой для них великое бедствие и грозную опасность, я хочу, дабы в будущем мы сильнее с собой боролись, рассказать о том, как любовь трех юношей и трех девушек только оттого, что одна из них разгневалась, из счастливой превратилась в несчастнейшую.

Сколько вам известно, Марсель находится в Провансе, у самого моря, но только в этом древнем и славном городе прежде было больше богатых людей и именитых купцов, нежели нынче. К таковым принадлежал мессер Арнальд Чивада, человек низкого звания, однако ж добросовестный и честный торговец, у которого и поместий и казны было не счесть, и были у него и дочери и сыновья, причем все три дочери старше сыновей. Двум старшим дочкам-близнецам исполнилось пятнадцать лет, а младшей — четырнадцать, и родственники ждали только, когда вернется мессер Арнальд, который повез товар в Испанию, с тем чтобы по его возвращении выдать их замуж. Двояшек звали Нинеттой и Мадаленой, младшую — Бертеллой. В Нинетту был безумно влюблен благородный, но бедный юноша по имени Рестаньоне, а она — в него. И они довольно долго ухитрялись любиться тайком, но тут случилось так, что два юных друга, Фолько и Угетто, получив по смерти родителей своих богатое наследство, влюбились в сестер Нинетты: Фолько — в Мадаллену, Угетто — в Бертеллу.

Нинетта довела об этом до сведения Рестаньоне; положив воспользоваться их сердечною склонностью, чтобы поправить свои дела, Рестаньоне с ними подружился, и теперь они уже все трое ходили на свидание к трем сестрам. Как же скоро он удостоверялся, что находится с Фолько и Угетто на самой дружеской и короткой ноге, то повел с ними такую речь: «Юные мои друзья! Общаясь со мной, вы, должно думать, убедились, сколь вы мне дороги и что для вас я готов на все — так же точно, как для самого себя. Именно потому, что я душевно люблю вас, я и намерен поделиться с вами тем, что мне вспало на ум, а после мы с вами вместе рассудим, как нам лучше всего поступить. Если верить вашим словам и если судить по вашим поступкам, вы день и ночь пылаете бурною страстью к двум любимым девушкам, я же — к третьей их сестре. И вот я, если только вы ничего не будете иметь против, сыскал для утоления нашего пыла средство отрадное и усладительное; сейчас я вам скажу — какое именно. Вы богачи, а я бедняк. Если б вы согласились объединить ваши состояния, а меня сделали совладельцем и решили, в какую часть света нам переехать, чтобы там вместе с нашими возлюбленными вести привольную жизнь, то я ручаюсь уговорить всех трех сестер захватить львиную долю отцовского достояния и бежать с нами, куда мы заблагорассудим, и там мы, как три родных брата, каждый со своею возлюбленною, будем утопать в блаженстве. А теперь решайте:

хотите вы наслаждаться жизнью или предпочтете отвергнуть мое предложение».

Оба молодых человека, ослепленные страстью, представили себе, что девушки будут принадлежать им, и, не долго думая, объявили, что коли так, то они согласны. Заручившись их согласием, Рестаньоне несколько дней спустя пошел к Нинетте, к которой он всякий раз пробирался с опаской. Некоторое время с нею побыв, он передал ей свой разговор с молодыми людьми и привел много доводов в пользу задуманного предприятия. Склонить ее на побег для него не составляло труда — ей еще больше, чем ему, хотелось пожить с ним на свободе, вот почему она не колеблясь объявила, что это ей по душе, что сестры во всем ее послушаются, а уж в сем случае и подавно, и велела Рестаньоне как можно скорее устроить побег. Придя к двум молодым людям, которые тоже его торопили, он сказал, что с их возлюбленными все улажено. Порешив бежать на остров Крит, молодые люди продали свои именья под тем предлогом, что намерены пустить деньги в оборот, распродали все свои вещи, приобрели быстроходное судно, постарались тайком от всего города как можно лучше оснастить его и стали ждать установленного срока. Между тем Нинетта, от которой сестры не скрывали сердечного своего волнения, сладкими речами так их подогрела, что они не чаяли, как дождаться отплытия.

И вот, когда настала долгожданная ночь, три сестры открыли большой отцовский сундук, достали уйму денег и дорогих вещей, крадучись вышли из дому, встретились в условленном месте со своими поклонниками, не теряя драгоценного времени сели на корабль, гребцы взялись за весла, корабль отошел и, нигде по дороге не останавливаясь, на другой же вечер доставил их в Геную, — здесь новоявленные любовники и вкусили впервые радость и блаженство любви. Пополнив в Генуе запасы, они двинулись дальше, от гавани к гавани, через недельку благополучно прибыли на остров Крит, приобрели здесь обширные и живописные поместья, а неподалеку от Кандии построили себе чудные, роскошные замки. Постепенно завели они многочисленную прислугу, собак, птиц, коней, стали проводить время в пирах, забавах и увеселениях, зажили со своими возлюбленными, как бароны, и не было на всем свете людей счастливее их.

Случилось, однако ж, именно так, как на наших глазах случается ежедневно: человек тешится чем-либо, пока не пресытится, а потом это ему приедается; так же точно и Рестаньоне страстно любил Нинетту, но с тех пор как он мог беспрепятственно ею наслаждаться, она ему наскучила, и он разлюбил ее. Во время какого-то увеселения ему сильно приглянулась одна девушка, местная уроженка, красивая, из хорошей семьи, и он начал за нею ухаживать, оказывать ей всевозможные знаки внимания и предпочтения. Заметив это, Нинетта приревновала его, установила за ним слежку, осыпала его упреками, выходила из себя и этим только его донимала и себе растравляла душу. Если избыток чего-либо вызывает отвращение, то запрет, на что-либо налагаемый, как раз наоборот — усиливает влечение к нему, — вот отчего вспышки Нинет-

ты усиливали в душе Рестаньоне восторг его новой страсти. Какой бы оборот впоследствии дело ни приняло, добился бы Рестаньоне взаимности от любимой девушки, а быть может, и не добился бы, Нинетта, кто бы и что бы ей ни говорил, заранее уверила себя в том, что Рестаньоне пользуется взаимностью. Это повергло ее в отчаяние, из отчаяния вырос гнев, гнев неизбежно перешел в ярость, а ярость превратила ее любовь к Рестаньоне в жгучую ненависть, и она, ослепленная злобой, решила умертвить его и тем отомстить за то, что он, как ей казалось, ее опозорил. Послав за старухой гречанкой, изрядной искусницей по части изготовления ядов, она с помощью посулов и подарков уговорила ее изготовить смертельный яд, а затем однажды вечером, никого не посвятив в свою тайну, дала его выпить Рестаньоне, который совсем потерял голову и никаких предосторожностей не принимал. Яд был столь сильнодействующий, что Рестаньоне ночью скончался. Фолько, Угетто, Магдалене и Бертелле в голову не могло прийти, что Рестаньоне умер от яда; вместе с Нинеттой они горько оплакали его и с почестями похоронили. Однако ж несколько дней спустя за какое-то новое злодеяние была схвачена та самая старуха, что по просьбе Нинетты изготовила яд, и под пыткой в числе прочих своих преступлений созналась и в этом, не утаив и его последствий. Тогда герцог Критский, нарочно не предав этого дела огласке, однажды ночью бесшумно окружил замок Фолько и, не вызвав в замке переполоха и не встретив сопротивления, схватил и увел Нинетту, от которой тот же час, не применяя пытки, все узнал об обстоятельствах кончины Рестаньоне.

Герцог по секрету сообщил Фолько и Угетто, за что была схвачена Нинетта, а Фолько и Угетто рассказали об этом Магдалене и Бертелле, и все четверо закручинились. Они употребили все усилия, чтобы спасти Нинетту от костра, который, по крайнему их разумению, ее ожидал, как вполне заслуженная ею кара, однако ж в благоприятный исход не верили, оттого что герцог был непреклонен. В конце концов юная красавица Магдалена, за которой долго и безуспешно ухаживал герцог, решила, что, угодив ему, она избавит сестру от костра, и через тайную посланницу дала ему знать, что согласна разделить с ним ложе, но ставит ему два условия: во-первых, сестра должна быть ей возвращена живой и здоровой, а во-вторых, чтобы все это осталось в тайне. Герцог, с удовлетворением выслушав посланницу, долго раздумывал, как ему быть, однако ж в конце концов решился и дал согласие. Однажды ночью он с вedomо Магдалены распорядился отвести Фолько и Угетто на допрос по делу Нинетты, а сам в это время пробрался к Магдалене. Перед этим он распустил слух, будто велел посадить Нинетту в мешок и ночью утопить в море, на самом же деле привел к сестре в награду за ее благосклонность, а утром, перед уходом, сказал Магдалене, что он хочет, чтобы эта первая ночь их любви была не последней. К этому он прибавил, чтобы она куда-нибудь отправила преступницу, а иначе, мол, народ возропщет и ему волей-неволей придется судить ее по всей строгости закона.

Наутро Фолько и Угетто, до которых дошел слух, будто ночью Нинетту утопили в море, и которые этому слуху поверили, были освобождены

дены. Когда же они возвратились домой и стали утешать сестер, Фолько скоро догадался, что Нинетта здесь, в замке, хотя Магдалена всячески старалась это скрыть, каковое обстоятельство крайне удивило Фолько, и он сей же час заподозрил Мадаллену, ибо ему было известно, что герцог ее любит, и спросил, как это Нинетта вдруг оказалась дома. Магдалена сочинила целую историю, однако ж Фолько, будучи человеком себе на уме, не очень-то ей поверил и пристал к ней с расспросами, и после долгих запирательств она вынуждена была во всем повиниться. Обезумев от горя и придя в ярость, Фолько выхватил шпагу и, сколько Магдалена ни молила его о пощаде, пронзил ее. Затем, убоявшись герцогского гнева и герцогского суда, он оставил ее тело лежать на полу, а сам пошел к Нинетте и, как ни в чем не бывало, сказал: «Едем немедленно, — твоя сестра велела мне сопровождать тебя, — а то как бы герцог опять тебя не схватил». Нинетта поверила и, даже не зайдя проститься с сестрою — так она была напугана и так не терпелось ей тронуться в путь, ночью вместе с Фолько, захватившим с собою немного денег, бежала из замка; добежав до взморья, они сели в лодку, и никто так и не узнал, где эта лодка причалила.

На другой день Магдалена была найдена убитой, и те, кто завидовал Угетто и ненавидел его, не преминули донести о том герцогу, герцог же, без памяти любивший Магдалену, бросился в ее замок, сгоряча велел схватить Угетто и Бертеллу, которые еще ничего не знали о бегстве Фолько и Нинетты, и заставил их признаться, что они вместе с Фолько убили Магдалену. Не без основания опасаясь, что это признание обрекает их на смертную казнь, Угетто и Бертелла, соблюдая величайшую осторожность, подкупили стражу, отдав им те деньги, которые были у них на всякий случай спрятаны в замке, и, не имея времени захватить что-либо из вещей, ночью вместе с тюремщиками сели в лодку и отбыли в Родос, где немного спустя в нужде и в бедности окончили дни свои. Так вот к чему безрассудная любовь Рестаньоне и гнев Нинетты привели их самих, а также их близких.





*Джербино в нарушение слова чести, которое дал его дед, король Вильгельм, нападает на корабль тунисского короля с целью похитить его дочь; моряки убивают ее, Джербино убивает их, а ему впоследствии отсекают голову*



огда, окончив свою повесть, Лауретта умолкла, иные из слушателей, заговорив друг с другом, стали выражать сочувствие злосчастным любовникам, а кто осуждал Нинетту за ее гневливость, один утверждал одно, другой — другое; наконец король, как бы выйдя из глубокой задумчивости, вскинул голову и подал знак Элиссе начинать рассказ, и Элисса со свойственной ей скромностью заговорила:

— Очаровательные дамы! Многие полагают, что Амур мечет стрелы лишь в тех, чей взор кем-либо пленится, и смеются, когда их уверяют, что в иных случаях влюбляются и понаслышке. Что они заблуждаются — это будет явствовать из повести, которую я собираюсь рассказать и из которой вам станет ясно, что молва так именно подействовала на людей, друг друга прежде никогда не видавших, и явилась причиной ужасной их смерти.

У Вильгельма Второго, короля сицилийского, было, как сказывают сицилийцы, двое детей: сын Руджери и дочь Констанца. После смерти Руджери, скончавшегося раньше своего отца, остался сын Джербино, и дед дал ему отличное воспитание; то был на редкость красивый юноша, славившийся своею храбростью, а равно и учтивостью. И слава о нем облетела не только всю Сицилию — голос ее слышался в разных частях света, особливо в Берберии, которая в те времена являлась данницею короля сицилийского. В числе тех, чей слух был поражен доброй молвой о достоинствах и обходительности Джербино, оказалась дочь короля тунисского, о которой те, кто видел ее, говорили в один голос, что это совершеннейшее творение природы, украшенное всеми добродетелями

и необыкновенным душевным благородством. Она любила, чтобы ей рассказывали о мужах доблестных; особенно было ей отрадно внимать повестям о подвигах Джербино; повести эти так ее захватывали, что она, создав его образ в своем представлении, кончила тем, что безумно в него влюбилась и охотнее всего сама говорила о нем и слушала, когда говорили другие. Между тем и в Сицилию, как и всюду, проникла громчайшая слава о красоте королевы, о душевных ее качествах, и Джербино внимал рассказам о ней с сердечным волнением и, как оказалось, не зря: он воспылал к ней не менее сильной любовью, чем она к нему. Однако ж он все никак не мог найти благовидный предлог для того, чтобы испросить у деда дозволения съездить в Тунис, повидаться же с нею ему страшно хотелось, и он наказывал всем своим друзьям, которые туда отправлялись, каким-нибудь образом уведомить ее об его тайной и великой любви и доставить ему вести о ней. Один из них все это весьма ловко обделал: принес ей показать, как это водится у купцов, женские украшения и поведал ей о любви Джербино, прибавив, что она вольна распорядиться самим Джербино и всем, что ему принадлежит, как ей заблагорассудится. Она с восторгом приняла и выслушала посланца, призналась, что питает к Джербино не менее пылкое чувство, и в знак своей любви послала ему одно из самых дорогих своих украшений. Джербино обрадовался ему как некоей святыне и потом с этим же своим другом не раз посылал ей письма и дорогие подарки и через друга вступил с нею в тайные переговоры касательно того, как бы это им, если будет на то милость судьбы, свидеться и сблизиться.

Дело, таким образом, затянулось, а между тем и девушка и Джербино пылали страстью, и вдруг король тунисский помолвил свою дочь за короля гранадского и тем повергнул ее в отчаяние; ей несносна была одна мысль, что она так далеко будет от своего возлюбленного и, может статься, никогда не увидит его. Если б только ей к тому представился случай, она, лишь бы не выходить замуж, с радостью убежала бы от отца к Джербино. А Джербино, сведав об этой помолвке, также совершенно пал духом и все старался измыслить способ отбить ее, если ее повезут к жениху морем. Король тунисский кое-что слышал о взаимной нежности его дочери и Джербино, о том, что Джербино затевает, и, зная, что Джербино — человек отчаянный и силач необыкновенный, прежде чем отправить ее к жениху, дал знать королю Вильгельму о том, что он задумал и что непременно приведет в исполнение, если только король Вильгельм поручится, что ни Джербино, ни кто-либо еще ему в том не воспрепятствуют. Король Вильгельм был тогда уже очень стар; он ничего не слышал о любви Джербино и был весьма далек от мысли, что из-за нее-то и потребовалось от него таковое ручательство, а потому охотно на это пошел и в знак того, что он ручается, послал королю тунисскому свою перчатку. Получив перчатку, король тунисский повелел снарядить к отплытию в гавани Карфагена прекрасный большой корабль, снабдить его всем, что может пригодиться путешественнице, оснастить и украсить его, и теперь он дождался лишь благоприятной погоды, чтобы отправить свою дочь в Гранаду. Девушка, за всеми этими



приготовлениями следившая и наблюдавшая, тайно послала слугу своего в Палермо, велела кланяться удальцу Джербино и передать ему, что спустя несколько дней ее повезут в Гранаду, и вот теперь-то, мол, будет видно, так ли он отважен, как о нем толкуют, и точно ли он ее любит, как он ей клялся. Нарочный отлично со своим поручением справился и возвратился в Тунис. Джербино, услышав такие вести и узнав, что дед его, король Вильгельм, дал ручательство королю тунисскому, совсем растерялся. Любовь, однако ж, воодушевила его, и, получив от своей возлюбленной эти сведения, он не только не сробел, но, напротив того, поехал в Мессину, велел, нимало не медля, вооружить две быстроходные галеры, набрал команду из смельчаков и отправился с ними к берегам Сардинии в расчете на то, что мимо Сардинии должен пройти корабль с его возлюбленной.

И он не ошибся: несколько дней спустя после его прибытия подгоняемый легким ветром корабль показался неподалеку от того места, где его подстерегал Джербино. Как скоро Джербино его завидел, он тотчас же обратился к своим спутникам с такими словами: «Братцы! Если вы точно люди достойные, за каковых я вас почитаю, то среди вас, чаятельно, нет никого, кто бы не любил прежде или же не любит ныне, ибо, по моему разумению, кто не любил, тому не свойственны добродетели и тот никогда не ведал счастья. Если же вы когда-нибудь любили или любите ныне, то вам легко будет меня понять. Я люблю, и моя любовь внушила мне подбить вас на такое дело, та же, которую я люблю, находится вон на том корабле, и корабль тот увозит не только владычицу моих мечтаний, но и несметные сокровища, коими мы, люди храбрые, мужественно сражаясь, без особого труда можем завладеть. Однако, если мы одолеем, я возьму в добычу только девушку, из любви к которой я и взялся за оружие, все остальное уступаю вам. Итак, вперед, час добрый, — на корабль! Сам господь нам покровительствует: ветра нет, корабль стоит на месте».

Удальцу Джербино не нужно было тратить столько слов, ибо мессинцы, жадные до поживы, мысленно уже приготовились совершить то, к чему призывал их Джербино. Последние его слова они pokrыли воинственными кликами, затрубили в трубы, взялись за оружие и, ударив в весла, пристали к кораблю. Моряки, еще издали увидев галеры и рассудив, что им от них не уйти, изготовились к обороне. Удалец Джербино выставил требование: если они не хотят сражаться, то пусть доставят своих начальников на галеры. Сарацины, узнав, что это за люди, и услышав их требование, возразили, что они на них напали в нарушение слова, которое дал их же король, в доказательство предъявили перчатку, объявили, что сдадутся не иначе как после боя, и наотрез отказались что-либо находящееся на корабле им выдать. Джербино, увидев на корме девушку, которая оказалась гораздо красивее, чем он ее себе представлял, воспыал к ней еще более сильной любовью и, когда ему показали перчатку, сказал, что соколов здесь сейчас нет и перчатка им не нужна, а вот если они не отдадут девушку, то пусть готовятся к бою. Бой немедленно завязался, с обеих сторон полетели стрелы и кам-

ни, и длилось это долго, так что и те и другие от упорного боя немалый терпели урон. Наконец Джербино, убедившись, что это ни к чему не ведет, велел поджечь брандер, который они привели с собою из Сардинии, и при помощи двух галер подтащить к кораблю. Тут сарацины, поняв, что им ничего не остается, как сдаться или погибнуть, велели вывести на палубу королевскую дочь, которая стояла внизу и плакала. Втащив ее на нос и окликнув Джербино, они на его глазах, как она ни молила о пощаде и ни призывала на помощь, убили ее и, бросив в море, сказали Джербино: «На, возьми ее! Отдать тебе ее по-другому мы не могли — ты настолько честен, что ничего иного и не заслуживаешь».

Увидев, какое злодеяние они учинили, Джербино, не обращая внимания ни на стрелы, ни на камни, словно ища смерти, велел подвезти себя к кораблю. Преодолев сопротивление сарацин, он прыгнул на корабль и, точно голодный лев, который, накинувшись на стадо бычков и одного за другим загрызая, первое время с помощью зубов и когтей утоляет не столько голод, сколько свое свирепство, многих сарацин предал лютой смерти, одному за другим отсекая мечом головы. Когда же на брандере пламя разгорелось, он, дабы вознаградить своих товарищей, велел им разграбить корабль, а затем, одержав над неприятелем безрадостную победу, спрыгнул на галеру. Он приказал выловить тело красавицы и потом долго оплакивал ее, а на возвратном пути в Сицилию велел с почестями похоронить ее на Устике — островке, расположенном почти напротив Трапани, и, убитый горем, возвратился восвояси.

Когда весть о том дошла до короля тунисского, он отправил к королю Вильгельму одетых в траур послов с жалобой на то, что король слова своего не сдержал, и послы рассказали королю Вильгельму все как было. Короля Вильгельма это привело в ярость; не считая возможным отказать послам в правосудии и предпочитая лишиться внука, нежели прослыть бесчестным государем, он велел схватить Джербино и, хотя царедворцы, все, как один, вступились за него, приговорил его к смертной казни, и Джербино в присутствии короля отрубили голову.

Вот я и рассказала вам о том, какая печальная участь постигла влюбленных: оба они один за другим умерли лютой смертью, не вкусив плода от своей любви.





*Братья Лизабетты убивают ее любовника;  
любовник является ей во сне и сообщает, где его закопали;  
Лизабетта тайком выкапывает его голову,  
кладет ее в горшок с базиликом и каждый день подолгу плачет над ним;  
братья отнимают у нее голову возлюбленного, и вскорости она умирает с горя*



огда Элисса умолкла, король, присовокупив к ее повести краткое рассуждение, велел рассказывать Филомене, и Филомена, исполненная сострадания к злосчастному Джербино и его возлюбленной, вздохнула горестно и начала так:

— Обворожительные дамы! Я поведу речь не о столь высоких особах, о которых повествовала Элисса, но, может статься, рассказ мой будет не менее трогателен. Вспомнила же я обо всех этих событиях потому, что Элисса упомянула Мессину, а в Мессине-то они и произошли.

Итак, жили-были в Мессине три брата, три молодых купца, сильно разбогатевшие после смерти отца своего, уроженца Сан Джиминьяно, и была у них сестра по имени Лизабетта, пригожая и благонравная девица, которую они почему-то еще не успели выдать замуж. При одной из их лавок находился юноша из Пизы, по имени Лоренцо, — он-то и вел и делал все их дела. Был он обходителен, очень хорош собой, Лизабетта стала на него заглядываться, и он ей смерть как полюбился. А Лоренцо за ней примечал и в конце концов, вырвав из сердца все свои былые привязанности, устремил помыслы к ней. Почувствовав взаимное влечение, они довольно скоро друг в друге уверились и достигли предела своих желаний.

Продолжая в том же духе, блаженствуя и наслаждаясь, они позабыли осторожность, и вот как-то ночью, когда Лизабетта шла к Лоренцо, старший брат выследил ее, она же его не уследила. Поступок сестры крайне его огорчил, но так как он был юноша рассудительный, то здравый смысл подсказал ему ничего пока не предпринимать, себя не обнаружи-

вать и подождать до утра, и всю ночь он только об этом и думал. Когда же настал день, он рассказал братьям, что видел ночью, как Лизабетта пробиралась к Лоренцо; братья долго держали совет и наконец порешили, дабы не срамить ни себя, ни сестру, замять это происшествие и до поры до времени притвориться, будто они ничего не видели и ничего не знают, а затем, при случае, когда можно будет это сделать без вреда и ущерба для себя, искоренить позор, пока он еще не принял размеров угрожающих.

Порешив на том, они по-прежнему болтали и шутили с Лоренцо, а как-то раз сделали вид, что идут втроем погулять за город, и взяли его с собой. Когда же они зашли в места пустынные и отдаленные, то, воспользовавшись удобным случаем, убили ничего не подозревавшего Лоренцо и тайно похоронили его. Вернувшись же в Мессину, они сказали, что послали его куда-то по делу, и все этому поверили, так как братья посылали его часто. Лоренцо меж тем все не возвращался, и Лизабетта, не на шутку встревоженная долгим его отсутствием, все чаще и все настойчивее допытывалась у братьев, где же Лоренцо; и вот однажды, когда она с особым упорством их спрашивала, один из братьев сказал ей: «Что бы это значило? Какое тебе дело до Лоренцо, почему ты все о нем спрашиваешь? Ужо еще раз спросишь — и мы тебе ответим так, как ты того заслуживаешь». После этого разговора девушка была печальна и грустна, ничто ее не веселило, она испытывала какой-то непонятный страх, о Лоренцо более не спрашивала, а только все поджидала его и лишь по ночам жалобно к нему взывала, умоляла прийти к ней и оплакивала долгую с ним разлуку.

Однажды ночью, когда она, вволю наплакавшись, наконец, вся в слезах, уснула, во сне привиделся ей Лоренцо; он был бледен, волосы у него стояли дыбом, одежда порвалась и истлела, и тут послышался девушке его голос: «О Лизабетта! Ты все зовешь меня и томишься в разлуке, плачешь не осушая глаз и горько меня упрекаешь. Так знай же, что я не властен к тебе вернуться, — в тот день, когда ты видела меня в последний раз, братья твои меня убили». Сообщив, где его зарыли, и сказав, чтобы она больше его не звала и не ждала, он исчез.

Пробудившись, девушка уверилась, что то была не сонная греза, и залилась слезами. Поутру она встала и, не отважившись рассказать братьям о посетившем ее видении, задумала пойти в указанное ей место, дабы удостовериться, правду ли слышала она во сне. Получив дозволение погулять за городом, она вместе с одной девушкой, прежде состоявшей при ней в услужении и все о ней знавшей, с великой поспешностью направилась туда, разгребла сухие листья и стала копать в том месте, где земля показалась ей наиболее рыхлой. Копать ей пришлось недолго — вскоре она увидела труп несчастного своего любовника, еще совсем не тронутый гниением и не разложившийся, и тут для нее стало очевидно, что видение ее было не обманчивое. Это ее сразило, и все же она сказала себе, что сейчас не время плакать; если б она могла, она унесла бы тело с собою, дабы как должно похоронить его, но она понимала, что это невозможно, — она лишь постаралась отделить ножом голову от тулови-

ща, тело засыпала землей, а голову завернула в полотенце, положила ее служанке в подол и, никем не замеченная, возвратилась домой.

Заперевшись у себя в комнате, она долго и горько плакала над головою возлюбленного своего, всю ее омыла слезами и покрыла поцелуями. Затем взяла один из тех больших красивых цветочных горшков, в которых обыкновенно произрастают майоран и базилик, завернула голову в красивое полотенце и положила ее в горшок, а сверху насыпала земли и посадила несколько отростков чудного салернского базилика, и поливала она потом этот базилик розовой водой, померанцевой водой или же своими слезами. Она не отходила от базилика и с любовью смотрела на него, потому что под ним лежала голова ее Лоренцо. Наглядевшись, она наклонялась над базиликом и поливала его слезами.

Базилик отчасти благодаря постоянному и заботливому уходу, отчасти благодаря тому, что голова внутри разлагалась и утучняла землю, стал красивым и душистым. Так как подобный уход за цветком вошел у девушки в обычай, соседи не могли не обратить на это внимание, и когда братья выразили удивление, отчего ее красота вянет и отчего так впали у нее глаза, соседи сказали: «Мы заметили, что она каждый день делает то-то и то-то». Услышавши это, а затем уверившись в том воочию, братья несколько раз принимались журить сестру, но так как это не помогло, то они велели унести тайком цветочный горшок. Не найдя базилик, девушка много раз с великой настойчивостью просила вернуть его — братья так и не отдали; девушка изошла слезами, слегла и, больная, просила только о том, чтобы ей отдали горшок с базиликом. Настоятельные ее просьбы удивили братьев, и им захотелось посмотреть, что там внутри. Высыпав землю, они увидели полотенце, а в нем голову, еще не совсем разложившуюся, так что по цвету волос они определили, что то голова Лоренцо. Братья пришли в крайнее изумление; боясь огласки, они украдкой закопали голову, а затем, устроив свои дела, тайно перебрались из Мессины в Неаполь.

А девушка все плакала и молила отдать ей базилик и в слезах умерла — таков был конец ее несчастной любви. Когда же некоторое время спустя слух о том распространился, кто-то сложил песню, которую поют еще и сейчас:

Отнял нехристь у меня  
Мой цветок любимый,  
и так далее.





*Андреола любит Габриотто; она рассказывает ему свой сон,  
он рассказывает ей свой и скоропостижно умирает в ее объятиях;  
когда же она и ее служанка несут мертвого Габриотто к нему домой,  
стража задерживает их обеих, и Андреола дает показания;*

*градоправитель хочет учинить над ней насилие,*

*она же оказывает ему сопротивление;*

*так как невиновность ее выяснена,*

*то узнавший обо всем отец*

*Андреолы добивается ее освобождения;*

*Андреола, однако, не желает более жить в миру и уходит в монастырь*



овесть Филомены произвела на дам глубокое впечатление; они много раз слышали эту песню, но не знали, по какому поводу она сложена. Выслушав рассказ Филомены, король, следуя заведенному порядку, велел рассказывать Панфило. Панфило начал следующим образом:

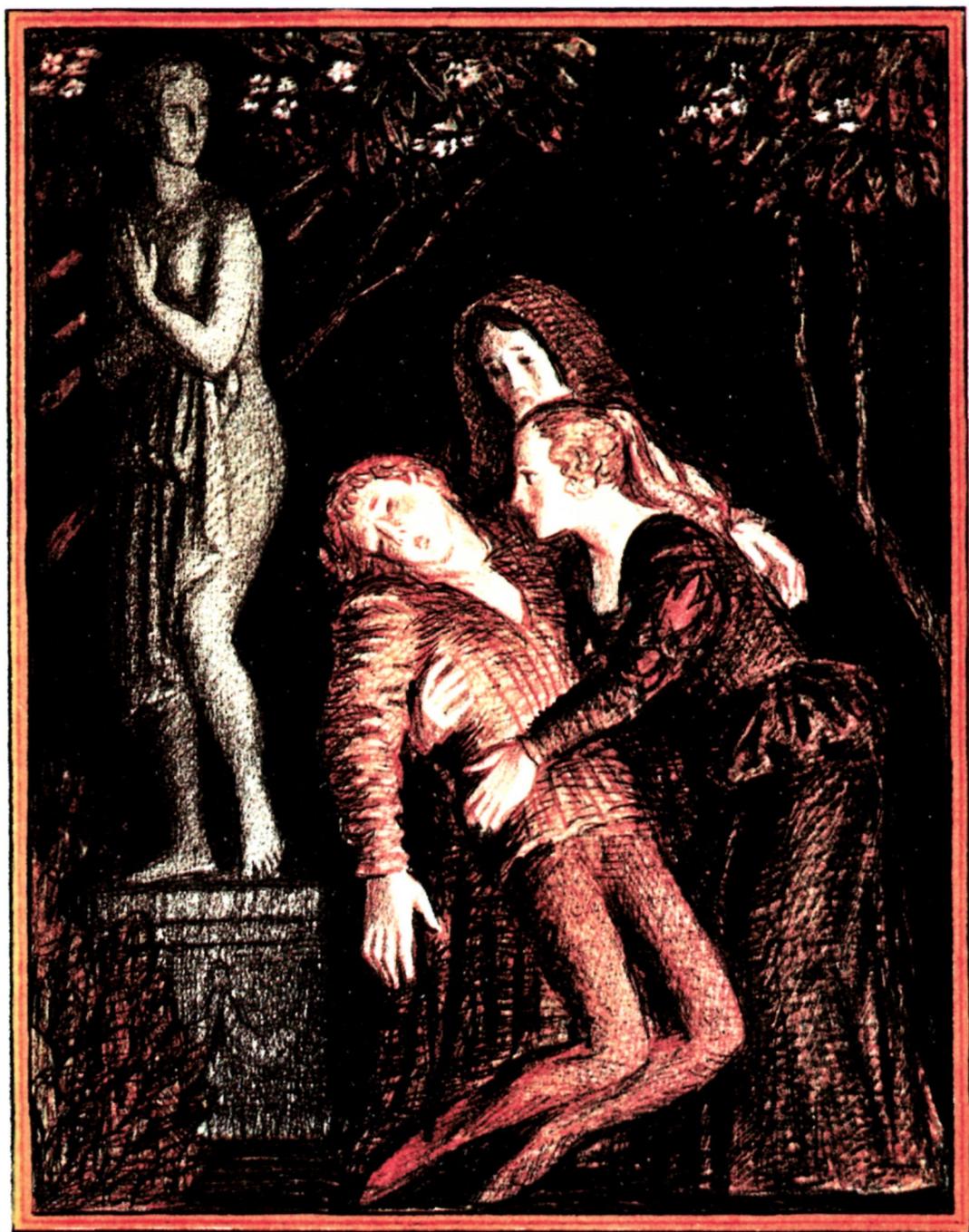
— Сон, о котором идет речь в повести Филомены, привел мне на память другую повесть, но уже не с одним, а с двумя снами, в которых все происходило так, как оно потом и случилось, и стоило тем, кто эти сны видел, поведать их друг другу, как тут же оба сна и сбылись. Вы, конечно, знаете, пригожие дамы, что всем нам свойственно видеть сны, причем некоторые сны спящий, покуда он спит, целиком принимает за истину; когда же он просыпается, то иные сны представляются ему вещими, иные — правдоподобными, иные — совершенно невероятными, со всем тем многие сны потом сбываются. Вот почему многие так же верят в сон, как в явь; сны то огорчают их, то радуют — смотря по тому, что они в них всееляют: страх или же надежду. Есть, однако, и такие, которые не верят в сны до тех пор, пока с ними не стрясется беда, которая им была предсказана во сне. А я — ни на чьей стороне, потому что не все сны вещие и не все обманчивые. Что не все сны вещие — это каждый, по всей вероятности, не раз испытал на себе, а что не все сны обманчивы — это доказала в своей повести Филомена, я же предуведомил, что докажу это в моей. По моему разумению, человек, который живет и поступает по совести, не должен бояться како-

го-либо смутного сна или же отступить из-за него от своих добрых намерений. Что касается козней и злодеяний, то если бы даже сны и толкали на них, если бы даже они снились неоднократно и этой своей неотвязностью подбивали человека на нехороший поступок, то таким снам верить не следует, как не следует вполне полагаться и на сны добрые. Но обратимся к нашему рассказу.

В Брешии жил когда-то дворянин, мессер Negro да Понте Карраро, у которого было несколько человек детей, дочь же его Андреола, красавица девушка, невзначай влюбилась в своего соседа по имени Габриотто, человека низкого звания, но добродетельного, из себя видного и привлекательного. Через посредство служанки девушка уведомила Габриотто о своей любви к нему, затем та же самая служанка не раз и не два, к великой радости обоих, приводила его в чудный сад отца Андреолы. А дабы одна лишь смерть вольна была разрушить их счастье, они тайно стали мужем и женой.

Так, украдкой, продолжали они встречаться, и вот однажды ночью девушка увидела во сне, будто она в саду, к величайшему обоюдному удовольствию, держит Габриотто в своих объятиях. А потом ей приснилось, будто из тела Габриотто вышло нечто темное и страшное, что именно — это она не могла разглядеть, схватило Габриотто и, употребив сверхъестественную силу, вырвало его из ее объятий и вместе с ним провалилось сквозь землю, и больше она их уже не видела. Ей стало так невыразимо тяжело, что она проснулась, и хотя, проснувшись, она обрадовалась, что все это ей только снилось, со всем тем в сердце к ней закрался страх. Вот почему она попыталась отменить ночное свидание с Габриотто, однако, видя, что он упорствует, и не желая возбуждать в нем подозрения, она все же встретилась с ним ночью в саду. То была пора, когда цвели розы, и Андреола, нарвав целую охапку белых и алых роз, пошла с Габриотто посидеть у дивного фонтана, струившего прозрачную воду. Долго они тут сидели и не могли друг дружкой нарадоваться, как вдруг Габриотто спросил, почему она сегодня не хотела с ним встретиться. Девушка рассказала ему свой сон и поделилась с ним своими опасениями, — словом, ничего от него не утаила.

Габриотто над ней посмеялся и заметил, что глупее глупого верить снам: сны, дескать, снятся или когда человек объелся, или же когда он голоден; сны — вздор, и в этом, мол, легко можно убедиться чуть ли не каждый день. И вот что еще он сказал: «Если б я придавал значение снам, я бы к тебе не пришел не столько из-за твоего сна, сколько из-за того, который я сам видел нынче ночью: снилось мне, будто я охочусь в чудном, приятном лесу и будто я поймал прелестную, премилую лань — другой такой не сыскать. Лань эта будто белее снега и будто мне удалось так скоро ее приручить, что она не отходит от меня ни на шаг, и все же она до того будто бы мне дорога, что, боясь, как бы она не ушла, я надел на нее золотой ошейник и вожу ее на золотой цепочке. Потом, гляжу, лань положила голову мне на колени; откуда ни возьмись, охотничья собака, с виду — сущее страшилище, черная, как



все равно уголь, голодная, и прямо на меня, а я не в силах сдвинуться с места. Собака впилась зубами мне в грудь, там, где сердце, и так долго ее грызла, что в конце концов добралась до сердца, вырвала его и убежала. От дикой боли я проснулся и схватился рукой за грудь. Никакой раны я там не обнаружил и сам над собой поспеялся. Что же из этого следует? Такие и даже еще более страшные сны снились мне часто, однако ж со мной решительно ничего не случалось. Давай выкинем все это из головы и постараемся как можно приятнее провести время».

Девушка, и без того напуганная своим сном, выслушав рассказ Габриотто, перепугалась до смерти, однако, не желая его огорчать, взяла себя в руки. Но хотя она с ним и обнималась и целовалась, делая вид, что ей хорошо, все же безотчетный страх не оставлял ее, и она чаще, чем всегда, всматривалась в его лицо и время от времени окидывала взглядом сад, не подкрадывается ли к ним нечто темное.

И вдруг Габриотто, испустив глубокий вздох, обнял ее, промолвил: «Ох! Помогите мне, моя ненаглядная, я умираю!» — и упал на траву.

Девушка прижала его голову к своей груди и, еле сдерживая рыдания, спросила: «Усилия жизни моей! Что с тобою?»

Габриотто ничего ей не ответил; он тяжело дышал, обливался потом и вскоре отошел.

Каждая из вас легко может вообразить, какая скорбь и какое отчаяние охватили тут девушку, которая любила его больше, чем самое себя. Она исходила слезами, тщетно к нему взывала, а когда она, ощупав его уже холодное тело, совершенно уверилась, что он мертв, то в крайнем расстройстве чувств, с заплаканным лицом, отягченная печалью, пошла к своей наперснице и рассказала о своем злополучии и о своем горе.

После того как обе они слезами скорби омочили лицо мертвого Габриотто, девушка сказала служанке: «Раз господь взял его у меня, я не хочу больше жить. Однако, прежде чем покончить с собой, я хочу с твоей помощью сделать все от меня зависящее, чтобы честь моя осталась незапятнанной, хочу похоронить тело, которое покинула родная мне душа, а вместе с телом похоронить и тайну нашей любви».

А служанка ей на это сказала: «Ты о самоубийстве и не помышляй, доченька, — пока ты Габриотто потеряла только здесь, а вот если ты руки на себя наложишь, то потеряешь и на том свете: ведь ты попадешь в ад, а его душа, — поверь мне, — в ад не попадет, потому как он был юноша славный. Утешься и подумай лучше, как молитвами и добрыми делами помочь его душе на тот случай, ежели он совершил какой-либо грех и душа его нуждается в помощи. А похоронить Габриотто спокойней всего в саду, — тогда тайна будет сохранена: ведь никто же не видел, как он сюда вошел. А не то вынесем его за ограду и там положим, — завтра его найдут и отнесут домой, а родные похоронят».

Девушка хоть и тужила и плакала не осушая глаз, однако ж к словам служанки прислушивалась и, отвергнув и тот и другой совет, промолвила: «Избави бог! Да разве я решусь моего милого, которого я так любила и который был моим мужем, закопать, как собаку, или же бросить его

тело на улице? Я его оплакала, и я устрою так, что оплачут его и родные, я уже все обдумала».

Она послала служанку за шелковой тканью, которая лежала у нее в сундуке, и как скоро служанка принесла ткань, они расстелили ее на земле, положили на нее тело Габриотто, а под голову ему подложили подушку, проливая обильные слезы, закрыли ему глаза и рот, на голову положили венок из роз и все тело его засыпали розами, которых предварительно нарвали в саду. «Его дом отсюда близко, — сказала девушка, — мы его убрали цветами, а теперь давай отнесем и положим около дверей. До рассвета недолго, и его скоро обнаружат. Скончался он у меня на руках, и хотя для родных его смерть — страшное горе, мне будет легче от сознания, что я отнесла его к ним».

И тут она, снова давши волю слезам, склонилась над ним и долго плакала. Служанка торопила ее, так как уже брезжил свет; наконец она выпрямилась и, сняв с пальца обручальное кольцо, которое ей подарил Габриотто, надела на палец ему. «Драгоценный мой повелитель! — сказала она, рыдая. — Если душа твоя видит сейчас мои слезы и если после того, как она покинула тело, в нем еще остается некое подобие чувства и разумения, то прими благосклонно последний дар от той, которую ты так любил при жизни». И тут она без чувств упала на него.

Когда же Андреола очнулась и встала, то она и служанка взялись за ткань, на которой лежало тело, и, выйдя из сада, направились к дому Габриотто. В это самое время по улице случилось проходить городской страже; наткнувшись на Андреолу и служанку, стража остановила их и забрала вместе с мертвым телом. Андреола смерти не боялась, а потому, увидев стражников, так прямо им и сказала: «Я знаю, кто вы; знаю, что если бы я и бросилась бежать, то это было бы бесполезно. Я не убегу, я пойду с вами к градоправителю и расскажу все, но только не смейте ко мне прикасаться и ничего не трогайте из того, что на мертвом, иначе я буду жаловаться». Никто ее не тронул, и она внесла тело Габриотто во двор градоправителя. Когда о случившемся доложили градоправителю, он поднялся со своего места и, оставшись с Андреолой наедине, начал ее допрашивать. Врачам он велел определить, не от яда ли умер этот добрый человек и не был ли он еще как-либо умерщвлен, но врачи признали, что смерть его была не насильственная, а что около сердца у него лопнул нарыв, и он задохся. Выслушав врачей и уверившись, что вина девушки не велика, он намекнул, что намерен подарить ей то, чего не имеет права продать, и сказал, что отпустит ее, если только она согласится исполнить его желание. Уговоры, однако ж, на нее не подействовали, — тогда он, забывши приличия, попытался применить силу, но Андреоле придало отваги негодование: она храбро защищалась, и в конце концов градоправитель, осыпав ее бранью и насмешками, отступил.

Когда настал ясный день, мессер Negro узнал о случившемся и, убитый горем, в сопровождении многих друзей своих отправился во дворец, расспросил градоправителя и, удрученный, потребовал, чтобы ему отдали дочь. Градоправитель, решив, что будет лучше, если он сам о себе все скажет, начал с того, что принялся восхищаться девушкой и ее стой-

костью и в подтверждение рассказал о своей попытке прибегнуть к силе. Видя, мол, таковую ее непреклонность, он полюбил ее всей душой, и если, мол, и отец, и она сама ничего не имеют против, он с удовольствием возьмет ее за себя, даром что муж ее был незнатного происхождения.

Они все еще вели этот разговор, как вдруг вбежала Андреола и, рыдая, бросилась отцу в ноги. «Отец! — воскликнула она. — Вряд ли стоит рассказывать вам повесть о том, какое несчастье меня постигло и какую выказала я решимость, — уж верно, вы обо всем наслышаны и все уже знаете. Я лишь смиренно, всем сердцем молю вас простить мою вину, то есть что я без вашего ведома вышла замуж по страстной любви. Я молю вас о прощении не ради того, чтобы, испросив его, спокойно жить на свете, а чтобы умереть вашей любимой, а не проклинаемой дочерью».

Выслушав дочь, мессер Негро, дряхлый старик, к тому же от природы незлобивый и мягкий, расплакался и, бережно подняв Андреолу, заговорил: «Дочь моя! Мне было бы гораздо приятнее, если бы твоим супругом был человек, которого я почитал бы достойным тебя, но раз ты вышла замуж по любви, то и я бы его полюбил. Вот что ты скрыла от меня свое замужество — это меня огорчает: значит, ты не хотела быть со мной откровенной, а еще больше меня огорчает то, что ты потеряла супруга, когда я еще ничего не знал о твоём замужестве. Но раз уж так вышло, то все, что ради тебя я сделал бы для него, если б он был жив, я сделаю после его смерти, то есть воздам почести, подобающие этому человеку как моему зятю». Тут он обратился к своим сыновьям и родственникам и распорядился устроить Габриотто богатые и пышные похороны.

Между тем, узнав о происшедшем, во дворе собрались родственники и родственницы юноши, а также почти все горожане, и тело его, лежавшее посреди двора на шелковой ткани Андреолы и по-прежнему утопавшее в розах, оплакали не только Андреола и ее родственницы, но почти все горожанки и многие горожане, вынесли же его со двора не как простолюдина, а как знатного человека: самые именитые граждане с великими почестями несли его на плечах к месту погребения. Несколько дней спустя градоправитель вторично сделал предложение, но когда мессер Негро заговорил об этом с дочерью, она и слышать ни о чем не хотела. С благословения отца она вместе со своей служанкой удалилась в честную обитель, и там они еще долго и праведно жили.





*Симона любит Пасквино; оба находятся в сагу;  
Пасквино, потеряв себе зубы шалфеем, умирает;  
Симону схватили; желая показать судье, как погиб Пасквино,  
она трет себе зубы тем же самым листом шалфея и тоже умирает*



так, Панфило отделался, и тогда король, не выказав ни малейшей жалости к судьбе Андреолы, взглядом дал понять Эмилии, что будет рад, если теперь что-нибудь расскажет она. Эмилия, не долго думая, начала так:

— Милые подружки! Рассказ Панфило возбудил во мне желание рассказать вам другую историю, похожую на ту, что поведал он; та девушка, о которой я поведаю речь, подобно Андреоле, потеряла своего возлюбленного в саду. Будучи же, как и Андреола, схвачена, она избавилась от суда не благодаря своей силе и не благодаря своему целомудрию — избавила ее от суда внезапная смерть. Мы с вами уже пришли к заключению, что Амур охотно поселяется в богатых хоромаш, однако ж не брезгает и убогими хижинами, более того: именно там он иной раз забирает такую власть над людьми, что и богачи, прознав о том, трепещут его как всемогущего властелина. Это вам станет если и не вполне, то, во всяком случае, достаточно ясно, когда вы дослушаете до конца мой рассказ, который снова перенесет нас в наш родной город, а то ведь мы сегодня, толкуя о разных разностях и странствуя в различных частях света, чересчур от него отделились.

Словом, не так давно жила-была во Флоренции дочь бедняка, по имени Симона, красивая, ладная девушка. Нужда заставила ее добывать себе пропитание собственными руками, и она зарабатывала на жизнь тем, что пряла шерсть, и все же она была не столь малодушна, чтобы побояться открыть свое сердце Амуру, которому давно уже хотелось туда проникнуть с помощью ухаживаний и сладких речей одного юноши, не

более знатного, чем она сама, ибо он состоял на побегушках у своего хозяина-ткача и разносил прядильщицам шерсть. Итак, впустив в свое сердце Амура, представшего перед ней в прельстительном обличе влюбленного юноши, которого звали Пасквино, она томилась желанием, но слишком далеко зайти боялась и лишь, наматывая каждый новый клубок на веретено, неизменно испускала жаркий вздох, ибо всякий раз вспоминала, кто ей принес эту шерсть. Пасквино же, со своей стороны, выказывал необыкновенную заботу о том, чтобы прядильщицы как можно лучше прядли хозяйскую шерсть, и, словно только пряжа Симоны, а не чья-либо еще, годилась для тканья, навещивался к ней чаще, нежели к другим. Он навещивался, она же эти его навещиванья принимала благосклонно, и вот как-то раз и он расхрабрился, и она отронила страх и стыд, следствием чего явилось усладительное для обоих сближение. И так они тогда слюбились, что никто из них потом не ждал приглашения, — в назначении свиданий они неизменно шли друг дружке навстречу.

Коротко говоря, блаженствовали они ежедневно, день ото дня все жарче пылая, и вот однажды Пасквино возьми да и предложи Симоне пойти с ним в один сад, — там, дескать, им будет удобнее и безопаснее. Симона согласилась и в одно из воскресений, после обеда, сказав отцу, что идет исповедаться в Сан Галло, со своей подругой Ладжиной направилась в сад, который ей указал Пасквино, а он ее уже там поджидал со своим товарищем по имени Пуччино, а по прозвищу «Шалый». Шалый и Ладжина тут же завели шуры-муры, а потому Пасквино и Симона рассудили за благо на предмет взаимоуслаждений удалиться в один конец сада, им же предоставили другой.

В той части сада, куда ушли Пасквино и Симона, рос высокий красивый куст шалфея. Усевшись подле него, они долго ласкались и толковали о том, как они, отдохнув, здесь подзакусят, а затем Пасквино сорвал лист шалфея и, пояснив, что шалфеем хорошо чистить рот после еды, начал тереть себе зубы и десны. Потом Пасквино возобновил прерванный разговор о предстоящей закуске, но тут же переменялся в лице, а еще немного погодя ослеп, онемел и вскоре скончался. Симона заплакала, запричитала и стала звать Шалого и Ладжину. Те сейчас же прибежали, но как скоро Шалый увидел, что Пасквино мало того что умер, но и весь распух, и по всему лицу его и телу пошли темные пятна, то напустился на Симону: «Ах, злодейка! Ты его отравила!» И тут он поднял такой шум, что его услышали многие из тех, кто жил по соседству. Все они сбежались на шум и, убедившись, что Пасквино мертв и распух, услышав, что Шалый обвиняет Симону в предумышленном отравлении Пасквино, и видя, что она, обезумев от горя, которое ей причинила скоропостижная смерть ее возлюбленного, не знает, что сказать в свое оправдание, всецело поверили Шалому.

На этом основании они ее, плакавшую навзрыд, схватили и повели во дворец градоправителя. Шалый, равно как и подоспевшие сюда же приятели Пасквино, «Здоровяк» и «Надоеда», стали требовать немедленного суда, и судья прямо приступил к допросу. Не найдя, однако ж, улики для того, чтобы обвинить Симону в преднамеренном отравлении, судья

изъявил желание осмотреть при ней мертвое тело и место происшествия и самолично ознакомиться со всеми обстоятельствами дела, так как из ее слов он его себе как должно не уяснил. Того ради он отдал распоряжение — не поднимая шума, отвести Симону в сад, где еще лежало раздувшееся, величиною с бочку, тело Пасквино, а за ней проследовал и он и, давшись диву при взгляде на мертвеца, спросил ее, как было дело. Тогда она приблизилась к кусту и, чтобы судье все было ясно, рассказала о том, что предшествовало гибели Пасквино, а затем, в подражание своему возлюбленному, потеряла себе зубы листом этого самого шалфея. Здоровяк, Шалый и другие приятели и товарищи Пасквино в присутствии судьи издевались над ней, утверждая, что это росказни и враки, все настойчивее обвиняя ее в злодеянии и требуя для нее в качестве меры наказания ни более ни менее, как костра, и вдруг, истерзанная скорбью утраты возлюбленного и страхом наказания, коего требовал Шалый, бедняжка, потеряв себе зубы шалфеем, упала так же точно, как и Пасквино, и тем повергла в крайнее изумление всех присутствовавших.

О блаженные души! Вам выпало на долю в один и тот же день положить предел пылкой вашей любви и сей брэнной жизни. О тем паче блаженные, если только вам предназначено не разлучаться в мире потустороннем! О преблаженные, если только любят и за гробом и если вы и там любите друг друга, как любили здесь! Взглянемте, однако ж, на дело, как свойственно смотреть живущим, и мы должны будем признать, что всех блаженнее душа Симоны, ибо судьбе не угодно было, чтобы ее невиновность оспаривали Шалый, Здоровяк, Надоеда, какие-нибудь там чесальщики и всякий подлый люд, — судьба избавила ее от их напраслины и уготовала ей удел почетный — умереть тою же смертью, что и ее возлюбленный, последовать за родственной ей душою Пасквино.

Судья, ошеломленный этим происшествием не меньше, чем все остальные, не мог выговорить ни слова и погрузился в глубокое раздумье, а затем, поразмыслив, пришел к такому заключению: «Как видно, этот куст ядовитый, хотя вообще шалфей не ядовит. А чтобы еще кто-нибудь не отравился, надобно срубить его под корень и сжечь». Сторож тут же, при судье, начал рубить его, и как скоро высокий этот куст упал, всем стала ясна причина смерти несчастных любовников. Под кустом шалфея притаилась невероятной величины жаба, и вот она-то, по единодушному мнению присутствовавших, ядовитым своим дыханием отравила шалфей. Никто не отважился подойти к этой жабе, а потому ее обложили грудами хвороста и вместе с кустом шалфея сожгли, и на этом судья прекратил дело о трупе злосчастного Пасквино. Его и Симону, распухших от яда, Шалый, Здоровяк, Гуччо «Пачкун» и Надоеда похоронили в церкви Сан Паоло, — по случайному совпадению, и он и она были прихожанами этой церкви.





*Джироламо любит Сальвестру;  
уступая просьбам матери, он едет в Париж, по возвращении же узнает,  
что Сальвестра вышла замуж за другого, и, тайно проникнув к ней в дом,  
умирает подле нее; когда же тело его вынесли в церковь,  
Сальвестра тоже умирает подле него*



ак скоро Эмилия окончила свой рассказ, по повелению короля начала рассказывать Нейфила: — Достойные дамы! Есть такие люди, которые воображают, что знают больше других, а на самом деле, сколько я могу судить, знают м а л о , — вот почему они не желают считаться не только с чужими мнениями, но даже с природой вещей, и от этой их самоуверенности уже проистекли бедствия неисчислимые, а вот добра что-то не видать. Любовь, как никакое другое естественное проявление, терпеть не может, чтобы ее поучали и ей перечили: уж такова ее природа, что она скорее сама собою сойдет на нет, нежели послушается голоса разума, и вот мне захотелось рассказать вам про одну женщину, которая во что бы то ни стало вознамерилась доказать, что она умней, чем ей следовало быть и чем она была в действительности, да и дело-то было такого рода, что ум тут мало чем мог бы помочь, и вышло так, что надеялась-то она изгнать из сердца своего сына любовь, зародившуюся в нем, может стать, по внушению светил небесных, а добилась того, что исторгла из его тела вместе с любовью и душу.

Старые люди сказывают, что в нашем городе проживал именитый и богатый купец по имени Леонардо Сигьери, и был у него сын Джироламо, но вскоре после того, как Джироламо появился на свет, отец, оставив дела свои в блестящем состоянии, скончался. Опекуну ребенка совместно с его матерью исполняли свои обязанности по отношению к нему честно и добросовестно. Мальчик рос вместе с соседскими детьми, но особенно он подружился с дочерью портного — своею сверстницею. С течением времени дружба перешла в такую жаркую и страстную лю-

бовь, что Джироламо жить без своей подруги не мог, она же, разумеется, отвечала ему взаимностью.

От взора матери это не укрылось, и она часто пробирала и наказывала мальчика, однако ж, видя, что это на него не действует, нажаловалась опекунам и, думая, что при таких средствах, как у ее сына, можно звезду с неба для него достать, повела с ними такую речь: «Нашему мальчику еще и четырнадцати лет не исполнилось, а он уже так влюбился в дочь портного, нашего соседа, Сальвестру, что если мы их не разлучим, он, не ровен час, возьмет да и, не спросясь, на ней женится, и это будет для меня горе неизбывное; если же она выйдет за другого, то тогда он зачахнет с тоски. Так вот, во избежание этого, хорошо, если бы вы услали его куда-нибудь подальше по делам: в разлуке он бы о ней и думать забыл, а мы ему тем временем подыщем девушку благородного происхождения».

Опекуны с ней согласились и обещали сделать все, что от них зависит. И вот один из них, зазвав мальчугана в лавку, ласково с ним заговорил: «Мальчик мой! Ты уже большой, теперь тебе самому не худо бы заняться делами. Нам бы очень хотелось, чтобы ты пожил в Париже, потому что основная часть твоего капитала обращается именно там, в чем ты и удостоверись, а кроме того, в Париже ты насмотришься на вельмож, на господ, на дворян, — их там многое множество, — и сам станешь лучше, благовоспитаннее и учтивее, а как переймешь у них приятность обхождения, тогда можно и домой».

Мальчик выслушал его со вниманием, однако ж в коротких словах ответил отказом, сославшись на то, что живут же, мол, люди и во Флоренции. Почтенные опекуны стали ему выговаривать, но толку так и не добились и все рассказали матери. Ее страшно злило нежелание сына ехать в Париж, а его увлечение, и она задала ему звону, но потом начала улащать его сладкими словами, всячески умасливать и упрашивать, чтобы он исполнил желание опекунов. И так она сумела к нему подольститься, что в конце концов он согласился пробыть в Париже год, но никак не более, и на том они и порешили.

Джироламо, без памяти влюбленный, отправился в Париж, и опекуны, кормя, как говорится, завтраками, продержали его там целых два года. Когда же он, влюбленный в Сальвестру еще пламеннее, нежели до отъезда, возвратился домой, оказалось, что Сальвестра вышла замуж за славного молодого человека, который по роду своих занятий был шатерником, и Джироламо был сильно этим удручен. Но так как он признавал, что утраченного не воротить, то постарался свыкнуться со своим положением. Разузнав, где она живет, он, как это принято у влюбленных юношей, начал ходить мимо ее дома, — он был уверен, что и она его не позабыла, как не позабыл ее он. Однако он заблуждался: она держала себя так, как будто в первый раз его видит; если же она его все-таки помнила, то никак этого не показывала. К великому своему огорчению, юноша весьма скоро в том удостоверился; со всем тем он прилагал отчаянные усилия, чтобы вновь завладеть ее сердцем, а так как усилия его были тщетны, то он замыслил побеседовать с нею, хотя бы это стоило ему жизни.

Вызнав у одного из соседей расположение комнат у нее в доме, он однажды вечером, воспользовавшись тем, что она с мужем ушла к соседям в гости, пробрался к ней и схоронился в спальне за развешанными полотнищами шатров. Дождавшись, когда они, вернувшись домой, улеглись и муж Сальвестры заснул, Джироламо направился к ней и, положив ей руку на грудь, прошептал: «Счастье мое! Ты не спишь?»

Сальвестра еще не спала; она хотела крикнуть, но Джироламо взмолился: «Ради бога, не кричи! Я — твой Джироламо».

Тогда она, дрожа всем телом, заговорила: «Уйди ради бога, Джироламо! Мы с тобой уже не дети — нам не прилично разыгрывать влюбленных. Как видишь, я замужем и должна любить только своего мужа, а больше никого. Уйди, ради создателя, — если тебя услышит мой муж, то тебе-то он никакого зла не причинит, но мы уж с ним после этого не сможем жить в мире и согласии, а сейчас он меня любит, и живем мы с ним душа в душу».

При этих ее словах сердце Джироламо стеснила лютая скорбь. Он попытался напомнить ей прошлое, признался, что расстояние, разделявшее их, не охладило его чувство, заклинал, уверял, что готов ради нее на все, — она была непреклонна. Тогда он, задумав покончить с собой, попросил ее в награду за его любовь позволить ему лечь рядом с ней, чтобы согреться, а то он, мол, замерз, пока дожидался ее возвращения; при этом он дал ей слово не разговаривать с ней, не дотрагиваться до нее и уйти, едва лишь обогреется. Сальвестра сжалилась над ним и позволила прилечь, с тем, однако, чтобы он слово свое держал. Джироламо лег так, чтобы не прикасаться к ней. Его непоколебимая верность, ее жестокость, утраченные надежды — все это в одно мгновение промелькнуло у него в голове, и понял он, что жить ему не для чего. Не сказав ей ни слова, он задержал дыхание и, судорожно сжав кулаки, умер около нее.

Немного погодя Сальвестра, дивясь его стойкости и боясь, как бы не проснулся муж, прошептала: «Эй, Джироламо! Что же ты не уходишь?» Не получив ответа, она решила, что он уснул. Тогда она протянула руку, чтобы разбудить Джироламо, ощупала его и, почувствовав, что он холодный как лед, пришла в крайнее изумление. Она надавила на него рукой — он не пошевелился, еще раз надавила — и тут только поняла, что он мертв; объятая ужасом, она долго не могла на что-либо решиться. Наконец надумала спросить совета у мужа, но сначала изобразить дело так, как будто это касается посторонних лиц. Разбудив мужа, она рассказала о том, что случилось у него в доме, так, будто это произошло где-нибудь еще, а потом задала ему вопрос: если бы нечто подобное случилось с нею, как бы он советовал поступить? Муж, будучи человеком добрым, ответил, что, по его мнению, покойника нужно тайком отнести к дверям его дома и там оставить, а на жену, мол, гневаться не должно, так как она ни в чем не виновата.

Тогда Сальвестра сказала: «Значит, так надлежит поступить и нам». Тут она взяла мужа за руку и поднесла ее к мертвому телу. Муж в крайнем замешательстве встал, раздобыл огня и, не вдаваясь ни в какие расспросы, надел на мертвеца его платье, тут же взвалил его себе на плечи,

на что мужу придало сил сознание невинности его жены, отнес к дверям его дома и там и оставил.

Когда рассвело, Джироламо нашли мертвым у дверей его дома и подняли крик; особенно громко голосила его мать. Врачи обыскали его, осмотрели, однако ж ни ран, ни ушибов не обнаружили и пришли к единодушному заключению, что умер он с горя, как оно и было на самом деле. Тело его вынесли в церковь, и туда же пришла его удрученная мать, а с нею целая толпа родственниц и соседок, и начали они, по нашему обычаю, рыдать над ним и причитать.

Между тем как в храме стоял вопль и стон, добрый человек, в доме у которого скончался Джироламо, сказал Сальвестре: «Накинь мантилью, пойдй в ту церковь, куда вынесли Джироламо, замешайся в толпу женщин и послушай, что говорят, а я послушаю, что говорят мужчины, — тогда мы будем знать, не обвиняют ли в чем-либо нас». Сальвестра, пожалевшая Джироламо, когда было уже поздно, согласилась, — теперь ей хотелось взглянуть на него хоть на мертвого, а когда он был жив, она не пожелала порадовать его одним-единственным поцелуем. И пошла она в церковь.

Удивления достойно, как трудно бывает постигнуть причуды любви! То самое сердце, которое не вняло мольбам Джироламо, когда он был благополучен, смягчилось, когда благополучие сменилось злополучием, и это его злополучие внезапно разожгло в ней угасшее было пламя любви, а любовь породила такое глубокое сострадание, что стоило закутанной в мантилью Сальвестре издали увидеть лицо покойника, как она начала пробираться в толпе женщин и наконец подошла вплотную к гробу. Испустив вопль отчаяния, она упала на гроб и не окропила слезами лицо мертвого юноши единственно потому, что едва лишь она к нему прикоснулась, как в то же мгновенье душевная мука, похитившая жизнь у юноши, похитила жизнь и у нее. Женщины, не знавшие, кто она такая, начали утешать ее, уговаривали подняться — она не поднималась; тогда они сами попытались ее приподнять — и удостоверились, что она недвижима; когда же им наконец удалось приподнять ее, тут только они увидели, что это Сальвестра и что она мертва. Преисполненные сострадания женщины, все до одной, еще громче заплакали.

Как скоро весть о том вышла за пределы храма и, облетев толпу мужчин, поразила слух находившегося тут же ее мужа, он заплакал и, не внемля ни утешениям, ни ободрениям, плакал долго, а затем рассказал окружавшим его, что приключилось ночью с его женой и с этим юношей, и тут все, уразумев, отчего они оба скончались, поникли головой. Тело же Сальвестры убрали, как убирают обыкновенно покойниц, положили рядом с Джироламо, а затем похоронили в одной гробнице. Так любовь оказалась бессильной соединить их при жизни, зато смерть связала их неразрывными узами.





*Мессер Гвильельмо Россильоне угощает жену свою сердцем мессера Гвильельмо Гвардастаньо, которого он лишил жизни и которого она любила; узнав об этом, она выбрасывается из высокого окна, разбивается насмерть, и ее хоронят рядом с ее возлюбленным*



ак скоро Нейфила, возбужив живейшее сочувствие у подруг, окончила свой рассказ, король, приняв в соображение, что, кроме Дионео, рассказывать больше некому, отнимать же у Дионео предоставленную ему льготу он не собирался, начал так:

— Сердобольные дамы! Вы так глубоко сочувствуете несчастной любви, а потому повесть, которая пришла мне на память, должна растрогать вас не меньше, чем предыдущая, ибо повесть о людях, гораздо более известных, произошло же с ними нечто куда более страшное.

По рассказам провансальцев вам, уж верно, известно, что в Провансе некогда жили два благородных рыцаря, владевшие замками и вассалами, звали же одного из них мессер Гвильельмо Россильоне, а другого — мессер Гвильельмо Гвардастаньо. Эти два отважных воина любили друг друга и всегда вместе, в одинаковых доспехах, выезжали на турниры, ристалища и прочие бранные потехи. Но хотя их замки отстояли один от другого на добрых десять миль и хотя их связывали дружба и приязнь, со всем тем мессер Гвильельмо Гвардастаньо горячо полюбил красивую, очаровательную жену мессера Гвильельмо Россильоне и не так, так эдак старался выразить ей свое чувство, она же не могла этого не заметить. Он тоже пришелся ей по нраву, ибо она знала его за доблестного рыцаря, и столь сильную пробудил он в ней страсть, что теперь она любила и хотела его одного и ждала лишь, чтобы он прямо сказал ей о своем желании, он же не замедлил с ней объясниться, и они, покорясь бурному стремлению своей страсти, несколько раз ее утолили.

Действовали они, однако ж, недостаточно осторожно, и муж, проследив за ними, пришел в такое неистовство, что сердечная приязнь,



которую он прежде питал к Гвардастаньо, сменилась у него смертельною ненавистью. Однако эту ненависть он скрывал искуснее, нежели любовники скрывали любовь свою, задумал же он во что бы то ни стало убить Гвардастаньо. И вот, как раз когда Россильоне на том порешил, стало известно, что во Франции затевается большой турнир; Россильоне поспешил уведомить о том Гвардастаньо и велел передать, чтобы он за ним заехал, а они уж тут обсудят, как и что. Гвардастаньо чрезвычайно обрадовался и ответил, что не преминет быть у него на другой день к ужину.

Получив таковое известие, Россильоне решил, что теперь самое время отомстить Гвардастаньо. На другой день он вооружился, взял с собой нескольких слуг, сел на коня и примерно в миле от своего замка, в лесу, устроил Гвардастаньо засаду. Ждал он его долго, вдруг видит: впереди едет безоружный Гвардастаньо, а за ним двое слуг, тоже безоружных, ибо Гвардастаньо не чуял опасности. Когда же Гвардастаньо доехал до того места, где Россильоне рассчитывал преградить ему дорогу, коварный и разъяренный Россильоне выскочил из лесу с криком: «Умри, злодей!» — и в то же мгновение пронзил ему грудь копьём. Гвардастаньо не успел вымолвить ни единого слова, а не то чтобы защититься, — пронзенный копьём, он свалился с коня и тут же испустил последний вздох. Слуги его, не узнав убийцу, повертели коней и во весь опор помчались к замку своего господина. Россильоне сошел с коня, разрезал ножом грудь Гвардастаньо, собственными руками извлек сердце, а слуге велел завернуть его во флажок, который был прикреплен к копьё, и отвезти в замок. Строго-настрога приказав слугам никому ничего не говорить, он сел на коня и поздно вечером воротился домой.

Жена слышала, что Гвардастаньо должен быть к ужину, и с величайшим нетерпением его поджидала; видя, что он не приехал, она была этим озадачена и спросила мужа: «Что же это Гвардастаньо не приехал?»

«Я получил от него известие, что он будет завтра», — отвечал муж, и этот его ответ слегка огорчил жену.

Сойдя с коня, Россильоне послал за поваром и сказал ему: «Вот кабанье сердце, — изготвь мне из него аппетитное и вкусное кушанье. Когда я сяду за стол, пришли мне его на серебряном блюде». Повар отнес его в кухню, разрезал на мелкие куски, положил для вкуса разных пряностей, словом, употребил все свое искусство и приложил все старанья, чтобы изготвить лакомое блюдо.

Мессер Гвильельмо и его жена сели в положенный час за стол. Ужин был подан, однако Гвильельмо не давала покоя мысль о совершенном злодеянии, и ел он мало. Повар прислал то кушанье, которое Гвильельмо ему заказал. Гвильельмо, сославшись на то, что ему есть не хочется, велел поставить блюдо перед женой и расхвалил его. Жене, напротив того, хотелось есть, она попробовала, ей понравилось, и она съела все.

Когда рыцарь увидел, что жена съела все, он обратился к ней с вопросом:

«Ну как вам это кушанье?»

«Очень вкусно, даю вам слово», — отвечала жена.

«Ну и ладно, колит а к , — сказал рыцарь. — Впрочем, тут нет ничего удивительного: что живое было вам дороже всего на свете, то должно понравиться и в виде мертвом».

При этих словах жена его призадумалась.

«Что, что? Чем вы меня накормили?» — спросила она.

Рыцарь же ей ответил так: «Вы съели не что иное, как сердце мессера Гвильельмо Гвардастаньо, которого вы, изменница, так горячо полюбили. Можете быть уверены, что это его сердце, ибо перед тем, как воротиться домой, я своими руками вырвал его из груди Гвардастаньо».

Легко себе представить, в какое отчаяние пришла жена Россильоне, когда узнала, что за участь постигла человека, которого она любила больше всего на свете. «Вы поступили как вероломный и коварный человек, — немного погодя сказала она. — Я добровольно сделала его властелином моей души — он меня к тому не принуждал, — и если я этим вас оскорбила, то наказывать нужно было не его, а меня. Но господь не попустит, чтобы я вкусила что-либо еще после той благородной пищи, какую представляет собой сердце столь доблестного и великодушного рыцаря, каков был мессер Гвильельмо Гвардастаньо!»

С этими словами она вскочила и, не колеблясь ни секунды, спиной выбросилась из окна, у которого она сидела. Окно было высоко над землей, и она разбилась насмерть, тело же ее было изуродовано до неузнаваемости. Мессер Гвильельмо оцепенел. Тут только с совершенной ясностью представилось ему его злодейство, и, убоявшись народного мщения и гнева графа Провансальского, велел он седлать коней и ударился в бегство.

На другое утро вся округа уже знала, что произошло. Обитатели замка мессера Гвильельмо Гвардастаньо вместе с обитателями замка, где жила та женщина, подобрали останки обоих и, горестно рыдая, погребли их в одной гробнице, в церкви при замке жены Россильоне, на гробнице же были начертаны стихи, из коих явствовало, кто здесь похоронен и какова была причина гибели покоящихся под этой плитой.





*Жена врача кладет своего любовника,  
который был всего-навсего огурманен зельем, но которого она сочла умершим,  
в ларь, и этот ларь вместе с лежащим в нем человеком уносят два ростовщика;  
любовник пришел в себя, но его тут же хватают как вора;  
служанка лекарской жены показывает у градоправителя,  
что это она положила его в ларь, позднее украденный ростовщиками,  
и ее показания избавляют любовника от виселицы,  
а ростовщиков за кражу ларя приговаривают к денежной пене*



еперь, после короля, дело было только за Дионео; он и сам это знал, а король ему еще напомнил, и начал он так:

— Горести несчастной любви, о коих нам здесь рассказывали, не только дамам, но и мне преисполнили грусти и сердце и взор, и я с нетерпением ждал, когда же этим рассказам будет конец. Теперь все они, слава создателю, досказаны (если только и мне не припадет охота выделять нестоящую эту овчинку, но да упасет меня от этого бог!), и я, оставив столь печальный предмет,

расскажу что-нибудь получше и повеселее, — может статься, это послужит хорошим началом для завтрашних наших рассказов.

Итак, прекрасные девушки, надобно вам знать, что не так давно жил в Салерно знаменитый врач-хирург Маццео дела Монтанья, и вот он, уже в глубокой старости, взял да и женился на красивой и знатной девице, своей согражданке, и рядил он ее, на зависть всем прочим горожанкам, в самые что ни на есть роскошные дорогие платья, дарил ей разные драгоценности и все, что только может порадовать женщину, да вот беда: она почти все время мерзла, потому что лекарь плохо ее покрывал в постели. Подобно как мессер Риччардо да Киндзика, о котором у нас с вами шла речь, учил свою жену соблюдать праздничные дни, так же точно лекарь внушал своей благоверной, что, поспавши с женщиной, надобно потом сколько-то там дней набираться сил, и тому подобную чепуху, она же была им весьма недовольна. А так как она была женщина сообразительная и смелая, то и замыслила она свое добро побереечь, выйти на улицу и воспользоваться чужим добром. Многие множество моло-

дых людей прошло перед ее взором, но по нраву ей пришлось только один, и к нему одному устремила она все свои помыслы и на нем одном основала все свои надежды и все свое счастье. Молодой человек это заметил, а так как и она возбудила в нем сильное чувство, то он полюбил ее всем сердцем. Этот молодой человек по имени Руджери д'Айероли происходил от благородных родителей, но был известен дурными своими наклонностями и беспутным поведением, так что у него не осталось ни родственника, ни друга, которые питали бы к нему приязнь и желали бы поддерживать с ним отношения. По всему Салерно шла молва о совершенных им кражах и всяких прочих плутнях, однако лекарская жена смотрела на это сквозь пальцы: он нужен был ей для иных целей, и вот наконец, воспользовавшись посредничеством одной из своих служанок, она назначила ему свидание. Сначала они немножко порезвились, а потом она начала пенять ему за тот образ жизни, который он до сих пор вел, и обратилась к нему с просьбой — ради нее постараться исправиться. А чтобы облегчить ему переход на стезю праведную, она потом время от времени снабжала его деньгами.

Случилось, однако ж, так, что пока они с великою осторожностью продолжали действовать в том же духе, врача пригласили к человеку с больной ногой. Врач осмотрел ногу и сказал родным, что если тепер же не извлечь загнившую кость, то потом придется отрезать ногу, иначе больной умрет; если же кость будет удалена, то больной может выздороветь, однако и в сем случае он, лекарь, за благоприятный исход не ручается. Родные, будучи подготовлены к смертельному исходу, на это пошли. Приняв в соображение, что без усыпительного средства больной не вытерпит и не дастся, врач, решившись удалить кость вечером, с утра заказал жидкую смесь, которая, по его расчетам, должна была усыпить больного на столько времени, сколько продлится операция. Когда ему эту смесь принесли, он поставил ее у себя в комнате на окне и никому не сказал, что это такое. Вечером, однако ж, только врач собрался идти к тому больному, как из Амальфи к нему явился человек, которого послали ближайшие друзья врача, и передал настоятельную их просьбу бросить все и незамедлительно выехать в Амальфи, ибо там произошло великое побоище и многие пострадали. Врач отложил операцию до утра, сел в лодку и отправился на место происшествия. Будучи уверена, что ночью муж не вернется, жена, по обыкновению, послала тайком за Руджери и заперла его у себя в комнате до того времени, пока домашние не улягутся.

Руджери, поджидавшему свою любезную, то ли от переутомления, то ли оттого, что он наелся соленого, то ли просто-напросто по привычке, мучительно захотелось пить, и когда он увидел на окне бутылку, приготовленную лекарем для больного, то решил, что это питьевая вода, и всю ее выпил. Немного погодя веки у него стали слипаться, и он заснул крепчайшим сном. Возлюбленная при первой возможности пришла к нему, но, увидев, что он спит, принялась тормошить его и тихонько будить, — это не оказало на него ни малейшего действия: он ничего не отвечал и не шевелился. «Вставай, сонная тетеря! Ты что, спать сюда пришел?» — сказала дама и в сердцах толкнула его. Руджери свалился с сундука, как

труп. Слегка испуганная, дама попыталась приподнять его, начала трясти, хватала его за нос, дергала за бороду — все было напрасно: он спал без задних ног. Тогда ей пришла в голову страшная мысль: а что, если он умер? Уж она его и щипала, и свечкой жгла, — никакого толку. Хотя муж у нее был медик, она в медицине ничего не понимала, а потому у нее не осталось никаких сомнений, что Руджери мертв. Легко себе представить, в какое отчаяние пришла она, любившая Руджери больше всего на свете. Не смея поднимать шум, она втихомолку плакала над ним и сетовала на свою долю.

Немного спустя, подумав, что утрата утратой, да ведь вдобавок и сраму, пожалуй, не оберешься, она стала напрягать мысль: как бы вынести из дому мертвое тело. Поломав голову, она тихонько позвала служанку и, объяснив, что за напасть с ней приключилась, попросила что-нибудь ей посоветовать. Служанка подивилась; она тоже потрясла, пощипала Руджери, однако ж, уверившись, что перед нею бесчувственное тело, пришла к такому же точно заключению, что и ее госпожа, то есть что он, вне всякого сомнения, кончился, и посоветовала вынести его из дому.

«Где бы нам его положить, так, чтобы завтра, когда его обнаружат, никто не заподозрил, что его вынесли из нашего дома?» — спросила госпожа.

А служанка ей: «Сударыня! Вечером я видела около мастерской нашего соседа-столяра небольшой ларь. Если только хозяин не унес его домой, он бы нам очень пригодился: мы положим мертвого туда, пырнем его раза три ножом и там и оставим. Те, что его найдут, вряд ли заподозрят, что его вынесли от нас. Скорей подумают, что он вышел на недоброе дело, — ведь всем и каждому известно, что он малый дрянной, — а кто-нибудь из недругов его прикончил и спрятал в ларь».

Совет служанки показался госпоже разумным, — вот только нанести ему раны у нее, мол, не хватит духу, — и она послала ее поглядеть, там ли еще ларь. Служанка сбежала и сказала, что ларь еще там. И вот служанка, молодая, здоровая, с помощью госпожи взвалила Руджери себе на плечи, госпожа пошла вперед в качестве дозорного, и как скоро приблизились они к ларю, то положили туда Руджери и, захлопнув крышку, так там и оставили.

В тот дом, который находился за домом столяра, переехали на постоянное жительство два молодых человека, отдававших деньги в рост; оба они были приобретатели и жмоты, а так как они нуждались в домашней утвари, то когда на глаза им попался этот самый ларь, то они решили, что если он простоит здесь до ночи, то они уволочут его к себе в дом. В полночь они вышли из дому, обнаружили ларь на прежнем месте и, не теряя драгоценного времени, хоть и тяжеленек он им показался, утащили к себе, кое-как поставили рядом с комнатой, где спали их жены, и пошли на боковую.

Руджери долго спал без просыпу, однако ж в конце концов снадобье, переварившись у него в желудке, перестало действовать, и проснулся он перед самой утреней, и все же, хотя сон у него и прошел и чувстви-

тельность к нему вернулась, голова у него была тяжелая, и отупение это длилось всю ночь и потом еще несколько суток. Он открыл глаза — темно; тогда он вытянул руки и, убедившись, что лежит в ларе, начал шевелить мозгами и сам с собой рассуждать: «Что же это такое? Где я? Сплю или же бодрствую? Ведь я отлично помню, что вечером был в комнате у моей возлюбленной, а теперь я словно бы в ларе. Как же так? Уж не вернулся ли врач, а может, еще что-нибудь произошло, из-за чего моя возлюбленная вынуждена была запрятать меня, сонного, в ларь? Наверно, так оно и было».

Тут он притаился и прислушался. Долго он напрягал слух, а так как ларь был узковат и представлял собой неудобное ложе, — да к тому же еще Руджери отлежал себе бока, — то и захотелось ему повернуться на другой бок, однако ж при этом он выказал изрядную ловкость: ударился спиной об одну из стенок ларя, который стоял на неровном полу, ларь наклонился и упал. Упал же он с таким невообразимым грохотом, что женщины, спавшие за перегородкой, проснулись, перепугались и от испуга притихли. Падение ларя устало Руджери, однако ж, почувствовав, что ларь раскрылся, он предпочел, коль скоро представился такой случай, выйти из ларя, нежели в нем оставаться. Но ведь Руджери понятия не имел, где он находится, а потому он наугад, наудачу двинулся в поисках лестницы или же двери. Услышав, что кто-то ходит, проснувшиеся женщины крикнули: «Кто там?» Голоса были незнакомые, и Руджери рассудил за благо не откликаться; тогда жены позвали мужей, но те легли поздно, спали по сему случаю крепким сном и ровным счетом ничего не слышали. Тут у женщин и вовсе душа в пятки ушла, — они бросились к окнам и давай кричать: «Караул! Грабят!» Соседи переполошились и разными путями поспешили к ним на помощь: кто проник через слуховое окно, кто через парадный ход, кто через черный, а тем временем и хозяева проснулись от крика.

Остолбеневшего Руджери, не знавшего, куда бежать, да и следует ли бежать, схватили и сдали с рук на руки стражникам, коих привлек сюда шум. Когда Руджери привели к судье, то его, как человека, которого считали способным на любое преступление, незамедлительно подвергли пытке, и под пыткой он сознался, что проник в дом ростовщиков с целью грабежа, а градоправитель, основываясь на сей пыточной записи, вознамерился повесить его без промедления.

Утром уже весь Салерно говорил о том, что Руджери пойман на месте преступления в доме у ростовщиков. Когда же сия весть дошла до лекарской жены и ее служанки, то обе они были так поражены, что им уже начало казаться, будто ночные их похождения привиделись им во сне. Ко всему прочему опасность, нависшая над Руджери, сводила его возлюбленную с ума. Рано утром возвратился из Амальфи лекарь и, намереваясь сделать больному операцию, велел подать ему бутылку со снадобьем. Когда же он увидел пустую бутылку, то стал кричать, что в доме у него порядка нет.

У его жены была своя кручина на сердце, и потому она огрызнулась: «Как бы вы запели, доктор, если бы с вами взаправду беда стряслась? А вы

разбушевались, оттого что из бутылки воду вылили. Да что, на свете больше воды, что ли, нет?»

А лекарь ей на это: «Ты думаешь, жена, что то была чистая вода, но ты ошибаешься: то было усыпительное снадобье». И тут лекарь ей рассказал, на какой предмет он его изготовил.

Выслушав его, жена тот же час сообразила, что воду эту выпил Руджери, и оттого-то они со служанкой и решили, что он мертв. «А мы и не знали, доктор, — сказала она, — уж придется вам еще раз заказать». Делать нечего — пришлось лекарю заказать свежее снадобье.

Немного погодя служанка, ходившая по приказанию госпожи послушать, что говорят о Руджери, вернулась и доложила: «Сударыня! О Руджери я доброго слова не слышала. Сколько мне известно, ни один родственник и ни один его друг не пришел и не пожелал прийти, чтобы его выгородить, и все убеждены, что завтра судья по уголовным делам велит его повесить. А теперь я вам расскажу, как он попал к ростовщикам. Вы только послушайте. Вы же знаете столяра, — против его мастерской стоял ларь, куда мы положили Руджери. Так вот, столяр ругался сейчас с каким-то мужчиной — должно полагать, с владельцем того самого ларя: владелец требовал деньги за ларь, а столяр уверял, что он его не продавал — ларь, дескать, у него ночью украли. А тот ему: «Неправда! Ты его продал двум молодым ростовщикам — я увидел ларь у них в доме, когда изловили Руджери, и они мне сами сказали». А столяр ему: «Врут они, я и не думал ларь продавать; верно, они-то ночью и сперли его у меня. А ну, пойдем к ним!» Тут они вместе пошли к ростовщикам, а я — домой. Вот, значит, как Руджери там очутился, а уж как он ожил — это для меня загадка».

Тут жене лекаря все стало ясно, и она, пересказав служанке свой разговор с мужем, обратилась к ней с просьбой спасти Руджери: стоит, мол, ей захотеть — и она спасет Руджери, а госпожу свою избавит от поношенья.

«Вы меня только научите, сударыня, — молвила служанка, — а уж за мной дело не станет».

Понимая, что время не терпит, госпожа тут же придумала, как должно действовать, и обстоятельно изложила замысел свой служанке.

Служанка первым делом пошла к лекарю и со слезами заговорила: «Мессер! Я хочу попросить у вас прощения, потому как я перед вами очень виновата».

«В чем же?» — спросил доктор.

Служанка, все так же неутешно плача, продолжала: «Мессер! Вы, конечно, знаете, кто таков Руджери д'Айероли, и вот я ему приглянулась и отчасти из страха, отчасти по любви стала в нынешнем году его подружкой. Когда он прослышал, что вечером вы уезжаете, он меня уговорил пустить его в ваш дом, ко мне в комнату, переночевать, но, как на грех, он умирал от жажды, а я не знала, где тут близко вода или вино, да и не хотелось мне, чтобы ваша супруга меня увидела, — на ту пору она в зале была, — и вдруг я вспомнила, что у вас в комнате стоит бутылка с водой, сбегала за ней, напоила его, а бутылку на место поставила, — из-за этого-то

вы потом и раскричались. Я поступила дурно, это я сознаю, — ну да ведь все мы не без греха. Я очень даже раскаиваюсь, тем паче что за этот мой проступок и за его последствия может поплатиться жизнью Руджери, и вот я слезно молю вас: уж вы простите меня и дозвоьте сделать все, что в моих силах, чтобы спасти Руджери».

Лекарь хоть и был раздосадован, однако ж не отказал себе в удовольствии подшутить над служанкой. «Ты сама себя наказала, — заметил он, — поджидала молодца, чтобы он тебя всю ночь нажаривал, а заполучила сонную тетерю. Ступай выручай своего милого, но только чур: больше ко мне в дом его не водить, а то я с тобой рассчитаюсь сразу за все!»

Лиха беда — начало; служанка бегом побежала в тюрьму, где сидел Руджери, и упросила тюремщика дозволить ей поговорить с заключенным. Научив Руджери, как должно отвечать на вопросы судьи, если он желает выкрутиться, она тут же добилась того, что ее принял судья.

Обратив внимание на то, какая она свежая и здоровая, судья не стал пока ничего слушать, а вознамерился поддеть рабу божию на крючок, и она для пользы дела не отвергла его притязаний; когда же она поднялась после накачки, то обратилась к нему с такими словами: «Мессер! У вас сидит за грабеж Руджери д'Айероли, но он ни в чем не виноват». И тут она ему от начала до конца все и рассказала: как она, подружка Руджери, привела его в дом лекаря, как нечаянно напоила его сонным зельем и как, вообразив, что он мертв, положила его в ларь, затем, в пояснение того, каким образом Руджери оказался в доме у ростовщиков, сообщила о ссоре столяра с владельцем ларя, коей она явилась невольной свидетельницей.

Судья, сообразив, что все это легко проверить, первым делом спросил лекаря, что это был за напиток, и убедился, что служанка говорила правду. Затем призвал столяра, владельца ларя и ростовщиков и после длительного допроса установил, что ростовщики прошедшей ночью действительно утащили ларь к себе в дом. После этого он велел привести Руджери и задал ему вопрос, где он был вечером; Руджери ответил, что не знает, — помнит только, что пошел вечером к служанке доктора Маццео, что его мучила жажда и что он у нее в комнате выпил воды, а дальше, мол, ничего не помнит, очнулся же он в ларе, в доме у ростовщиков. Судье это показалось презабавным, и он заставлял служанку, Руджери, столяра и ростовщиков по несколько раз все опять сначала рассказывать.

В конце концов он присудил ростовщиков, укравших ларь, к уплате десяти унций, а Руджери признал невиновным и освободил из-под стражи. Легко себе представить, как счастлив был Руджери, а его возлюбленная ликовала. Впоследствии она, Руджери и их благодетельница служанка часто хохотали до упаду при одном воспоминании о том, как служанка чуть было не пырнула ножом Руджери; что же касается Руджери и жены лекаря, то они жили в совете и в любви, все больше друг дружкой пленяясь. И я бы себе желал того же, но только чтоб меня не упрятавали в ларь.

Первые повести опечалили пленительных дам, зато последняя, которую рассказал Дионео, вызвала у них неудержимый смех, особенно в том месте, где судья поддевает на крючок, и это вознаградило их за испытанную ими сегодня душевную боль. Но тут Филострато, обратив внимание, что солнечный свет потускнел, — а это означало, что царствованию его пришел конец, — со всевозможною учтивостью извинился перед приятными дамами за то, что предложил столь печальный предмет, как несчастная любовь. Принеся же извинения, он встал, снял с головы лавровый венок, и только дамы успели задать себе вопрос, на кого он его возложит, как он изящным движением возложил его на златокудрую головку Фьямметты.

— Я возлагаю этот венок на тебя, — сказал он, — потому что завтра ты лучше, чем кто-либо из твоих подруг, сумеешь вознаградить их за сегодняшний тяжелый день.

Фьямметта, у которой длинные, вьющиеся золотистые волосы падали на белые нежные плечи, у которой кругленькое личико отливало и белизною лилей, и румянцем роз, у которой были ясные очи, а губки — как два рубина, ответила ему, улыбаясь:

— Я охотно принимаю от тебя венок, Филострато. А чтобы тебе стало еще яснее, что ты испортил нам сегодняшний день, я уже сейчас объявляю свою волю и всем приказываю быть готовыми рассказывать завтра *О том, как влюбленным после мытарств и злоключений в конце концов улыбалось счастье.*

Предложение Фьямметты всеми было одобрено. Тогда она послала за дворецким и обо всем с ним уговорилась, после чего дамы и молодые люди встали, и Фьямметта со спокойной душою отпустила их до ужина.

Кто пошел в сад, — а сад был до того красив, что на него нельзя было наглядеться, — кто — к мельницам, что за садом, кто — туда, кто — сюда, и до самого ужина все развлекались соответственно своим склонностям. Но вот пришло время ужинать, все, по обыкновению, собрались у дивного фонтана и с превеликим удовольствием сели за отлично сервированный ужин. Когда же они встали из-за стола, то, по обычаю, надлежало быть танцам и пенью, и едва лишь Филомена открыла танец, как королева сказала:

— Филострато! Я не собираюсь отступать от обычая, заведенного моими предшественниками. По их примеру я изъявляю желание послушать пенью, а так как я уверена, что песни твои ничем не отличаются от твоих повестей, то, чтобы ты нам, по крайней мере, другие дни не омрачал своими злоключениями, я приказываю тебе спеть нынче, — так спой же свою любимую песню!

Филострато охотно согласился и в ту же минуту запел:

Страданьем доказал  
Я миру, сколь достоин сожаленья  
Тот, кто к неверной возымел влеченье.

Любовь! Когда зажгла в душе моей  
Ты образ той, о ком грущу в разлуке,

Казалось мне, она  
Такой небесной чистоты полна,  
Что легкими я мнил любые муки,  
Какие ждут людей  
По милости твоей;  
Но понимаю ныне в сокрушенье,  
Что пребывал в глубоком заблужденье.

Открылось это в черный день, когда  
Я был покинут тою,  
Кем навсегда пленен.  
Как быстро, с первой встречи покорен,  
Я сделался ей преданным слугою!  
Не чуял я тогда,  
Что ждет меня беда  
И что, презрев свои же уверенья,  
Она отдаст другому предпочтенье.

Едва лишь я уразумел, какой  
Нежданный и тем более ужасный  
Удар меня постиг,  
Мне стали ненавистны час и миг,  
Когда узрел я лик ее прекрасный,  
Сверкающий такой  
Красою неземной.  
Теперь свое бывшее ослепленье  
Считаю я достойным лишь презренья.

Отчаянья и боли не тая,  
Владычица-любовь, твой раб послушный  
Смиренно шлет тебе  
Мольбу в надежде, что к его судьбе  
Ты, дивная, не будешь равнодушна.  
Так жизнь страшна моя,  
Что смерти жажду я.  
Пускай придет, прервет мои мученья  
И разом мне дарует избавленье.

Поверь, любовь, от горя моего  
Осталось средство лишь одно — кончина,  
И, мне послав ее,  
Ты явишь милосердие свое,  
А той, кто всех моих скорбей причина  
И обвинять кого  
Мне тяжелей всего,  
Доставишь больше удовлетворенья,  
Чем новый друг внушает вожделенья.

Не жду я, песнь моя, что в ком-нибудь  
Сочувствие найдет твой звук унылый,  
Но ты к любви лети  
И ей нелicenseмерно возвести,

Что груз утраты у меня нет силы  
С усталых плеч стряхнуть.  
Пусть в море слез мне путь  
Она укажет к гавани забвенья,  
Где обрету и я успокоенье.

Страданием доказал,  
и так далее.

Из слов этой песни всем стало ясно, каково было у Филострато расположение духа и чем оно было вызвано; впрочем, это было бы еще яснее, когда бы ночная темнота не скрыла румянца, внезапно вспыхнувшего на ланитах одной из танцевавших девушек. После Филострато пели многие, а затем настала пора отдохнуть, и по повелению королевы все разошлись по своим покоям.



*Кончился четвертый день*  
**ДЕКАМЕРОНА,**  
*начинается пятый*

---



*В день правления Фьяметты  
предлагаются вниманию рассказы о том,  
как влюбленным после мытарств и злоключений  
в конце концов улыбнулось счастье*









осток побелел и первые лучи восходящего солнца озарили все наше полушарие, когда Фьямметта, пробужденная приятным для слуха пением птичек, в шесть часов утра уже весело щебетавших в кустах, встала с постели и велела позвать девушек и трех молодых людей. Неспешным шагом спустившись в долину, она пошла по росистой траве широкого луга, беседуя с друзьями о том, о сем, и так они гуляли, пока солнце было еще низко. Когда же Фьямметта ощутила жгучесть его лучей, то повернула обратно. Придя домой, она отдала рас-

поряжение подкрепиться после прогулки добрым вином и сладостями, а затем до самого обеда все общество развлекалось в уютном саду. Как же скоро пришло время обеда и распорядительный дворецкий все уже приготовил, девушки и молодые люди спели несколько песенок, а затем, согласно тому, как изволила приказать королева, с веселым видом заняли места за столом. Обед прошел оживленно, с соблюдением чина; не был нарушен и обычай потанцевать после обеда: под аккомпанемент музыкальных инструментов было исполнено несколько танцев с пением. Затем королева отпустила всех отдохнуть. Некоторые пошли спать, другие предпочли остаться в чудном саду. Но в начале четвертого часа все, исполняя желание королевы, собрались, как того требовал заведенный порядок, у фонтана. Заняв председательское место и с улыбкой взглянув на Панфило, королева объявила, что ему первому повелевает она рассказать повесть с благополучным концом.





*Чимоне, умугренный любовью, похищает в море любимую свою Ифигению;  
в Родосе его заключают в темницу; Лизимах выпускает его на волю,  
и они оба умыкают Ифигению и Кассандру во время свадебного их торжества;  
они бегут с ними на остров Крит, женятся на них,  
а затем все получают приглашение вернуться домой*



начале столь веселого дня, каким обещает быть сегодняшний день, я бы мог рассказать вам, прелестные дамы, немало повестей, но одна из них представляется мне наиболее уместной, ибо это не только повесть с благополучным концом, ради которого мы, собственно, и намерены рассказывать, — из нее вам станет ясно, сколь священна, сколь могущественна и сколь благодетельна сила Амура, которого многие, сами не зная — за что, в высшей степени несправедливо, клянут и порочат. Так как вы все влюблены, то надеюсь, что подобного рода повесть может быть вам только приятной.

Итак, нам приходилось читать в летописях Кипра, что там некогда жил знатный человек по имени Аристипп, оделенный житейскими благами больше, чем кто-либо из его земляков, так что, когда бы судьбина не обделила его в другом, он мог бы почитать себя за счастливейшего человека в мире. Дело состояло в том, что один из его сыновей, самый рослый и статный юноша на всем Кипре, был глуп, и притом — безнадежно; как ни бился с ним учитель, как ни старался пронять его лаской и таской отец, на какие только ухищрения ни пускались другие — учение так ему и не далось, он так и не пообтесался, голос у него был грубый и для ушей несносный; вообще это был не человек, а животное, — вот почему, хотя настоящее имя его было Галезо, все в насмешку называли его «Чимоне», что на их языке означает «скот». Неудачный сын доставлял отцу немало огорчений, и в конце концов отец махнул на него рукой, и, чтобы не видеть больше перед собой этот свой крест, сослал сына в деревню: пусть, мол, живет там вместе с простыми земледель-

цами, а Чимоне тому и рад, ибо нрав и обычай простолюдинов был ему во много раз милее городских нравов.

И вот случилось так, что когда Чимоне уже перебрался на жительство в деревню и занялся полевыми работами, однажды, в полуденный час, с посохом на плече идя из одного имения в другое, он вошел в самую красивую из всех окрестных рощ, одетую густой листвой, ибо дело было в мае. Сама судьба вывела его на поляну, окруженную высокими деревьями, на краю поляны бил чудесный, холодный ключ, а подле ключа на зеленой луговине почивала красавица девушка, коей прозрачная одежда почти не утаивала белого ее тела; от пояса же до ступней ее прикрывал легкий белоснежный покров; у ног девушки спали две ее служанки и один слуга. Узрев ее, Чимоне оперся на посох и молча, с неизъяснимым восторгом, как будто впервые видел женщину, устремил на нее пристальный взор. И тут в его грубой душе, которой, как ни пытались облагородить ее, нежность чувствований дотоле была не сродна, возникло ощущение, внушившее низменному и незрелому его уму, что пред ним прекраснейшее создание из всех, какие когда-либо созерцал смертный. Рассматривая ее тело, Чимоне пришел в восхищение от ее волос, которые он уподобил золоту, ото лба, носа, рта, шеи, рук, в особенности же — от груди, еще не высокой, и, внезапно превратившись из хлебопашца в ценителя прекрасного, почувствовал неодолимое желание увидеть ее глаза, которые смежил ей глубокий сон, — чтобы увидеть их, он несколько раз порывался ее разбудить. Но так как она показалась ему неизмеримо прекраснее всех женщин, которых он видел прежде, то ему пришла в голову мысль: уж не богиня ли это? Однако ж у него все-таки достало ума, чтобы сообразить, что божества подобает чтить больше, нежели существа земнородные, — вот почему он себя сдержал и вознамерился подождать, пока она проснется сама, и хотя время тянулось долго, со всем тем уходить ему не хотелось — так сильно было впервые испытываемое им наслаждение.

В конце концов девушка, — ее звали Ифигения, — пробудилась прежде слуг своих и, подняв голову и раскрыв глаза, увидела, что перед ней, опершись на посох, стоит Чимоне. «Это ты, Чимоне? — в крайнем изумлении спросила она. — Что ты в лесу делаешь?»

Надобно заметить, что Чимоне был известен на всю округу как своим прижеством, так и своею придурковатостью; знали также, что отец его — человек именитый и состоятельный. Чимоне ничего не ответил Ифигении, — увидев раскрытые ее глаза, он приковал к ним взгляд, и почудилось ему, будто нега ее очей вливает ему в душу не изведенную им доселе отраду.

Как скоро девушка это заметила, у нее мелькнула мысль, не предвещает ли пристальный взгляд этого мужлана чего-либо порочащего ее честь, а потому она разбудила служанок и, став на ноги, сказала: «Иди себе с богом, Чимоне!»

А Чимоне ей на это: «Я с тобой пойду».

Сколько девушка ни отнекивалась, все еще боясь каких-либо выходов с его стороны, но так и не сумела от него отделаться, и он проводил

ее до самого дома, а затем пошел к отцу и объявил, что больше жить в деревне не желает. И хотя отцу и другим его родным это было не по сердцу, они все же не прогнали Чимоне: дай, думают, поглядим, что это вдруг ему вздумалось переменить образ жизни.

Между тем в душу Чимоне, куда бессильна была проникнуть любая наука, благодаря красоте Ифигении проникла стрела Амура, и он, поразив отца, а равно и всех своих родных и знакомых, в кратчайший срок привел в исполнение множество родившихся у него в голове замыслов. Прежде всего он обратился к отцу с просьбой выдать ему такое же точно одеяние и убранство, как у его, Чимоне, братьев, каковую просьбу отец с превеликим удовольствием исполнил. Далее, начав водиться с достойными молодыми людьми и узнав, каким требованиям долженствует удовлетворять молодой человек благородного происхождения, да к тому же еще влюбленный, он, вызвав всеобщее и чрезвычайное изумление, за короткое время не только выучился грамоте, но и стал одним из великих любомудров. Затем, — и все ради Ифигении, — он сумел изменить свой голос: прежде голос у него был грубый, как у деревенского малого, а теперь он стал у него благозвучным, каким надлежит быть голосу человека светского; этого мало: Чимоне хорошо разбирался и в пении и в музыке, сделался искусным и смелым наездником, оказал успехи и в ратном деле — как на море, так и на суше. Чтобы особенно не распространяться об его подвигах, скажу лишь, что не прошло и четырех лет с тех пор, как Чимоне влюбился, он уже стал привлекательнейшим, благовоспитаннейшим и достойнейшим юношей на всем Кипре.

Так что же все-таки, очаровательные дамы, произошло с Чимоне? А вот что: те совершенства, коими небо наделило его благородную душу, завистливый рок заточил в крохотном уголке его сердца и крепким вервием их привязал, Амур же оказался неизмеримо сильнее рока, и он это вервие распутал и, распутав, порвал. Обладая способностью пробуждать дремлющие умы, Амур, употребляя для таковой цели свою мощь, возносит их из злобной тьмы к яркому свету, наглядно показывая, откуда вызволяет он подвластный ему дух и куда, озаряя своими лучами, ведет.

Так вот, хотя влюбленный в Ифигению Чимоне и развлекался кое-когда на стороне, как то обыкновенно водится за влюбленными юношами, со всем тем Аристипп, приняв в уважение, что Амур превратил его сына из барана в человека, не только терпел его развлечения, но еще и внушал ему, что стеснять себя не следует. Однако же Чимоне, который, кстати сказать, просил, чтобы его не называли Галезо, — он помнил, что Ифигения называла его Чимоне, — имел насчет нее самые честные намерения и неоднократно делал попытки разведать, согласится ли отец Ифигении Чипсео отдать за него дочь, Чипсео же неизменно отвечал, что он просватал ее за Пазимунда, знатного родосского юношу, и хочет быть верен своему слову.

Когда время Ифигениевой свадьбы приблизилось и жених уже прислал за невестой, Чимоне сказал себе: «Теперь мне надлежит доказать тебе, Ифигения, как я тебя люблю. Только благодаря тебе я стал человеком, и я не сомневаюсь, что когда ты будешь моей, я стану счастливее

всех богов. Что-нибудь одно: или ты будешь принадлежать мне, или я погибну». Он тут же вступил в заговор со своими друзьями, знатными юношами, и, отдав тайное распоряжение снабдить корабль всем, что потребно для морского сражения, вышел в море и стал поджидать корабль, на котором должны были доставить Ифигению к ее жениху в Родос. Отец Ифигении оказал друзьям ее жениха великие почести, а затем они вышли в море и взяли курс на Родос. Чимоне тем временем не дремал: на другой же день он их настиг и, стоя на носу своего корабля, громким голосом крикнул: «Уберите паруса, а не то мы вас одолеем и потопим в море!» Противники Чимоне взялись за оружие и изготовились к обороне. Тогда Чимоне схватил длинный железный абордажный крюк и, ухитрившись зацепить за корму быстро уходивший родосский корабль, притянул его к борту своего судна и, исполненный львиной отваги, не долго думая и ни во что врагов своих не ставя, перепрыгнул на их корабль. Воодушевляемый Амуром, он с кинжалом в руке ринулся в самую гущу врагов и, одного за другим, принялся резать их, как овец. Родосцы мигом побросали оружие и почти все сдались в плен.

Чимоне же им сказал: «Выслушайте меня, юноши: не корысть и не злоба принудили меня оставить Кипр и в открытом море поднять против вас вооруженную длань. То, из-за чего я на это решился, составит для меня драгоценнейшую добычу, вы же не потерпите ни малейшего урона, если отдадите мне это добром: я разумею Ифигению, — я люблю ее больше всего на свете, но отец не пожелал выдать ее за меня добром, полюбовавшись, — тогда Амур подстрекнул меня действовать враждебно и с оружием в руках отбить ее у вас. Словом, я намерен заменить ей Пазимунда. Отдайте мне ее, и да хранит вас господь!»

Молодые люди, движимые не столько великодушием, сколько страхом, уступили Чимоне плачущую Ифигению. Видя, что она плачет, Чимоне обратился к ней с такими словами: «Утешься, высокородная дева! Я — твой Чимоне, я люблю тебя с давних пор и потому более достоин быть твоим мужем, нежели Пазимунд, у которого, кроме обещания, данного ему твоим отцом, нет никаких прав на тебя».

Тут Чимоне велел перевести Ифигению на свой корабль и, ничего больше не взяв у родосцев, возвратился к своим товарищам, родосцев же отпустил с миром. В восторге от того, что ему столь драгоценная досталась добыча, Чимоне постарался успокоить плачущую Ифигению, а затем стал держать совет со своими товарищами, и на этом совете было решено, что сейчас не стоит возвращаться на Кипр; Чимоне и его товарищи единодушно остановили свой выбор на Крите, исходили же они из того, что благодаря своим старинным и недавним родственным связям, а также благодаря множеству друзей, какие у них там были, все они, в особенности же Чимоне и Ифигения, будут чувствовать себя там в безопасности, — туда они и направили свой корабль.

Однако ж изменчивый рок, дозволивший Чимоне почти беспрепятственно взять в добычу любимую девушку, претворил неизъяснимый восторг влюбленного юноши в лютую и горькую муку. Спустя всего каких-нибудь четыре часа после того, как Чимоне расстался с родосцами,

спустилась ночь, от коей Чимоне ожидал больших приятств, нежели от какой-либо еще в своей жизни, но с наступлением ночи вдруг поднялась страшнейшая буря, небо заволочло тучами, на море заходил буйный ветер, все растерялись и не знали, в каком направлении двигаться, корабль швыряло так, что моряки не могли удержаться на ногах, а уж об исполнении обязанностей и думать было нечего. Легко себе представить, в каком отчаянии пребывал Чимоне. Ему казалось, что боги исполнили его желание лишь для того, чтобы тем горше было ему умирать, тогда как, не будь с ним Ифигении, он встретил бы смерть спокойно. Пали духом и его товарищи, но всех более — Ифигения: она плакала навзрыд и пугалась каждой новой волны, ударявшейся о борт корабля. Рыдая, Ифигения осыпала страшными проклятиями Чимоне с его любовью, возмущалась его удалством и уверяла, что свирепую эту бурю наслали на них боги: они воспрепятствовали тому, чтобы он, посмевшийся взять ее, Ифигению, за себя наперекор их воле, осуществил дерзостное свое намерение, — они обрекли его на то, чтобы он сначала явился свидетелем ее гибели, а затем и сам бесславно погиб. Все громче и громче стелая, не зная, что предпринять, ибо ветер усиливался, моряки, ничего не видя и не представляя себе, куда они идут, приблизились к острову Родосу. Не поняв, что это Родос, они напрягли нечеловеческие усилия, дабы высадиться и спастись. Судьба им благоприятствовала: она привела их в небольшой залив, куда незадолго до них вошли на своем корабле отпущенные Чимоне родосцы. Не успели они сообразить, что это остров Родос, как занялась заря, небо прояснело, и они увидели, что находятся на расстоянии выстрела из лука от корабля, который они за день до того отпустили. Удрученный этим обстоятельством, опасаясь как раз того, что потом с ними и случилось, Чимоне приказал во что бы то ни стало отсюда выбраться, а там, мол, будь что будет: все равно хуже того, что с ними приключилось, быть уже не может. Сверхъестественные усилия моряков оказались, однако ж, тщетными: крепчайший ветер, дувший в противную сторону, не только не дал им выйти из заливчика, но, вопреки их стараниям, пригнал их обратно к берегу. Как скоро они причалили, их узнали сошедшие со своего корабля родосцы. Один из них помчался в ближайшую деревню, куда пошли знатные родосские юноши, и сообщил им, что судьба забросила сюда и Чимоне с Ифигенией. Те, възграв духом, взяли с собой множество поселян, поспешили к морю, и Чимоне, вместе со своими спутниками ступивший на сушу и надеявшийся укрыться в ближнем лесу, был ими схвачен вместе с товарищами, с Ифигенией и приведен в деревню. С целым отрядом вооруженных людей прибыл сюда из города правивший тогда Родосом Лизимах и препроводил Чимоне и его товарищей в тюрьму, чего как раз и добивался Пазимунд, узнавший о происшедшем и подавший жалобу в родосский сенат.

Так несчастный влюбленный Чимоне, только успев похитить Ифигению и сорвать с ее уст поцелуй, принужден был с нею расстаться. Родосские знатные дамы приютили Ифигению и пытались приободрить ее, так как она все еще не могла опомниться после похищения и после

того, что она натерпелась в бурю; они предложили ей до свадьбы пожить у них. Чимоне и его сообщникам в награду за то, что они отпустили родосских юношей, была дарована жизнь, хотя Пазимунд добивался для них смертной казни, — они были приговорены к пожизненному заключению. Нетрудно вообразить, что отчаяние их было безысходно; что же касается Пазимунда, то он всячески старался приблизить день свадьбы.

Но вот тут-то судьба, раскаявшись, как видно, в том, что обошлась с Чимоне столь круто и столь несправедливо, отыскала для него путь к спасению. У Пазимунда был брат по имени Ормизд, хоть и моложе его, но несколько не хуже, и вот этот-то самый Ормизд давно уже искал руки родовитой и красивой девушки, местной жительницы по имени Кассандра, которую страстно любил Лизимах, однако же свадьба по разным причинам неоднократно расстраивалась. И вот Пазимунд в преддверии высокаторжественного своего бракосочетания, дабы избежать лишних расходов, сопряженных с празднеством, рассудил за благо отпраздновать заодно и свадьбу Ормизда. Того ради он вновь вступил в переговоры с родителями Кассандры, получил их согласие, и тогда оба брата вместе с родителями Кассандры порешили, что в один и тот же день Пазимунд женится на Ифигении, а Ормизд — на Кассандре. Лизимах пришел от того в великое отчаяние, ибо до сих пор у него все еще теплилась надежда, что если с Ормиздом у Кассандры дело разойдется, Кассандра непременно достанется ему. Но так как он был человек благоразумный, то горе свое затаил и, раздумывая о том, как бы это расстроить свадьбу, пришел к заключению, что самый верный способ — это похищение. Власть, которою он пользовался, облегчала ему осуществление его замысла, однако ж он полагал, что если б он не стоял у кормила власти, честь его пострадала бы меньше. В конце концов, после долгих колебаний, любовь осилила чувство чести, и он порешил во что бы то ни стало похитить Кассандру. Подумав же о сообщниках и о том, как это лучше всего привести в исполнение, он вспомнил о Чимоне и его товарищах, которых он содержал в тюрьме, и пришел к мысли, что лучше и надежнее сообщника для такого дела, чем Чимоне, ему не найти.

Того ради он велел тайно привести к нему ночью Чимоне и обратился к нему с такими словами: «Чимоне! Боги — всещедрые податели благ, они же суть мудрейшие испытатели человеческой доблести, и тех, что выказали стойкость и твердость во всех случаях жизни, они, как наиболее достойных, наивысшей отличают наградой. Так вот, они пожелали, чтобы ты повел себя еще достойнее, нежели в дому отца твоего, а я знаю твоего отца как обладателя несметных богатств. Я слышал, что с помощью язвительных мук любви они прежде всего превратили тебя из неразумного животного в человека, а затем, подвергнув тяжкому испытанию и заключив в мрачное узилище, положили удостовериться, стал ли ты менее отважен после того, как тебе довелось недолго радоваться захваченной добыче. Если отвага твоя осталась прежней, то никогда еще их благостыня не была столь великой и щедрой, как та, которую они ныне восхотели уготовать тебе, а в чем она будет заключаться, это

я тебе сейчас объясню, дабы ты оживился и воспрял духом. Пазимунд радуется твоему несчастью, ищет твоей гибели и делает все для того, чтобы ускорить свой брак с Ифигенией и воспользоваться добычей, которую благоприятствовавшая тебе судьба сначала тебя осчастливила, дабы потом, внезапно разгневавшись, ее у тебя отнять. Как ты сейчас должен страдать, — если только ты в самом деле любишь Ифигению, — это я знаю по себе: такую же точно рану в тот же день нанесет мне брат его Ормизд из-за Кассандры, которую я люблю больше всего на свете. Для того чтобы предотвратить эту напасть, эту несправедливость судьбы, у нас с тобой по воле все той же судьбы не остается иного средства, как бодрость нашего духа и крепость наших десниц, каковыя должно вооружить мечами, дабы ты проложил себе путь к вторичному похищению своей любимой, мне же предстоит похитить мою любезную впервые. Так вот, если ты мечтаешь не о том, чтобы возвратить себе свободу, — сколько я могу судить, свобода без твоей любимой не представляет для тебя особой ценности, — а о том, чтобы воссоединиться с твоей любимой, то прими участие в моем начинании, и боги отдадут ее тебе».

Эти слова подняли упавший дух Чимоне, и он не замедлил на них ответить: «Лизимах! Для такого дела ты не сыщешь себе товарища более стойкого и более верного, чем я, если только я получу обещанную награду, а потому поручи мне то, что от меня требуется, и ты увидишь, на какие чудеса храбрости я способен».

Лизимах же ему сказал: «Послезавтра обе молодые впервые войдут в дом своих супругов; туда же к вечеру явлюсь и мы: ты — с вооруженными своими товарищами, я — с теми, на кого всецело полагаюсь, в разгар свадебного пира похитим их обеих и посадим на корабль, который, по моему тайному приказанию, уже готов к отплытию; тех же, кто вздумает оказать нам сопротивление, мы всех до одного перебьем».

Чимоне замысел сей одобрил и стал спокойно ждать в тюрьме условленного дня и часа.

По случаю свадьбы было устроено великое и пышное торжество; каждый уголок в доме братьев был преисполнен праздничного веселья. В урочный час, когда похитители были наготове, Лизимах, дабы поднять сообщников на такое дело, обратился к ним с продолжительной речью, а затем разделил товарищей Чимоне, равно как и своих друзей, — все они прятали под платьем оружие, — на три отряда и один отряд тайком направил в гавань, чтобы в случае чего никто не помешал им сесть на корабль, другой поставил у входа в дом Пазимунда, чтобы никто не смог запереть двери изнутри или же еще как-либо заградить им выход, во главе же третьего отряда, вместе с Чимоне, поднялся по лестнице. Войдя в зал, где обе молодые, а равно и многие другие женщины, сидели за пиришественным столом на отведенных для них местах, Лизимах и Чимоне опрокинули столы, схватили своих возлюбленных, передали их с рук на руки сообщникам и приказали, нимало не медля, отнести на стоявший под парусами корабль. Молодые заплакали, закричали, заплакали гости, слуги, — словом, шум и крик поднялся во всем доме. Между тем Чимоне и Лизимах, а также их сообщники, с мечами наголо, не



встретив сопротивления, достигли лестницы, ибо все перед ними расступались. Когда же они начали спускаться, то увидели Пазимунда, который, будучи привлечен шумом, с большой палкой в руке поднимался по лестнице, но тут Чимоне ударом меча рассек ему голову надвое, и тот пал бездыханный. Когда же на помощь брату прибежал злосчастный Ормизд, то Чимоне сразил и его, тех же, кто попытался броситься на незваных гостей, сообщники Лизимаха и Чимоне ранили или же отбросили. Покинув дом, где все было полно крови, слез, стонов и воплей, Лизимах и Чимоне, упоенные победой, беспрепятственно добрались до гавани, сели вместе со всеми своими сообщниками на корабль, где уже находились их возлюбленные, и, пока люди с оружием в руках сбегались на берег, чтобы отбить похищенных девушек, весело отчалили.

На острове Крит, где родные и знакомые очень им обрадовались, они женились на своих возлюбленных и, торжественно отпраздновав свадьбу, стали наслаждаться драгоценной своей добычей. После этого происшествия и Кипр и Родос долго не могли успокоиться и утихомириться. Наконец и с той и с другой стороны вмешались родные и знакомые и добились того, что, пробыв некоторое время в изгнании, Чимоне и Ифигения возвратились на Кипр, Лизимах же с Кассандрой — в Родос, и потом все четверо долго еще благоденствовали у себя на родине.





*Костанца любит Мартуччо Гомито;  
услышав, что он погиб, и впав в отчаяние,  
она одна садится в лодку, и ее ветром относит к Сузе;  
некоторое время спустя он предстает перед ней,  
живой и здоровый, в Тунисе, и узнает ее;  
за время их разлуки Мартуччо, погав королю мудрый совет,  
становится его приближенным;  
обручившись с Костанцей, Мартуччо богатым человеком  
возвращается на Липари*



оролева, поняв, что Панфило досказал свою повесть, и весьма одоблив ее, велела рассказывать Эмилии, и та начала так:

— Мы все должны радоваться, когда истинное чувство получает достойное вознаграждение, а так как любовь — чувство скорее отрадное, нежели грустное, то я охотнее повинуюсь королеве, нежели вчерашнему нашему королю, ибо мне приятнее толковать о том предмете, который предложила она.

Итак, добросердечные дамы, вам должно быть известно, что близ острова Сицилия находится островок Липари, где еще недавно жила красotka, дочь благородных родителей, местных уроженцев, по имени Костанца, которую любил житель того же острова, молодой человек по имени Мартуччо Гомито, пригожий, честных правил и в своем деле мастак. Она же отвечала ему взаимностью и только о нем и помышляла. Имея намерение жениться на Костанце, Мартуччо сказал ей, чтобы она попросила у отца благословения, однако ж отец из-за того, что Мартуччо был человек бедный, благословения своего не дал. Мартуччо, уязвленный тем, что его отвергли единственно потому, что он беден, снарядил вместе со своими родственниками и друзьями суденышко и поклялся, что если не разбогатеет, то на Липари не вернется никогда. Того ради он стал пиратом и, держась берегов Берберии, нападал на всех, кто был послабее. Судьба же благоприветствовала ему до тех пор, пока он не зарвался. Он и его товарищи в короткий срок сказочно разбогатели; тут бы им и остановиться, но им все было

мало; дело кончилось тем, что на них напали сарацины и, сломив упорное их сопротивление, захватили их, ограбили, почти что всех побросали в море, судно потопили, а Мартуччо отвезли в Тунис и засадили в тюрьму, и здесь он долгое время томился.

На Липари не один и не двое, а многие и самые разные люди передавали за верное, что всех, кто был с Мартуччо на его суденышке, утопили. Когда Мартуччо оставил Липари, Костанца изнывала от тоски; как же скоро до нее дошла весть, что он погиб вместе с прочими, она долго плакала, а затем решилась покончить все счеты с жизнью, но так как у нее не достало мужества что-либо над собой учинить, то она задумала предпринять такой шаг, чтобы смерть была для нее неизбежной. И вот тайком, в ночную пору, уйдя из отчего дома, она добралась до гавани и случайно обнаружила на некотором расстоянии от судов рыбацью лодку с мачтой, парусом и веслами, — как видно, хозяева только что из нее вышли. Прыгнув в лодку и отгребясь от берега, — Костанца, подобно всем островитянкам, обладала моряцкой сноровкой, — она поставила парус и, не прикоснувшись ни к веслам, ни к рулю, отдалась на волю ветра в надежде на то, что ветер либо опрокинет пустую и никем не управляемую лодку, либо ударит и разобьет ее о скалу, — ни в том, ни в другом случае Костанца при всем желании ничего не могла бы поделать и, вне всякого сомнения, пошла бы ко дну. Завернувшись с головой в мантилью, она легла и заплакала.

Судьба, однако ж, распорядилась иначе: дула легкая трамонтана, море было тихое, лодку не качало, и к вечеру следующего дня ее отнесло миль на сто выше Туниса, туда, где расположен город Суза. Костанце не для чего было поднимать голову, да она и дала себе слово не подниматься, а потому и не поняла, что находится скорей на суше, чем на море. Когда же лодка врезалась в берег, там случайно оказалась одна бедная женщина, — она убирала сушившиеся на солнце рыбацьи сети. Ей показалось странным, что лодке с раздутым парусом дали врезаться в берег, и, решив, что рыбаки, уж верно, уснули, она приблизилась к лодке, но не обнаружила никого, кроме девушки, спавшей крепким сном; несколько раз она ее окликала, наконец добудилась и, догадавшись по одежде, что девушка — христианка, спросила ее по-итальянски, как это она одна отважилась пуститься в плаванье на этой лодке. Костанца, услышав итальянскую речь и вообразив, что противным ветром ее пригнало обратно к Липари, живо вскочила и огляделась по сторонам, однако тут же уверилась, что хотя она и у самого берега, но местность ей не знакома, и спросила женщину, где она.

«Ты, дочка, находишься в Берберии, неподалеку от Сузы», — отвечала женщина.

Костанца, удрученная тем, что бог не послал ей смерть, боясь за свою девичью честь, совсем растерялась, села возле лодки и давай плакать. Добрая женщина сжалилась над нею, уговорила зайти к ней в лачужку, обласкала, и Костанца, доверившись ей, рассказала, какими судьбами она здесь очутилась. Узнав, что девушка ничего не ела, добрая женщина умолила ее съесть хоть немного черствого хлеба, рыбы и вы-

пить воды. Костанца спросила, кто она и почему говорит по-итальянски. Та ответила, что она из Трапани, что зовут ее Карапрезой и что она прислуживает рыбакам-христианам. Услыхав, что ее зовут Карапрезой, Костанца, хотя и скорбела душой, сочла это, сама не зная почему, добрым предзнаменованием, в ней зародилась неясная ей самой надежда, и теперь ей уже не так хотелось умереть. Не говоря, кто она и откуда, Костанца Христом-богом стала молить добрую женщину, чтобы та пожалела ее молодость и научила, как ей избежать обесчещенья.

Выслушав Костанцу, Карапреза по доброте душевной оставила ее у себя в лачуге, а сама побежала убирать сети, потом вернулась, набросила на нее свою накидку и повела в Сузу, а когда они вошли в город, она ей сказала: «Костанца! Я тут часто помогаю по хозяйству одной предоброй сарацинке, вот я тебя к ней и отведу: она — старушка душевная, я ее попрошу хорошенько, и ты можешь быть уверена: она тебя к себе пустит, и будешь ты у нее заместо родной дочери, только уж ты постарайся ей угодить и заслужить ее любовь, а господь тебя не оставит». И как она сказала, так и сделала.

Престарелая сарацинка, выслушав Карапрезу, пристально посмотрела на Костанцу, заплакала, потом обняла ее, поцеловала в лоб и провела к себе в дом, — здесь, помимо нее, проживало еще несколько женщин, мужчин же в доме не было; женщины рукодельничали и выделяли всевозможные вещицы из шелка, из пальмового дерева и из кожи. Спустя несколько дней Костанца кое-чему уже научилась, работала вместе со всеми и снискала такое благорасположение и любовь добросердечной хозяйки и мастериц, что нельзя было этому не подивиться. В короткий срок они обучили ее своему языку.

Итак, Костанца жила в Сузе, домашние, не имея от нее никаких вестей, решили, что она умерла, и оплакали ее, а в это время некий весьма знатный и могущественный юноша из Гранады, объявив, что королевство Тунисское принадлежит ему, двинул на короля тунисского Мариабдела многочисленное войско с целью отнять у него королевство.

Весть о том проникла и под своды темницы, а так как Мартуччо Гомито отлично знал берберский язык, то понял из разговоров, что король тунисский деятельно готовится к обороне, и сказал одному из тюремщиков: «Если б мне предоставили возможность поговорить с королем, я бы осмелился преподать ему один совет, и он бы в этой войне победил».

Тюремщик передал эти слова смотрителю тюрьмы, — тот не замедлил доложить королю. Король велел привести Мартуччо, и Мартуччо на вопрос о том, какого рода совет намерен он преподать, ответил так: «Государь! Мне приходилось бывать в ваших странах и наблюдать за тем, как вы сражаетесь, — если не ошибаюсь, главные силы вашего войска — это лучники; так вот, если б у неприятеля была нехватка стрел, а у вас их было бы достаточно, то вы наверняка выиграли бы сражение».

«Если бы дело обстояло таким образом, я бы в победе не сомневался я», — заметил король.

«Вам стоит только захотеть, государь, а добиться этого легко, и вот каким образом, — подхватил Мартуччо, — прикажите изготовить для ваших луков более тонкую тетиву, нежели та, какая обыкновенно применяется, а на стрелах сделать надрезы с таким расчетом, чтобы они как раз подошли к тонкой тетиве, но только это должно держать в строжайшей тайне, иначе неприятель проведает и что-нибудь да изобретет в противовес. А совет я вам даю такой вот почему: как скоро лучники из вражеского войска расстреляют все свои стрелы, а ваши лучники расстреляют свои, то, как это вы легко можете себе представить, лучники из вражеского войска вынуждены будут во время боя подбирать стрелы, выпущенные вашими лучниками, тогда как ваши лучники примутся подбирать выпущенные врагами, однако ж враги не сумеют воспользоваться стрелами, которые были расстреляны вашими воинами, оттого что толстая тетива к узкому надрезу не подойдет, а вот вражьи стрелы вашим воинам пригодятся: у врагов стрелы — с широким надрезом, и для них тонкая тетива — не помеха. И получится так, что стрел у ваших воинов будет сколько угодно, меж тем как вражеским лучникам придется туго».

Король был человек мудрый, и он тотчас сообразил, что Мартуччо дает ему дельный совет. Он в точности исполнил все, что тот ему предлагал, и одержал победу, Мартуччо же через то вошел к нему в милость и стал человеком влиятельным и богатым.

Слух о том облетел страну, и тут Костанца узнала, что Мартуччо Гомито, которого она давным-давно мысленно похоронила, жив, вследствие чего ее любовь к нему, уже охладевшая, внезапно возгорелась с новою силой и, окрепнув, воскресила увядшую надежду. Тогда она поведала доброй своей хозяйке все, что с ней приключилось, и сказала, что ей хочется поехать в Тунис, дабы взор ее насытился лицезрением того, чем пленился ее слух, коего достигла радостная весть. Старушка вполне одобрила это намерение и, как бы поступила родная мать, села с ней в лодку, и обе отправились в Тунис, а в Тунисе их приютила родственница старушки. Их сопровождала Карапреза, и родственница старушки послала ее разузнать про Мартуччо, — та сообщила, что Мартуччо жив и занимает высокий пост. Тогда добрая женщина возымела желание самолично довести до сведения Мартуччо, что его Костанца находится здесь.

Она пошла к нему и сказала: «Мартуччо! Из Липари приехал твой слуга и остановился у меня, — ему надобно поговорить с тобой без свидетелей. Впутывать сюда кого-либо еще он побоялся и сходить за тобой попросил меня». Мартуччо поблагодарил женщину и пошел к ней.

Костанца, увидев его, чуть не умерла от радости; не совладав с собой, она кинулась к нему, обвила его шею руками и, под наплывом воспоминаний о былых невзгодах и наступившего блаженства, тихо, безмолвно заплакала. Мартуччо первое время стоял как вкопанный — так он был поражен, затем, испустив вздох облегченья, воскликнул: «Так ты жива, моя Костанца? Я слышал, что ты исчезла, у нас на родине давно никто о тебе ничего не знает». И тут он прослезился от умиленья, обнял ее

и поцеловал. Костанца рассказала ему о всех своих злоключениях, а также о том, как хорошо ей жилось у почтенной старушки.

Долго не мог Мартуччо наговориться со своею возлюбленной, наконец пошел к государю и поведал все, что ему и Костанце пришлось испытать, а затем попросил дозволения по христианскому закону с ней обвенчаться. Король, придя в изумление, послал за Костанцей и выяснил из ее слов, что Мартуччо говорил истинную правду. «Ты вполне заслужила себе такого мужа», — рассудил он. Вручив и ей и Мартуччо великие и богатые дары, он дозволил им устраивать свое счастье по их собственному благоусмотрению. Мартуччо, прощаясь с почтенной старушкой, пригревшей Костанцу, обратился к ней с прочувственными словами, изъявил ей свою признательность за все, что она сделала для Костанцы, одарил ее с той щедростью, какой она заслуживала, и сказав ей: «Оставайтесь с богом», — вместе с Костанцей, которая не могла удержаться от слез, удалился. Затем, с дозволения короля, Мартуччо, Костанца и Каррапреза, которую они взяли с собой, сели на быстроходный корабль, а так как ветер был попутный, то они скоро прибыли на Липари, где их ожидала несказанно торжественная встреча. Здесь Мартуччо женился на Костанце, справил пышную, великолепную свадьбу, и потом они еще долго в мире и согласии наслаждались своим счастьем.





*Пьетро Боккамацца и Аньолелла совершают побег;  
на них нападают разбойники;  
Аньолелла скрывается в лесу, а затем ее отводят в замок;  
разбойники окружают Пьетро, но ему удается спастись;  
пройдя ряд испытаний, он попадает в замок,  
здесь встречается с Аньолеллой, женится на ней,  
а затем они вместе возвращаются в Рим*



се единодушно одобрили повесть Эмилии. Уверившись в том, что повесть окончена, королева велела рассказывать Элиссе; покорная ее воле, Элисса начала так:

— Дражайшие дамы! Мне вспомнилось, какую страшную ночь пришлось однажды провести не весьма благоразумным влюбленным, но так как за этой ночью последовало много счастливых дней, то я полагаю, что мне можно об этом рассказать, коль скоро это подходит к сегодняшнему нашему предмету.

В Риме, который когда-то был главою целого мира, меж тем как в наши дни он являет собою не более, как его хвост, не так давно жил юноша по имени Пьетро Боккамацца, из весьма почтенной римской семьи, и вот этот самый Пьетро влюбился в красивую, очаровательную девушку по имени Аньолелла, дочь некоего Джильоццо Саулло, человека низкого звания, снискавшего себе, однако, уважение римлян. Влюбившись в девушку, Пьетро достигнул того, что и она его полюбила не менее страстно. Палимый огнем своего чувства, не в силах долее терпеть тяжкую муку желаний, он к ней посватался. Проведав о том, его родственники, все, как один, напустились на него, и ему от них как следует влетело за этот его шаг, а кроме того, они велели передать Джильоццо Саулло, чтобы он не вздумал дать Пьетро согласие, — все равно, мол, они его ни за друга, ни за родственника почитать не станут. Убедившись, что единственный путь, каким он хотел прийти к пределу своих мечтаний, заказан, Пьетро чуть не умер от горя. Если бы Джильоццо благословил их, он бы женился на Аньолелле наперекор всей своей родне. Несмотря

ни на что, он был полон решимости соединиться с нею, и теперь ему оставалось одно: заручиться ее согласием. Узнав через третье лицо, что она готова на побег, он сговорился с нею бежать из Рима. Все для этого приготовив, Пьетро однажды встал спозаранку, оба они сели на коней и направили путь в Аланью, где у Пьетро были верные друзья. Дорогой им было не до сближения — они боялись погони, а потому довольствовались до времени тем, что изъяснялись друг дружке в любви и время от времени целовались.

На беду, Пьетро плохо знал дорогу, и когда они уже миль на восемь отъехали от Рима, то, вместо того чтобы взять вправо, свернули налево. Не успели они проехать и двух миль, как впереди показался замо́к, — из замка их увидели, и оттуда с оружием в руках выбежало человек двенадцать. Увидев их, когда они были уже совсем близко, девушка крикнула: «Спасайся, Пьетро! На нас хотят напасть!» — и, держась за луку седла и пришпорив коня, погнала его к темному лесу, а конь, почувствовав шпоры, помчал ее во весь дух.

Пьетро смотрел не столько на дорогу, сколько на свою спутницу, — потому-то она раньше него и заметила вооруженных людей, и пока он, никого еще не видя, озирался, они успели на него напасть, окружили его, стащили с коня и спросили, кто он таков; когда же он им ответил, они посоветовались между собой и сказали: «Он — друг недругов наших. Чего тут долго думать? Снять с него одежду, отнять коня, а самого, назло всем Орсини, повесить на любом из этих дубов». Вынеся такой приговор, они велели Пьетро раздеться. Однако ж, в то время как он, понимая, что ему несдобровать, снимал с себя одежду, нежданно-негаданно выскочили из засады человек двадцать пять и с криком: «Смерть вам! Смерть вам!» — ударили на тех, кто чинил расправу над Пьетро. Застигнутые врасплох, они бросили Пьетро и начали было защищаться, однако, убедившись в превосходстве сил противника, пустились наутек, а те погнались за ними. Тут Пьетро схватил свои вещи, вскочил на коня и во весь его мах помчался по той дороге, по которой на его глазах умчалась Аньолелла. Когда же он уверился, что ему не грозит опасность вновь быть пойманными теми, кто на него напал, или же угодить в лапы к тем, кто устроил засаду им, то, оглядевшись, не различил в лесу ни дорог, ни троп, ни следов от конских копыт, — его возлюбленная исчезла, и он в лютой тоске стал кружить по лесу, звал ее и плакал. Ответом ему было молчание, и он не знал, что делать: повернуть назад страшно; ехать вперед — неизвестно, куда выедешь. Помимо всего прочего, он боялся и за себя и за Аньолеллу, как бы на них не напали дикие звери, и ему уже чудилось, будто ее задавил медведь или загрыз волк. Так бедный Пьетро целый день ехал лесом, кричал, звал, и когда ему казалось, что он заехал слишком далеко вперед, то поворачивал назад; в конце концов от крика, от слез, от страха и голода он до того обессилел, что уже не мог ехать дальше. Между тем наступила ночь, и, чтобы укрыться от зверей, Пьетро, заметив высоченный дуб, рассудил за благо спешиться, коня привязать, а самому влезть на дерево. Немного спустя взошла луна, в лесу посветлело, однако Пьетро из боязни свалиться

с дерева так и не заснул; впрочем, если бы даже ему и не страшно было спать, черные думы об Аньолелле все равно отогнали бы от него сон, и он всю ночь бодрствовал, плача, стеная и проклиная судьбу.

А девушка, как я уже сказала, умчалась и, всецело положившись на своего коня, так углубилась в чащу леса, что потом уже не могла сообразить, с какой стороны она в него въехала. Потому-то и она, подобно Пьетро, день-деньской проплутала в лесной глуши, — шаг вперед, два назад, — сетовала, кричала и оплакивала горькую свою долю. Пьетро все не откликался; наконец, уже под вечер, конь ее набрел на тропинку и поехал по ней, а как проехал более двух миль, вдали показался домик, и тут Аньолелла припустила коня и увидела возле дома мужчину в преклонных годах и его супругу, престарелую, как и он.

Увидев, что девушка едет одна, они ее окликнули: «Как это ты, дочка, очутилась одна в такой поздний час в этих джунглях?»

Девушка, рыдая, ответила, что отстала в лесу от своих спутников, и спросила, как далеко отсюда до Аланьи. Добрый человек ей сказал: «Это, доченька, дорога не в Аланью, а до Аланьи отсюда двенадцать миль с лишком».

«А нет ли здесь поблизости селенья, где бы можно было переночевать?» — спросила девушка.

«От нас до ближайшего селенья за целый день не доедешь», — отвечал добрый человек.

«Раз мне до села не добраться, пустите меня, Христа ради, переночевать!» — взмолилась Аньолелла.

«Вот что, девушка, — молвил добрый человек. — Пустим мы тебя на ночь охотно, но почитаем за должное предупредить: по лесу и днем и ночью бродят шайки недобрых людей — и союзников и врагов, нам же от них одно беспокойство и немалый урон. Так вот, если, как на грех, лихие люди нагрянут к нам ночью и увидят тебя, такую молодую да пригожую, они над тобой надругаются, обесчестят, а мы тебе ничем помочь не сможем. Все это мы говорим к тому, чтобы в случае чего ты на нас не пеняла».

Аньолеллу слова старика напугали, но час был поздний, и она обратилась к старику с такою речью: «Если богу будет угодно, он и вас и меня избавит от этой напасти, но если даже так именно и случится, то пусть уж лучше меня замучают люди, нежели растерзают в лесу дикие звери».

Тут она, сойдя с коня, вошла в дом бедняка, хозяева разделили с ней скудную свою трапезу, а затем она, как была, одетая, легла рядом с ними на убогое их ложе и всю ночь напролет вздыхала и оплакивала свою долю, а также долю Пьетро, ибо она склонялась к мысли, что его постиг печальный конец. Перед зарею внезапно послышался громкий топот; Аньолелла мигом вскочила и, выбежав на широкий двор за домиком, увидела стог сена — туда-то она и поспешила забраться, чтобы подъехавшим людям не так-то просто было ее найти. Только успела она схорониться, как подъехавшие люди, — то была целая шайка злодеев, —



приблизилась к дверям домика, крикнули, чтобы им отворили, вошли и спросили, чей это нерасседланный конь.

Добрый человек, удостоверившись, что девушка спряталась, ответил: «Мы одни во всем доме. Этот конь, как видно, отбилсЯ от хозяина и вчера вечером прибежал к н а м , — мы его спрятали от волков».

«Коли нет у него хозяина, стало быть, мы его возьмем с е б е », — рас-судил главарь.

Тут разбойники разбрелись по всему домику, некоторые пошли во двор и сложили свои щиты и копыя, один же из них от нечего делать метнул копье в стог и чуть не убил прятавшуюся там Аньолеллу, а она едва себя не выдала: копье пролетело так близко от левой ее груди, порвав на ней платье, что ей показалось, будто ее пронзило копьем, и она чуть было не вскрикнула, однако ж, вспомнив, где она, скрепилась. Разбойники, кто здесь, кто там, принялись за еду, запивая вином козлятину и другое мясо, а затем собрались и уехали, уведЯ с собой коня Аньолеллы.

Как скоро они удалились, добрый человек обратился к жене: «Где же наша вчерашняя гостья? Когда я встал, ее уже не было».

Жена ответила, что тоже не видела ее, и они отправились на поиски.

Услыхав, что разбойники уехали, девушка выбралась из стога, и добрый человек, увидев ее, очень обрадовался, что она не попала в руки разбойников, а так как уже занялся день, то он предложил ей: «Сейчас уже светло. Если хочешь, мы тебя проводим до з а м к а , — это в пяти милях от с ю д а , — там ты будешь в безопасности, но только тебе придется идти пешком: коня твоего увели злодеи». Аньолелла с этим примирилась и сказала хозяевам: ради бога, мол, уведите меня в замок. Все трое направились к замку и в половине восьмого утра были уже там.

Замок принадлежал одному из Орсини, которого звали Льелло ди Кампо ди Фьоре, и по счастливой случайности здесь тогда находилась его супруга — добрейшая, святая душа. Владелица замка тотчас узнала Аньолеллу, обрадовалась ей и попросила рассказать во всех подробностях, каким образом она здесь очутилась. Аньолелла поведала ей все без утайки. Пьетро был другом мужа владелицы замка, поэтому она знала и его и была крайне огорчена, услышав о том, что с ним приключилось. Она не сомневалась, что раз его схватили разбойники, значит, его уже нет в живых. И она сказала Аньолелле: «Раз ты ничего не знаешь о Пьетро, то поживи у меня — до тех пор, пока я не смогу с ручательством за твою безопасность доставить тебя в Рим».

Между тем Пьетро в неописуемом отчаянии сидел на дубу, как вдруг, в ту пору, когда добрые люди еще только первый сон видят, большущая стая волков окружила его коня. ПочувЯ волков, конь мотнул головой, порвал поводья и побежал, но тут волки приблизились к нему вплотную и, сколько он ни кусал их и ни лягал, в конце концов повалили, вцепились ему в горло, в брюхо, растерзали, сожрали и, оставив от него одни кости, ушли. Конь этот был верным товарищем Пьетро и опорой в беде, и теперь, утратив его, он окончательно пал духом и решил, что ему не выбраться из леса. Уже занималась заря, а он все еще трясся на дубу от холода, оглядывался по сторонам — и вдруг на расстоянии примерно одной мили

увидел яркий огонь. Когда окончательно рассвело, он с некоторым страхом спустился на землю и, пойдя прямо на огонь, вскоре увидел костер, а вокруг костра пастухов, сидевших за едой и балагуривших, — пастухи сжалились над ним и приняли в свою компанию. Пьетро сначала наелся, согрелся, а потом рассказал пастухам, какая с ним стряслась беда, как он оказался здесь в совершеннейшем одиночестве, и спросил, нет ли тут поблизости селения или замка, где бы он мог остановиться. Пастухи сказали, что милях в трех отсюда находится замок Льялло ди Кампо ди Фьоре и что там сейчас живет его супруга. Пьетро был очень рад этому обстоятельству и попросил проводить его до замка — два пастуха охотно согласились. В замке Пьетро встретил кое-кого из своих знакомых, и первую его мыслью было — как бы поскорей начать искать в лесу Аньолеллу, но тут его позвали к владелице замка, и когда он, нимало не медля, вошел к ней, то увидел Аньолеллу, и радости его не было границ. Он чуть было не обнял ее, но постеснялся хозяйки. И если был счастлив он, то не менее счастлива была Аньолелла.

Почтенная дама поздоровалась с Пьетро, приветствовала его, но когда он все рассказал ей о себе, она изъявила ему крайнее свое неудовольствие за то, что он не послушался родных. Видя, однако ж, что его упорство не сломишь, а что девушка его любит, она рассудила так: «Да мне-то что, в конце концов? Они друг друга любят, они друг друга знают, оба хороши с моим мужем, цель у них благая, и, должно полагать, так угодно богу, раз его он избавил от виселицы, ее — от копья и обоих — от диких зверей. Видно, так тому делу и быть». И тут она обратилась к ним: «Женитесь, я за вас, быть по сему. Свадьбу мы отпразднуем за счет Льялло, а уж я сумею помирить вас с родными».

Возликовавший Пьетро и еще сильнее, чем он, возвеселившаяся духом Аньолелла немедленно обручились. Почтенная дама устроила им пышное свадебное торжество, какое только можно было устроить в глухом лесу, и здесь они впервые вкусили от сладчайших плодов своей любви. А несколько дней спустя владелица замка, Пьетро и Аньолелла верхом на конях, под надежной охраной возвратились в Рим. Родственники Пьетро были на него очень злы, однако ж владелице замка удалось их всех помирить, и Пьетро с Аньолеллой счастливо и безмятежно дожили до старости.





*Мессер Лицио да Вальбона застаёт Риччардо Манарди со своею дочерью;  
помирившись с мессером Лицио, Риччардо на ней женится*



огда Элисса умолкла, королева, выслушав похвалы, коими осыпали повесть Элиссы подруги, велела рассказывать Филострато, и он, усмехнувшись, начал так:

— Многие из вас рассердились на меня за то, что я избрал предмет, вызывающий слезы и наводящий на грустные размышления, а потому я долгом своим почитаю хотя бы частично вознаградить вас за тоску, которую нагнали вчерашние рассказы, и немножко вас посмешить. Того ради я хочу рассказать короткую повесть о любви, в коей не будет прискорбных событий, а будут лишь воздыхания, кратковременный страх и стыд, — повесть со счастливым концом.

Словом сказать, достойные дамы, не так давно жил в Романье некий добропорядочный дворянин по имени Лицио да Вальбона со своей женой Джакоминой, и уже на закате их дней у них неожиданно родилась дочь, которая, войдя в возраст, превзошла красотой и очарованием всех девушек той округи, а так как это была единственная дочь, то родители души в ней не чаяли, холили ее, берегли пуще глаза и надеялись подыскать для нее наивыгоднейшую партию. У мессера Лицио часто бывал и сделался у него в доме своим человеком здоровый, пригожий юноша по имени Риччардо, из рода Манарди да Бреттиноро; мессер Лицио и его жена так же мало остерегались Риччардо, как если б то был их родной сын, а Ричардо чуть не с первого взгляда без памяти

влюбился в их дочь, прелестную, обворожительную девушку, прекрасно себя державшую, примерного поведения и уже на выданье, однако любовь свою тщательно скрывал. А девушка, уверившись в его любви к ней, и не подумала уклоняться от его стрел, — напротив, она сама полюбила Ричардо, и Ричардо был от этого наверху блаженства.

Много раз порывался он с ней объясниться, но его удерживал страх; наконец однажды, улучив минутку и собравшись с духом, он ей сказал: «Катерина! Не дай мне умереть от любви!»

А девушка ему на это: «Дай бог, чтобы я-то не умерла от любви к тебе!»

Этот ее ответ очень обрадовал и ободрил Ричардо, и он сказал ей: «Ради тебя я готов на все, от тебя же зависит сохранить твою и мою жизнь».

Девушка ему на это сказала: «Ты сам знаешь, Ричардо, какой строгий за мной надзор, и как ты ко мне проникнешь — просто ума не приложу. Впрочем, если ты сыщешь способ, который честь мою не сгубит, то открой мне его, а за мной дело не станет».

Ричардо успел уже все обмозговать, а потому ответил не задумываясь: «Милая Катерина! Я знаю только один способ: что, если б ты легла спать на балконе, который выходит к вам в сад? Когда б я наверное знал, что ты там, я бы непременно ухитрился ночью туда залезть, хотя это и высоко».

А Катерина ему: «Смотри не сробей, а я уж как-нибудь сумею расположиться там на ночь».

Ричардо дал слово, после чего они поцеловались украдкой и разошлись.

На другой день, — а дело было уже в конце мая, — девушка пожаловалась матери, что она не спала всю ночь из-за дикой жары.

«Какая там жара, дочка? — возразила мать. — Ночью совсем не было жарко».

А Катерина ей: «Это вам, матушка, так показалось. Примите в соображение, насколько у девушек кровь горячее, нежели у пожилых женщин».

«Может, оно и так, — возразила мать, — а все-таки я невольна в угоду тебе насыпать то зной, то прохладу. Жара и холод зависят от времени года. Может, эта ночь будет прохладнее, и ты уснешь».

«Дай-то бог, — молвила Катерина, — но только так не бывает, чтобы ближе к лету ночи становились прохладнее».

«Да ты чего хочешь?» — спросила мать.

«Если бы вы с батюшкой позволили, — отвечала Катерина, — я бы поставила на ночь кровать на балкон, который выходит в сад, рядом с батюшкиной комнатой: я бы слушала соловья и не задыхалась бы от жары, — там мне было бы лучше, чем у вас в спальне».

«Ну хорошо, дочка, — сказала мать, — я поговорю с отцом: как он скажет, так мы и сделаем».

Мессер Лицио заупрямился, — несговорчивость, видимо, усиливалась в нем с годами. «Что это ей вздумалось спать под пенью соловья? — проворчал он. — Я ей такого соловья покажу — она у меня и поддневной треск цикад заснет как убитая!»

Узнав, что сказал отец, Катерина не столько от жары, сколько с досады сама потом всю ночь глаз не сомкнула и матери спать не дала, — ей, дескать, душно неважно. Наутро мать пошла к мессеру Лицио и сказала: «Вижу я, государь мой, как вы любите свою дочку! Да пусть себе поспит на балконе — вам-то что? Ведь она всю ночь места себе не находила от жары. И почему вас удивляет, что ей нравится соловьиное пение? Наша девчушка еще так молода! А молодые девушки любят все, что говорит им о юности».

«Ну ладно, — рассудил мессер Лицио, — выбери для нее кровать, чтобы она устала на балконе, повесь полог, и пусть себе спит и слушает соловья, сколько душе угодно».

Узнав об этом разговоре, девушка тотчас же велела постелить ей на балконе, дождалась Ричхардо, подала условный знак, как ему надлежит действовать, а вечером вышла на балкон. Мессер Лицио, услышав, что дочка отправилась на покой, запер у себя в комнате балконную дверь и лег спать. Как скоро все в доме затихло, Ричхардо влез по лестнице на стену, с нее, держась за выступы, перелез на другую и в конце концов, с величайшим трудом и, в случае, если бы он сорвался, с опасностью для жизни, очутился на балконе, и тут его в безмолвном и упоительном восторге встретила девушка. Вдоволь нацеловавшись, они легли и почти всю ночь ублажали и услаждали друг дружку, и соловей у них пел песню за песней. Удовольствие оба получили великое, да ночи-то в мае короткие, но они про это забыли; уже светало, а они, изнемогшие и от жары, и от любовных игр, ничем не прикрывшись, уснули, причем Катерина правой рукой обняла Ричхардо за шею, а левой держала его за тот предмет, который вы особенно стесняетесь называть при мужчинах.

Так они безмятежным сном и проспали до рассвета, а на рассвете мессер Лицио встал и, вспомнив, что дочка спит на балконе, подумал: «Дай-ка я погляжу, каково нынче Катерине спится под пенью соловья», — и тихонько отворил дверь. Выйдя на балкон, мессер Лицио осторожно приподнял полог и увидел, что Ричхардо и его дочь, ничем не прикрытые, голые, спят, описанным мною способом обнявшись. Тотчас узнав Ричхардо, мессер Лицио пошел к жене и давай будить ее: «Вставай, вставай, жена! Пойди-ка погляди: твоей дочке так полюбился соловей, что она его поймала и держит в руке».

«Статочное ли это дело?» — воскликнула жена.

«Коли не замешкаешься, так сама увидишь», — молвил мессер Лицио.

Жена второпях оделась и на цыпочках проследовала за супругом. Когда же они оба приблизились к ложу и подняли полог, то донна Джакомина получила возможность увидеть воочию, как ее дочка

держала в руке пойманного соловья, пенье которого она так мечтала послушать.

Признав Ричхардо за великого обманщика, мать хотела было крикнуть и отругать его на чем свет стоит, однако ж мессер Лицио сказал ей на ухо: «Жена! Если ты не хочешь, чтобы мы с тобой поссорились, то придержи язык — коли она его словила, так пусть уж не отпускает. Ричхардо — юноша знатный и богатый, более выгодной партии не сыщешь. Если он предпочтет, чтобы мы с ним покончили дело миром, то пусть наперед обручится с нею, и тогда, значит, выйдет так, что соловья-то он в свою клетку посадил, а не в чужую». Видя, что муж не злобствует, и помыслив о том, что дочка славно провела ночь, хорошо отдохнула и поймала соловья, мать успокоилась и как воды в рот набрала.

Малое время спустя пробудился Ричхардо. Увидев, что уже рассветло, он пришел в ужас и, разбудив Катерину, сказал: «Ах, моя радость! Как быть? На дворе белый день — что ж теперь со мной будет?»

Тут мессер Лицио шагнул и, подняв полог, сказал: «Все будет хорошо».

Когда Ричхардо увидел мессера Лицио, сердце у него точно оборвалось. Приподнявшись и сев на кровати, он обратился к нему с такими словами: «Государь мой! Пожалейте меня, ради Христа! Я сознаю, что я злодей и обманщик, я повинен смерти и все же молю вас: поступайте со мной, как вам будет угодно, только сделайте милость — сохраните мне жизнь, не убивайте меня!»

На это ему мессер Лицио ответил так: «Ричхардо! Я тебя любил, я тебе доверял, а ты вот как мне отплатил! Но раз уж так случилось, раз ты по молодости лет увлекся, то себя не губи и меня не позорь, а сочтайся с Катериной узами законного брака: ночью она уже была твоею — так пусть она будет твоею до конца своих дней. Тогда я тебя прощу — и ты спасен, а иначе молись о душе».

Во время этого разговора Катерина выпустила соловья и прикрылась, а затем начала горько плакать и умолять отца, чтобы он простил Ричхардо, Ричхардо же она умоляла, чтобы он исполнил волю мессера Лицио, и тогда, мол, впереди у них будет много уже бестревожных ночей. Собственно говоря, Ричхардо и не нужно было умолять: во-первых, ему было стыдно того, что он натворил, и проступок свой он рад был бы заглавить; во-вторых, он боялся, что его убьют, а ему хотелось жить; наконец, он горячо любил девушку и жаждал обладать ею — все это, вместе взятое, побудило Ричхардо по собственному желанию и не колеблясь объявить, что он готов исполнить все, чего мессер Лицио ни потребует. Тогда мессер Лицио взял на время у донны Джакомины одно из ее колец, и Ричхардо тут же, на балконе, в их присутствии обручился с Катериной. Прежде чем направиться в выходу, мессер Лицио и его жена сказали обрученным: «Ну, а теперь лягте. Уж верно, вам больше хочется лечь, нежели встать». Едва родители невесты ушли к себе, Ричхардо и Катерина, за ночь отмахав миль этак шесть, снова обнялись, отмахали еще две

и, только после этого встав с постели, на том окончили первый свой день. Покинув ложе, Ричхардо уже вполне разумно заговорил с мессером Лицио о делах, а несколько дней спустя, как того требовал обычай, в присутствии родных и друзей обвенчался с Катериной, затем торжественно привел ее домой и отпраздновал роскошную и великолепную свадьбу, после же свадьбы он долго еще, в ладу со своею супругой и себе на радость, и днем и ночью всю охотился сообща за соловьями.





*Гвидотто из Кремоны оставляет на попечение Джакомино из Павии  
приемную свою дочь и умирает;  
в Фаэнце в нее влюбляются Джанноле ди Северино  
и Мингино ди Минголе и вступают из-за нее в борьбу;  
впоследствии выясняется, что девушка — сестра Джанноле,  
и ее выдают замуж за Мингино*



лушая рассказ про соловья, все дамы смеялись до упаду; уж Филострато давно кончил рассказывать, а они все еще не могли удержаться от смеха. Когда же они нахохотались досыта, королева сказала Филострато:

— Вчера ты на нас тоску нагнал, зато уж сегодня так развеселил, что после этого никто не вправе на тебя сердиться.

Тут она обратилась к Нейфиле и напомнила, что теперь ее очередь; Нейфила с игривым видом начала так:

— Рассказ Филострато перенес нас в Романью, ну и я не прочь прогуляться по ней в моей повести.

Итак, да будет вам известно, что в городе Фано жили-были два ломбардца, Гвидотто из Кремоны и Джакомино из Павии; оба они были уже в преклонном возрасте, оба почти всю свою молодость провоевали. У Гвидотто не было ни сына, ни родственника, ни приятеля, которому он доверял бы больше, чем Джакомино, а потому, умирая, он поручил его заботам приемную свою дочку лет десяти, равно как и все, что было у него из имущества, и, подробно обсудив с ним состояние дел своих, скончался. Тут как раз город Фаэнца, долгое время служивший ареной военных действий и находившийся в бедственном положении, оправился от потрясений, и в него был разрешен свободный въезд для всех, кто бы ни пожелал туда возвратиться, а Джакомино жил там когда-то, у него остались об этом городе приятные воспоминания, и по сему обстоятельству

он переехал туда, захватив все свое достояние и взяв с собой дочь Гвидотто, которую он любил и лелеял, как родную. Войдя в возраст, она стала первой красавицею во всем городе, красоте же соответствовали скромность ее и добронравие. Благодаря этому у нее оказалось много поклонников, но всех более ее обожали два молодых человека приятной наружности и безукоризненного поведения и из ревности возненавидели друг друга; одного из них звали Джанноле ди Северино, другого — Мингино ди Минголе. Оба они счастливы были бы на ней жениться, тем паче что ей уже минуло пятнадцать лет, лишь бы только согласились ее родные, однако им обоим под благовидным предлогом было отказано, и по сему обстоятельству и тот и другой замыслили ее умыкнуть, избрав для того средства, которые каждому из них представлялись наиболее верными.

У Джакомино жили старая служанка и слуга по имени Кривелло, забавник и услужник, и вот с этим-то самым Кривелло свел близкое знакомство Джанноле и, дождавшись благоприятного случая, поверил ему тайну своей любви и обратился с просьбой способствовать ему в достижении его цели, обещав за то немалую мзду. Кривелло же сказал: «Видите ли, я могу помочь вам в этом предприятии разве только вот чем: когда Джакомино пойдет куда-либо ужинать, я сведу вас с ней; если же я попытаюсь бы замолвить за вас словечко, она и слушать бы меня не стала. Так вот, если хотите, я вам это обещаю и обещанное исполню, а дальше действуйте сами, как вам заблагорассудится».

Джанноле объявил, что большего ему и не требуется, и на том они и уговорились.

Тем временем Мингино познакомился со служанкой и так сумел ее задобрить, что она не раз служила посредницею между ним и девушкой и сумела заронить в ее сердце искру любви к нему. Она даже обещала свести его с нею, когда Джакомино почему-либо отлучится вечером из дому.

И вот, вскоре после этих переговоров, Кривелло подстроил так, что Джакомино пошел ужинать к одному своему приятелю. Сообщив о том Джанноле, Кривелло с ним условился, что по данному знаку Джанноле в ту же минуту явится, а дверь будет не заперта. Тем временем ничего не подозревавшая служанка уведомила Мингино, что нынче Джакомино ужинает не дома, и сказала, чтобы он находился неподалеку: она, мол, подаст ему знак — тогда он приблизится и войдет. Вечером двое влюбленных, ничего друг о друге не ведая и во всем друг друга подозревая, взяли с собой вооруженных сообщников и отправились на добычу. Мингино со своими людьми спрятался в соседнем доме у одного своего приятеля, Джанноле со своими людьми схоронился немного дальше.

Когда Джакомино ушел из дому, Кривелло и служанка попытались как-нибудь спровадить друг друга.

Кривелло говорил служанке: «Шла бы ты спать, чего слоняешься по дому?» А служанка ему: «Ты-то чего не пошел с хозяином? Ведь ты по-

ужинал — ну и шел бы со двора». Так никому из них и не удалось выпроводить другого.

Когда настало время подать знак Джанноле, Кривелло подумал: «А, да пусть ее! Не будет сидеть смиренно — ей же хуже будет», — и, подав знак, только успел отворить дверь, как в дом ворвался Джанноле с двумя товарищами и, застав девушку в зале, схватил ее и потащил к выходу. Девушка отбивалась, кричала, подняла крик и служанка. На шум прибежали Мингино и его товарищи и, увидев, что девушку вот-вот вытащат за порог, тотчас обнажили шпаги. «Смерть вам, злодеи! — вскричали они. — Отпустите ее! Мы вам не позволим чинить насилие!» С этими словами они бросились на своих недругов. Заслышав шум, сбежались со светильниками и оружием в руках соседи и, возмущившись действиями Джанноле, стали на сторону Мингино, благодаря чему после упорной борьбы Мингино удалось отбить девушку у Джанноле, и он провел ее в покои. Стычка продолжалась до тех пор, пока не нагрянули стражники — они многих схватили, в частности Мингино, Джанноле и Кривелло, и отвели в тюрьму. Джакомино возвратился домой, когда все уже утихомирилось, и, узнав о случившемся, сначала очень огорчился, но, расспросив, как было дело, и убедившись, что девушка ни в чем не виновата, успокоился, дав себе, однако же, слово как можно скорее выдать ее замуж, чтобы больше подобных случаев не повторялось.

Утром родные заключенных юношей, получив доскональные сведения о ночном происшествии и представив себе, что может грозить обоим в случае, если Джакомино на законном основании подаст жалобу, пришли к нему, в самых трогательных выражениях попросили его принять в рассуждение не обиду, нанесенную ему безрассудными юнцами, а любовь и благорасположение, которые он, как они полагают, питает к ним, его просителям, и поручились и за себя и за юношей, что все они готовы дать ему какое угодно удовлетворение.

Джакомино, человек многоопытный и незлобивый, ответил им в немногих словах: «Синьоры! Если бы даже я жил у себя на родине, а не в вашем родном городе, то и тогда я пошел бы вам навстречу — столь сильны во мне дружеские чувства к вам. Сверх того, меня побуждает исполнить вашу просьбу следующее обстоятельство: ведь вы же сами себя оскорбили — девушка-то родом не из Кремоны и не из Павии, как многие, кажется, думают; она — фаэнтинка, хотя должен вам сказать, что ни я, ни тот человек, который отдал мне ее на воспитание, не знали, чья она дочь. Словом, я сделаю все, как вы хотите».

Подивились почтенные горожане, услышав, что девушка — уроженка Фаэнцы, и, поблагодарив Джакомино за его великодушие, попросили его о любезности рассказать им, как она к нему попала и как он узнал, что она — фаэнтинка. Джакомино им на это сказал: «У меня был однополчанин и друг Гвидотто из Кремоны, и перед смертью он мне поведал, что, когда Фаэнцу взял император Фридрих и в городе шел повальный грабеж, Гвидотто с товарищами зашел в один дом и увидел, что здесь

полно всякого добра, а хозяев нет, и только маленькая девочка лет двух встретила ему на лестнице и назвала его отцом. Ему стало жалко девочку, и он взял ее к себе в Фано, захватив и весь скарб, а когда пришел его конец, он поручил девочку моим заботам и передал мне все свое имущество с тем, чтобы оно, когда я буду выдавать ее замуж, пошло ей в приданое. Теперь она уже на выданье, а подходящего жениха я пока не нашел. Между тем, во избежание повторений вчерашнего происшествия, я с удовольствием выдал бы ее замуж».

Среди просителей находился некто Гвильельмино да Медичина, который был тогда вместе с Гвидотто и прекрасно помнил, чей дом Гвидотто очистил. Увидев, что вместе с другими пришел к Джакомино и хозяин того дома, он подошел к нему и спросил: «Бернабуччо! Ты слышал, что сказал Джакомино?»

«Слышал, — отвечал Бернабуччо. — Я как раз сейчас об этом думаю — я вспомнил, что во время всей этой сумятицы я потерял дочурку именно в том возрасте, в каком была та девочка, о которой вел речь Джакомино».

«Уж верно, это она, — заметил Гвильельмино. — Гвидотто как-то при мне рассказывал, где он попользовался чужим добром, и я сейчас догадался, что это он твой дом ограбил. Постарайся припомнить, нет ли у твоей дочки особой приметы, и если найдешь ее у этой девушки, тогда уж ты будешь знать наверняка, что это твоя дочь».

Бернабуччо подумал, подумал и вспомнил, что у девочки над левым ухом должен быть рубчик в виде крестика на месте нарыва, который он велел разрезать незадолго до всех этих событий. В ту же минуту он подошел к Джакомино и попросил показать ему девушку. Джакомино охотно согласился исполнить его просьбу и позвал девушку. Когда Бернабуччо ее увидел, ему показалось, что он видит перед собой ее мать, еще не утратившую своей красоты. Не удовольствовавшись, однако ж, этим обстоятельством, он попросил у Джакомино дозволения приподнять девушке волосы над левым ухом — Джакомино этому не воспротивился. Приблизившись к застыдившейся девушке, Бернабуччо приподнял ей правой рукой волосы и обнаружил крестик. Тут он совершенно уверился, что это его дочь, заплакал от радости и, хотя девушка пыталась сопротивляться, обнял ее.

Затем он обратился к Джакомино: «Дружище! Это моя дочь. Гвидотто разграбил мой дом, а моя жена — ее мать — с перепугу про нее забыла. Дом наш в тот же день сгорел, и мы были уверены, что сгорела и девочка».

Услышав все это и приняв в соображение, что перед ней — старик, девушка ему поверила; повинувшись какому-то ей самой непонятному чувству, она уже не противилась его объятиям и, глядя на него, тоже заплакала от радости. Бернабуччо немедленно послал за ее матерью, за сестрами, братьями и другими родственниками, всем ее показал, поведал, как было дело, и, когда все родственники ее перецеловали, к великой радости Джакомино, торжественно повел ее в свой дом.

Правитель того города был человек хороший; узнав, что Джанноле, которого он взял под стражу, — сын Бернабуччо и, следовательно, родной брат той девушки, он порешил оказать ему снисхождение; при посредничестве Бернабуччо и Джакомино он помирил Мингино с Джанноле и, к общему удовольствию родственников Мингино, выдал за него девушку, которую звали Агнесой; что же касается Кривелло и других, в этом деле замешанных, то он их всех из-под стражи освободил. А Мингино на радостях отпраздновал пышную и богатую свадьбу и, введя Агнесу в свой дом, долго еще жил с нею счастливо и мирно.





*Девушку, которую отдали во власть королю Федерико, застают с Джанни, жителем острова Прочиды; их обоих привязывают к колу и собираются сжечь на костре; но тут Руджери де Лориа, узнав Джанни, освобождает его, и Джанни женится на девушке*



ак скоро Нейфила досказала свою повесть, которая всем дамам очень понравилась, королева велела приготовиться Пампинее, и Пампиней, ясным своим взглядом обведя слушателей, начала так:

— Очаровательные дамы! Силы любви безграничны: любовь вдохновляет любящих на смелые подвиги и помогает им выдерживать испытания чрезвычайные и неожиданные, как это мы могли заключить из многого, о чем шла у нас речь и сегодня, и в предыдущие дни. И все же я не могу лишить себя удовольствия еще раз показать это

на примере одного влюбленного юноши.

На Искии, острове, находящемся близ Неаполя, жила-была красивая и пребойкая девушка по имени Реститута, дочь одного знатного островитянина по имени Марино Болгаро, девушку же эту любил больше собственной жизни юноша Джанни, проживавший на соседнем островке, который носит название Прочиды, а девушка любила его. Днем Джанни приезжал с Прочиды на Искию повидаться со своею возлюбленною, но этого ему было мало: ночью, за неимением лодки, он переплывал разделявшее эти два острова расстояние единственно для того, чтобы поглядеть хоть на стены ее дома. И вот в пору столь бурного течения их страсти в один прекрасный летний день девушка гуляла одна на берегу моря, меж скал, отделяя ножом ракушки от камней, и набрела на ущелье; здесь было тенисто, по дну ущелья студеный протекал ключ, и это, видимо, соблазнило ехавших из Неаполя на фрегате юных сицилийцев расположиться здесь на отдых. Девушка их не заметила, они же, сойдясь во мнении, что она — красотка, и уверившись, что никто ее не сопровождает

ет, решились похитить ее и увести и мигом перешли от слов к делу. Как девушка ни кричала, они схватили ее, посадили на фрегат и отчалили. В Калабрии они заспорили, кому достанется девушка, — каждый из них на нее зарился. Так они ни к чему и не пришли и в конце концов уговорились, — а то, мол, долго ли до греха, как бы не перессориться, — что они отдадут ее в распоряжение короля сицилийского Федериги, который был тогда еще молодым человеком и охотником до любовных походов. Прибыв в Палермо, они именно так и поступили. Король нашел, что она хороша собой, и влюбился в нее, но так как он был человек болезненный, то велел, до тех пор, пока не окрепнет, поместить ее в великолепном дворце, который стоял в глубине сада, носящего название Куба, и окружить заботливым уходом, что и было исполнено.

Похищение девушки наделало много шума на Искии; в особенности всех угнетало то обстоятельство, что похитители так и остались неизвестными. Джанни, принимавший это событие к сердцу ближе, чем кто-либо другой, не стал дожидаться, пока что-нибудь узнают на Искии, разведал, в каком направлении отбыл фрегат, сел на свой корабль и с невозможной для него скоростью проехал вдоль побережья от Минервы до Скалеи, что в Калабрии, всюду расспрашивая о девушке, и в Скалее ему сообщили, что девушку сицилийские моряки увезли в Палермо. Джанни полетел туда на всех парусах и, после продолжительных поисков дознавшись, что девушку отдали королю и что ее держат в Кубе, пришел в отчаяние и почти утратил надежду не только вызволить, но хотя бы увидеть ее. Любовь, однако ж, его удержала; он отпустил фрегат и решил остаться в Палермо, где никто его не знал. Он стал часто ходить в Кубу и как-то раз случайно увидел девушку у окна, а девушка увидела его, и оба друг другу страх как обрадовались. Оглядевшись, нет ли кого вокруг, Джанни подошел поближе к девушке, поговорил с ней, а затем, получив от нее наставления, как им встретиться без преград, и внимательно изучив местоположение дворца, удалился. В полночь он опять сюда пришел и, цепляясь за сучки, на которых не могли бы удержаться и дятлы, проник в сад, а затем, увидев шест, приставил его к тому окну, которое ему указала девушка, и мигом вскарабкался. В былое время девушка, блюдя свою честь, дичилась его, но теперь, полагая, что честь ее все равно уже загублена и что он наиболее достоин обладать ею, порешила отдаться ему в надежде на то, что это его подвигнет увести ее, и оставила окно незапертым, чтобы он мог беспрепятственно проникнуть к ней в комнату. Итак, обнаружив, что окно не заперто, Джанни бесшумно влез в него и лег рядом с девушкой, которая не спала. Девушка, прежде чем приступить к делу, поведала ему свой замысел и обратилась к нему с жаркой мольбой вызволить ее отсюда и увести. Джанни ей ответил, что он об этом и сам мечтает и что, уйдя от нее, немедленно все наладит и в следующий раз придет уже прямо за ней. Тут они с превеликим удовольствием обнялись, а затем познали наивысшее из всех любовных наслаждений, и, повторив это удовольствие несколько раз, незаметно для себя уснули в объятиях друг у дружки.

Королю девушка с первого взгляда очень понравилась; он вспомнил о ней и, почувствовав себя лучше, решился, хотя дело уже шло к рассвету, посетить ее и провести с нею время.

Тайно прибыв со слугами в Кубу, он вошел во дворец, велел тихонько отворить дверь в комнату, где, сколько было ему известно, спала девушка, пропустил вперед слугу с большим светильником в руке и, едва переступив порог, бросил взгляд на кровать и увидел девушку и Джанни, спавших нагишом и в обнимку. Он не сказал ни слова, но это так его возмутило и пробудило в нем такую бешеную злобу, что он еле удержался, чтобы не пронзить обоих кинжалом. И только помывшись о том, что убивать спящих — это дело, недостойное не только короля, но и простого смертного, он все же взял себя в руки и порешил сжечь их обоих на костре при народе. Обратясь к единственному своему спутнику, он спросил: «Какого ты мнения об этой презренной женщине — бывшем предмете моих мечтаний?» — а потом задал ему вопрос, знает ли он этого мальчишку, у которого хватило наглости проникнуть во дворец и нанести ему, королю, такое оскорбление и так его огорчить.

Слуга ему на это ответил, что не помнит, чтобы он когда-нибудь этого юношу видел.

Король в гневе вышел из комнаты и повелел схватить любовников, связать и белым днем в голом виде отвести в Палермо, а там, на площади, привязать, спина к спине, к колу, продержат их так до девяти часов утра, чтобы кто угодно мог на них поглядеть, а там и сжечь, как они того заслуживают. Отдав приказ, король в сильнейшем раздражении возвратился к себе в Палермо.

Как скоро король удалился, слуги бросились на любовников, растолкали их, схватили, связали. Нетрудно вообразить, как испугались молодые люди, в каком они были отчаянии, как кричали и рыдали. По приказу короля их отвели в Палермо, на площадь, привязали к колу и на их глазах стали готовить костер, дабы сжечь их в час, назначенный королем. Все палермитане, и мужчины и женщины, высыпали на площадь поглазеть на любовников: мужчинам любопытно было посмотреть на девушку, и они восхищались безупречной ее красотой и стройностью, женщины сбежались посмотреть на юношу и восторгались статностью его и пригожеством. А несчастные любовники, готовые сквозь землю провалиться от стыда, стояли, понуриив головы, и, ожидая с часу на час лютой смерти на костре, оплакивали свое злополучие. Словом, их все еще держали у костра, меж тем как глашатаи всех оповещали о совершенном ими преступлении, и наконец слух о том дошел до генерал-адмирала Руджери де Лориа, доблестнейшего мужа, и он пошел на площадь посмотреть на преступников. Прежде всего он окинул взглядом девушку и был поражен ее красотой, потом взглянул на юношу и, сейчас узнав его, приблизился и спросил, не Джанни ли он с острова Прочида.

Джанни вскинул голову и, узнав адмирала, ответил: «Так, государь мой, это я и есть, но только скоро меня не станет».

Адмирал задал ему вопрос, что его довело до такой крайности. «Во-первых, любовь, а во-вторых, гнев короля», — отвечал Джанни.

Тогда адмирал велел рассказать ему все до мельчайших подробностей и, выслушав его со вниманием, собрался было уходить, но Джанни остановил его. «Государь мой! — сказал о н . — Если можно, испросите мне одну милость у того, по чьему приказу я здесь стою».

Руджери спросил, что это за милость, а Джанни ему ответил: «Я знаю, что я умру, и умру скоро. Я боготворю эту девушку, а она меня, мы стоим друг к другу спиной, я же прошу как об особой милости, чтобы нас поставили друг к другу л и ц о м , — я буду смотреть на нее, и мне легче будет умирать».

Руджери засмеялся и сказал: «Да я добьюсь того, что тебе еще надоест на нее смотреть!»

Отойдя, он приказал тем, кому было поручено привести королевский приговор в исполнение, впредь до нового королевского приказа ничего больше не предпринимать, потом, нимало не медля, отправился к королю и, хотя тот был в гневе, обратился к нему с вопросом: «Государь! Чем тебя так оскорбили юноша и девушка, которых ты повелел сжечь на площади?»

Король ему объяснил. Тогда Руджери сказал: «Не тебе бы их наказывать. Преступления заслуживают кары, а благодеяния — награды, не говоря уже о милости и сострадании. Известно ли тебе, кого ты собираешься сжечь?»

Король ответил, что нет. Тогда Руджери сказал: «Вот я и хочу, чтобы тебе это стало известно, дабы ты постиг, благоразумно ли поддаваться порывам ярости. Этот юноша — сын Ландольфо с острова Прочиды, родного брата мессера Джанни, благодаря которому ты стал королем и правителем этого острова, а девушка — дочь Марино Болгаро, коего могуществу ты обязан тем, что остров Иския все еще тебе подвластен. Юноша и девушка давно любят друг друга, и любовь, а вовсе не желание оскорбить твое величество, ввела их во грех, если только можно назвать грехом то, к чему молодых людей побуждает любовь. Тебе надлежало выказать им необыкновенное радушие и осыпать их милостями, а ты что? К смертной казни их присудил?»

Король понял, что Руджери прав, и не только отменил свой приговор, но и раскаялся в уже содеянном. Он тут же велел развязать юношу и девушку и привести их к нему, что и было исполнено. Выслушав обстоятельный их рассказ, он порешил вознаградить их за учиненную им обиду почестями и дарами. По его повелению юноша и девушка были облачены в драгоценный наряд, а затем, зная взаимную их склонность, король женил Джанни на девушке и, щедро одарив, отпустил счастливую чету домой, где их ожидала торжественнейшая встреча, и потом они долго еще благоденствовали и наслаждались жизнью.





*Теодоро любит Виоланту, гочь своего господина, мессера Америго;  
Виоланта зачала от Теодоро;  
Теодоро хотят повесить и плетьми гонят на место казни, но тут его узнает отец;  
Теодоро освобождают, и он женится на Виоланте*



амы, с ужасом ожидавшие, что любовников сожгут на костре, услышав, что оба спасены, возрадовались и возблагодарили бога, королева же, дослушав повесть до конца, велела рассказывать Лауретте, и та бойко повела свой рассказ.

— Прекрасные дамы! В те времена, когда в Сицилии царствовал добрый король времена Вильгельм, жил-был на острове дворянин, мессер Америго Аббате да Трапани, у которого было много земных благ и много детей. По сему обстоятельству он нуждался в слугах и, воспользовавшись тем, что с Востока прибыли галеры генуэзских корсаров, которые, идя вдоль берегов Армении, захватили много мальчиков, и полагая, что это турки, кое-кого из них купил, и все они оказались пастухами, но был среди них один, по имени Теодоро, отличавшийся от всех благородством и красотою черт лица. Обходились с ним, как с рабом, однако же рос он в доме мессера Америго вместе с его детьми, но безупречным поведением и учтивостью он лишь в малой мере обязан был своей переимчивости, — таким уж он уродился, и до того мессер Америго возлюбил его, что дал ему вольную, велел окрестить его и дать ему имя Пьетро, — ведь он принимал его за турка, — и, питая к нему доверие чрезвычайное, сделал его своим управляющим.

Подрастали все дети мессера Америго, подрастала и дочка его Виоланта, красивая, стройная девушка, отец не спешил выдавать ее замуж, а она тем временем влюбилась в Пьетро, но как она ни любила его, как ни ценила нрав его и обычай, а все же излить ему свои чувства ей мешал девичий стыд. Амур, однако ж, избавил ее от этой заботы: Пьетро, украд-

кой бросавший на нее взгляды, влюбился в нее без памяти и только о ней и думал. Пьетро боялся одного: как бы кто этого не заметил, ибо в глубине души он себя осуждал. Девушка всегда была ему рада, а теперь, угадав, что творится у него в душе, она, чтобы его ободрить, дала понять, что она в восторге, и так оно и было на самом деле. Долго у них это длилось, долго не решались они открыться друг дружке, хотя оба к тому стремились.

Итак, сердца их продолжали гореть одинаково ярким пламенем, пока наконец Фортуна, явно о них позаботившись, не подвинула их сбросить с себя сковывавшую их робкую стеснительность. У мессера Амегриго примерно в одной миле от Трапани было живописнейшее имение, куда его жена с дочерью, с приятельницами и служанками частенько хаживала ради приятного времяпрепровождения. И вот однажды, в сильную жару, они отправились туда вместе с Пьетро, погуляли, но вдруг, как это часто бывает летом, небо внезапно затянулось темными тучами, и тогда госпожа и ее спутницы, боясь, как бы их здесь не застала гроза, быстрым шагом пошли обратно в Трапани. У Пьетро и у девушки ноги были молодые, и они, подгоняемые, по всей вероятности, не столько переменой погоды, сколько любовью, ушли далеко вперед. Когда же они ушли так далеко, что их почти не было видно, то после многократных ударов грома посыпался крупный и частый град, и мать со всей компанией укрылась от непогоды в доме у одного поселянина. А Пьетро и девушка, за неимением другого пристанища, зашли в нежилую развалюшку и стали под крышу, а так как уцелела лишь небольшая ее часть, то им поневоле пришлось друг к дружке прижаться. От этой близости оба осмелели, и она вдохновила их на сердечные излияния.

Первым заговорил Пьетро. «Дай бог, чтобы град не переставал!» — воскликнул он.

«Как бы это было хорошо!» — воскликнула девушка.

От слов они перешли к делу: пожали друг дружке руку, потом обнялись, затем поцеловались, а град все не переставал. Коротко говоря, разъяснилось не прежде, чем они познали наивысшие восторги страсти и уговорились, как им тайком услаждать друг дружку. Гроза между тем утихла, и они, приблизившись к городу, до которого было недалеко, здесь дождались мать и вместе с нею возвратились домой. После этого у них было много тайных свиданий, ради которых они принимали все меры предосторожности и которые доставляли им обоим живейшую отраду. И дело у них так далеко зашло, что девушка забеременела, и это крайне их огорчило. На что они только не пускались, чтобы, наперекор природе, вытравить плод, но у них так ничего и не вышло.

Пьетро, в страхе за свою жизнь, решил бежать и сказал об этом девушке, а девушка ему: «Если ты убежишь, я тут же покончу с собой».

Пьетро горячо любил ее, но вот что он ей сказал: «Родная моя! Подумай сама: могу ли я тут остаться? Твоя беременность изобличит наш грех — тебя-то скоро простят, а вот мне, горемычному, придется держать ответ и за твою и за мою вину».

Девушка же ему на это сказала так: «Моя вина конечно, узнается, а твоя — можешь быть уверен, Пьетро, — никогда, только сам смотри не проговорись».

«Ну, когда так, то я остаюсь, — молвил Пьетро, — но уж ты меня не выдавай».

Девушка до последней возможности скрывала свою беременность, но она так располнела, что дольше скрывать было уже нельзя, и вот однажды она, обливаясь слезами, все рассказала матери, моля выручить ее из беды. Мать пришла в ужас, разбранила дочку, а затем пристала к ней с расспросами, как же это случилось. Девушка, боясь за Пьетро, не сказала ей правды, а сочинила целую небылицу. Мать ей поверила и, чтобы скрыть ее грех, поехала с нею в одно из своих владений. Когда дочери пришло время родить, она начала кричать, как обыкновенно кричат роженицы, Америго же, почти никогда в это имянье не заглядывавший, возвращаясь с охоты на птиц, сверх ожиданий своей жены, прошел мимо дома, откуда как раз в это время неслись крики его дочери, удивился, вбежал в ее комнату и спросил, что это значит. Жена, увидев мужа, вскочила в страхе и объявила, что дочка рождает, однако муж оказался не столь доверчивым: он возразил жене, что дочь не может не знать, от кого она понесла, и порешил все у нее выпытать: если, мол, она скажет правду — он ее простит, а не скажет — казнит без милосердия. Жена пыталась уверить мужа, что дочка не солгала, но — безуспешно. Придя в ярость, мессер Америго выхватил шпагу и бросился на дочь, а та, пока мать говорила с отцом, успела родить сына. «Скажи, от кого ты родила, или я тебя убью!» — вскричал отец. Дочь страха ради изменила слову, которое она дала Пьетро, и призналась, что это его ребенок. Отец рассвирепел и чуть не убил родную дочь, но все же совладал с собой, ограничился тем, что излил на нее свой гнев, а затем вскочил на коня и, прибыв в Трапани, пожаловался наместнику короля, мессеру Куррадо, на то бесчестье, какое нанес ему Пьетро, тут же велел схватить ничего не подозревавшего слугу своего, и Пьетро под пыткой во всем сознался. Несколько дней спустя наместник вынес приговор: провести Пьетро по городу и бить плетью, затем вздернуть на виселицу, у мессера же Америго гнев не остыл и после того, как он добился для Пьетро смертного приговора, а потому он, задавшись целью одновременно отправить на тот свет любовников и их младенца, насыпал в чашу с вином яду, дал эту чашу и обнаженный кинжал одному из слуг своих и сказал: «Пойди с этим к Виоланте и скажи ей от моего имени: пусть сию же минуту выбирает себе смерть — от яда или от кинжала, но только чтоб не мешкала, иначе я велю сжечь ее при народе, — это будет ей заслуженным возмездием. Когда же она умрет, возьми малого, которого она назад тому несколько дней произвела на свет, тресни его головой об стену и отдай на съедение псам». Когда бесчеловечный мессер Америго изрек столь суровый приговор дочери своей и внуку, слуга, которого трудно было смягчить, тот же час удалился.

Путь осужденного Пьетро, которого плетью гнали на место казни, лежал, как то заблагорассудилось стражникам, мимо гостиницы, где

в то время стояли трое знатных армян, — царь армянский послал их в Рим на предмет переговоров с папой о делах первостепенной важности, сопряженных с предстоявшим крестовым походом, а они остановились здесь на несколько дней освежиться и передохнуть, знатные же люди Трапани, в особенности мессер Америги, приняли их с отменными почестями. Услышав, что мимо них кого-то ведут, армяне выглянули в окно. Пьетро был наг до пояса, руки ему скрутили за спиной. Один из трех послов, по имени Финео, весьма влиятельный старик, бросил взгляд на осужденного и увидел у него на груди большое красное пятно, не нарисованное, а естественное, — женщины такие пятна называют родинками. Едва лишь старик увидел это пятно, как ему вспомнился сын, которого назад тому пятнадцать лет на берегу моря, близ Лаяццо, у него похитили корсары и о котором он с тех пор ничего не знал. Прикинув, сколько лет этому несчастному, которого били плетьюми, он подумал, что если б его сын был жив, то ему было бы примерно столько же, а пятно усилило в нем подозрения; если же это подлинно его сын, — продолжал рассуждать армянин, — то он еще должен помнить, как зовут его самого, как зовут его отца, и, наверное, еще не разучился говорить по-армянски.

Когда же этот человек поравнялся с его окном, он крикнул: «Эй, Теодоро!»

Пьетро тотчас вскинул голову, Финео же спросил его по-армянски: «Откуда ты и чей ты сын?»

Стражники из уважения к почтенному человеку остановились, и Пьетро ответил: «Я — из Армении, сын Финео, меня привезли сюда, когда я был совсем маленьким, а кто привез — того я не ведаю».

Тут у Финео уже не осталось сомнений, что это его сын; рыдая, он выбежал со своими спутниками на улицу, стража перед ним расступилась, он обнял сына, накинул на него свой, тонкого шелку, плащ и попросил начальника стражи подождать вести осужденного впредь до особого распоряжения. Тот охотно согласился.

Финео уже знал, за что должны были казнить этого человека, — весь город только о том и говорил. Поэтому он со своими спутниками и слугами пошел прямо к мессеру Куррадо и сказал: «Мессер! Тот, кого вы посылаете на смерть, как раба, на самом деле человек вольный, это мой сын, и он готов жениться на той, которую он, по слухам, лишил невинности. По сему обстоятельству нельзя ли приостановить казнь, пока не станет известно, хочет ли она отдать ему руку, а то ведь если она изъявит таковое желание, то выйдет, что вы нарушили закон». Мессер Куррадо, узнав, что это сын Финео, пришел в изумление. Ему стало стыдно, что он волею судеб чуть было не допустил ошибки, и, уверившись, что Финео сказал правду, он попросил его возвратиться в гостиницу, а сам послал за мессером Америги и все как есть ему рассказал. Мессер Америги был убежден, что и дочери и внука уже нет на свете, и был в совершенном отчаянии от того, что он наделал, ибо он сознавал, что, если б его дочь не умертвили, все еще можно было бы поправить. Со всем тем он, нимало не медля, послал к дочери человека, дабы объа-

вить ей, — в том случае, если она еще жива, — что он свой приказ отменяет. Посланец, войдя, услышал, что слуга мессера Америго, оставивший перед его дочерью чашу с ядом и положивший кинжал, бранит девушку за то, что она колеблется, и понуждает ее сделать выбор. Узнав о новом распоряжении своего господина, он оставил ее в покое, пошел к нему и обо всем ему доложил. Мессер Америго возликовал; он поспешил к Финео, принес ему самое искреннее раскаяние, слезно молил о прощении и объявил, что, если Теодоро пожелает жениться на его дочери, он, мессер Америго, будет только этому рад.

Финео охотно принял его извинения и сказал: «Я тоже хочу, чтобы мой сын женился на вашей дочери. Если же он откажется, то да свершится вынесенный ему приговор!» Уговорившись на том, Финео и Америго спросили Теодоро, обуреваемого смешанным чувством страха смерти и радости от встречи с отцом, чего бы он хотел. Уразумев, что, буде он пожелает, Виоланта выйдет за него замуж, Теодоро возликовал так, словно из преисподней допрыгнул до рая, и объявил, что если родители согласны, то он примет дозволение на брак с Виолантой как величайшую для себя милость. Засим решено было послать к Виоланте и узнать, как смотрит на это она. Виоланта была в совершенном отчаянии: она знала, что случилось с Теодоро и что его еще ждет, над ней самой нависла угроза смерти, и потому, когда к ней явился посланец, она далеко не сразу ему поверила, но потом все же приободрилась и ответила, что если бы это только от нее зависело, то для нее не могло бы быть большего счастья, чем выйти замуж за Теодоро, но что в любом случае она из родительской воли не выйдет. Так, с общего согласия, Виоланта вступила в брак с Теодоро, и по сему случаю, к великому удовольствию всех горожан, было устроено невиданное торжество.

Виоланта успокоилась, отдала ребенка кормилице и немного спустя стала еще красивее, чем была прежде. Когда Финео возвратился из Рима, Виоланта, уже оправившись после родов, встретила его, как родного отца, он же, в восторге от того, что у него такая красивая невестка, обласкал ее, как родную дочь, — он и потом относился к ней, как к родной, — и необычайно торжественно и весело отпраздновал бракосочетание ее и своего сына. А несколько дней спустя Финео отвез на галере своего сына, невестку и внучонка к себе в Лаяццо, и здесь любящие супруги в радости и в спокойствии прожили свою жизнь.





*Настаждо дельи Онести, влюбленный в девушку из рода Траверсари,  
тратит деньги без счета, однако ж так и не добивается взаимности;  
уступая просьбам своих близких, он уезжает в Кьясси;  
здесь на его глазах всадник преследует девушку,  
убивает ее и оставляет ее тело на растерзание двум псам;  
Настаждо приглашает своих родных и свою возлюбленную на обед;  
на глазах у возлюбленной мучают девушку, и возлюбленная из боязни,  
что ее может постигнуть такая же участь, выходит замуж за Настаждо*



огда Лауретта умолкла, Филомена по повелению королевы начала так:

— Достолюбезные дамы! За милосердие нас одобряют, а за жестокость божественное правосудие строго наказывает. Чтобы вам это стало ясно и чтобы вы раз и навсегда изгнали из своего сердца жестокость, я хочу рассказать повесть, столь же трогательную, сколь и занимательную.

В Равенне, принадлежащей к числу самых старинных городов Романьи, жило когда-то много людей знатных и состоятельных, в частности юноша по имени Настаждо дельи Онести, у которого после смерти отца и дяди остались на руках несметные богатства. Как это часто бывает с холостыми юношами, он влюбился в дочь мессера Паоло Траверсари, — она была еще родовитой его, и потому он надеялся заслужить ее расположение своими поступками, но эти его великодушные, прекрасные и похвальные поступки были ему не на пользу, а, казалось, скорее во вред — до того сурова, жестока и бессердечна была с ним его возлюбленная, так возгордившаяся и возомнившая о себе, может статься, оттого, что для нее не являлось тайной, как она хороша собой и что принадлежит она к высшей знати, — словом, она и смотреть-то на него не хотела. Настаждо это было так горько, что его нередко после долгого и тяжкого раздумья тянуло руки на себя наложить, однако ж всякий раз он пересиливал себя и давал себе слово оставить всякую мысль о ней и даже возненавидеть ее, подобно как она ненавидела его. Со всем тем усилия его были бесплодны, и чем меньше оставалось у него надежд, тем, казалось, сильнее становилось его чувство к ней. Словом, молодой че-

ловец продолжал обожать девушку и продолжал сорить деньгами; наконец родные его и друзья рассудили, что так он расстроит и здоровье свое, и состояние, и начали просить его и молить уехать из Равенны и некоторое время пожить где-нибудь еще, — тогда остынет-де и страсть любовная, и страсть к расточительству. Настаждо долго оборачивал дело в шутку, однако ж в конце концов его упросили, он сдался на уговоры и согласился. Снаряжался он в дорогу так, словно задумал поехать во Францию, в Испанию или же еще в какой-либо дальний край, затем сел на коня и, окруженный множеством друзей, отъехал мили три от Равенны; здесь, в Кьясси, он велел разбить шатры и палатки и объявил сопровождавшим его, что дальше он никуда не поедет, а они пусть себе возвращаются в Равенну. Расположившись в Кьясси, Настаждо повел жизнь привольную и широкую и, как это у него обыкновенно водилось, то того, то другого приглашал отужинать или же отобедать.

И вот в один из тех дивных дней, какие бывают в начале мая, вспомнилась ему бездушная его возлюбленная, и он, велев приближенным своим оставить его одного, дабы он мог мечтать о ней без помех, пошел куда глаза глядят и не заметил, как дошел до соснового бора. Пройдя с полмили и даже не вспомнив, что он с утра ничего не ел, и вообще позабыв обо всем на свете, в двенадцатом часу дня он вдруг услышал громкий плач и отчаянные вопли — то плакала и кричала женщина. Сладостные его мечтания были, таким образом, прерваны; он поднял голову и с изумлением убедился, что находится в сосновом бору. Затем взглянул прямо перед собой и увидел, что к нему сквозь частый колючий кустарник бежит прелестная нагая девушка, с растрепанными волосами, исцарапанная сучками и колючками, и громко плачет и молит о пощаде. За нею справа и слева мчались два огромных разъяренных пса и, настигнув, ребольно ее кусали. А сзади, размахивая шпагой, скакал на вороном коне черный всадник с остервенелым взором и, изливая свою злобу в гневных и бранных словах, грозил ей смертью. Настаждо был поражен, испуган и в то же время преисполнен жалости к несчастной женщине, и его охватило желание избавить ее от травли и спасти от смерти. Так как он был безоружен, то отломил сук и двинулся навстречу собакам и всаднику.

Всадник, однако же, издали крикнул ему: «Не вмешивайся, Настаждо! Не препятствуй собакам и мне учинить с этой злодейкой то, чего она заслужила!»

Тем временем псы, впившись девушке зубами в бока, задержали ее, а всадник нагнал девушку и соскочил с коня. Настаждо приблизился к нему и сказал: «Ты, как видно, хорошо меня знаешь, а я понятия не имею, кто ты таков, и все же не могу не сказать тебе: нужно быть величайшим подлецом, чтобы с оружием в руках, верхом на коне, преследовать нагую девушку и, словно дикого зверя, травить ее собаками. Я буду защищать ее до последней капли крови».

Всадник же ему на это сказал: «Настаждо! Мы с тобой из одного города, ты был еще совсем маленьким, когда я, которого звали тогда Гвидо дельи Анастаджи, был гораздо пламеннее влюблен в эту женщину,

нежели ты — в Траверсари, и кичливость ее и жестокость довели меня до того, что однажды, в порыве отчаяния, я пронзил себя вот этой самой шпагой и тем осудил себя на вечную муку. Немного погодя эта женщина, ликовавшая по случаю моей смерти, тоже скончалась, и за то, что она жестоко со мной обошлась, за то, что мучения мои доставляли ей удовольствие, и за то, что она ни в чем не раскаялась, ибо не почитала все это за грех, осуждена была гореть в аду. Как скоро попала она в ад, в наказание она должна была бежать от меня, а я, который так пламенно когда-то ее лю б и л, — преследовать ее, но не как любимую женщину, а как смертельного своего врага. И сколько бы раз я ее не настиг, столько же раз этою самою шпагою, которою я пронзил себя, я пронзаю теперь ее, извлекаю, как ты это сейчас увидишь, ее сердце, безжалостное и холодное, куда ни любовь, ни сострадание так и не сумели проникнуть, и вместе с другими внутренностями бросаю на съедение псам. Малое время спустя по воле всеправедного и всемогущего бога она оживает, как если бы до того никогда и не умирала, и опять начинается мучительное для нее бегство, а я с собаками гоню ее за ней. И так каждую пятницу в это самое время я ее здесь настагаю и, как ты сейчас увидишь, подвергаю мучениям. Не подумай, однако ж, что в другие дни мы с ней отдыхаем, — я настагаю ее всюду и мщу ей за каждый злой помысел обо мне, за то зло, которое она мне где-либо причинила. Как видишь, из любовника я превратился во врага, и мне надлежит преследовать ее ровно столько лет, сколько месяцев она жестоко со мной обходилась. Так не мешай же мне исполнить волю божественного правосудия — все равно ты не властен этому воспрепятствовать!»

У Настаждо от ужаса волосы встали дыбом; он попятился и, обратив взор на несчастную девушку, в страхе ждал, что будет делать всадник; всадник же, словно бешеный пес, кинулся на девушку, — а в девушку вцепились псы, и она, стоя на коленях, молила всадника о пощаде, — и, взмахнув что было силы шпагой, пронзил ей грудь. Девушка, по-прежнему крича и плача, повалилась наземь, всадник же выхватил нож и, вынув сердце и прочие внутренности, швырнул псам, а голодные псы все мигом пожрали. Прошло немного времени — глядь, девушка как ни в чем не бывало вскакивает и бежит к морю, собаки бросаются за ней и то и дело кусают ее, всадник же ступает в стремя и со шпагою наголо устремляется в погоню, и вскоре все они скрываются из виду.

Настаждо и страху натерпелся, и душой изболелся, но потом ему вспало на ум, что так как это случается каждую пятницу, то он может извлечь из сего немалую пользу. Запомнив место, где это происходило, он возвратился к себе, а затем почел за нужное послать за родственниками своими и друзьями и сказал: «Вы долго убеждали меня разлюбить мою ненавистницу и перестать швырять деньги, — что ж, я исполню ваше желание, но только если вы окажете мне одну любезность, а именно — пригласите в следующую пятницу Паоло Траверсари с супругой, дочерью, со всеми его родственницами и со всеми, кто только пожелает, ко мне сюда отобедать. Зачем мне нужно их позвать — это вы тогда же и поймете».

Те решили, что просьба Настаджо вполне исполнима, и пообещали все устроить. Возвратившись в Равенну, они, когда подошло время, пригласили всех, кого хотел позвать к себе Настаджо; в конце концов уломали и его возлюбленную, хотя это оказалось делом не легким. Настаджо велел приготовить роскошный обед и расставить столы под соснами, близ того места, где на его глазах замучили жестокосердную девушку. Рассадил же он мужчин и женщин с таким расчетом, чтобы его возлюбленная села как раз напротив места происшествия. И вот подали последнее блюдо, как вдруг все услышали отчаянные вопли преследуемой девушки. Гости в изумлении стали спрашивать друг друга, что бы это могло быть, но никто не мог взять в толк, наконец все встали с мест и, всмотревшись, увидели кричавшую девушку, всадника и собак, а немного погодя и девушка, и всадник, и псы были уже здесь. Все закричали на всадника и на собак, а многие попытались вступить за девушку, однако же всадник, обратившись к ним с тою же речью, с какой уже обращался к Настаджо, вынудил их от изумления и страха податься назад. Как скоро всадник учинил то же, что и тогда, все женщины, — а среди них было много родственниц несчастной девушки и родственниц всадника, у которых еще свежи были в памяти и его любовь, и его кончина, — заплакали в голос, как будто их самих так же точно терзали. Когда же все кончилось, когда девушка и всадник удалились, происшествие это вызвало самые разные толки. К числу тех, кого оно особенно ужаснуло, принадлежала все ясно видевшая и слышавшая неприступная возлюбленная Настаджо, ибо она уразумела, что оно имеет к ней самое прямое отношение; она вспомнила, сколь высокомерно она держала себя с Настаджо, и ей уже чудилось, будто она бежит впереди, собаки бегут по бокам, а сзади мчится разъяренный Настаджо. И до того она была перепугана, что не чаяла, как дожидаться удобного случая, — а случай не замедлил представиться в вечером, — чтобы, сменив гнев на милость, тайно послать к Настаджо свою наперсницу и позвать его к себе — она, мол согласна на все. Настаджо велел передать ей, что это ему очень приятно слышать, но что, буде на то ее соизволение, он хотел бы достигнуть исполнения своих желаний честным путем, то есть взять ее в жены. Девушка, сознававшая, что дело только за ней, ответила согласием. Решившись стать самой себе свахой, она объявила родителям, что хочет выйти замуж за Настаджо, — родители чрезвычайно обрадовались, в следующее же воскресенье Настаджо обручился и повенчался со своей возлюбленною, и зажили они весело. И не только их счастье породил ужас, в который повергло тогда гостей Настаджо то происшествие, — все равеннские дамы после описанного случая с перепугу стали куда податливее, чем прежде.





*Федерико дель Альбериги влюблен, но ему не отвечают взаимностью;  
он разоряется ради своей возлюбленной, и у него остается только сокол,  
которого он за неимением чего-либо еще  
и погает на обед пришедшей к нему в гости даме его сердца;  
узнав об этом, дама изменяет к нему свое отношение, выходит за него замуж,  
и благодаря этому он опять становится богатым человеком*



иломена умолкла, а королева, приняв в рассуждение, что, за исключением пользовавшегося своею льготою Дионео, рассказывать больше некому, с веселым видом заговорила:

— Теперь моя очередь рассказывать, и я, милейшие дамы, с удовольствием расскажу повесть, отчасти похожую на предыдущую, не только для того, чтобы вы уразумели, какую властью обладают ваши чары над сердцами благородными, но также и для того, чтобы вы себе уяснили, что в иных случаях вам самим следует награждать и не всегда полагаться на судьбу, оттого что судьба чаще всего раздает награды без толку и без разбору.

Итак, надобно вам знать, что в нашем городе ж и л, — а может статься, живет еще и сейчас, — Коппо ди Боргезе Доменики, человек всеми почитаемый и весьма влиятельный, пользовавшийся глубочайшим уважением и достойный вечной славы не столько за то, что в жилах у него текла благородная кровь, сколько за свое благонравие и достоинства души, и на старости лет, в разговорах с соседями и другими людьми, ему доставляло особое удовольствие вспоминать прошлое, а так как он отличался незаурядной памятью и был на редкость красноречив, то рассказывал лучше и складнее, чем кто бы то ни было. Одна из самых прекрасных его повестей, которые он особенно часто рассказывал, — это повесть об одном юном флорентийце по имени Федерико, сыне мессера Филиппо Альбериги, выделявшемся среди тосканских юношей своею искусностью в ратном искусстве, а равно и своею благовоспитанностью. Как это случается с большинством благородных юношей, он влю-

бился в знатную даму, монну Джованну, которая в то время считалась одной из самых красивых и очаровательных женщин во всей Флоренции. И вот, дабы снискать ее любовь, Федерико участвовал в состязаниях и соревнованиях, устраивал в ее честь празднества, одаривал ее, тратил деньги, не жалея, однако монна Джованна, столь же очаровательная, сколь и добродетельная, не придавала значения всему, что делалось ради нее, и не обращала внимания на того, кто это устраивал. Словом, Федерико жил не по средствам, но так ничего и не добился, и, как это обыкновенно бывает, деньги у него все вышли, он обеднел, и осталось у него одно-единственное именье, на доходы с которого он еле-еле сводил концы с концами, да еще сокол, но зато один из лучших соколов на всем свете. Любил он монну Джованну еще сильнее, чем когда-либо, а жить в городе и вести прежний образ жизни уже не мог, — по сему обстоятельству он перебрался в Кампи, где находилось его именье, и занялся охотой на птиц; о вспомоществовании он никого не просил и покорно терпел лишения.

Нужно же было случиться так, что, когда Федерико дошел до последней крайности, муж монны Джованны занемог и, чувствуя свой конец, перед самой смертью составил духовную. Все свое огромное состояние он завещал своему сыну, в то время — подростку, с тем чтобы в случае, если сын умрет и законнорожденных детей у него не останется, состояние перешло к монне Джованне, которую он очень любил. Овдовев, монна Джованна, как это принято у наших дам, каждый год уезжала с сыном на все лето в деревню, к себе в именье, находившееся по соседству с именьем Федерико, и из этого соседства проистекло то, что мальчуган, которого привлекали птицы и собаки Федерико, с ним сдружился. Он не сводил глаз с летавшего сокола, он завидовал Федерико, но, зная, как тот дорожит соколом, не решался попросить, чтобы тот подарил ему птицу. И вот однажды мальчуган заболел. Мать сильно встревожилась, — ведь это был ее единственный сын, она души в нем не чаяла, — и теперь она ни на шаг не отходила от его постели, старалась развлечь его и все допытывалась, чего бы ему хотелось, — она, мол, все, что только в ее силах, ему достанет.

Наконец мальчик не вытерпел и сказал: «Матушка! Достаньте мне сокола Федерико — я тогда мигом поправлюсь».

Мать призадумалась и пораскинула умом. Она помнила, что Федерико долгое время ее любил, а она даже взглядом его не одарила. «Ну как я пошлю к нему за птицей и как у меня у самой повернется язык попросить у него сокола? — рассуждала она сама с собой. — Сказывают, лучше этого сокола на всем свете нет; притом сокол его кормит. И какой нужно быть нагялкой, чтобы отнять у порядочного человека единственную его отраду?» Монна Джованна была совершенно уверена, что отказу бы ей не было, но обратиться с подобной просьбой она не решалась, а потому, не зная, что ответить сыну, в растерянности молчала.

В конце концов материнская любовь восторжествовала: монна Джованна решила порадовать сына и, что бы там ни было, не посылать, а пойти за соколом самой. «Успокойся, сынок! — сказала она. — Ты только



как можно скорей выздоравливай, а я тебе обещаю завтра же принести сокола». Мальчуган так обрадовался, что в тот же день ему стало лучше.

Наутро монна Джованна взяла с собой свою знакомую, якобы в виде прогулки пошла по направлению к домику Федериги и, приблизившись, велела позвать его. В тот день погода была для охоты неподходящая; впрочем, Федериги уже несколько дней не ходил на охоту и копался у себя в огороде. Услыхав, что его спрашивает монна Джованна, он, не помня себя от радостного изумления, побежал к ней.

При виде Федериги монна Джованна с величественно-благоклонным видом встала и, ответив на почтительное его приветствие: «Мир дому Федериги!» — продолжала: «Я пришла вознаградить тебя за то зло, которое я тебе причинила в то время, когда ты с излишнею пылкостью меня любил. Награда же будет заключаться в следующем: я хочу со своею подругой запросто отобедать у тебя сегодня».

Федериги же ей скромно на это ответил: «Я не помню, сударыня, чтобы вы мне какое-либо зло причинили, напротив того: вы мне сделали много добра; ваши достоинства столь велики, что я не мог не полюбить вас, и это чувство меня облагородило. Смею вас уверить: радость от сознания, что вы осчастливили меня своим посещением, неизмеримо выше той радости, какую вызвала бы во мне возможность расходовать столько, сколько я расходовал прежде, хотя почитаю за должное упредить вас: вы пришли в гости к бедняку». Тут он не без смущения провел ее через дом в сад, а так как ему не с кем было оставить ее, то он обратился к ней с такими словами: «Сударыня! Семьи у меня нет, — с вами пока побудет вот эта добрая женщина, жена моего работника, а я пойду прикажу накрыть на стол».

Несмотря на крайнюю нищету, в какую впал Федериги, он до сих пор как-то не задумывался, зачем он так безрассудно промотал свое состояние, и только нынче, не обнаружив ничего, чем он мог бы потчевать гостью, ради любви к которой он в былые времена угощал столько народу, он ясно представил себе весь ужас своего положения. На краю отчаяния, проклиная судьбу, он, сам не свой, заметался по комнатам — ни денег, ни вещей, которые можно было бы заложить, а час поздний, угостить чем-нибудь почетную гостью ему смерть как хочется, обращаться же к кому-либо, даже к своему работнику, неловко, но тут взгляд Федериги задержался на милом его сердцу соколе, — тот сидел у него в каморке на жердочке. Видя, что делать нечего, Федериги снял его с жердочки, пощупал — сокол оказался ему достаточно упитанным, вполне пригодным для того, чтобы угостить им столь важную даму. Не долго думая, Федериги свернул соколу шею и тут же велел служанке ошпарить его, приготовить и хорошенько зажарить на вертеле. Стол он распорядился накрыть белоснежными скатертями, которые у него еще остались от прежней роскоши, а затем с веселым видом возвратился к даме в сад и объявил, что кушать подано, — чем, дескать, богат, тем и рад. Дама и ее подруга сели за стол и, не подозревая, что они едят, вместе с Федериги, который усиленно их угощал, съели чудного сокола.

Наконец убрали со стола, некоторое время после обеда прошло в приятной беседе, а затем гостья подумала, что пора заговорить о цели ее прихода, и, обратив на Федериго благосклонный взор, начала так: «Федериго! Тебе, уж верно, памятно твое прошлое, памятно и мое прямодушие, которое ты, может статься, принимал за суровость и жестокость, и я не сомневаюсь, что, узнав, зачем, собственно, я к тебе пришла, ты удивишься моей смелости. Впрочем, я убеждена, что, если б у тебя были дети, если б ты знал, что такое любовь к детям, ты бы не судил меня строго. Но у тебя детей нет, а у меня есть сын, следовательно, то, что свойственно всем матерям, свойственно и мне. И вот я, коль скоро я разделяю жребий всех матерей, вынуждена, наперекор себе самой и вопреки правилам приличия, попросить у тебя то, что, сколько мне известно, тебе чрезвычайно дорого, и я понимаю — почему: горькая твоя судьбина не оставила тебе никакой иной забавы, никакой иной отрады, никакой иной утехи. Я прошу, чтобы ты подарил мне сокола: мой мальчик в таком от него восторге, что если я ему не принесу его, то он этого не переживет. Так вот, я прошу тебя не ради твоей любви ко мне, ни к чему тебя не обязываю щ е й , — я взываю к душевному твоему благородству, которое уже выказалось в несравненной твоей щедрости: будь добр, подари мне сокола — этим ты спасешь моего сына, я же буду тебе благодарна до конца дней».

Федериго, выслушав просьбу гостьи и поняв, что не может ей быть полезен, так как сокола они съели за обедом, вместо ответа расплакался. Гостья подумала, что Федериго заплакал, вернее всего, оттого, что ему жаль сокола, и хотела было сказать, что не возьмет подарка, но потом все же рассудила за благо подождать, пока Федериго выплачется, и послушать, что он ответит, он же сказал ей так: «Сударыня! С тех пор как, по воле божией, я все свои любовные думы посвятил вам, судьба не благоприятствовала мне, и я на нее роптал, но все ее прежние удары — ничто в сравнении с сегодняшним, — отныне я буду на нее сетовать при одном воспоминании о том, как вы посетили убогую мою хижину, которую вы не удостаивали своим посещением, пока я жил богато; при одном воспоминании о том, как вы попросили меня сделать вам скромный подарок, а я по прихоти судьбы вынужден был отказать вам; почему я вынужден вам отказать — это я в немногих словах сейчас объясню. Узнав, что вы снизили до того, чтобы у меня отобедать, я, приняв в рассуждение ваше положение в свете, равно как и ваши достоинства, почел приличным и необходимым угостить вас редкостным блюдом, каким потчуют далеко не всех. И тут я вспомнил о соколе, которого вы у меня просите, представил себе, каков он должен быть на вкус, рассудил, что таким кушаньем не стыдно вас угостить, и, полагая, что лучше я не мог бы им распорядиться, велел зажарить его и подать к обеду. Оказывается, он вам нужен был живой, и мне так горько, что я не смог оказать вам услугу, так горько, что теперь я до самой смерти не успокоюсь».

И тут он в подтверждение своих слов приказал разложить у ее ног перья, лапы и клюв сокола. Увидав все это и услышав, гостья попе-

няла Федерико за то, что он, единственно для того, чтобы угостить женщину, убил такого прекрасного сокола, однако ж в глубине души по достоинству оценила широкую его натуру, которую не в силах была сузить бедность. Поблагодарив Федерико за оказанную ей честь и за гостеприимство, она, удрученная тем, что придет домой без сокола и что сыну от этого может стать хуже, простилась с хозяином и вернулась к с ы н у , — сын же, то ли с горя, что не будет у него сокола, то ли оттого, что болезнь его была неизлечима, спустя несколько дней, растерзав сердце матери, скончался.

Монна Джованна долго плакала и горевала, но братья ее, полагая, что такой богатой и еще молодой женщине не след оставаться вдовой, настойчиво советовали ей выйти замуж вторично. Ей этого не хотелось, но братья от нее не отставали, и тут она вспомнила, какой хороший человек Федерико и какая у него добрая д у ш а , — ведь он не пожалел в тот раз такого великолепного сокола только для того, чтобы ее угостить, — и сказала братьям: «Если б вы мне не докучали, я бы предпочла остаться вдовой, но если вы уж непременно хотите, чтобы я вышла замуж, то я не выйду ни за кого, кроме Федерико дельи Альбериги».

Братья подняли ее на смех. «Глупышка! — сказали о н и . — Что ты выдумала? Да ведь у него гроша за душой нет!»

А она им: «Это я, братцы, не хуже вас знаю, но только, по мне, мужчина, нуждающийся в деньгах, лучше денег, нуждающихся в мужчине».

Братья, зная Федерико за человека порядочного, хотя и немущего, не стали противиться ее желанию и поженили их, и Федерико получил за ней богатое приданое. Женившись на любимой женщине, разбогатев благодаря ей и сделавшись рачительным хозяином, он счастливо прожил с ней свою жизнь.





*Пьетро ди Винчоло ужинает не дома;  
его жена приглашает к себе молодого человека;  
Пьетро возвращается; жена прячет молодого человека под корзину,  
где прежде держали цыплят;  
Пьетро рассказывает, как у Эрколано, у которого он ужинал,  
был только что найден молодой человек, которого укрывала жена Эрколано;  
жена Пьетро осуждает жену Эрколано;  
как на грех, осел наступает на пальцы молодому человеку,  
который прячется под корзиной, и тот вскрикивает от боли;  
Пьетро подбегает к корзине, убеждается, что под ней прятался мужчина,  
и таким образом обман жены всплывает наружу,  
но в конце концов из-за своей извращенности Пьетро с нею мирится*



овесть королевы подошла к концу, и все прославили бога, достойно вознаградившего Федериго, после чего Дионео, не ожидая понуждений, начал так:

— Мне трудно сказать, почему людей радуют не столько добрые, сколько дурные дела, особливо в тех случаях, когда они их не затрагивают: быть может, это зависит от испорченности того или иного человека, быть может — от повреждения нравов, а быть может — в силу нашей врожденной греховности. Я же взял на себя труд, — и готов нести эту обязанность и в дальнейшем, — разгонять вашу тоску, смешить вас и веселить: такова единственная моя цель; вот почему я намерен рассказать вам, возлюбленные девушки, повесть, правда, не весьма пристойную, но зато забавную, вы же, прослушав ее, поступите так, как вы обыкновенно поступаете, входя в сад: протягиваете нежную ручку, срываете розу, а шипы оставляете. Так же точно поступите и в сем случае: примите в рассуждение, что нерадивый муж, быв опозорен, заслужил горькую свою участь, и весело посмейтесь над шурами-мурами его супруги, а где найдете нужным — посочувствуйте чужому горю.

Не так давно жил-был в Перудже богатый человек по имени Пьетро ди Винчоло, и вот этот самый Пьетро не столько потому, что ему уж

так загорелось жениться, сколько, по всей вероятности, дабы ввести в заблуждение перуджинцев и заставить их переменить о себе мнение, вступил в брак. Судьба выбрала ему жену как раз по его вкусу: дебелую, рыжую, ненасытную бабу, — она бы и от двух мужей не отказалась, а нарвалась на такого, который меньше всего думал о том, чтобы ей угодить. В этом она вскоре убедилась, а между тем она была уверена в своей красоте и свежести, словом, баба была в самой поре и в соку, и первое время она из себя вон выходила, ругала мужа на все корки, словом — не ладила с ним. Но потом сообразила, что мужа она этим все равно не исправит, только свое здоровье расстроит. «Этот паршивец брезгует мной, оттого-то он, пакостник, умеет только на голове ходить, — подумала она, — найду-ка я себе такого, который, как все хорошие люди, ходит. Ведь я почему за него вышла и принесла ему хорошее, богатое приданое? Я думала, он — мужчина, я думала, ему любо то, что любо и должно быть любо всем мужчинам на свете, а если б я только знала, что он не мужчина, нипочем бы за него не пошла. А вот он знал, что я — женщина, так зачем же он на мне женился, коли женщина ему противна? Терпение мое лопается. Если б я не хотела жить в миру, я бы ушла в монастырь. Но я живу и намерена жить в миру, я жажду мирских радостей и утех, а этак я, пожалуй, состарюсь и ничего путного не дождусь. Придет старость, спохватишься, да поздно: молодость прошла, и прошла зря, а что в молодости нужно себя радовать — тут мой супруг подает мне отличный пример: сам забавляется и меня учит забавляться, но только в моих-то забавах ничего дурного не усмотришь, а вот его забавы в высшей степени предосудительны: я нарушу закон, а он идет и против закона, и против природы».

Мысль эта все чаще стала приходиться почтенной женщине в голову; наконец, дабы тайно привести замысел свой в исполнение, она свела знакомство с одной старухой, похожей на святую Вердиану, кормящую змей; эта самая старуха ходила за отпущением грехов, не иначе как перебирая четки, говорила только о житиях святых да о язвах святого Франциска, и почти все считали ее святой. Жена Пьетро, решив, что пора поговорить с ней начистоту, поведала ей свои намерения. Старуха же раскусила так: «Доченька! Господь всеведущ, и он знает, что ты поступишь как должно. Если бы даже у тебя и не было такого повода, тебе, как всякой молодой женщине, следовало бы так поступить, иначе молодость пройдет даром, а ведь человеку тяжелее всего сознавать, что он упустил время. На кой черт мы нужны в старости? Золу из печки выгребать? Я это знаю по себе, я на себе это испытала, так что уж ты мне поверь: вот я теперь, на старости лет, томлюсь мучительным, горьким, да, жаль, беспроким раскаянием, как много времени я потратила даром. Правда, я не все свое время прозевала, — не думай, что я уж такая рохла, — но своего не отгуляла, и стоит мне вспомнить, какая я молодая была, да сравнить, какую стала, — а старость-то ведь не радость, — так у меня сердце кровью обливается. Мужчины — дело другое: они все умеют, не только это, и старики-то еще молодых за пояс заткнут, а женщины годны лишь на это, да еще детей рожать, — только за то их и ценят.

Вот тебе самое явное доказательство: женщины всегда могут, а у мужчин не так. Притом одна женщина способна довести до изнеможения много мужчин, меж тем как много мужчин не доведут до изнеможения одну женщину. Так вот, раз мы для того и рождены, то — повторию — ты очень хорошо сделаешь, ежели обведешь своего муженька вокруг пальца, — тогда в старости душе твоей не в чем будет упрекнуть твою плоть. Всем людям, а в особенности — женщинам, нужно брать от жизни все, что только она может дать; мужчинам тоже надлежит пользоваться каждым удобным случаем, ну, а женщинам и подавно: сама знаешь — состаримся, так ни муж, ни посторонний — никто и смотреть-то на нас не хочет, гонят нас на кухню: мурлыкайте там себе с кошкой, а не то так пересчитывайте кастрюльки да миски. И они же еще измываются над нами, говорят: «Юницам чтоб угоститься, а старухам чтоб подавиться», — и чего они только про нас не говорят! Словом сказать, лучше меня ты ни к кому бы не могла обратиться за помощью: нет такого франта, к которому я не осмелилась бы подступиться, и нет такого мужлана и облома, которого я не сумела бы улестить и заставить плясать под мою дудку. Ты только покажи мне того, кто пришелся тебе по сердцу, а уж дальше я сама все обстрипаю. Но только, доченька, не забудь: я женщина бедная, уж ты теперь давай мне и на отпущения и на молебны, — это все равно, что ты богу свечку за упокой души усопших сродников поставишь». На том старуха окончила свою речь.

Молодая женщина условилась со старухой, что ежели та увидит молодца, который частенько проходил по ее улице и все приметы которого она ей описала, то пусть, мол, действует. При расставании дала она ей кусок солонины — и, дескать, с богом. А несколько дней спустя старуха потихоньку провела к ней в комнату того молодого человека, о котором у них было говорено, и потом она уже приводила к ней всех, кто только приходился ей по нраву, а хозяйка хоть и боялась мужа, однако маху не давала. Но вот как-то вечером случилось ее супругу пойти отужинать к своему приятелю Эрколано, а жена наказала старухе направить к ней одного из самых красивых и прелестных юношей во всей Перудже, каковое поручение старуха исполнила незамедлительно. Не успели, однако ж, хозяйка дома с молодым человеком приняться за ужин, как на улице послышался голос Пьетро, кричавшего, чтобы ему отворили. Жена, услышав голос мужа, замерла, но, тут же порешив во что бы то ни стало устроить так, чтобы муж и любовник не встретились, она не догадалась выпустить молодого человека в другую дверь, а от великого ума спрятала его в чулане, рядом с комнатой, где они ужинали, накрыла корзиной, где прежде держала цыплят, на корзину накинула чехол от тюфяка, который она велела перед тем вытрясти, а потом послала отворить мужу дверь.

«Скоро же вы умяли ужин», — сказала она вошедшему супругу.

«Да мы к нему и не притронулись», — молвил Пьетро.

«Как так?» — спросила жена.

«Сейчас скажу, — отвечал Пьетро. — Только Эрколано, его жена и я — за стол, слышим: кто-то чихнул; раз чихнул, два чихнул — мы не об-

ращаем внимания, но уж когда он в третий, в четвертый, в пятый раз чихнул, — а там мы и счет потеряли, — то мы поневоле диву дались. А Эрколано уже успел дать жене легкую взбучку за то, что она долго нам не отворяла, и тут он на нее накинулся: «Это еще что такое? Кто там чихает?» Встает из-за стола и идет к лестнице, а под лестницей у них, как во всех домах, — чуланчик, куда сваливают всякий хлам. Покажись ему, что чихают в чулане, он дверцу-то и распахнул, а как отворил — оттуда дико завоняло серой, хотя должно заметить, что запах серы доносился до нас и прежде, и мы на это жаловались, но хозяйка нам сказала: «А это я, говорит, нынче в котелок с белилами серы положила и поставила под лестницу дымом окурить — вот оттого и пахнет». Эрколано дверцу открыл, дым немножко повытянуло, он заглянул и увидел мужчину: тот все еще чихал — так на него действовала сера. Но хоть он и чихал, а дыханье-то у него в груди сперло, так что, побудь он там еще немножко, он бы уже не смог ни чихнуть, ни еще что-либо сделать. Увидел его Эрколано и разбушевался: «Теперь, кричит, я понимаю, почему ты нам давеча так долго не отворяла! Да разразит меня господь, если я тебе сейчас не отплачу!» А жена видит, что ее вывели на чистую воду, — даже оправдываться не стала: выбежала из-за стола и — куда глаза глядят! Эрколано и не заметил, что жена убежала, он к этому чихале: вылезай да вылезай, а тот — при последнем издыхании, не подает признаков жизни. Ну, тут Эрколано хватил его за ногу, выволок из чулана и побегал было за ножом, — хотел его зарезать, — а я не дал, не позволил пальцем до него дотронуться: а вдруг, думаю, меня за соучастие стражники притянут? — вскочил, вступился за него и так заорал, что сбегались соседи, подняли на руки обмершего молодца и понесли неизвестно куда. Оттого-то ужин наш и не состоялся: так ничего и не съели — понюхать даже не успели».

Выслушав Пьетро, жена его поняла, что и другие не глупее ее, хотя и не у всех все гладко выходит; она всецело была на стороне жены Эрколано, однако ж, смекнув, что осуждение чужого греха — наилучший способ прикрыть свои грешки, такую повела речь: «Ну и дела! Нечего сказать: добродетельная, честная женщина! А поглядишь: святая, да и только, — прямо хоть исповедуйся у нее! Ведь уж старуха, а какой пример молодым подает! Да будет проклят тот час, когда она на свет появилась! И как это еще земля ее носит? Экая змея, экая лиходейка, всех нас, перуджиек, осрамила и опозорила! Ведь это что: забыть всякий стыд, нарушить супружескую верность, запятнать свое доброе имя, ради полюбовника не пожалеть такого порядочного, такого почтенного человека, который так хорошо с ней жил, — и его и себя обесчестить! Прости, господи, мое согрешение, таким бабам спуску давать нельзя: убивать их нужно, живыми в огонь бросать и сжигать».

Но тут она вспомнила о своем дружке, сидевшем под корзиной, и сказала Пьетро, что пора спать. Пьетро не столько спать хотелось, сколько есть, и он спросил, не даст ли она ему поужинать. «Какой тебе еще ужин! — возразила жена. — Если ты уходишь со двора, разве я когда

готовлю ужин? Я тебе не жена Эрколано! Иди-ка ты спать — так-то дело будет лучше!»

Случилось, однако ж, что в тот вечер приехали из деревни работники Пьетро и поставили ослов в стойло, около чулана, поставить-то поставили, а напоить не напоили, и вот один из ослов, которому здорово пить хотелось, сорвался с веревки, вышел из стойла, стал все кругом обнюхивать — нет ли где в о д ы , — и в конце концов забрел в чулан и наступил копытом на корзину, под которой хоронился молодой человек. Молодой человек стоял на четвереньках, высунув из-под корзины пальцы одной руки, и такая уж была его доля, или, вернее, недоля, что осел на них наступил, а молодой человек взвыл от боли. Услыхав вопль, Пьетро подивился, но тут же сообразил, что кричат где-то тут, в доме. Молодой человек по-прежнему вопил, оттого что осел всей тяжестью давил ему на пальцы; в конце концов Пьетро вышел из комнаты, спросил: «Кто там?» — затем поднял корзину и увидел молодого человека, а тот теперь уже чувствовал не только боль в пальцах, которые отдал ему о с е л , — он затрясся от страха, как бы хозяин не расправился с ним по-свойски. Но тут Пьетро удостоверился, что это тот самый молодой человек, за которым он в силу своей испорченности бегал, и спросил: «Что ты тут делаешь?» — тот же ему на это ничего не о т в е т и л , — он молил ради Христа не бить его.

«Вставай, не бойся, не стану я тебя б и т ь , — молвил Пьетро , — ты только скажи, как и зачем ты здесь очутился».

Тогда молодой человек все ему рассказал. Пьетро, столь же обрадованный встречей с ним, сколь удручена была хозяйка, взял его за руку и повел в комнату, где, не помня себя от страха, жена ожидала мужа. Пьетро сел напротив нее и сказал: «Вот ты сейчас поносила жену Эрколано, говорила, что ее нужно сжечь, что она всех вас, женщин, позорит. Что же ты о себе-то промолчала? Если же ты о себе помалкиваешь, как же у тебя хватило духу ругать ее, когда ты сама поступаешь так же точно, как она? Все вы на одну статью, вот что, все вы ухищряетесь, как бы это чужими провинностями прикрыть свои собственные шашни. Да снизойдет с небеси огонь и да попалит он весь окаянный ваш род!»

Жена, приняв за добрый знак, что он пока рукам воли не дает, а только на словах ее отделяет, и заметив, что он рад-радехонек пригожему этому юноше, расхрабрилась. «Я не сомневаюсь, что ты был бы счастлив, если бы огонь с небеси всех нас поपालил, — сказала о н а , — ведь ты нас любишь, как собака палку, но только, вот как бог свят, желание твое не исполнится. Хотела бы я, однако же, знать, чем ты мной недоволен. Я была бы только р а д а , — по в е р ь , — если б ты сравнил, как живется мне и как живется жене Эрколано: эта старая святоша и ханжа получает от мужа все, что ей надобно, он держит ее в холе, как и подобает держать жену, а я именно этого-то и лишена. Я одета-обута, это правда, но ты же сам прекрасно знаешь, как у нас с тобой обстоит насчет другого-прочего и сколько времени ты уже со мной не спишь. Я бы предпочла ходить в лохмотьях, босиком, лишь бы ты ублажал меня в посте-

ли, чем быть нарядной и терпеть такое твое обхождение. Пойми, Пьетро: я обыкновенная женщина и хочу того же, чего хотим мы все, так что если я стараюсь промыслить себе то, чем ты меня не убогаговоряешь, то нечего мне за это выговаривать. Скажи спасибо, что я твою честь блюду: ни с какими проходимцами и прощелыгами не путаюсь».

Пьетро, видя, что у жены накипело и теперь она может об этом хоть до утра говорить, и, сознавая, что до сих пор он плохо о ней заботился, обратился к ней с такими словами: «Полно, жена! Ужо я тебя удовольствую, а сейчас будь добра, дай нам поужинать, а то, как видно, молодой человек тоже ничего не ел».

«Конечно, не т, — подтвердила жена. — Он не успел поужинать. Мы с ним только было за стол, а тут тебя нелегкая несет».

«Ну так ступай, дай же нам поужинать, — сказал Пьетро, — а уж после я позабочусь о том, чтобы тебе не на что было пожаловаться».

Удостоверившись, что муж более не гневается, жена вышла, велела накрыть на стол и вместе со своим нерадивым мужем и молодым человеком села за приготовленный ею ужин, каковой прошел для нее весело. Что именно Пьетро устроил после ужина для убогаговорения всех троих, — это из моей памяти изгладилось. Знаю только, что утром молодого человека провожали до Главной площади, а он шел и думал — кем же он все-таки был ночью: мужем или скорее женой? Так что вот, милые дамы: всегда плати тою же монетой, а не можешь сейчас — подожди удобного случая, но все же как тебе аукнут, так ты и откликнись.

На том Дионео окончил свой рассказ, во время которого женщины только слегка хихикали, но не потому, чтобы он им не понравился, а потому, что им было неловко, и тут пришел конец царствованию Фьяметты: она встала и, сняв с головы лавровый венок, с обворожительной приятностью возложила его на Элиссу.

— Теперь, милостивая государыня, настала очередь повелевать в а м, — объявила она.

Приняв сию дань уважения, Элисса поступила так же точно, как ее предшественники, — отдала распоряжения дворецкому на все время своего царствования, а затем, к общему удовольствию, повела такую речь:

— Всем нам нередко приходилось слышать, что многим удавалось острыми словцами, быстрыми и находчивыми ответами мгновенно притуплять зубы, которые на них точились, и предотвращать опасности. Это отличный, поучительный предмет, и я хочу, чтобы завтра, с божьей помощью, беседа у нас шла именно в этих пределах, то есть — *О том, как люди, уязвленные чьей-либо шуткой, платили тем же или быстрыми и находчивыми ответами предотвращали утрату, опасность и бесчестье.*

Мысль королевы встретила полное одобрение, и королева отпустила всех до ужина. Она встала, вслед за тем ее примеру последовало все почтенное общество, и тут каждый, согласно уставу, занялся своим де-



лом. Как же скоро смолкли цикады, королева велела всех звать к ужину; ужин прошел весело, а после ужина начались танцы и пенье. Эмилии королева приказала повести танец, а Дионео — спеть песню. Дионео сейчас же затянул: *Монна Альдруга, хвост задирай, я к тебе с доброю вестью.* Женщины расхохотались, причем громче всех смеялась королева; со всем тем она велела Дионео перестать и спеть что-нибудь другое.

Дионео же ей на это сказал:

— Государыня! Будь у меня цимбалы, я бы спел: *Поднимай-ка по-гол, монна Лапа, или же: Под оливой мурава, а не то: От морской воды не нажать бы мне беды,* но цимбал у меня нет, а потому выбирайте сами. Может, хотите: *А ну-ка, высунься, дружок, — тебя сорву я, как цветочек?*

— Нет, что-нибудь е щ е , — молвила королева.

— Ну, тогда: *Не подставляй, Симона, бочку — ведь на дворе же не октябрь.*

— Да будет тебе! — со смехом молвила королева. — Если хочешь, так спой какую-нибудь хорошую песню, а эту мы слушать не станем.

— Не извольте гневаться, государыня, — молвил Дионео. — Какую прикажете? Я же их знаю больше тысячи. Хотите: *Не дам тебе, моя ракушечка, покою и створочки твои немедленно раскрою? Или: Полетче, муженек? Или: Я за сто лир купила петушка?*

Все посмеивались, а королева осердилась.

— Полно же дурачиться, Дионео! — молвила она. — Спой нам хорошую песню, а то я тебе задам!

Дионео в ту же секунду перестал зубоскалить и пропел вот какую песню:

Любовь! Столь ярк свет  
В очах у милой, что из-за него я  
Стал ей, а значит, и тебе слугою.

Он пламя негасимое твое  
В душе моей питает ежечасно,  
Меня лишая сна.  
Когда гляжу на дивный лик ее,  
Я сознаю, как ты, любовь, всевластна.  
Так хороша она,  
Так совершенств полна,  
Что я ее небесной красотой  
Пленяюсь с каждым днем сильнее вдвое.

Давно уже, владычица моя,  
Награды от тебя за все страданья  
Ждет раб покорный твой,  
Но до сих пор еще не знаю я,  
Лелея сладостные упованья,  
Внушенные тобой,  
Известно ль это той,  
Мысль о которой так владеет мною,  
Что мне без милой больше нет покоя.

Владычица благая! Соизволь,  
Чтоб занялся и в ней пожар нежданный  
От твоего огня  
И поняла она, какую боль  
Из-за нее терплю я непрестанно,  
Рыдая и стена.  
Вступишь же за меня  
И слей свои мольбы с моей мольбою,  
Когда прекрасной сердце я открою.

Когда Дионео умолк, тем самым дав понять, что песне — конец, королева осыпала Дионео похвалами, что не помешало ей долго еще потом слушать пенье других. Наконец, когда дневной жар сменился ночью прохладой, королева объявила, что теперь каждый волен отдыхать до утра как ему бог на душу положит.



---

# Содержание



## ДЕКАМЕРОН

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ . . . . .	13
ДЕНЬ ВТОРОЙ . . . . .	73
ДЕНЬ ТРЕТИЙ . . . . .	163
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ . . . . .	237
ДЕНЬ ПЯТЫЙ . . . . .	303



*Джованни  
Боккаччо*

ДЕКАМЕРОН

Книга I

Редактор

Н. КУЛИШ

Художественный редактор

Л. КАЛИТОВСКАЯ

Технические редакторы

Л. ПЛАТОНОВА, Л. КОРОТЕЕВА

Корректоры

Е. ИВАСЮК, Л. ТКАЧЕНКО

ИБ № 5398

Подписано в печать 28.10.87. Формат 70X90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,84. Усл. кр.-отт. 139,02. Уч.-изд. л. 25,1. Тираж 30 000 экз. Изд. № VI-1470. Заказ 4554. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Художественная литература»  
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диaposитивы изготовлены в ордена Ленина  
типографии «Красный пролетарий».  
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16

Отпечатано в Московской типографии № 5 Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Мало-Московская, 21

